

Василий ШУЖШИН

3



**Василий
ШУКШИН**



Василий ШУКШИН

*Собрание сочинений
в шести томах*

Москва, „Молодая гвардия“, 1993

Василий ШУКШИН

Том третий

Рассказы

1970-х годов

Повести

для театра

Москва, „Молодая гвардия“, 1993

ББК 84Р7
Ш 95

Составитель Л. ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА

Комментарии Л. АННИНСКОГО

Ответственный редактор Г. КОСТРОВА

На переплете использован рисунок
В. М. ШУКШИНА

Ш $\frac{4702010201-008}{078(02)-93}$ Подписное

ISBN 5-235-02066-9, т. 3.
ISBN 5-235-01447-2

© Федосеева-Шукшина Л. Н.,
1993 г. (составление)

Рассказы

1970-х годов

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть. Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат, дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю.

Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужику на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепологией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо, — вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. — Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно пообещал Глеб. — Кандидатов сейчас как нерезанных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!.. — посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался. — Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно. — Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. — Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — завопил кандидат. — Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы, — спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. — А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... — Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. — Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения. — Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел. — Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то?! — воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма. — Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего, — сказал Глеб. — Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче, — еще сказал Глеб. — Проблемы нету, а эти... — Глеб что-то показал руками замысловатое, — танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании... — Глеб повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал:

— Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат. — И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам на встречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех. — Я предлагаю: начертить на песке схему нашей Солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким

образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так. — Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. — Это очень интересно: по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало. — Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать. — Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него. — Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку», — сказал кандидат. — Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю, — торопливо перебил его

Глеб, — не знаю, как это называется, — я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут, — оглядел Глеб мужиков, — тоже никто не сидел — не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катили бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал. — И «одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «13 стульев». Спросите, почему? Потому что там — та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделают. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник, — сказал кандидат, обращаясь к жене. — Весь набор тут...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал. — Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда. — Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя. — В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете. — Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов. — Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. Приятно провести отпуск... среди народа. — Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то так знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А? Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет) спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его, — скажут Глебу.

— Ничего, — великодушно заметит Глеб. — Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

СИЛЬНЫЕ ИДУТ ДАЛЬШЕ

Всю темную осеннюю ночь ровно и сильно дул ветер. Байкал к утру здорово раскачал. Утром ветер поослаб, но волны катились высокие — поседевший Байкал сердито шумел, хлестал каменистый берег, точно на нем хотел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь.

На берегу собрались туристы, отдыхающие. Смотрели на Байкал, бросали ему в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность:

— Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает.

— Да.

— Простите, сэр, это велосипед.

— Почему?

— Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

— Я думал не о законе как таковом, а о том, что это... похоже на людей.

— ??

— Сильные идут дальше. В результате: в шторм... в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные — кто дальше отгрется.

— Это слишком умно...

— Это слишком неверно, чтобы быть умным.

— Почему?

— Вопрос: как оказаться подальше от берега?

— Я же и говорю: наиболее сильные...

— А может быть, так: наиболее хитрые?

— Это другое дело. Возможно...

— Ничего не другое. Есть задача: как выжить в житейский шторм? И есть решение ее: выживают наиболее «легкие» — любой ценой. Можно за баркас зацепиться...

— Это по чьему-то опыту, что ли?

— По опыту сильных.

— Я имел в виду другую силу — настоящую.

— Важен результат.

Очкарики... Все образованные, прочитали уйму книг... О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого — в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде.

Вот в этом — что очки дольше держатся на воде, чем сам очкарик, — никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал. Постоял на берегу (разговор очкариков слышал), криво улыбнулся и пошел к воде...

Но надо хоть немного рассказать о Митьке. Митька — это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он — выпивоха. Вот тоже — показали на человека — выпивоха... А почему он выпивоха, что за причина, что за сила такая роковая, что берет его вечерами за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой — выпивоха, и все. А Митька...

Митька — мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером, оборудовать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы — искать золото и ртуть. Мечтал... Много мечтал. Все мечтают, но другие — отмечтали и принялись устраивать свою жизнь... подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадежного мечтателя — великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он — с упорством неистребимым — мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были — одна причудливее другой. Вот, допустим, узнал он одну травку... Травка — так себе, неказистая, почти все знают ее, но никто не знает, что этой травкой можно лечить... рак. А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и налево рак легких, рак печени, рак матки — лечит злой, омерзительный рак. Любой. В три дня. Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему еще при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво улыбается на эту затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными им от рака... И напоминает людям, как они смеялись над ним. К нему — запись со всего земного шара. Митька по утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем: «Можно» — «Подождать» — «Подождать» — «Можно» — «Срочно ко мне». Лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до тридцати идут вне очереди. Митька жесток: наставит мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, вылеченными от рака, не таясь, открыто. И пусть только мужья заикнутся, что... Раза два было: мужья возмутились. Благодарные женщины чуть не выцарапали им глаза. Ученые и президенты ползают на коленях перед Митькой: «Скажи, что за травка?» Митька криво улыбается. «Вы по ней ходите». — «Скажи!» — «Фигу вам!» Бывает, что он кричит на президентов: «Трепачи! Слюнтяи! Только болтать умеете!» Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный двухэтажный дом, причем весь второй этаж спальня. Там у него гигантские фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для газет и журналов, ширмы... На подоконнике — увлажнитель с «Шипром».

В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто не понимает — о чем он?

— Да, знаю! — кричит Митька в магазине. — Но вам не скажу. Фигу вам!

— Чего ты, Митька?

— Вы по ней ходите. Ногами ее топчете, а дотумкать — вот!.. — Митька стучит себя по лбу и криво улыбается. — Не дано.

Вот это вот только и знают люди — бред, глупости. И еще — всякие «хохмы» про Митьку. Вроде этой.

Летом Митька уходит с геологоразведочными партиями и ходит до холодов (почему-то он ужасно гордится и важничает: «Я — сезонник»). Однажды он пришел в поселок среди лета. И, не заходя домой, протопал в аптеку. В аптеке были люди. Девушка-аптекарь отпускала лекарство. Девушка та была очень и очень миленькая, беленькая, в белом халатике. В мечтах своих Митька то и дело лечил ее от рака. В аптеке — уютно, пахнет немощью. Митька бухнул в угол свой вещмешок, подошел к прилавку, бородатый, пропахший дымом, смолой и болотами, и громко сказал:

— Мне триста штук презервативов, пожалуйста.

Ну, замешательство... Аптекарьша покраснела. Одна старушка в очереди даже перекрестилась. Тишина. Этот «сундукявичус», как его прозвали в одной партии, опять:

— Триста презервативов. И счет.

Нет, чтобы отозвать аптекаршу в сторонку и тихонько объяснить ей: так и так, нужно это для того, чтобы делать взрывы в мокрых забоях. Нет, Митька непременно должен «отмочить хохму».

...Итак, Митька, послушав рассуждения о сильных и несильных, криво улыбнулся и пошел к воде. И начал снимать фужайку, пиджак...

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики. — Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете.

Митька даже не посмотрел на очкариков. (Там была женщина, которую он с удовольствием бы вылечил от рака.) Снял рубаху, штаны... Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень, сделал несколько приседаний и пошел волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у

девушки. (Девушка — еще и в штанишках, черт бы их побрал с этими штанишками. Моду взяли!)

— Морж, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Митька взмахнул руками, крикнул:

— Эх, роднуля! — И нырнул в «набежавшую волну». И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй, слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна: — Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк, — сказали на берегу. — Все нипочем.

— Верных семьдесят шесть градусов.

— ...авай! — орал Митька. — Роднуля!

Но тут «роднуля» подмахнул высокую крутую волну. Митька хлебнул раз, другой, закашлялся. А «роднуля» все накатывал, все наступал наглеца. Митька закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. «Роднуля» бил и бил его холодными мягкими лапами, толкал вглубь.

— ...сы-ы! — донеслось на берег. — Тру-сы спали-и! Тону!

Очкарики заволновались.

— Он серьезно, что ли?

— Он же тонет, ребята!

— Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

— Да серьезно, какого черта!

— ...у-у! — орал Митька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул... Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал.

— Лодку! Лодку! — забегали на берегу. — Эй, держись!

Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел:

— Она примкнута к коряге.

— Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз...

— Ребята, ну что же вы?! — чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Митьки поплавром качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась... И руками Митька теперь взмахивал реже.

— Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и

сильно погреб к Митьке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

— Эй, держись! Держи-ись! — кричала девушка и махала зачем-то руками. — Ребята, они успеют?

— Успеют.

— Вот ффраер-то! — волновались на берегу.

— Зачем он полез-то!

— Семьдесят шесть градусов. Николай верно говорил.

— Трепач-то! Хоть бы успели.

— Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?!

— Ребята, успеют или нет? Где он, ребята?!

Ребята только-только успели: поймали Митьку за волосы и погребли к берегу.

Митька наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих: подложили Митьке под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Митькиными руками, давили на живот... Митька был без трусов, и девушка просила издали:

— Ребята, ну наденьте ему брюки. Ребят, ну наденьте! Я помогу вам откачивать.

— Ты лучше беги в магазин, — попросил один из тех, кто плавал за Митькой. Он прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину. Его так трясло, что вблизи слышно было, как щелкают зубы. — А то пропадешь к черту... с этими моржами.

— Ребят, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Митькой, захихикали.

— Ирочка, без трусов не считается.

— Как без трусов не считается?

— Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.

— Ира, иди поддержи голову.

— Да ну, какие-то!.. Ну наденьте же штаны, ребята!

— Мы в штанах, Ира. Ты что, бог с тобой!

Митька стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал... Потом его стало рвать водой и корезить. Рвало долго, Митька устал. Закрыв глаза. Потом вдруг — то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов, — вскочил, схватился... там где носят трусы... Очкарики засмеялись. Митька вскочил — и бегом по камням, прикрывая руками стыд. Добежал к своей одежде, схватил, еще три-четыре прыжка, и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

Очкарики пошли в магазин — покупать лекарство для двух своих героев. А заодно полагалось выпить и за здоровье спасенного.

— Зря он сбежал! — сокрушались. — Лютенко нахмурится: «В честь чего выпивка?» — «Спасли утопающего». Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

— Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

— Все дело в трусах...

— А лихо он в кусты сиганул! Прямо детектив: спасли утопающего, он схватил одежду и был таков. Может, шпион?

Беззаботный народ эти очкарики! Шляются по дорогам... Все бы им хаханьки, хиханьки. Несерьезно как-то все это. В их годы... Но вернемся к Митьке.

Митька перед самым закрытием магазина пришел туда. Он был уже хорош. Оглянувшись, спросил продавщицу негромко:

— Здесь бумажник никто не находил?

— Какой бумажник?

— Кожаный... в нем пятнадцать отделений.

— Твой, что ли?

— Не имеет значения. Никто не поднимал?

— Нет. А что там было?

— Деньги.

— Твой, что ли?

— Не имеет значения.

— Много денег?

— Полторы тысячи.

— Новых?!

— Новых... Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что у Митьки — «транс». Митька наскочил на новый сюжет.

— Господи!.. Митька, зайкой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видал такие деньги?

Митька криво улыбнулся.

— Хочешь, я тебе сейчас... Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку.

— Чего «я сейчас»?

— Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

— Женился бы ты, чудак-человек, — с искренним сочувствием сказала продавщица, здешняя женщина, знав-

шая Митьку с малых лет. — Женисся — заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало.

— Ладно, ладно, — сказал Митька. Взял бутылку и пошел из магазина. На пороге остановился, еще раз предупредил продавщицу: — Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать — ты ничего не знаешь, чьи они.

— Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут.

— Как?

— А то не знаешь — как? Найдут и промолчат. Полторы тыщи — это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоит, и все.

— На всякий случай: ты ничего не знаешь.

— Добро.

Митька ушел.

Да, опять у него это самое... Похоже, изобрел машинку для печатания бумажных денег. Опять будет помогать бедным и женщинам. Митька добрый человек, но очень наивный: ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми деньгами! И им же будет плохо. Об этом он почему-то не думает. Лучше уж рак лечить — безопасней.

ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО!

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила:

— Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас — называл ее Солодовников в письмах к бывшим курсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и остряли) приходила в мелкое движение — смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, молодого донжуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его — нравится людям — пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать

аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию, — писал он как-то товарищу своему. — Хотел большую подкожную загнать в руку — начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь меня — я актер. А моя драгоценная Анфас — не аудитория. Нет».

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам... Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура, — думал. — Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!» Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое дорогое сердцу успокоение, что — все в порядке, все понятно, дело мужское, неженатое.

Солодовников взбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула... И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой — в окно — желтый квадрат. Свет. Солнце... И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар, — весна! На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, что — весна. А теперь... даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость — какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость — толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном: вот — весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего двадцать четыре года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть, много, и радостно. И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него старинными все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик), сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет.

Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем

эта радость, какая вломилась сейчас — с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя... И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жёсть подоконника с сосуллек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце — каждым громким шлепком — радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит. Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака, у других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно — самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять — пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь... кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но... почему бы не поработать!

Солодовников встал, прошелся по кабинету. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля... Огромная жизнь. Но — шаг пошире, пошире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны.

Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, искал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:
Холодный блеск ума,
Как беспощадный блеск кинжала:
Удар — закон.
Удар — конец.
Удар — и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинету. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи... Хм. Может, они, конечно, того... нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинету... Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: «Удар — конец. Удар — и все сначала». Что сначала: новый язвенник? Ничего... Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, что достало мудрости обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так — смешно и наивно — началась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку.

Если к пятидесяти годам не устать, как... лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подокошник. И заметно согревалось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!»

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу.

— Я понимаю, Николай Васильевич, — любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку, — я вас прекрасно понимаю. Да. Да!.. Пятнадцать листов!

«Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко — от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

— Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! — Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение — засмеялась беззвучно. — Я в долгу не останусь. До свиданья! Нет, не у нас, не у нас. Что вы все боитесь нас, как... не знаю. До свиданья — на нейтральной почве! В ресторане? — Анфас опять вся заколебалась. — Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего.

«Господи — весь юмор: «бу сделано», «лады», — удивился Солодовников. — И не жалко времени — болтать! Тут теперь каждая минута дорога».

— Ну-с, Георгий Николаевич... — Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

— Да здравствует листовое железо! — тоже весело сказал Солодовников, без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

— В смысле? — спросила та.

— В смысле: у нас будет самодельный холодильник. — Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача... Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно.

— Начал писать работу, Анна Афанасьевна. «Письма из глубинки. Записки врача».

Это как-то случилось само собой — эти «Письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это

не «удар — закон». Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев из операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к другу «Н». Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника — глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, — и — легко, вскользь — весна... Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения... Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача... Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач... Которая, прочитав «Записки» в рукописи, скажет, удивленная: «Прямо как роман!» — «Ладно, а как врачу вам это интересно?» — «Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!» — «А за себя... не в обиду на автора?» — «Да нет, чего обижаться? Все правда».

— Что, Анна Афанасьевна?

— Уже начали писать? — спросила Анна Афанасьевна. — Записки-то. Поэтому и опоздали?

— Поэтому и опоздал, — Солодовников обиделся на главврача: солдафон в юбке, одно листовое железо в голове. — Извините, — сухо добавил он, — больше этого не случится. — Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все, — подумал он. — Хватит. Пора кончать эти... ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.

— Какой-то вы сегодня странный.

— Что с этим язвенником, с трактористом? — спросил Солодовников. — Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

— Зубова? Здравсте, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

— Почему?

— Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?

— Да, да, — вспомнил Солодовников. — А эта девушка с мениском?

— С мениском лежит. Хотите оперировать?

— Да, — твердо сказал Солодовников. — Сегодня же. Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника

долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее — как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.

— Так, — молвила Анна Афанасьевна. — Ну, что же... Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа... Причем, это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске.

Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился:

— Хорошо.

Первая глава в «Записках» будет... о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

— Что все-таки с вами такое? — опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. — Серьезная любовь?

Солодовников, в свою очередь, с любопытством посмотрел на главврача.

— Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле...

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно...

— Что происходит? Не понимаю...

— Не во дворе у нас, вообще на земле.

— Война во Вьетнаме...

— Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

— Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

— Разрешите идти? — Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

— Разрешаю.

Солодовников вышел в коридор... Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно

наступил на пятно, постоял... «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: «Началось мое время. Сдвинулось!»

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал:

«Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: «Что происходит на земле?» Анфас честно выглянула в окно... Подумала и сказала: «Война во Вьетнаме». — «А еще?» Она не знала. А на земле была Весна.

Это — начало первой главы «Записок». Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время начало работать на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет:

«Фоме неверующему — за добро и науку. Автор».

Вот и все. Ну а теперь — листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, пока не было.

— Вы, это, захайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от сельпа в горку, а вы...

Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу».

Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась; как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтоб раскинуть ее и развалиться на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше... И тут услышал сзади злой крик:

— Эт-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руке березовый колышек.

— Я хотел под бок себе... — поспешно сказал Соло-

довников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. — Немного — вот столько под бок хотел положить...

— А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот... Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой...

— Я врач ваш! — совсем испуганно воскликнул Солодовников. — Мне немного надо-то было... Господи, из-за чего шум?

— Врач... — Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. — Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездют.

Мужик явно теперь узнал врача, но оттого, что он тем не менее отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

— Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то... под бок немного. Не надо мне его! — Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что — со стороны посмотреть — вовсе глупо: шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.

— Возьми сена-то! — крикнул мужик. — Чего же пустой пошел?

— Да не надо мне вашего сена! — чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. — Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжам кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что «идиотизма деревенской жизни» никогда не было и, конечно же, нет и теперь. «Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было», — зло подумал он про писателя.

Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы «Записок». Только с юмором надо как-то... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь,

без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось Солодовникову), рассудительный... Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет... Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил:

— Вы дадите железо?

— А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

— Да, с каждым годом больше.

— Вот, — решил директор. — Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный — прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

— Но если человек хочет...

— Мало ли чего мы хотим! Я, может, хочу... — Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, «может, хочет». Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.

— Вот — на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете. Он небось с похмелья.

— Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать...

Директор махнул рукой.

— Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню — приезжайте.

— Зачем? — не понял Солодовников.

— Ну, лекцию-то читать.

— А при чем тут картина?

— А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь. Что?

— Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

— Не соберутся, — просто, без всякого выражения сказал директор. — Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

— Пятнадцать листов?! А где? У меня нету. — Он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача. — Откуда они у меня?

— Как же? — растерялся Солодовников. — Они же договорились...

— Кто?

— Главврач и ваш директор.

— Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет. — Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего, Солодовников никак не мог понять. — А то они шибко скоры: Морозов, выдай, Морозов, отпусти... А у Морозова на складе — шаром покати. Тоже мне, понимаешь...

— Как же быть? — спросил Солодовников.

— Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря», они приедут за ним. — Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак. И опять глянул на врача. — Простыл к черту, — доверительно, совсем не сердито сказал он. — Крутишься день-деньской на улице... Впору к вам ехать — лечиться.

Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться.

— Нет железа?

— Есть. Для других. Для вас — нету.

— А телефон тут есть где-нибудь?

— Зачем?

— Я позвоню директору. Что это такое в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа:

— А полегче, например, — это как, можно? Без гонора. Мм?

— Где телефон?! — крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости. — Я вам покажу гонор. И кое-что еще! Мы найдем железо... Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?

Морозов пошел под навес, снял со штабеля толь — там было листовое железо.

— Отсчитывайте пятнадцать листов, — спокойно сказал Морозов, — а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.

— Солодовников Георгий Николаевич.

Морозов записал.

— За субъекта... как вы выразились, придется ответить.

— Отвечу.

— Если всякие молокососы будут приезжать и обзывать...

— За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

— Ничего, ничего, — сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал.

Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.

Морозов стоял рядом, считал.

— Привет тете, — сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал.

Морозов закрывал только штабель. На Солодовникова не оглянулся.

Солодовников поехал с хорошим настроением... Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней, на железе — совсем холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.

«Вот так и надо! — удовлетворенно думал Солодовников. — В дальнейшем будет только так». Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но — то ли сани уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек — радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна, — стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна... Ну, весна, ну, что же теперь — козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились — компанией в пять-шесть человек — играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко... Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка... Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда,

вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот самый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять лет!

Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там называют без конца, а Анны Афанасьевны нету.

— Ну и что? Скажите, что ее нету.

— Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

— Больница. Солодовников... Она в районе. А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке. Спасибо... Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу... занят, а Анна Афанасьевна... не знаю, когда она придет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку... Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел... И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе — весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы — без пятнадцати три, можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук... Закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи... Здоровался со встречными — вежливо, с достоинством (он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

«Нет, в курносенькой что-то есть, — думал Солодовников. — Определенно что-то есть. Но, пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится — это при том, что неутомимая хохотушка. Бережет себя... Так — раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше».

ПЕТЯ

Двухэтажная гостиница городка «Н» хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кроватей, обильно пьет пиво...

Воскресенье. Делать нечего, я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей.

Он живет напротив, в длинном, низком строении; окно моего номера выходит к ним во двор.

Петя — маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть — вперед... Петя — это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю.

Сегодня с утра Петя засобирался в гости. Вышел часов в десять, отоспался — свеженький. С ходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крикнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладонками себя по загривку... Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так — в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах, — возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету, есть добрый слой раннего жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело: в субботу и в воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает — все бьет каких-то невидимых мошек, комариков... и разглядывает их. А то вдруг — ни с того ни с сего — шлепнет ладонью по груди и потом долго, блаженно растирает грудь.

— Лялька, полотенец! — кричит Пётя, кончив плескаться.

Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая. Громко, показушно уважает мужа.

— Слышь?!

— Оу?!

— Полотенец!

— Несу-у!

Петя, растопырив руки, в ожидании прохаживается вдоль высокой поленицы дров. Ходит он враскорячку. Мне кажется, это у него благоприобретенное, эта раскорячка. Подражает кому-то.

Лялька вынесла полотенце.

— Какую сорочку приготовить? Голубую или белень-

кую? — Лялька, фиксатая притвора, успевае зыркнуть глазами туда-сюда. — Я предлагаю голубенькую...

Петя не спеша вытирает руки, плечи... И думает.

— Голубую.

— Правильно. Она тебя молодит. — И опять глазами — зырк-зырк. О, эта Лялька видала виды.

Петя вытирает лицо; Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пузцо! Молодое, кругленькое — этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пузцо с ремня — пусть все видят, что человек живет в довольстве.

— Какие запоночки дать: с янтаря или серебрушки? — озабочена Лялька.

Петя опять некоторое время думает.

— С янтаря.

Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что Лялька — буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтоб все видели, как она уважает мужа, ценит. Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут: сокрытие какого-то ее греха? Игра в подкидного дурака?.. Не знаю, но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос шибает.

— Петя! — кричит она, высовываясь из окна. — Галстук будешь одевать? А то я его поглажу...

Петя опять в затруднении.

— Та-а... не надо, — говорит он.

— А почему? Он же тебе очень идет.

— Гладь.

— Какой, красный?

— Красный.

Лялька уходит гладить красный галстук.

Петя, по незабытой еще крестьянской привычке, трогает штaketник, патает. Кое-где поослабло. Петя останавливается и думает, глядя на штaketник, поглаживая себя правой рукой — от плеча к груди.

— Петь!.. — Лялька опять в окне. — Ты помнишь, как эта... вокруг тебя увивалась-то? «Петя, давайте я вам холодцу положу! Петя, вы летку-енку танцуете?» Лярва...

Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что — увивались.

— Она сегодня опять будет. Смотри, не сули ей ничего! Ей шиферу надо, лярве.

Петя протер толстой, короткой ладонью по волосам.

— Ты про кого?

— А эта... не знаю, как ее фамилия, знакомая Колмаковых. Все летку-енку-то танцует.

— А-а, — вспомнил Петя. — А чего она хочет?

— Шиферу.

— А в нос не хочет? — Петя смеется молча, весь: животик смеется — как-то прыгает, подбородок смеется, загривок — тоже смеется — напряженно лоснится и дрожит.

Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет, — мелко, часто и не смешно.

Отсмеялась и еще раз напоминает:

— Не сули, смотри, ничего. А то ты, выпимши, слабый.

— Я-то слабый? — Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый.

— А у Маковкиных-то в прошлом году — помнишь? — Лялька опять просыпает горсть бобов — смеется. — Отливали-то...

— Та-а...

— Не сули ей никакого шиферу! А то она сама же разнесет потом: «Мне Петя шиферу посулил!»

— Да ну, что я?..

Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток. Не спеша прибил штакетины. Постоял, поиграл молотком, — видно, разохотился поработать, решает, что бы еще прибить.

А Лялька то и дело высовывается из окна.

— Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще «Очи черные» были...

— А что?

— Где она?

— Не знаю. А что?

— Хочу взять ее. Может, споем. Чтобы она заткнулась со своей леткой...

— Нет, «Очи» нам не потянуть.

— Подпоем! Я вытяну.

— Не знаю... Там где-нибудь.

Петя подошел к крыльцу, еще постучал молотком.

— Нашла! Петь!..

— А?

— Нашла! Она сегодня заткнется... Я плечами трясти умею. Ты не видал?

— Нет.

— Счас... — Лялька на минуту исчезла... И вновь по-

явилась — в цветастой шали, брошенной на плечи. — Смотри! — И стала трясти плечами — по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась — туда-сюда. Смотреть неприятно.

— Не вывихни кости-то, — сказал он. — И поколебал животом — посмеялся.

— Получается? Петь...

— Получается.

Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы, отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то, анемичным честолюбием... Впрочем, я гадаю. Много я тут не понимаю.

— Петя!

— Ну?

— Тебе воды погреть — бриться?

Петя потрогал подбородок...

— Погрей.

— Погорячей сделать?

— Ну, так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?

— Какого Михеева?

— Из погребсоюза Михеев... Я ему еще обсадных труб тридцать пять метров доставал. С шампанским как-то приходил, ты еще шампанским-то подавилась, мы хотели долго...

— А-а, Михеев! Лысый такой?

— Ну. В пятницу звоню ему: мне надо было два гарнитура достать одному там — помоги, мол. Нет, говорит, у нас, говорит, ревизия недавно была... Поросенок. Ну ладно, думаю себе, я те сделаю в следующий раз, приткнешься.

Лялька прямо взвилась. Чуть из окна не вывалилась.

— Ты вот какой-то... Петя, ты пошто такой есть-то? Неужель ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, и пользуются... Сволочи! Ты будь маленько... это... Ты уж какой-то очень добрый. И для всех ты готов все достать, все сделать. В лепешку готов расшибиться! А они потом нос воротят, сволочи. Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!..

Петя принахмурился, отвернул голову... Вроде виноват. Виноват: добр без меры, без разбора. Глупо добр, а людишки этим пользуются. Вроде он все понимает, но...

— И обо всех у тебя душа болит, обо всех! Об себе

только не болит. На кой они тебе черт нужны? Гляди-ка, ночи мужик не спит — думает, думает!.. — Лялька поддала в голосе — это тем, кто во дворе, кто может слышать. — Весь прямо извелся, извелся мужик, а они... Гляди-ка чё есть-то!..

Эта сельская пара давно уж не смущается здесь, в большом муравейнике, освоились. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно. Стыдно. И злость берет.

Часам к трем Лялька и Петя выплывают из квартиры — пошли в гости.

Бывает так, что человек вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно, человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам — медленно, враскорячку — костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать: пуздо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой.

Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку... Ветерок дергает ее, она не отцепляется. Трепещет, шумит листочками...

Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора.

— Кака уважительна бабочка-то, — говорит старушка сама с собой, — цельный день только и слышать: «Петя! Петя!» Дружно живут, дай господи. Дружная парочка...

Поздно вечером Петя с Лялькой возвращаются.

Петя слегка того... отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой.

— Пойдем, Петя, Петенька! — зовет Лялька.

— Не хочу, — говорит Петя. — Не желаю.

— Петя!.. — чуть не плачет Лялька. — Я уж и так смучилась, ты вон какой тяжелый. Пойдем, Петенька. А? Пожалел бы меня... Пойдем, ненаглядный мой, ляжешь в кроватку — и баиньки, и баиньки. А?

— Не хочу, — гудит свинцовый Петя.

— Пойдем, Петенька. Ну-ка — от-теньки — поднялись мы с Петей, пошли, пошли, пошли-и. Ненаглядный ты мой!..

Кое-как увела Петеньку.

— Покуражился маленько и пошел, — понимающе го-

ворит старушка. — Славная парочка, дружная. Дай бог здоровья.

А меня вдруг пронизала догадка: да ведь любит она его, Лялька-то. Петю-то. Любит. Какого я дьявола гадаю сажу: любит! Вот так: и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает — все потому, что — любит. Ну, и... дай бог здоровья! А что?

САПОЖКИ

Ездили в город за запчастями... И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок. Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом поцелкал ногтем по стеклу прилавка, спросил весело:

— Это сколько же такие пипеточки стоят?

— Какие пипеточки? — не поняли продавщица.

— Да вот... сапожки-то.

— Пипеточки какие-то... Шестьдесят пять рублей.

Сергей чуть вслух не сказал: «О, ё!..» — протянул:

— Да... Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный они народ, продавщицы: продает обыкновенный килограмм пшеницы, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но... Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Правда, она их беречь будет... Раз в месяц и наденет-то — сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а — посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: «На, носи».

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить — надо

терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребяташки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: на работе или выпьешь с кем — все легче маленько, а ведь они с утра до ночи как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца «поторяли». Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего зря прибедаваться-то? Ходит, как все в деревне ходят... Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь — зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь — сорок пять лет уже — все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подойдешь к этой самой ямке, в которую надо ложиться, — а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки — возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты — чего-ничего, а надеть можно. А тут — один раз в жизни...

Сергей пошел в магазин.

— Ну-ка дай-ка их посмотреть, — попросил он.

— Чего?

— Сапожки.

— Чего их смотреть? Какой размер нужен?

— Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.

— Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

— Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ...

— Ну и нечего их смотреть.

— А если я их купить хочу?

— Как же купить, когда даже размер не знаете?

— А вам-то что? Я хочу посмотреть.

— Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть...

— Ну, вот что, милая, — обозлился Сергей, — я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

— А вы не хамите здесь, не хамите! Налют глаза-то и начинают...

— Чего начинают? Кто начинает? Вы что, поили меня, что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестящей подошве... Осторожненько запустил руку вовнутрь...

«Нога-то в нем спать будет», — подумал радостно.

— Шестьдесят пять ровно? — спросил он.

Продавщица молча, зло смотрела на него.

«О господи! — изумился Сергей. — Прямо ненавидит. За что?»

— Беру, — сказал он поспешно, чтоб продавщица поскорей бы уж отмякла, что ли, — не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. — Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:

— В кассу.

— Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. «Что она?! Сдурела, что ли, — так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку».

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. «Больная, наверно», — пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Смотрела на Сергея... Сергей опять посмотрел ей в глаза... Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

— Я прошу сапожки. Мои.

— На контроль, — негромко сказала она.

— Где это? — тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела на него.

— Где контроль-то? — Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. — А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, — женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся... Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

«О-о! — подивился он на себя. — Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит — вся изозлилась».

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке — что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда — спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза его оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку — безнадежно грустно.

— Ты знаешь, что у него персональная «Волга»?! — кричал Рашпиль (Витьку звали Рашпиль). — У их, когда они еще учатся, стипендия — сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!

— У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные — у этих... как их?.. У апостолов — не у апостолов, а у этих... как их?..

— Понял? У апостолов — персональные «Волги»! Во пень-то дремучий. Сам ты апостол!

— Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

— А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

— Он должен быть верующим.

— Когда оклад пятьсот рублей, можно верить. Я бы и то верил.

— Ты бы верил!..

Сергей не хотел ввязываться в спор, хоть мог поспорить: пятьсот рублей молодому попу — это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом... Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку — покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, поцелкал железным ногтем по подошве... И по-

лез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

— Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.

— Кому это?

— Жене.

Тут только все замолкли.

— Кому? — спросил Рашпиль.

— Клавке.

— Ну-ка?

Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. Только расшиперивали голенище и заглядывали в белый, пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

— Сколько же такие?

— Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.

— Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

— Во! — воскликнул Рашпиль. — Серьга... дал! Зачем ей такие?

— Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: «Половина мотороллера. Половина мотороллера». И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей — это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось: «Половина мотороллера».

— Она тебе велела такие сапожки купить?

— При чем тут велела? Купил, и все.

— Куда она их наденет-то? — весело пытали Сергея. — Грязь по колено, а он — сапожки за шестьдесят пять рублей.

— Это ж зимние!

— А зимой в них куда?

— Потом — это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду... У ей какой размер-то? Это ж — ей на нос только.

— Какой она носит-то?

— Пошли вы!.. — вконец обозлился Сергей. — Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

— Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

— Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего ба- зарить-то зря?

— Она тебе, наверно, резиновые велела купить?

— Резиновые... — Сергей всю злился. — Валяйте лучше про попа — сколько он, все же, получает?

— Больше тебя.

— Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают. — Сергей встал. — Больше делать, что ли, нечего?

— А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И все. И не надо так нервничать...

— Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаимы взял, или что... Сидит, курва, переживает, аж нос посинел.

— Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко...

— Иди свой нос приведи в нормальный вид.

— Пойдем вместе? Сапожки обмоем...

Еще немного позубатились и поехали домой.

Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

— Она тебе на что деньги-то давала? — спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. — На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

— Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со всеми вместе — отделился, пошел один. Домой.

Клавдя и девочки вечеряли.

— Чего это долго-то? — спросила Клавдя. — Я уж думала, с ночевкой там будете.

— Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да пока там их разделили по районам...

— Пап, ничего не купил? — спросила дочь, старшая, Груша.

— Чего? — По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет — дорого, лучше бы вместо этих сапожек... «Пойду тогда и брошу их в колодец».

— Ну, чего-нибудь. Ничего?

— Купил.

Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно — не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему... Ждали.

«Какой-то я не хозяин в доме получаюсь, — подумал в этот миг Сергей. — Прямо обмер сижу, язви тебя со всем. Чего уж так?»

— Вон, в чемодане. — Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так взволновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки... При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола... Заахали, заохали.

— Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?

— Тебе, кому.

— Тошно мнеченьки!.. — У Клавди с ноги полетел тапок. Она села на кровать, кровать заскрипела... Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло.

— Какой размер-то?

— Тридцать восьмой...

Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.

— И размер-то мой...

— Вот где не лезут-то. Голяшка.

— Да что же это за нога проклятая!

— погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.

— Да кого там! Видишь?..

— Да...

— Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!

Возбуждение угасло.

— Эх-х! — сокрушалась Клавдя. — Да что же это за нога! Сколько они?..

— Шестьдесят пять. — Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блестели слезы... Нет, она слышала цену.

— Черт бы ее побрал, ноженьку! — сказала она. — Разок довелось, и то... Эхма!

В сердце Сергея толкнулась непрошенная боль... Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены,

поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдия глянула на него... Встретились глазами. Клавдия смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, — как-то по-мужичьи озорно, протестки, но с достоинством и гордо.

— Ну, Груша, повезло тебе. — Она протянула сапожок дочери. — На-ка, примерь.

Дочь растерялась.

— Ну! — сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. — Десять хорошо кончишь — твои.

Клавдия засмеялась.

...Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на чистенькую табуретку у кухонной двери — курил последнюю папироску. Присел и сегодня... Курил, думал. Не думал, а еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.

Клавдия стелила в горнице постель.

— Ну, иди... — позвала она.

Он нарочно не откликнулся, — что дальше скажет?

— Сергунь! — ласково позвала Клава.

Сергей встал, загасил окурочок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: «Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, конечно. Не в сапожках. Дело в том, что...

Ничего. Хорошо.

ОБИДА

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно... Валяйте. Когда намаше-

тес театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но — к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной?» — дочери.

— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась маленькая девочка.

— В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем сходим.

— В кои-то веки! — сказала озабоченная «мамка». — Посмотрите там еще рыбу — нототению. Если есть, возьмите с полкило.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми — я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный отдел, а там, за прилавком — тетя.

Тетя была хмурая — не выспалась, что ли. И почему-то ей, тете, показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

— Ну, как — ничего?

— Что «ничего»? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю...

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика». Черт возьми совсем, где-то ты, Александр Иванович, уважаемый человек, а тут... Но он даже не успел и подумать-то так — обида толкнулась в грудь, как кулаком дали.

— Слушайте, — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. — Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась презрительно:

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да? И сколько плötют за такую работу? На работе он был! Да еще стоит рот разевает. «С похмелья!» Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почув-

ствовавал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже, когда и выпивал... И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери... Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — негибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке на ум.

— На месте, — спокойно сказала тетя.

— Где на месте? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? «Где директор»! Только и делов директору — с вами разговаривать! — Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей, которые постарше. — Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот директора — стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуги.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя... похая, — сказала Маша.

— Она не плохая, она... — Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что — при всех! — надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень отшагнул в сторону.

— Я не директор, — сказала другая тетя, в кабинете. — Я — завотделом. А в чем дело?

— Понимаете, — начал Сашка, — стоит... и начинает — ни с того ни с сего... За что?

— Вы спокойнее, спокойнее, — посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе... Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну, и что она?

— Ну, говорит, что я, мол, чего-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что же вы волнуетесь-то, если не вы натворили? Не вы и не вы — и все.

— Она же хамить начала! Она же обзывается!..

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

— Ну, пойдете, пойдете... что там такое — выясним, — сказала завотделом.

И завотделом, а за ней Сашка — появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между собой при больном — о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит, — Роза негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила, — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. Он, как этот... и трясся все утро, и трясся. Нервное желе, елки зеленые. А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимающе — кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а как говорят про дела известные, понятные, случающиеся тут чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел еще. А время вышло. Он — требовать...

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко...

— Слушайте! — вмешался опять в их разговор Сашка. — Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в этом магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него, молчали.

— А вы начинаете тут!.. Да еще этот разговорчик — стоят, вроде им все понятно. А я и в магазине-то не был! Между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит там: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так? — повернулся Сашка к очереди. — Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит, — не был он в магазине! Вас тут каждый вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходят! — заговорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит — возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что — бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте, — сказали Розе из очереди. — Работайте спокойно, не обращайтесь внимания на всяких тут...

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие, — сказала Маша.

— Да, дяди... тети... — пробормотал Сашка. — Мгм... — Он думал, что бы сделать? Как поступить? Оставлять все в таком положении он не хотел. Не мог просто. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? С какой стати он выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить продавцу, чиновнику, хамоватому начальству?! Угодить во

что бы то ни стало! Ведь сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами! Пора же им и укорот сделать. Они же уже меры не знают...

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте, — двинулся к нему Сашка, — хочу поговорить с вами...

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине...

— Иди проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать... «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас... Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прощуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Зáговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее... Один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило то, что она, крохотуля, почему-то смолкла, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить лишь после того, и говорила, что дяди и тети — «похие», потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Чего-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя... Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине... Но тут же и расхотелось.

— А что, что случилось-то?

— Да ладно, ну их. Нахамили, и все. Что — редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке, в плаще. Ведь — мужик, долго жил... И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно. Но как же уж так

надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Сашка часто видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив... Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверно, знают...

«Схожу! — решил Сашка. — Поговорю с человеком. Объясню, что правда же, эта дура обозналась — не был я вчера в магазине, зря он так — не разобравшись, полез вступаться... Вообще поговорю. Может, он одинокий какой».

— Пойду сигарет возьму, — сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина!

— Забыл.

— Посмотри, может, мясо ничего? Если плохое, не бери — для ребятишек. Не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь.

— Ладно.

...Один парнишка узнал по описанию:

— Из тридцать шестой, Чукалов.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

— Не пугайтесь, пожалуйста, — сразу заговорил Сашка, — я хочу объяснить вам...

— Игорь! — громко позвал Чукалов. Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить...

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился... Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти — вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и скорой, радостно-скорой расправой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защебил с рукавом рубашки.

— Игорь!

— Что? — Вышел Игорь, наверно, сын, тоже с тем-

ными, чуть влажными глазами. Здоровый, разгоряченный завтраком, важный.

— Вот этот человек нахамил мне в магазине... Хотел избить. — Чукалов все держал Сашку за рукав, а обращался к сыну.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я ж не убегу, — попросил Сашка. И улыбнулся. — Я ж сам пришел.

— Пусти его, — велел Игорь. И вопросительно, пыливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело, — как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку. — Нахамили-то мне, а ваш отец...

— А мой отец подвернулся под руку. Так?

— Да почему?

— Специально дожидался меня у магазина... — подсказал старший Чукалов.

— Мне было интересно узнать, почему вы... подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро. Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал, — раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то короткое время постоял он на лестнице... И быстро пошел вниз, побежал. В прихожке у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти... Если откроет Игорек, еще лучше — проще. Вст, довозмущался! Теперь бегай — унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы и не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Ах, славнецкий был отпуск с лестницы!.. Умеет этот Игорек, умеет... тварь поганая. Деловой человек, хорошо кормленный.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена — простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми —

с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть... Остановился. Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно.

— Что?

— Ты опять захотел?! Тебе опять нейдет?! Чего ты затеваешь, с кем поругался?

— Ты чего?

— Какие дяди? Мне Маша сказала, какие-то дяди. Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся — я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь... Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо — через все — проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога, — взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. — Пойдем домой, там малышки ждут... Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай. — Вера взяла мужа за руку. — Неужели тебе нас-то не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы... Он нахмурился. Сердито кашлянул. Достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходят. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку...

И покорно пошел домой.

Эх-х... Трясуны мы, трясуны!

ХМЫРЬ

Ехали в курортном автобусе по живописным местам. Все смотрели в окна, любовались пейзажем... А двое, на заднем сиденье, совершенно не интересовались пейзажем, а интересовались друг другом.

Начал проявлять интерес мужчина, бесцветный, курносый, стареющий хмырь... Такие, курносые, с круглыми глазами, попадая на курорт, чудом каким-то преодолевают врожденную робость, начинают сыпать шутками-прибаутками, начинают приставать к молодым женщинам, и все громко, самозабвенно, радостно. Они считают, что на курорте так надо. Можно представить, как смутился бы этот, на заднем сиденье, если бы ему сейчас сказали: «Слушайте, это же глупо, скучно, пошло». Но... робким везет: не попал же он на такую! Хмырь, будем его так называть для ясности, хотя вообще-то он не хмырь, так вот Хмырь был, наверно, убежден, что все у него выходит остроумно, весело, непринужденно. Эта, на заднем сиденье, понимала все именно так. Эта... назовем ее молодая Здравячка, эта от души кокетничала, хихикала, может, даже волновалась. Такие обычно стоят на обочине трактов, на станциях, здоровые, не то что глупые, но... не интеллектуалки, смотрят на проезжающие машины, поезда и чего-то терпеливо ждут. Даже не тоска у них на лице, а спокойное ожидание. Может, и ждут-то вот такого вот, когда с ней громко, прилично станут шутить, когда она сможет, наконец, показать, что она тоже умеет шутить и тоже может нравиться.

Хмырь начал с того, что пересел к ней с переднего сиденья. Прошел он по проходу автобуса прямо к ней, не скрывая того, а, напротив, как бы говоря своим веселым видом: «Пошел охмурять. Следите». Сел.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказала Здравячка, немного удивившись.

— Почему в одиночестве?

— Почему?.. Я смотрю.

— Так это без толку — так смотреть. Красивые места надо, знаете, смотреть вместе с кем-нибудь... — Хмырь поначалу еще пулял туда-сюда взгляды — все приглашал посмотреть, как он охмуряет. Но Здравячка так легко, охотно пошла навстречу соблазну, что Хмырь, удивленный и обрадованный, перестал обращать внимание на других. Скоро им обоим стало хорошо.

— Нет, вы говорите неправду.

— В чем же это я говорю неправду? Докажите.

— Спорим.

— Хи-хи-хи... Спорим. На что?

Хмырь секунду, две, три думал... И завернул:

— На американку.

— Как это?

— Кто проиграет, тот... В общем, если я выпорю, я что хочу, то и делаю, если вы, то вы. — Тут Хмырь, несколько опалелый от собственной дерзости, посмотрел на всех, но как-то смутно, неопределенно. — Ну?

— Ох, вы какой!

— А что? Ну что? Что? Боитесь?

— Ничего я не боюсь!

— Боитесь, боитесь. Эх вы!..

— А чем вы докажете?

— Чего «докажете»?

— Что одиноким хуже.

— Нет, давайте на американку, тогда докажу.

— Ох вы какой!..

— Ну какой? Какой? Я обыкновенный, но одиноким хуже, я вам докажу. Давайте?

— Нет, вы так докажете.

— Нет, так неинтересно. Так... чего так? А вот давайте на американку.

— А что вы сделаете?

Этот паша на заднем сиденье опять некоторое время думал. Он даже завозился на месте.

— Что я сделаю? Что я сделаю?

— Ну?

— Не скажу.

— Нет, скажите. А то так...

— А что «так»?

— Так опасно.

— Да ничего не опасно!

— Нет, докажете просто так, без американки.

— Только на американку.

Хмыря уже ненавидели в автобусе. Один какой-то старенький интеллигентный ревматик сказал себе и соседу рядом, огромному мужчине с юбилейной медалью:

— Прямо максималист какой-то: все или ничего.

— А?

— Да вон... максималист сидит.

— Он не максималист, какой максималист. Он прохвост. — Огромный мужчина не оглянулся на заднее сиденье. — Таких учить надо.

— Бесполезно, — сказал старичок.

— И эта... дура... — Громадина с медалью качнул укоризненно головой.

А те двое, забыв все на свете, не чувствуя ненависти к себе, трещали и трещали. Хихикали. Играли.

— В кино идете сегодня? — шел дальше
Хмырь. — Мм?

— Иду.

— Идемте вместе?

— А что, вы один дорогу не знаете?

— Нет.

— Знаете... Притворяетесь только.

— Да не знаю, я серьезно говорю!

— Ой?..

— Неужели вам трудно дорогу показать?

— Хорошо, дорогу я покажу. А билеты будем отдельно брать. Да?

— Хорошо. Вы на какой ряд будете брать?

— Ишь вы какой!.. Хи-хи-хи!

Хмырь тоже счастливо рассмеялся:

— Какой?

— Хитрый.

— Не хитрый, а одинокий. Вот я вам и доказал, что одиночество — это плохо. Видите, я все средства пускаю, чтобы не быть одинокому.

— Я этому одинокому сегодня по шее дам, — тихо сказал огромный человек старичку.

— Не надо, что вы! — запротестовал старичок.

— Не здесь, не в автобусе, а когда приедем. Никто не увидит.

— Не надо. Зачем?

— Не могу слышать... Прямо тошнит.

Старичок потянулся к уху соседа и сказал, изумленный:

— Ей же нравится!

Огромный человек промолчал. Он не знал, что сказать на это.

— И потом, как вы ему по шее дадите? За что?

— За наглость. Что жену обманывает на курорте...

— Ну... это, знаете... Нет, нельзя. Что вы?!

— Он же прохвост!

— Нет, давайте так: я беру два билета, на себя и на одного моего знакомого товарища, и жду вас возле кинотеатра. Вы приходите... И мы проходим в зал и садимся вместе.

— Почему вместе?

— Да потому что нет у меня никакого товарища!

— Ишь вы какой!

Опять смех.

— О-о! — застонал громадный мужчина. — Уши вянут.

Старичок, его сосед, тихонько засмеялся.

Мужчина повернулся к нему, удивленный. Старичок уткнулся в ладони и хохотал. Отсмеялся и снова потянулся к уху удивленного соседа. Зашептал:

— Вы слушайте, слушайте — это же ужасно смешно.

— Что тут смешного? — тоже шепотом, серьезно спросил огромный человек.

— Да смешно! Что вы? Очень смешно, слушайте.

— Интересно, как это вас жена отпускает одного на курорт? — поинтересовалась Здравячка.

— А что? Вы не отпустили бы? Между прочим!.. — воскликнул Хмырь. — А как это вас муж одну отпускает?

— У меня нет мужа, поэтому меня никто и не задерживает. А вот как вас отпускают?

— По той же самой причине.

— По какой?

— Да по той же самой.

— Нет, по какой, по какой?

— Да по той причине, что у меня нет жены...

— Слушай, хмырюга!.. — повернулся назад огромный мужчина. — С кем это мы вместе на почте были, и кто давал жене телеграмму, чтобы денег выслала?

Хмырь даже как-то испугался... Растерялся и испугался. Взгляды всех присутствующих пригвоздили его к сиденью.

— Какую телеграмму? — спросил он.

— Да насчет денег, — жестоко выдавил большой мужчина. — Я еще сказал: «Уже?» — мол, запросил денег? Кто мне сказал: «Мы с ней договорились: я возьму только на дорогу, а потом она мне пришлет по почте»? Это не ты был?

Хмырь посмотрел на всех... И что-то такое увидел сильное, страшное, что молча, не взглянув на соседку, поднялся и пошел вперед, на свое место. Сел... Посидел, глядя прямо перед собой... Покашлял интеллигентно в ладонь, повернулся к окну и стал тоже, как все, внимательно смотреть на пейзаж. Шляпа его была ему несколько великовата и от тряски съезжала низко на лоб, некоторое время Хмырь смотрел в окно, приподняв кверху маленький, с нашлепочкой нос, он смешно торчал из-под шляпы... Потом Хмырь догадывался сдвинуть

пальцем шляпу назад, пока она снова не наезжала на глаза.

— Черт возьми!.. — с досадой, тихонько сказал старичок-ревматик огромному соседу. — А теперь его жалко.

— Кого? — не понял сосед.

— Да вон его... в шляпе.

Сосед посмотрел вперед... Хмыкнул. Сказал тоже шепотом, весело:

— Я ему еще по шее разок дам. Когда приедем. Чтоб он не врал тут.

Назад, на заднее сиденье, никто не оглядывался — стыдно, что ли, или жалко тоже. А старичок оглянулся... И тотчас отвернулся, поерзал немного и пристукнул кулачком по колену.

— Не надо, не надо было!.. Зачем? Пусть бы уж...

— Чего ты нервничаешь-то? — спросил большой мужчина.

— Не надо было! Зачем... помешали?

Большой мужчина, не скрывая удивления, смотрел на старичка.

— Ты что?

— Да ну вас! Теперь вот больно. Пусть бы уж... веселились, как умеют.

Большой мужчина ничего не сказал. Посмотрел на курного Хмыря, потом — осторожно назад... Пожал плечами. Он ничего не понял. И стал опять смотреть в окно — на пейзаж.

ХОЗЯИН БАНИ И ОГОРОДА

В субботу, под вечерок, на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал. Курили. Было тепло, тихо. По деревне топились бани: пахло горьковатым баннным дымком.

— Кизяки нынче не думаешь топтать? — спросил тот, который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластый, смуглый.

— На кой они мне... — лениво, не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там

не высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал.

- А я не знаю, что делать. Топтать, что ли...
- Наплавь из острова да топи.
- Не знаю, что делать... Может, правда, наплавить.
- Конечно.
- Ты будешь плавить?
- Я, может, угля куплю. Посмотрю.
- Наверно, наплавлю. Неохота этими киззяками заниматься.

Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу окурок, затоптал. Посмотрел задумчиво в землю и поднял голову...

— Хопь расскажу, как меня хоронить будут? — Чуть сощурил глаза в усмешке, но, видно, поговорить собрался серьезно.

— О! — удивился сухой, смуглый. — Ты что?

— Хопь?

— А чего ты... помирать-то собрался?

— Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут. Рассказать?

— Во, елки зеленые! Мысли у тебя. Чего ты? — еще спросил тот, помоложе.

— Значит, будет так: помер. Ну, обмыли — то, се, лежу в горнице, руки вот так... — Рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно, в маленьких умных глазах его мерцала веселинка. — Жена плачет, детишки тоже... Люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь: «Интересно, позовут на поминки или нет?»

— Ну, слушай! — обиделся смуглый. — Чего уж так?

— Я в шутку, — сказал рассказчик. И продолжал опять серьезно: — Ты будешь стоять и думать: «Чего это Колька загнулся? Когда-нибудь и я тоже так...»

— Так все думают.

— Жена будет причитать: «Да родимый ты наш, да на кого же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный». Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, так начинают: «сокол», «голубь»... Почему так?

— Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают: «ноженьки», «рученьки», «головушка». «Ох, да отходил ты своими ноженьками по этой горенке». А у кого есть сорок пятый размер — тоже ноженьки!

— Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким.

— Ну а дальше?

— Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за шестьдесят рублей. Тут, значит, скинутся: тридцать рублей сама заплатит, тридцать — с моих выжмет. А на кой он мне черт нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу.

— Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с оркестром, другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить...

— Во, я и говорю: кто про что, а ты про поминки. — Рассказчик засмеялся негромко.

Молодой не засмеялся.

— Но когда сядут и хорошо помянут — поговорят про покойного, повспоминают — это же дороже, чем один раз пройдут поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь: «На кой он мне?»

— Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо показать, что они... уважали покойного, ценили. Значит, им никаких денег не жалко...

— Не жалко! Что, у твоей жены шестьдесят рублей не найдется?

— Найдется. Ну и что?

— Чего же она будет с твоей родни тридцать рублей выжимать на оркестр? Заплати сама, и все, раз уважаешь. Чего тут скидываться-то?

— Я же не скажу ей из гроба: «Заплати сама!»

— Из гроба... Они при живых-то что хотят, то и делают. Власть дали! Моей девчонке надо глаза закапывать, глаза что-то разболелись... Ну, та плачет, конечно, когда ей капают, — больно. А моя дура орет на нее. Я осадил разок, она на меня. А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет, я не могу.

— Но капать-то надо.

— Да капать-то капай, зачем ругаться-то на нее? Ей и так больно, а эта орет стоит «не плачь!». Как же не плакать?

— Да... — Николаю, рассказчику, охота дальше рассказать, как его будут хоронить. — Ну, слушай. Принесли на могилки, ямка уже готова...

— Ямку-то я копать буду. Я всем копаю.

— Наверно...

— Я Стародубову Ефиму копал... Да не просто одну могилку, а сбоку еще для старухи его подкапывал. А они

меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать: я любил старика. И не позвали. Понял?

— Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью, чего они тут знают: кто копал, кто не копал...

— Те не знали, а что, некому подсказать было? Старуха знала... Нет, это уж такие люди. Два рубля суют мне... Хотел матом послать, но думаю, горе у людей...

— А кто совал-то?

— Племянница какая-то Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распорядилась тут похоронами. Подавись ты, думаю, своими двумя рублями, я лучше сам возьму пойду красненькой бутылку да помяну один. Я уважал старика...

— Так, а чего ты? Взял эти два рубля да пошел купил себе...

— Да я же не за деньги копал! Я говорю: уважал старика, мы вместе один раз тонули. Я пас колхозных коров, а он своих двух телков пригнал. И надумали мы их в Сухой остров перегнать — там трава большая в кустах и не жарко. Погнали, а его телка-то спибло водой. Он за телком, да сам хлебнул. Я кой старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащило. Из старика вода полилась, очухался он и маячит мне: телка, мол, спасай, я ничего...

— Спасли? Телка-то.

— Спасли. Хороший был старик. Добрый. Мне жалко его.

— Я его мало знал. Знал, но так... Он долго хворал?

— Нет. У него сперва отнялись ноги... Его в больницу. А он застеснялся, что там надо нянечку каждый раз просить... Заталдычил: «Везите домой, дома помру». Интеллигент нашелся — няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад.

— Ну, каждый раз убирать за имя — это тоже...

— А как же теперь? Он и так уж старался поменьше есть, молоком больше... Но ведь все же живой пока человек. Как же теперь?

— Оно конечно.

— Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще...

— Его без оркестра хоронили?

— Какой оркестр! Жадные все, как... Сын-то инженером работает, мог бы... Ну, копейка на учете.

— Да старику-то, если разобраться, на кой он, оркестр-то? — сказал рассказчик, хозяин бани.

— А тебе?

— Чего?

— Тебе нужен?

— И мне не нужен.

— Никому не нужен, но все же хоронят с оркестром. Не покойник же его заказывает, живые, сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. Жадные.

— Бережливые, — поправил хозяин бани.

Смуглый посмотрел на рассказчика... Понимающе кивнул головой.

— Вот и про себя скажи: я не жадный, а бережливый. А то — «не надо оркестра, я его все равно не слышу». Скажи уж: денег жалко. Чего рассусоливать-то? Я же вас знаю, что ты, что Кланька твоя — два сапога пара. Снегу зимой не выпросишь.

Рассказчик помолчал на это... Игрнул скулами. Заговорил негромко, с напором:

— Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты, недолго думая, пошел к соседу мыться. Я бы сроду ни к кому не пошел, пока свою бы не починил... И ты же ходишь прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный. Какой же я жадный: ты пришел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю: иди мойся. И я же жадный! Привыкли люди на чужбинку жить...

Иван достал пачку «Памира», закурил. Усмехнулся своим мыслям, покачал головой.

— Вот видишь, из тебя и полезло. Баню пожалел...

— Не баню пожалел, а... свою надо починить. Что же вы, так и будете по чужим баням ходить?

— Ты же знаешь, мне не на чё пока тёсу купить.

— Да у тебя сроду не на чё! У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у тебя чуть завелось лишка, ты их скорей торопишься загнать куда-нибудь. Баян сыну купил!.. Хэх!

— А что тут плохого? Пускай играет.

— Видишь, ты хочешь перед людьми выщелкнуться, а я, жадный, должен для тебя баню топить. На баян он нашел денег, а на тёс — нету.

— М-да-а... Тьфу! Не нужна мне твоя баня, гори она синим огнем! — Иван поднялся. — Я только хочу тебе сказать, куркуль: вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут. Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди... Понял?

«Куркуль» не пошевелился, только кивнул головой, как бы давая понять, что он понял, принял, так сказать, к сведению.

— Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды.

— Как это?

— Морковка у меня в огороде хорошая — ему глянется...

— Врешь ведь? — не поверил Иван.

— А спроси у него. Еще спроси: как ему та хворостина? Глянется, нет? И скажи: в другой раз не хворостину, а бич конский возьму... — Сидящий снизу нехорошо, зло глянул на стоящего. — А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в основном. А чужая кобыла, знаешь, лягается. Так и передай своему баянисту.

Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал.

— Да-а, — сказал он, — такой, правда, за две морковки изувечит.

— Свою надо иметь. Мои на баяне не умеют, зато в чужой огород не полезут.

— А ты сам в детстве не лазил?

— Нет. Меня отец тоже на баяне не учил, а за воровство руки выламывал.

— Ну и зверье же!

— Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму. Так уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом...

— Тьфу! — Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко: — Вот тебе-то я ее не буду копать! И помянуть не приду...

Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными, презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче сказать. Сказал:

— Придешь. Там же выпить дадут... как же ты не придешь. Только позвали бы — придешь.

— Нет, не приду! — серьезно, с угрозой сказал Иван.

— А чего ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу. Переживу, Ваня, не горюю.

— Куркуль.

— Иди музыку слушай. Вальс «Почему деньги не ведутся». — Хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду.

ГЕНЕРАЛ МАЛАФЕЙКИН

Мишка Толстых, плотник СМУ-7, маленький, скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей восвояси. От братца-ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни... Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой, в Москву.

К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали: «Поедем, тогда получите простыни». Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. И заснул.

Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорил больше как раз этот, знакомый, голос. Мишка прислушался.

— Не скажите, не скажите, — негромко говорил голос, — не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело: вызываешь его, подлеца, в кабинет: «Ну, что будем делать?» Молчит. «Что будем делать-то?!» Молчит, жмет плечами. «Будем продолжать в том же духе?» Гробовое молчание.

— Это они мастера — отмолчатся, — поддержал другой голос, усталый, немолодой. — Это они умеют.

— Что вы! Молчит, как в рот воды набравши. «Ну долго, — спрашиваю, — будем в молчанку играть?»

Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу: Семена Иваныча Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Иванычем Мишка один раз вместе халтурил: отделявали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, десять слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал: «У меня грудь болит с вами трепаться». Но этот, внизу, это, конечно, не Малафейкин... Но до чего похож голос. Поразительно.

— «Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю! — говоришь ему. — Выведешь ведь из терпения — выселю!» — «Не надо», — просит. — «А-а, открыл рот!.. Заговорил?»

— Случается, выселяете?

— Мало. Их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать?

— Господи!.. Да нам полно людей требуется!

— А вы что там с ними будете делать? Самогон варить?

Двое внизу начальственно — негромко, озабоченно — посмеялись.

— Да-а... У нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?

— Да как... Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь — обожаю, между прочим, на огонь смотреть, — а из огня на тебя... какое-нибудь мурло смотрит. «Господи, — думаешь, — да отстанете вы от меня когда-нибудь!»

— Как это — смотрит? — не понял другой, усталый собеседник. — Мысленно, что ли?

— Ну, насмотришься на них за день-то... Они и кажутся где попало. У вас дача каменная?

— У меня нету. Я, как маленько посвободнее, еду в деревню к себе. У меня деревня рядом. А у вас каменная?

— Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи — удобно. Знаете, как ни устанешь за день, а приедешь, затопишь камин — душа отходит.

— Своя?

— Дача-то?

— Да.

— Нет, конечно! Что вы! У меня два сменных водителя, так один уже знает: без четверти пять звонит: «Домой, Семен Иванович?» — «Домой, Петя, домой». Мы с ним дачу называем домом.

Мишка наверху даже заворочался — рассказчика-то тоже Семеном Ивановичем зовут! Как Малафеев. Что это?

А Семен Иванович внизу продолжал рассказывать:

— «Домой, — говорю, — Петька, домой. Ну ее к черту, эту Москву, эту шумиху!» Приезжаем, накладываем дровец в камин...

— А что, никого больше нет?

— Прислуги-то? Полно! Я люблю сам! Сам накладываю дровец, поджигаю... Славно! Знаете, иногда думаешь: «Да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки?.. Жил бы вот так вот в деревне, топил бы печку».

Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся.

— Что, не верите? — негромко воскликнул Семен Иваныч, тоже, наверно, улыбаясь. — Я вам точно говорю: бросил бы, все бросил бы!

— Что же не бросаете?

— Ну... Все это не так просто, как кажется. А кто позволит?

— То-то и оно, — вздохнул собеседник. — Я тоже, знаете...

— Наоборот, предлагают повышение. Ну, думаю, нет: у меня от этих дел голова кругом. Спасибо.

— Сейчас, наверно, на этом совещании были, в связи с... Я что-то такое краем уха...

— Нет, я по другим делам. Там у нас хватает... А как же, и отдыхаете у себя в деревне? И летом?

— Почти всегда. Уезжаю к отцу — рыбачим...

— Нет, я в санаториях.

— Где? В Кисловодске?

— И в Кисловодске.

— В основном корпусе?

— Нет, у нас там свой корпус есть.

— Где?

— Не доезжая Кисловодска...

— Где же? Я там все окрестности излазил.

Семен Иваныч посмеялся.

— Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно.

Помолчали.

— За забором, — пояснил Семен Иваныч.

— А-а... — неопределенно как-то сказал усталый собеседник. И опять замолчал.

Семёна Иваныча это молчание как будто обеспокоило.

— Скучновато только, честно говоря, — продолжал он. — Ну буфет: шампанское, фрукты, пятое-десятое... Не в этом же дело! Надоедает же.

— Конечно, — опять очень неопределенно сказал усталый. — Я ничего не имею... Фильмы демонстрируют?

— Ну!.. Но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой... с голяшками... Не уважаете? — Семен Иваныч неуверенно посмеялся. — Интересно вообще-то!

Собеседник никак не откликнулся на это. Молчал.

— А? — спросил Семен Иваныч встревоженно.

— Что? — сказал собеседник.

— Не уважаете с голяшками?

— Да я их... это... я их мало видел.

— Ну что вы! Это, знаете, зрелище! Выйдет такая... черт ее... вот уж она виляет, вот виляет своим этим... Любопытно. Нет, это зрелище, зрелище, чего ни говорите.

— Совсем голые?

— Совсем!

— А как же... разве у нас снимают такие фильмы? Семен Иваныч без опаски, с удовольствием засмеялся.

— Это ж не наши. Это отсюда.

— А-а, — сказал собеседник. — Там — да... Конечно.

— Нет, умеют, умеют, черти. Ничего не скажешь. Но, знаете, что я вам про все это скажу: красиво!

— Я ничего! — испуганно сказал собеседник.

— Но в душе, наверно, осудили меня.

— Я? Да почему!..

— Осудили, осудили... Не осуждайте. Не торопитесь. Не завидуйте Семену Иванычу... Вы же не видите, как Семен Иваныч потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело... С вами можно откровенно?

— Да зачем? — торопливо, без всякой усталости сказал собеседник. — Я прекрасно понимаю. Мне самому приходится...

— О, разумеется! Разумеется, вам тоже приходится недосыпать, недоедать... Ах мы, бедненькие! А потом отвернемся и пальцем покажем: генерал, пузо отвесил. Вы видели у меня пузо?

— Да нет, почему?! — Собеседник явно растерялся. — Я как раз ничего не имел... Дело же не в этом...

— А в чем? — жестко спросил Семен Иваныч.

— Ну как?

— Как?

— Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем.

— Да что вы говорите! Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все?

Собеседник молчал.

— А? — переспросил Семен Иваныч. Непонятно, почему он рассердился.

Собеседник молчал.

— Что, молчим? Тоже молчим?

— Слушайте!.. — Собеседник, чувствовалось, привстал. — В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете?

— Да упаси боже! — моментально искренне откликнулся Семен Иванович. — Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего?

— Ничего, конечно. Вообще-то, пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно?

— Приблизительно-то?.. Эх, оставил свои со светящимся циферблатом... Приблизительно часа два.

— Да, пожалуй. Надо, пожалуй, соснуть. Да?

— Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость... Прощались с товарищами. Да, спим.

И сразу замолчали. И больше не говорили.

Мишка не знал, как подумать: кто внизу? Голос поразительно похож на малафейкинский. И зовут Семеном Ивановичем... Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился... Был он тогда одинокий и так одиноким остался. Тихий, молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина старше его. С девочкой. Кто они Малафейкину — Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой: девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то не похоже, чтобы тут было что-то иное. Вот, в сущности, и весь Малафейкин. А генерал внизу... Нет, это совпадение. Бывает же так!

Мишка осторожно слез с полки, сходил в туалет, взобрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул.

Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу, у окошка, сидит... Семен Иванович Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет пятидесяти, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках — книгу читает в сторонке. Молчат.

Мишка заснул ночной разговор, хотел уж сказать сверху: «Здравствуй, сосед!» И вспомнил... И даже отпрянул вглубь. Оторопел. Полежал, повспоминал: может, приснился ему этот ночной разговор?

Пока он мучительно вспоминал, румяный человек, слышно, потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди:

— Кажется, подъезжаем. — Пошуршал какой-то бу-

магой на столе — газету, что ли, свернул, — встал и пошел из купе.

Мишка свесил вниз голову... Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафеекин, курносый, с маленькими глазами без ресниц, в галстук, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику — смотрел в окно.

— Привет генералу! — негромко сказал над ним Мишка.

Малафеекин резко вскинул голову... Встретились глазами. Маленькие глазки Малафеекина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались.

— О! — сказал Малафеекин неодобрительно. — Явились не запыхались... Откуда это?

Мишка молчал, смотрел на соседа — старался насмешливо.

— Чего это... разъезжаем-то? — даже как-то зло спросил Малафеекин. И быстро глянул на дверь.

Точно, это он ночью городил про каменные дачи и как он устал от наград и почестей.

— Чего эт ты ночью плел... — начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малафеекин быстро, испуганно повернулся к нему... И встал. И заговорил:

— Ну что, подъезжаем? — Суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове. — Да, уже. Уже Яуза. Так, так... — Потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану.

«Во фраер-то!» — изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши Малафеекина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику. Только с большим любопытством наблюдал за ним сверху.

— Вы не в сторону центра едете? — спросил румяный пассажир. И почтительно посмотрел на Малафеекина.

— А? — встрепенулся Малафеекин. — Я? Нет, нет... Меня... Нет, в другую сторону.

— А то хотел присоединиться к вам.

— Нет, нет... Мне в другую.

— Нам в сторону Свиблова, — громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех.

— О, попутчик наш проснулся? — сказал румяный человек. — Доброе утро, молодой человек! Завидный у вас сон. А я в дороге плохо сплю. Ругаю себя: да отсыпайся ты, есть же возможность — нет, никак.

Мишка, улыбаясь, смотрел на Малафеекина.

— Нет, мне бы еще столько, пичего бы...

— Дело молодое.

Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор... Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор, подальше.

«Трусит — разоблачу, — понял Мишка. — На кой ты мне черт нужен!»

Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур.

Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом.

— Что, хватил вчера лишнего, что ли? — спросил миролюбиво. — Чего турусил-то ночью? Зачем?

— Отвяжись! — рывкнул вдруг Малафейкин. И покраснел как свекла. — Чего ты пристал?! Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал?! Чего пристал к человеку?!

На них оглянулись... Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала.

Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него.

Вместе сели в метро... Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего, тот милицию станет звать.

В вагоне Малафейкин осторожно огляделся... И напорлся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу... Малафейкин больше не оглядывался.

На выходе из метро, на эскалаторе, Мишка опять приблизился к Малафейкину... Заговорил на ухо ему:

— Ты не ори только, не ори... Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же... придурок: тоже строит из себя. Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим? А? Я серьезно спрашиваю.

Малафейкин молчал. Смотрел вверх, вперед.

— Вам что, легче, что ли, становится после этого? Малафейкин молчал.

— Зачем врал-то ночью мужику? А?

Как эскалатор изготовился столкнуть их — вышел на

прямую — Малафейкин стал искать глазами милиционера... Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке.

«Я тебя дома, во дворе, допеку», — решил.

Около дома, когда сошли с автобуса. Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал:

— Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи! — Прокричал так, повернулся и скоро пошпал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колол его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой... Не оглянулся ни разу.

Мишке чего-то вдруг стало жалко его.

— Звонарь, — сказал он негромко, сам себе. — Дача у него, видите ли. С камином, видите ли... Во звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют... Звонари.

И тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились.

ПИСЬМО

Старухе Кандауровой приснился сон: молится будто бы она богу, усердно молится, а — пустому углу: иконы-то в углу нету. И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня бог-то?»

Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему?.. Не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала посылки: кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но... Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда им, вечно они там заняты. А эта находила время... Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался: придет — молчит целыми днями... Костлявый какой-то. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить... Как лесина сухая. Дочь жаловалась на него матери.

Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны.

— И-и, матушка, — запела богомольная Ильичиха, — дак, а у тя иконка-то есть ли?

— Есть. Она, правда, в шифонере...

— Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее впотьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так?..

— Да жду своих. Катьку-то, сулились... А зять-то партейный, ну-ко да коситься начнет.

— Плюнь! Кому како дело? Нонче нет такого закону...

— Да закону-то нет, а... И так-то живут неважно, а тут я ишо...

— Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? У меня их вон сколь висит, кому како дело?! А ты ее в шифонер запытила! Бесстыдница.

— Да не ездит никто, оно и дела никому нет, — с сердцем сказала Кузьмовна. — Не все так-то живут. Ко мне люди ездют, я не одинокая.

— Знамо, татаркой-то не живу, — обиделась Ильичиха. — К ей люди ездют!.. Гляди-ка, наездили: раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкаф запытила! Ни стыда, ни совести у людей.

— Ты не кричи, чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то? Припадошная. Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать.

— Да вы вон нарожали их, а толку-то?

— Как это «толку»? Вот те раз! Да у меня же смысл был, я их растила да учила, старалась... А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Не-чего и злиться теперь.

— Это вы — наплодили их да поете ходите: «Ванька не пишет, Колька денег не шлет, окаянный...» Зачем тада и рожать? Лучше не рожать — не гневить бога после. Не было у меня условиев, я и не рожала. Не все подкулачники-то были... Куркули.

— Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где эт ты куркулей-то увидела?

— Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая. Мой же брат, Аркашка, заступился за вас. Забыла? А кому потом ваш отец три овечки ночью пригнал? Забыла? Короткая же у тебя память!

— А ты чё гордишься, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали.

А к двадцать девятому — они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока.

— А вы!..

— А вы!..

Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка: двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех враз сделают плохими — и живых, и покойных, всех.

Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно — сердце чует.

Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное.

«Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильич и ваши детки, Коля и Светычка, внучатычки мои ненаглядны. Ну, када жа вы приедете, я уж все глазыньки проглядела — все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночий худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумалась: может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаетесь. А чего же обижатца! Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, бывало, не слушались ихного совета, а потом жалели, но было поздно.

Ты подскажи своему мужу, чтоб он был маленько поразговорчивей, поласковой. А то они... Ты скажи так: Коля, что ж ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь. А то, скажи, спать поврозь буду!»

Старуха задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюдимого мужа... Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работающий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь...

«Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не пошла за твоео отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки,

одна работа на уме. А если так-то разобратся-то — пошто? Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да еслив его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, а человек — тем боле. Ты скажи, сам угрюмый ходишь, и, на тебя глядя, сын тоже станет задумыватца. Они, маленькие-то, все на отца глядят: как отец, так и они — походить стараютца. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то... Мне, мол, что, самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за мысли такие! — день-деньской думать и думать... Ты, скажи, ослобони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы, думал, думал — додумался: большим начальником сделался, а то так — сбоку припека. Чего уж тада и утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть — в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я, скажи, не кривая, не горбатая — сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон счас приоденусь да на танцы завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты — в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя нынче не чикаютца, это не старое время. Это раньше, бывало... Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы стречать будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранитный характер — вон тебе дверь, выметайся! Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку: еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без оглядки, ступеньки щитаает!»

Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зятек... Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь... Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть.

«Читай, зятек, почитай — я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь — помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты: нехорошо так,

чижало. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартира у вас хорошая, деточки здоровенькие... Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроюцца. Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не сердчай на меня, я же тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они... Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела, ребятишки по целой сниске чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадываюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте.

Целую вас всех. Баба Оля».

Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах... Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей.

Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли?.. О господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой. Вон там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился: там Ванька Кандауров сказал ей, чтобы выходила за него... Еще бы раз все бы повторилось! Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, такая жизнь была: работал мужик, не пил зряшно, не дрался — хороший. Квасов, тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там!.. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала...

Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда

слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом ко-
сынки, встала и пошла разбирать постель — поспать, а
там — еще день будет. Может, правда приедут — все
скорей.

— Старая! — сказала она себе. — Гляди-ко, ишо раз-
жить собралась!.. Видали ее!

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому
что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уж дергал
ветер. Мы, ребяташки, рады были дождю, рады были
отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно погля-
дывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей. —
Ему охота было домолотить скирду. Но... все уж собира-
лись, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добра-
лись, пустили коней и поужинали, густая синева небес-
ная напозла, но дождя не было. Налетел сильный ветер,
поднялась пыль... Во мгле трепетно вспыхивали молнии
и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. —
Ну-ка, Гришка... — дядя Ермолай искал глазами, я по-
пался ему. — Гришка с Васькой, идите на точок — там
почуете. А то как бы в такую-то ночь не подъехал кто
да не нагреб зерна. Ночь-то... самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали
мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гро-
за разыгралась вовсю; вспыхивало и гремело со всех сто-
рон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу.
Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горько.
Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая
огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды,
деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, — все как
будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглаты-
вала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто ог-

ромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в крошечной тьме грохотало.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.

— Давай, конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точкѣ, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше... И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. — Как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точкѣ-то?

— Все в порядке. А что?

— Ничего. Спрашиваю... Я посылал, я и спрашиваю. «А что?» — А сам все смотрит. Мне стало не по себе. — Зерно-то целое?

— Целое. — У Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?

— Да вы были там?! На точкѣ-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся... Хлоп-хлоп глазами.

— Как это «были»?..

— Ну да, были вы там?

— Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился:

— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под сусликом ночевали, а говорите — на точкѣ! Сгребу вот сейчас обоих да носом — в точкѣ-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?

— От... Ты чо?

— Где ночевали?!

— На точкѣ. — Гришка, видно, решил стоять на смерть. Мне стало легче.

— Васька, где ночевали?

— На точкѣ.

— Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило — что он, оказывается, был на току.

— Ну и что?

— Что?

— Ну и... мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже... Мы блудили.

— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай. — Где попозже-то?! Я там весь дождь переждал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

— Были...

Дядя Ермолай ошалел... Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони — отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.

— Были?

— Были.

Он схватил узду... Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам... жены злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!.. — Дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, может, не нашли — нет, в глаза смотрят и врут. Обормоты... По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

— Гришка, Васьк... сознайтесь: не были на точкѣ? По пять трудодней не сниму. Не были же?

— Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас... Потом позвал с собой.

— Идите суда... Идите, идите. Вот тут вот я от дож-

дя прятался. — Показал. И посмотрел на нас с мольбой: — А вы где же прятались?

— А мы — с той стороны.

— С какой?

— Ну, с той.

— Да где же с той-то?! Где с той-то? — Он опять стал терять терпение. — Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

— Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился...

— Ну ладно, ладно... Вы, может, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней... Где ночевали?

— На току.

— Да где на току-то!! — сорвался дядя Ермолай. — Где на току-то?! Где, когда я... У-у, обормоты! — Он искал глазами — чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду... Опять, наверно, всплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше.

Потом молотили. По пять трудодней он с нас не скинул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай ...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминую — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что́ был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно —

до отчаяния и злости — не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю ее с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их.

НОЛЬ-НОЛЬ ЦЕЛЫХ

Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он «в такое горячее время...». — «У вас вечно горячее время! Все у вас горячее, только зарплата холодная». Директор написал на его заявлении: «Уволить по собств. желанию». Осталось взять трудовую книжку.

За трудовой книжкой Колька и пришел.

Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович, средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда.

— Почему увольняешься? — Синельников устало смотрел на Кольку.

— Мало платят.

— Сколько?

— Чего «сколько»?

— Сколько, ты считаешь, мало?

— Шестьдесят-семьдесят... А то и меньше.

— Ну. А тебе сколько надо?

Кольку слегка заело.

— Мне-то? Три раза по столько.

Синельников не улыбнулся, не удивился такому начальству.

— Не хватало, значит?

— Не то что не хватало, а даже совестно: руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился, а... Тьфу! — Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. — Все.

— И куда?

— Счас-то? Ямы под опоры пойду рыть. На тридцать седьмой километр.

— Специальность в кармане, а ты — ямы рыть. Ты же водитель второго класса...

— А что делать?

— Водку поменьше пить. — Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.

Колька уставился в кроткие, неопределенного цвета глаза Синельникова. Пошевелил ноздрями и сказал (как он потом уверял всех) вежливо:

— Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штук.

— Каких это штук?

— Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел.

— И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел... Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят. — Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь... быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. — Глоты. И сосут, и сосут, и сосут-ут эту водку!.. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные.

Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы «глот», да еще «несчастный»... Нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились: как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать, и уж так — выговаривают что положено, но без всякой надежды.

— Да что за мать-перемать-то! — возмутился Колька. — Ты что... чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызть. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?

Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании; он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную, неизбежную критику.

— Продолжай.

— Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку.

— А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?

— За что? — растерялся Колька.

— За буйство. За недисциплинированность... Ма-аленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь

стандучешь... краковяк. — Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки.

— За что же ты мне пометочку сделаешь?

— Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Э-э, голубчик, а у тебя тут... Нет, скажут, нам таких не надо». И все. И отполучал ты по двести рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут... Дерьмо. — Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы — все сидел как в президиуме.

— Кто? — спросил Колька. — Как ты сказал?

— Чего «кто»?

— Я-то? Как ты сказал?

— Дерьмо, сказал.

Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось... Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек... Плеснул — так вышло. Синельников отнял руку от головы. Чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли... Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После того оглядел рубашку и брюки: пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало.

— Так... — сказал Синельников. — Выбирай: двадцать рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действием.

— Ты же первый начал оскорблять...

— Я — словами, никто не слышал, чернила — вот они, налицо. Причем химические. — И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек! — Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами... Двадцать пять рублей. — Синельников взялся за телефон. — Решай. А то звоню в милицию.

Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену.

— Почему двадцать пять-то? То — двадцать, а то сразу — двадцать пять. Еще посидим, ты до полста догонишь?..

— Пять рублей — это дорога в район: туда и обратно. Я сразу не сообразил.

— Что, по два с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет.

— На попутной я не хочу. Туда — на попутной, а оттуда — такси возьму.

— Фон-барон нашелся!.. «На такси-и»!

— Да, на такси. Что — дико?

— Не дико, а... на дармовщинку-то выдрючиваться — неужели не совестно?

— Ты меня чернилами окатил — тебе не совестно? Что же я — за свой собственный костюм на попутных буду маяться? Двадцать пять. Пиши.

— Чего?

— Расписку. — Синельников пододвинул Кольке лист бумаги.

Колька брезгливо взял лист...

— Как писать-то?

— Я, такой-то, — полностью имя, отчество, — обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу двадцать пять — прописью — рублей ноль-ноль копеек...

Колька зло усмехнулся, покачал головой.

— «Ноль-ноль копеек»!.. Командующий, мля!..

— Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В. М.

Колька остановился писать.

— Для чего же писать «умышленную»? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут... начнут придираться.

Синельников подумал.

— Ладно, пиши: за порчу костюма товарища... белого костюма товарища Синельникова В. М.

Колька пропустил слово «товарища», написал: «белого костюма Синельникова».

— Химическими чернилами...

Колька взял пузырек, посмотрел.

— Разве для авторучек бывают химические?

— А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем.

— Писатели, мля... — проворчал Колька.

— Подпись. Число.

Колька расписался. Поставил число. Синельников взял расписку.

— Сколько тебе под расчет причитается?

— А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь.

— После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой. Колька встал.

— Ты это... не говори никому, что... слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей... хаю не оберешься. Напиши чего-нибудь.

— Ладно.

Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Сивельников тоже посмотрел на него.

— Что?

— Хо-о, — сказал Колька. Качнул головой и вышел из кабинета.

В коридоре разок про себя матюкнулся.

«Четвертной — как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул». Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по двести — двести пятьдесят рублей... И успокоился. «Да гори они синим огнем! — подумал. — Жалеть еще...»

ПОСТ СКРИПТУМ

Чужое письмо

Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть только боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления.

Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным.

Вот оно:

«Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели — по известной тебе открытке: на коне, задавивши змею.

Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но

туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная! Я живу в люксе на одного под номером 4009 (4 — это значит четвертый этаж, 9 — это порядковый номер, а два нуля — я так и не выяснил). Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь — окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину... И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо — опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял, веревочки найдем — они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна: оно открывается снизу, а посередине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно, пока я ее не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думает. Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятым набросали с нее чертеж. Ее — пара пустяков сделать.

На шестом этаже находится буфет, но все дорого, поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм: берем в магазине колбасы и завтракаем и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтобы за собой ничего не оставляли. А сперва было заартачилась: надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедем в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: содрали у иностранцев. Да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Красногорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое: блеск и чистота. Вымоешься, спустишь

жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы сто лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки строем. Вообще, движение колоссальное.

Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам — лежит громадная зажигалка. Цена — 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь — куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчужка молодая... И вот она увивается перед иностранцами — и так и этак. Уж она и улыбается-то, она и показывает им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я говорю: дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята! Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою. А она опять к иностранцам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы... Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость: готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пива с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомиться с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть.

Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зеки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу: как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно: сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды — никто почесть не выдерживал. Вот додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятков наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей... Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло.

Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе, я уж не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре — ничего особенного: картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах — чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально. Показывали москвичи одну пьесу... Ох, одна артистка выдавала! Голосок у ней все как вроде ломается, вроде она плачет, а — смех. Со мной сидел один какой-то шкелет — морщился: пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого — это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что не обязательно — женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино: говорит быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу — голоском и манерами. Наверно, пляшет здорово, собака! Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров.

Михаил Демин.

Пост скриптум: вышли немного денег, рублей сорок: мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все».

Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменял.

А шишечка эта на окне — правда, занятная: повернешь влево — этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо — светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам поспрашивать: нет ли в продаже.

БИЛЕТИК НА ВТОРОЙ СЕАНС

Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.

Пил со сторожем у себя на складе (он был кладовщиком перевалочной товарной базы) — не брало. Не то что не брало — легче не делалось.

— С чего эт тебя так? — притворно сочувствовал сторож Ермолай.

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:

— Судьба-сучка... — И дальше сложно: — Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись... — Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» — много. Даже Ермолай изумлялся:

— Забрало тебя!

— Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.

— Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то... не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпророт.

Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть, детей выучил в институтах... Было время, гордился, что жить умеет, теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал... И не попался ни разу, паразит!»

— Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.

— Пройдет.

Не проходило.

В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось — там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно...

Тимофей думал: «Вот — жил, подошел к концу... Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так — обглоданный мосол под крыльцом — лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, — тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то,

то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком — рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут — как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Шел Тимофей, думал... И взял да свернул в знакомый переулочек. Жила в том знакомом переулочке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битые окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху, Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:

— Он к сударушке, а ты — со стяжком — под окошечки к им. Да по окошечкам-то, по окошечкам-то — стяжком-то...

Бывала в деревне такая любовь — со стяжками. Теперь лучше — разошлись, и все. Раньше годами лютовали.

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился — к Поле:

— Уйми сосуна!

А та вдруг залепила:

— Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На — выкуси.

Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились. И вместе смеялись над Тимохой.

— Как там сударчик-то мой поживает? — принародно спрашивала Поля.

Гутя смеялась:

— На печке — клопов давит.

Мстили, что ли.

Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.

Спроси сейчас Тимофея, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.

Поля удивилась.

— Вона!.. Вот так гость. Зачем это?

— А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот... — У Ти-

мофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. — Спомним былое...

— Было бы чего!

Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: «Она красивой-то и не была сроду». Стало вдруг жалко себя.

— Хошь, анекдот один расскажу?

— Вона!

— Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!» Как дикари, честное слово. Ну, зашел... Ну, и что? Глупые вы какие-то бабы, честное слово!

— Чего же ходите — к глупым-то?

— А где вас, умных-то, взять? Так и меняешь — шило на мыло.

— Небось ревизия была — злой-то?

— На меня еще такой ревизор не родился...

— Оно видно.

Тимофей выпил стакан — закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.

— Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице... А сам доходной-доходной — мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слышал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна — гладкая вся, тут — полна пазуха, вежливая. «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький — сама навялилась. Приходят. Она говорит: «Раздевайтесь, я счас приду». А сама — в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя».

Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. И подумал еще, что историйка поучительная.

— К чему эт ты? — спросила Поля.

Тимофей пояснил:

— Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах — живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб...

— Жил бы честно, никого бы и не боялся.

Это она больно уела.

Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.

— Не знаешь, кто это вот тут, — показал на кро-

вать, — честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?

— Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты...

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.

— Сказка про белого бычка у нас получается, Поля... Поля засмеялась.

— Чего смеешься? — спросил Тимофей.

— А чего мне не посмеяться?

— Не надо... Тебе не личит — зубы кривые.

— А ведь когда-то не замечал...

— Замечал, почему не замечал, только... Эхма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни — и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой...

— Вот змей-то! — изумилась Поля. — Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку — и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной... Умник!

Тимофей аккуратно надел на бутылку железенькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо наговорить бы гадостей.

Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит... Николай-угодник. По всем описаниям, по всем рассказам — вылитый Николай-угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.

— Ну, здравствуй, Тимофей, — говорит.

Тимофей глянул кругом... И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:

— Здорово, Николай-угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.

Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.

— Пьяненький?

— А — есть маленько! — с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. — С тоски больше... не обесудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил — чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький... А чего пришел-то?

Угодник поморгал ясными глазами... Опять посмеялся.

— С чего тоска-то?

— Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше — вот и тоска. В боженку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церкви позакрывали, матерщинничаем, блудим... Вот она и тоска.

— А ты веровал ли когда?

— Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.

— Сам-то не коммунист?

— Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал, — перед тобой-то чего лукавить! — но был у меня тесть — ни дна бы ему, ни покрывки! — его в тридцатом году раскулачили...

— Ну.

— Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда.

Угодник больше того удивился. Горько удивился.

— Ты что, Тимофей?

— Как на духу, батюшка! Дак ты чего пришел-то? К добру или к худу — как понимать-то?

Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.

— Чего пришел... Да вот попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то.

— Постояю! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?

— Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?

— Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так — заупрямился тогда, с колхозами-то, нашумел, натрепался где-то... Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был... мне бы в партию большевиков-то можно бы...

— И что же он, тесть-то?

— Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел — далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?

— Здорово испаскудился, — серьезно сказал Угодник.

— Совсем никудышный стал народ! — подхватил Тимофей. — Пьют, воруют... Я и то приворовываю на складе. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то — господи-господи, что делается!

— Приворовываешь?

— Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил — на какие бы шиши, так-то? Батюшка... — Тимофей весь собрался, подполз поближе. — Чего я тебя хотел попросить...

— Ну?

— Ты там к господу нашему, Иисусу Христу, близко сидишь... К деве Марии... Посоветуйтесь там сообща да и... это... Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцов обвожу вокруг пальца...

— Не пойму я.

— Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается, что прожил — родите-ка вы меня ишо разок. А?

Угодник опять невольно рассмеялся.

— То жалуется — тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха!

— Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! — Тимофей готов был заплакать злыми слезами. — Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то... хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! — да растереть, вот и вся моя жизнь.

— А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз...

— Перво-наперво я б на другой бабе женился. Про любовь даже в Библии писано, а для меня — что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи, — одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил — так и жена мне: кряхтишь, а посишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай — только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за

нее больше и приворожываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой — мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало... Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился. — Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника. — Тестюшку, например, своего я б тогда так законопатил, что он бы и по сей день там... За язычину его...

— Цыть! — зло сказал старичок. — Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился?

Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал:

— Гляди-ка, правда — тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял...

— Допился, сукин сын!

— Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего — знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться... А-я-я-яй.

...Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:

— Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе — билетик на второй сеанс! Ворюга...

А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял:

— Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-яй! Это ж надо так!

— Я тебя самого посажу, ворюга!

— Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?

— Вот, вот тебе — билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! Другой раз жить собрался!.. На-ка! — Тесть-Угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишкой, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.

— Подожду ведь...

Тесть-Угодник вытерся полотенцем и заплакал.

— Чего ты, Тимоха?.. Над старым-то человеком... Бесстыдник ты! Дешевка... Приехал к нему, как к доброму...

— В том-то и дело, что не знаю, — миролюбиво уже сказал Тимоха. — Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.

ДЕБИЛ

Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем — «Дебил». Дебил — это так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопаю. А потом это слово пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь — Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругались, тоже обзывала — Дебил. Анатолий психовал, один раз «приварил» супруге, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что Дебил — так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. «Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?.. Лапочка ты моя, синеокая ты моя... Свинцовой примочкой надо — глаз-то. Купить?»

Так довели мужика с этим Дебилем, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! Но... Не то что денег не было, а — не решался. Засмеют деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима — он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.

В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками — там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шляпу, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:

— Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тошно.

Анатолий спокойно спросил:

— Плохо ночь спали?

Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще па-

рочку «цивилизейшен» (так он про себя называл шляпы), погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:

— Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа — это продолжение человека. Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните. — Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он заметил: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Оглоеды, — подумал он про людской поток в целом. — Куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Можно же не торопиться».

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.

«Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попусту-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у вас сразу глаза на лоб. Туда же — обзывать-ся! А сами от фетра онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком пристегнул бы ее к челюсти — что тогда?»

На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки тупого психоза.

— Ой, умру! — сказала она с трудом.

— Схороним, — сдержанно обронил Анатолий, устраивая этажерку у изголовья кровати. Всем видом своим он являл непреклонную интеллигентность.

— Ты что, сдурел? — спросила жена.

— В чем дело?

— Зачем ты ее купил-то?

— Носить.

— У тебя же есть фуражка!

— Фуражку я дарю вам, синьорина, — в коровник ходить.

— Вот идиот-то. Она же тебе не идет. Получилось знаешь что: на тыкву надели ночной горшок.

Анатолий с прищуром посмотрел на жену... Но интеллигентность взяла верх. Он промолчал.

— Кто ты такой, что шляпу напялил? — не унима-

лась жена. — Как тебе не стыдно? Тебе, если по-честному-то, не слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а ты — шляпу. Да ты что?!

Анатолий знал лагерные выражения и иногда ими пользовался.

— Шалашня! — сказал он. — Могу ведь смазь замастырить. Замастырить?

— Иди, иди — покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться ведь будут!..

— Смеется тот, кто смеется последний.

С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не терпелось показать шляпу пошире, возможно, даже позволить кому-нибудь подержать в руках — у кого руки чистые.

Он пошел на речку, где по воскресеньям торчали на берегу любители с удочками.

По-разному оценили шляпу: кто посмеялся, кто сказал, что — хорошо, глаза от солнышка закрывает... Кто и вовсе промолчал — шляпа и шляпа, не гнездо же сорочье на голове. И только один...

Его-то, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он — это учитель литературы, маленький, ехидный человек. Глаза, как у черта, — светятся и смеются. Слова не скажет без подковырки. Анатолий подозревал, что это с его легкой руки он сделался Дебилом. Однажды они с ним повздорили. Анатолий и еще двое подрядились в школе провести заново электропроводку (старая от известки испортилась, облезла). Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот маленький попросил:

— А один конец вот сюда спустите: здесь будет настольная лампа.

— Никаких настольных ламп, — отвечив Анатолий. — Как было, так и будет — по старой ведем.

— Старое отменили.

— Когда?

— В семнадцатом году.

Анатолий обиделся.

— Слушайте... вы сильно ученый, да?

— Так... средне. А что?

— А то, что... не надо здесь острить. Ясно? Не надо.

— Не буду, — согласился учитель. Взял конец провода, присоединил к общей линии и умело спустил его к столу. И привернул розетку.

Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А когда учитель, довольный, вышел из учительской,

Анатолий вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздорили. Анатолий заявил, что «нечего своевольничать! Как было, так и будет. Ясно?». Учитель сказал: «Я хочу, чтобы ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете?» — «Потому, что... знаете? — нечего меня на понт брать! Ясно? А то ученых развелось — не пройдешь, не проедешь». Почему-то Анатолий невзлюбил учителя. Почему? — он и сам не понимал. Учитель говорил вежливо, не хотел обидеть...

Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, тот первым вежливо здоровался... и смотрел в глаза Анатолию — прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не нравились. Вредные глаза! Нет, это он пустил по селу «Дебила», он, точно.

Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок. На шаг оглянулся, поздоровался, скорей машинально... Отвернулся к своему поплавку. Потом опять оглянулся... Анатолий смотрел на него сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, с прищуром.

— Здравствуйте! — сказал учитель. — А я смотрю: тень какая-то странная в воде образовалась... Что такое, думаю? И невдомек мне, что это — шляпа. Славная шляпа! Где купили?

— В городе. — Анатолий и тон этот подхватил — спокойный, подчеркнуто спокойный. Он решил дать почувствовать «ученому», что не боги горшки обжигают, а дед Кузьма. — Нравится?

— Шикарная шляпа!

Анатолий спустился с бережка к коряжке, присел на корточки.

— Клюет?

— Плохо. Сколько же стоит такая шляпа?

— Дорого.

— Мгм. Ну, теперь надо беречь. На ночь надо в газетку заворачивать. В сетку — и на стенку. Иначе поля помнутся. — Учитель посмотрел искоса — весело — на Анатолия, на шляпу его...

— Спасибо за совет. А зачем же косяк давить? Мм?

— Как это? — не понял учитель.

— Да вот эти вот взгляды... косые — зачем? Смотреть надо прямо — открыто, честно. Чего же на людей коситься? Не надо.

— Да... Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду. Так... иногда почему-то хочется искоса посмотреть, черт его знает почему.

— Это неуважение.

— Совершенно верно. Невоспитанность! Учишь, учишь эти правила хорошего тона, а все... Спасибо, что замечание сделали. Я ведь тоже — интеллигент первого поколения только. Большое спасибо.

— Правила хорошего тона?

— Да. А что?

— Изучают такие правила?

— Изучают.

— А правила ехидного тона?

— Э-э, тут... это уж природа-матушка сама распоряжается. Только собственная одаренность. Талант, если хотите.

— Клюет!

Учитель дернул удочку... Пусто.

— Мелюзга балуется, — сказал он.

— Мули.

— Что?

— У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль — рыба такая. Ма-аленькая... Считаете, что целесообразней с удочкой сидеть, чем, например, с книжкой?

— Та ну их!.. От них уж голова пухнет. Читаешь, читаешь... Надо иногда и подумать. Также не вредно. Правда?

— Это смотря в каком направлении думать. Можно, например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, насолить теще...

Учитель засмеялся.

— Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову. Шляпа, знаете, округляет мысли. А мысль про тещу — это все-таки довольно угловатая мысль, с зазубринами.

— Ну, о чем же вы думаете? С удочкой-то?

— Да разное.

— Ну, все же?

— Ну, например, думаю, как... Вам сколько лет? — Учитель весело посмотрел на Анатолия. Тот почему-то вспомнил «Дебила».

— Сорок. А что?

— И мне сорок. Вам не хочется скинуть туфли, снять рубашку — и так пройтись по селу? А?

Анатолий стиснул зубы... Помолчал, через силу улыбнулся.

— Нет, не хочется.

— Значит, я один такой... Серьезно, сажу и думаю:

хорошо бы пройтись босиком по селу! — Учитель говорил искренне. — Ах, славно бы! А вот не пройдешь... Фигушки!

— Да... — неопределенно протянул Анатолий. Подобрал у ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель удит, покидал камешек на ладони и положил на место. И еще сказал непонятно: — Так-так-так...

— Слушайте, — заговорил учитель горячо и серьезно, — а давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся! Какого черта! Вместе. Я один так и не осмелюсь... Будем говорить о чем-нибудь, ни на кого не будем обращать внимания — и пройдемся. А вы даже можете в шляпе!

Анатолий, играя скулами, встал.

— Я предлагаю тогда уж и штаны снять. А то — жарко.

— Ну-ну, не поняли вы меня.

— Все понятно, дорогой товарищ, все понятно. Продолжайте думать... в таком же направлении.

Анатолий пошел вразвалочку по бережку... Отошел метров пять, снял шляпу, зачерпнул ею воды, напился... Отряхнул шляпу, надел опять на голову и пошагал дальше. На учителя не оглянулся. Пропел деланно беспечно:

Я ехала домо-ой,
Я думала о ва-ас;
Блестяща мысль моя и путалась и рвалась...

Помолчал и сказал негромко, себе:

— В гробу я вас всех видел. В белых тапочках.

ЖЕНА МУЖА В ПАРИЖ ПРОВОЖАЛА

Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей...

Проигрыш. Колька, смешно отключив зад, пританцовывает.

Тара-рам, тара-рам, тара та-та-ра... рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та...

Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

А сама потиховьку шептала:
«Унеси тебя черт поскорей!»
Тара-рам, тара-рам та-та-ра-ра...

Колька — обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льяным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

— Коль, «Цыганочку»!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбочив.

— Валю-ша, — зовет он, подняв голову. — Брось-ка мне штилеты — «Цыганочку» товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос — «по-тирольски», чем потешает публику.

— Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазом, хоть левой ноженкой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распаивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью над подоконник, свирепо говорит:

— Я те счас отреагирую — кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя... Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и немой, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него не похоже, и никто так не думает — просто дурачится парень, думают.

К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики, и парни.

— Какой размер, Коля?

— Фиер цванцихь — сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет... Пляшет он красиво, с остервенением. Враз стано-

вится серьезным, несколько даже торжественным... Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает «Цыганочке», где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки — каблучки, каблучки — носочки... Опять взвяхивает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы — Валя смотрит на своего «шута». Она тоже серьезна. Она тоже в плену исступленной, злой «Цыганочки». Три года назад этой самой «Цыганочкой» Колька «обаял» гордую Валию, больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк-Колька с Валиушей самым идиотским способом — заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры... Сразу несколько солдатских сердец взволновалось — Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу — Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией — много «разных слов». Валя ответила... Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня — смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатака пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери.

Стали они с Валиушей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая, беленькая... Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща — родней — купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде — сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот «чистыми». Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома — шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

— У нас в деревне и то бабы не такие жадные...

— Заткнись со своей деревней, — посоветовала Валя. — Ехай туда, кому ты здесь нужен!

«Ну и влип... — терзался изумленный Колька. — Как влип!»

Он был парень не промах, хоть и «дерёвня», сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых... И в-третьих, и в-четвертых — все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы — сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале, — таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке, и пел, кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма,
Что тает вдруг в сиянье дня;
Но вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кольке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было выше сил, будь они хоть трижды сибирские — крепкие, способные вынести много. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее, лишний шаг боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька искажился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

— Мам, ты чё это?

— Чё?

— Да какая-то... внучку на руки даже не взяла.

— Да боюсь я, сынок, чё-нибудь не так сделаю.

— Ну, ты уж какая-то...

— Да ничё, чё ты? Посмотрела вот — и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те, господи! И живи. Она бабочка-то ничё, с карахте-

ром, правда, но такая-то лучше, чем размазня какая-нибудь. Хозяйка. Живите с богом.

Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное:

— Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как... эта... Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла... Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тещь с тещей, вроде не так тяжело было толковать с ними.

— Ты смотри, смотри-и, парень! — говорили в два голоса тещь и теща и стучали пальцами по столу. — Ты смотри-и!.. Ты — за рукоприкладство-то — в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее ростили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета...

— Что же вы сплеховали? Надо было хватать первого попавшего и в загс — инженера-то. Или они хитрей вас оказались? Удовольствие получили — и в кусты? Как же вы так лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

— Кретин! Сволочь!

— А вот мы счас милицию! А вот мы счас милицию вызовем!..

— Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

— Голодранец поганый!

— Кретин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тещь, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

— Если не прекратите орать, я вас всех, падлы... Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Парятовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

— Куда это? — спрашивал Колька, прищипав боль зубами.

— К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

— Ну как заказчики? — интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся — не

притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

— Дурачок, — спокойно говорила Валя. — Не думай — не из таких.

— Вы не из таких, — соглашался Колька, — вы из таковских.

Бывало, что по воскресеньям они втроем — с дочкой — ездили куда-нибудь.

Раза три ездили наВДНХ. Заходили в пашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери... Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: «Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!»

Смотрели на выставке всякую всячину. Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками... Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет, — это не жизнь, это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое... Руки отвыкают от работы, душа высыхает — бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре «раздавят» в подвале (к грузчикам еще пристегнулись продавцы — мясники, здоровые лбы, беззаботные, как клоуны). Что же дальше? Дальше — плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное «дальше», он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке... Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить.

«Да что же?! Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?»

Люди давно разошлись по домам... А Колька сидит, тихонько играет — подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки... Он знал, если он придет один, мать станет плакать: это большой грех — оставить дите родное, станет просить вернуться, станет говорить... О господи! Что делать?

Окно на третьем этаже открывается.

— Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин. Тебя же сейчас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

— Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

— Закрой поддувало. И окно закрой — она будет спать.

— Кретин.

— Падла.

Окно закрывается. Но через минуту снова распахивается.

— Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей... Не нравится вам в колхозе-то? Заразы. Мецаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки, и дед, и вся родня — бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку... Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа... Влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки.

— Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

— П-положь ребенка, — сказал он, заикаясь.

— Только тронь!..

— Все равно я тебя убью сегодня. — Колька сам подивился — будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно. — Дождалась ты своей участи... Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик... Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды... Закрыв кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

— Пусть течет пока, — сказал вслух.

Вошел в комнату — Вали не было. Зашел в другую комнату — и там нет.

— Убежала. — Вышел на лестничную площадку, постоял... Вернулся в квартиру. — Все правильно...

Положил топорик на место... Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом... Вылил водку в раковину.

— Не обрадуютесь, гады.

Сел... Но тотчас встал — показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

— Так? — спросил себя Колька. — Значит, жена мужа в Париж провожала? — Закрыл окно, закрыл форточку. Закрыл дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: «Доченька, папа уехал в командировку».

Положил газетку на видное место... И включил газ, обе горелки...

Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

— Скотина! И газ не... — Но тут поняла Валя. И зарала.

Теща схватила за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину.

У Кольки не успели еще высохнуть слезы... И чубарик его русский был смят и свалился набочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки... И положил тело опять в прежнее положение.

— Надо... это... милицию.

ОРАТОРСКИЙ ПРИЕМ

Тринадцать человек совхозных, молодых мужиков и холостых парней, направили «на кубы» (на лесозаготовки). На три-четыре недели — как управятся с нормой. Старшим назначили Александра Щиблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил:

— Значит, Щиблетов... ты, значит, теперь Христос, а это — твои апостолы.

«Апостолы» засмеялись. «Христос» сдержанно, с достоинством улыбнулся. И тут же, в конторе, показал, что его не зря назначили старшим.

— Сбор завтра в семь ноль-ноль возле школы, — сказал он серьезно. — Не опаздывать. Ждать никого не будем.

Директор посмотрел на него несколько удивленно, «апостолы» переглянулись между собой... Щиблетов сказал директору «до свидания» и вышел из конторы с видом

человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую, он понимает, выполнять надо.

— Вот, значит, э-э... чтобы все было в порядке, — сказал директор. — Через недельку приеду попроведу вас.

«Апостолы» вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. По-толковали немного.

— Щиблетов-то!.. Понял? Уже — хвост грубой!

— Да-а... Любит это дело, оказывается.

— Разок по букварю угодить чем-нибудь — разлюбит, — высказался Славка Братусь, маленький мужичок, с маленьким лицом, муж горбатой жены.

— Ты лучше иди делай восхождение на Эльбрус, — мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которое дважды приводило его на скамью подсудимых.

— А ты иди похмельись, — огрызнулся Славка.

— Золотые слова, — прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага.

Разошлись, и все — кто куда.

В семь ноль-ноль к школе пришел один Щиблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной «москвичке» (полупальто на теплой подкладке, с боковыми карманами), в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий: Щиблетов ходил около машины с крытым верхом, старался не ежиться. Место он себе занял в кабине, положив узел на сиденье.

Щиблетов Александр Захарович — сорокалетний мужчина, из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял ссуду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена... или кто она ему — непонятно. По паспорту — жена, на деле — какая же это жена, если живет с мужем полтора месяца в году? Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался:

— Как вы так живете?

— Так... — неохотно отвечал Щиблетов. — Она на приличном месте работает, не стоит уходить.

Темнил что-то мужичок, а какие мысли скрывал, бог его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям, выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно, больше напирал на то, что «мы сами

во многом виноваты...». С начальством был сдержанно-вежлив. Не подхалимничал, нет, а все как будто чего-то ждал большего, чем только красоваться на Доске почета.

Старшим его назначили впервые.

— Не спешат друзья, — сказал Щиблетов.

— Придут, — беспечно откликнулся шофер и сладко, с хрустом потянулся. И завел мотор. — Иди погрейся, что ты там топчешься.

— Придут-то, я знаю, что придут, — Щиблетов полез в кабину, — но было же сказано: в семь ноль-ноль.

— Счас придут. Ты за бригадира, что ли?

— Да.

— Счас придут. Вон они!..

Стали подходить «апостолы». Щиблетов вылез из кабины.

— Друзья!.. — Он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой. — Успеем, — успокоили его.

Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опомелился на дорожку, настроение приподнятое.

— Здорово, орлы! — приветствовал он всех. И отдельно Щиблетову: — Но не те, которые летают, а которые...

— Залезайте, — несколько брезгливо оборвал Щиблетов.

— Зале-езем, куда мы денемся, — гудел Куликов, не замечая брезгливости Щиблетова. — Залезем... за милую душу.

— Ко всем обращаюсь! — возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов через задний борт. — Чтобы вот такого больше не повторялось!

У «апостолов» вытянулись лица — чего не повторялось?

— Я предупредил вчера: отъезд в семь ноль-ноль. Сейчас... без четверти восемь. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно?

«Апостолы» молчали... Смотрели на Щиблетова. Щиблетов не стал дожидаться, пока они своими чалдонскими мозгами сообразят, что ответить, скрипуче повернулся, кашлянул в кулак и пошел в кабину.

— Поехали.

Поехали.

— Куликов частенько закладывает? — поинтересовался Щиблетов, как интересуются властью наделенные люди: никак не угрожая пока, но и не убирая в голосе

обещающую интонацию — заняться в дальнейшем этим Куликовым.

— А ты спроси у него, — невежливо ответил шофер. — Он ответит... Что за манера — справки наводить! Рядом же человек, живой — спрашивай.

Щиблетов промолчал. Смотрел вперед на дорогу, серьезный и озабоченный.

На выезде из села, у чайной, в кабину застучали.

— Чего они? — встревожился Щиблетов.

— Погреться хотят. — Шофер подрулил к чайной. — Это здесь тепло, а в кузове продерет — дорога длинная.

— Не останавливайся! — строго сказал Щиблетов.

Шофер посмотрел на него, засмеялся, ничего не сказал, вылез из кабины, крепко хлопнув дверцей. Из кузова выпрыгивали, весело галдели, направляясь к дверям чайной.

Щиблетов вдруг тоже выскочил из кабины и скорым шагом, обогнав «апостолов», зашел в чайную. Чайная только открылась, в ней было еще прохладно, но в углу с гулом и треском топилась печь, пахло дымком и отогретыми сосновыми поленьями, которые большой кучей лежали перед печкой и парили, и парок тот, плавно загибаясь, уплывал в приоткрытую дверцу.

Буфетчица Галя, аппетитная женщина, улыбочивая, черноглазая, увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело:

— Орава идет.

Она удивилась, когда Щиблетов, стремительно подойдя к стойке, приказал:

— Водку не продавать. В крайнем случае — по стакану красного.

Ввалилась орава. Загалдели.

Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите: «Напился пьяный — сломал деревцо: стыдно людям смотреть в лицо!»

Над надписью — рисунок: безобразный алкаш сломал тоненькую березку и сидит, ни на кого не глядит.

— Горюет!.. Жалко.

— Тут голову ломаешь, и то никому не жалко, — сказал Борька Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью — на стакан водки.

С Галей весело здоровались, рылись в карманах.

— Мужики, а водки не велено продавать. — Хитрая Галя нарочно сказала это громко, чтоб сразу все слышали.

— Кто? — спросили в несколько голосов.

— А вот... товарищ... Я не знаю, кто он над вами, — не велел продавать.

— Друзья, — обратился ко всем Щиблетов, — разрешаю по стакану красного!... Традиции перед дорогой не будем нарушать, но обойдемся красненьким.

Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая головы, уставился на Щиблетова — никак не мог уразуметь, что он такое говорит.

— Чего, чего?

— Водку пить не разрешаю.

Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова. Так примерно он зарабатывал себе срок. Причем его не интересовало, сколько перед ним человек: один или семеро. Щиблетова подхватил под руку Иван Чернов, из мужиков постарше, и повел из чайной. На крыльце Щиблетов вспомнил, что он тоже, черт возьми, мужчина: отнял руку...

— А в чем дело, вообще-то? Он что, чокнутый на одно ухо?

— Пошли, — сказал Иван, увлекая его к машине. — А то он так чокнет, что получится — на два уха. Садись в кабину и сиди. И не строй из себя. По сто пятьдесят все выпьют... Я тоже.

— Что, дома, что ли, не могли выпить?

— Дома не могли. Тебе хорошо — один живешь... Сиди, не рыпайся — лучше будет.

Почти всю дорогу потом Щиблетов молчал, смотрел вперед. В кузове Борька Куликов орал:

К нам в гавань заходили корабли:
Уютна и прекрасна наша гавань.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана!

— Валенок сибирский, — зло и насмешливо прошептал Щиблетов. — В таверне!.. Хоть бы знал, что это такое.

А в кузове угрожающе нарастало:

И в воздухе блеснуло два ножа:
— Эх, братцы, он не наш, не с океана!
— Мы, Гари, посчитаемся с тобой! —
Раздался пьяный голос атамана.

— Посчитаешься, посчитаешься, — шептал Щиблетов. Как приехали на место, поскидали барахло в избушку, затопили печь, Щиблетов объявил:

— Сейчас проведем коротенькое производственное собрание!

Щиблетова приготовились слушать, расселись на нарах — собрание есть собрание, дело такое. Щиблетов положил на стол тетрадь, авторучку (заранее приготовил), покашлял в кулак.

— Я попрошу шофера пока не уезжать, — отвезешь протокол... Я думаю, что я его сам составлю. Возражений нет?

— Валяй.

Щиблетов еще покашлял в кулак.

— На повестке дня нашего собрания два вопроса. Буду по порядку. Первый вопрос: наша задача в связи с предстоящей работой по заготовке леса. Вы знаете, товарищи, что лес мы должны повалить, очистить от сучков... В общем, приготовить его к весеннему сплаву. Нам дается срок — четыре недели, месяц. В связи с этим я предлагаю взять на себя сообразительство и повалить необходимое количество леса за две с половиной недели...

— Вон как!

— Что эт тебе, бабу повалить?

— Как получится, так получится! Для чего раньше времени трепаться?

Щиблетов помахал рукой, успокаивая мужиков.

— Спокойно, спокойно. Поясню: хоть мы и небольшой коллектив и находимся на приличном расстоянии от основной базы, это все равно остается наш коллектив, со своей дисциплиной, со своей маленькой, но системой планирования. И нам никто не позволит ломать эту систему. Предлагаю голосовать.

Проголосовали. Приняли.

— Перехожу ко второму вопросу, — продолжал Щиблетов, воодушевленный правильным ходом собрания. — Вопрос о Куликове.

В избушке стало тихо.

Сам Куликов задремал было, пригревшись у печки, но тут встряхнулся, тоже уставился на Щиблетова.

— Формулирую: Куликов сразу же, с первых шагов неправильно повел себя в нашем коллективе. Я сам не святой, но существует предел всякому безобразию. Куликов об этом забыл. Мы ему напомним. Есть нормы поведения советских людей, и нам никто не позволит нарушать их. — Щиблетов набирал высоту: речь его текла свободно, он даже расстегнулся и снял «москвичку». — Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на

льдине. И среди нас завелся один... субъект, который мутит воду. Все горят желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит. И подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с этим субъектом?

— В воду! — подсказал Славка Братусь.

— В воду! — подхватил Щиблетов. — Для того, чтобы всем спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду.

Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не успели «глазом моргнуть», «опомниться»... Врали, черти. То есть не то чтоб сознательно врали, вводили в заблуждение, а отдавали должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле Щиблетова и с вопросом: «Это меня — в воду?» — навесил ему пудовую оплеуху. Щиблетов успел крикнуть: «Дурак, это ораторский прием!» Но остановить Борькин кулак он не мог. Борьку остановили мужики, да и то когда навалились все.

Щиблетов уехал с шофером обратно в село и больше не приезжал. Приезжал директор совхоза, дал всем разгон, а Куликову сказал, чтобы он «сушил сухари» — дескать, будет суд. Но в субботу лесорубам привозили харчи и передали, что Щиблетов в суд не подал, а подал директору... протокол собрания, где в точности записана речь, за которую он пострадал.

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ!

Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

— Понимаешь, выбросили — все стали хватать... Ну, я подумала, подумала — и тоже взяла. Ничего, Вень?

— Взяла? — Веня зло сморщился. — Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. — Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко. — Спасибо. Подумала о муже... твою мать-то.

— Чего ты?

— Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

— Чего лаешься-то?

— Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу... Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды.

Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

— Мам, ты гляди-ка, что он вытворяет — за шубу-то начал обзывать по-всякому! — Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. — Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, — вообще вся очень крепкая.

— Ты что это, Вениамин? — сказала она с укоризной. — Другой бы муж радовался...

— А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да улочки две дать по селу — от радости.

— Если недопонимаешь, то слушай, что говорят! — повысила голос теща. — Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать — не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый... И вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и когда ему напоминали об этом — что не красавец, — Веню трясло от негодования.

— Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили... — И тесть Вени, и бывший муж Сони — сидели. Тесть — за растрату, муж Сони — за пьяную драку. Слушок по селу ходил — Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа и зятя.

— Молчать! — строго сказала Лизавета Васильевна. — А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, скружил ястребом на тещу.

— А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая...

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

— Ох, молодой!.. — воскликнула она. — Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

— Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. — Она побежала в горницу — писать заявление в милицию. — Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. — Ты у меня получишь!..

— Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. — Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. — Тебе посадить человека — раз плюнуть.

— Я первые колхозы создавала, а ты мне — курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях.

— А про меня в газете писали, что я, хромой, — на машине работаю! — тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. — У меня пятнадцать лет трудового стажу!

— Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

— Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка...

— Поса-адим, — опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: — Ты машину дров привез?! Ты где ее взял?! Где взял?!

— Тебя же согреть привез...

— Где взял?! — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

— Купил!

— На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

— Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты — жгла эти дрова и помалкивала?

— Я только сейчас поняла — с кем мы живем под одной крышей.

— Э-э... завияла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне — три года, тебе — полтора, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

— Не-ет, ты их еще пока не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездил с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что — домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится и если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна помчалась в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за молодость и за башковитость, лежало заявление тещи.

— Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот...

— Жалуются!.. Сами одетые, как эти... все есть! — стал честно рассказывать Веня. — А у меня — вот что на мне, то и все тут. Хотел хоть раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубу купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

— Ну а обзывался-то зачем? Матерился-то зачем?

— Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. после бани четвертку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И, главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

— Да пишет... много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

— Пишет, что она коллективизацию делала?

— Ну, пишет... Ты все-таки, это... не надо — пожилой человек... Ну, купила! Она же тоже работает, же-на-то.

— Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я, самое малое, сто двадцать — выше нормы вкальваю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили! А то купят — и в сундук. А тут... на люди стыд показаться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил: Венина правда — вся тут.

— Все равно не надо, Вениамин. Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой... Что она? Поймет же она — молодая женщина...

— Да она-то что!.. Она голоса не имеет. Там эта вот, — Веня кивнул на заявление, — всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет.

«Вот же ж тварь, — думал он, — посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила, и всю жизнь злилась. Курва... На кой черт тогда и родиться такой?»

Тут встретился ему — не то что дружок — хороший товарищ, Колька Волобуев.

— Чего такой? — Колька как-то странно всегда говорит — почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощутив глаза. Характер у парня.

— Какой?

— Какой-то... как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

— Из конторы. — И Веня все рассказал — как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

— Двух сожрала — мало, — процедил Колька. — Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищутив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

— Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой... А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них...

У Вени мстительно зыграла душа. Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни «да», ни «нет», как... Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он, к черту, хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

— Пойду сала под кожу кое-кому залью, — сказал он. И скоро похромал домой. И нес в груди тяжкое, злое чувство.

«Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегает! Курва».

Сони не было дома.

— А где она? — спросил Веня.

— А я откуда знаю, — буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали на-

ушничать, даже побаивались.) — Она мне не докладывает.

— Разговорчики! — прикрикнул Веня с порога. — Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя.

— Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятая мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток и с десятков больших гвоздей... Положил это все в карман и вошел снова в дом.

— Что там за материал лежит? — спросил он миролюбиво.

— Какой материал? Где? — живо заинтересовалась теща.

— Да в уборной... Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня — за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

— Посиди малость, подумай, — приговаривал Веня. — Сама любишь людей сажать? Теперь маленько попробуй на своей шкуре. — Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

— Карау-ул!! — вопила Лизавета Васильевна. — Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! — наладилась теща.

Веня пригрозил:

— Будешь орать — подожгу.

Теща замолчала. Только сказала:

— Ну, Венька!..

— Угрожать?

— Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это тоже не скажут.

Вене попался на глаза кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной:

«Запломбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать».

— Ну, Венька!..

— Счас я еще Соню твою подожду... Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко маломальский купили мне?

— Ты же пришел на все готовенькое.

— А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не зара-

ботал? Ты людей раскулачивала... Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломаются.

— Не тобой нажито!

— А — тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считаю, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

— Ну, Венька!

— Вот так. И не ори, а то хуже будет.

— Над старухой так изгиляться!..

— Ты всю жизнь над людьми изгилялась — и молодая и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел — пошел искать ее по селу.

— Сиди у меня тихо! — велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из «карцера» соседи.

Суд был бурный. Он проходил в клубе — показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в «карцере», — ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал... Наказать, конечно, надо, но — не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

— Граждане судьи! — сказал он. — Я знал отца Венькиного — он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе — померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать... А гражданка Киселева... она сейчас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется, — но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь — у тебя пенсия-то поболее моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал...

— Я из бедняцкой семьи! — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. — Я первые колхозы...

— И я тоже из бедняцкой, — возразил Михайло. —

Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обществом? В войну ты была председателем сельпо — не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом. Это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

— У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! — выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда — а в данном случае просто полезней — лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные пареньки пускали в ход ножи...

— Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме — две женщины. Представьте себе...

— Он не пьет!

— Это что, он после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто.

Под Веней закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Венке в тюрьме.

— Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Венке три года.

Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

— Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Венки вон: щупленький такой же, молодой, лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испугался. Бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову... Политрук хотел тут же его пристрелить, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами... И что вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были — под потолок, рослые, а тот солдатик — забыл уж теперь, как его фамилия, — не больше Венки. Откуда сила взялась! Я это к тому, что

бывает — найдет на человека слабость, стихия — ну вроде пропал, совсем пропал человек... А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подыметя. Вы сами-то воевали, товарищ? — спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину ничуть не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

— Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он... конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей. — Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом. — На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михайло не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

— Судили, — неохотно ответил Михайло. — Но...

— Совершенно верно. Но...

— Но оставили без последствий! — повысил голос Михайло. — Только перевели в другую часть.

— Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами, и потом заколол двух фашистов, — это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать и, как видим, учли. Но есть факты, которые... материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал... Он испугался — это понятно. Но испугайся он один, в лесу, увидев медведя, — ну, тогда положишься на волю божью, как говорят, точнее, — на медвежью: задерет он тебя или не задерет? Но здесь — солдат, он шел в атаку не один, он испугался: он породил страх у всей роты!

— Ничего подобного! — сказал Михайло. — Как бежали, так и бежали!

— Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди — возможно, смерть...

— А то мы без него не знали.

— Что же касается данного конкретного случая...

Венька смотрел на представительного мужчину, плохо понимая, что он говорит. Понимая только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Он раньше никогда в судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители... Суд

для него — это судья. И он никак не мог постичь, за чем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот — в который уже раз — встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли он дать суду какие-нибудь пояснения, он пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

— Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас... Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну — четыре — тридцать один — тридцать два...

Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его, как живого: спокойный, умный, веселый... И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подставляли — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое подстанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные... Этот — представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех — надо сажать. О, господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и все равно это можно понять. Она такая — курва. Но этот-то!.. Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовались.

А Веня шел непривычно задумчивый... Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все не переставал изумляться... Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего, жил бы и дальше. Сманить надо было Соньку от тещи, жить бы отдельно... Правда, она тоже — дура, не

пошла бы против матери. Но как бы, о чем бы ни думал Веня в эту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал. У него поблескивала металлическая штучка на галстукѣ. Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слиплись и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки.

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло: земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко и его не касаются. Вспоминал всех, скопом... Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось как сон, тяжелый, нехороший.

На двадцать седьмом километре Веня увидел вперед «Волгу» — стоит, капот задран, шофер в моторе копается, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул... И когда представительный мужчина «голоснул» ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай... — И узнал Веню. — О-о! — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно. — Старый знакомый!

— Садись! — сказал Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, миг вселила в него какую-то нахальную веселость. — Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился — не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Что?

— Настроение-то?.. Я думал, ты зашьешь... так на не-

дельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

— С женой, конечно, развод? — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

— Конечно. — Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек — такой... крепкий, что ли, умный, напористый и при этом веселый.

— Эх, ребята, ребята... Беда с вами. Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал — и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та... Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился.

— Не твое дело.

— Конечно, не мое! — воскликнул мужчина. — Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя... на два восемьдесят семь. — Мужчина чуть колыхнул животом. — Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться...

Веня на мгновение как бы ослеп — до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И — как в пропасть полетел, ужаснулся...

— А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

— Да там, в аймаке, шьет один... — Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный — Уша по весне разливается как Волга. — На заказ.

— И сколько берет за пальто? Из своего материала?

— Из своего.

— И сколько берет?

— По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее — дороже.

— Что значит — хорошее?

— Ну, кожа другая, выделка другая... Разная бывает выделка.

— Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

— Рублей, может, триста... Одному, говорит, за четыреста шил.

— А где этот аймак? Далеко?

— Нет. — Странно: вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой — такое было чувство.

— Адрес-то знаешь?

— Знаю адрес. Знаю... Эх! — крикнул вдруг Веня, как в пустоте, — громко. — А не ухнуть ли нам с моста?!

Он даванул газ и бросил руль... Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора... И увидел его глаза — большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины... Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг очень устал. И — хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

ЗАБУКСОВАЛ

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет, — говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно... Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ».

— «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился...» Нет, это не надо, — сказал сам себе Валерка. И дальше. — «Эх, кони, кони, — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню — дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!..»

Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным звоном заливается...»

— Не торопись, — посоветовал отец. — Чешешь, как... Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую «Русь-тройку», таким же дураоломом валил, без всякого понятия, — лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь...

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь...

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!.. лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою «тройку», а Роман — опять за думы. И сладкие это думы, и в то же время какие-то... нерадостные. Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протоплаешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался — так вдруг ясно представилось, как он дотопаёт до конца ровной дорожки и... ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат... Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— «...Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились...»

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?» Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!

— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.

— Так... Ну? А тут — Русь-тройка... А?

— Ну. И что?

— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер...

До Валерки все никак не доходило — и что?

— Да как же?! — по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. — Учи. Задали, значит, учи. — И чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет шулера. Это что же выходит? — не так ли и ты, Русь?.. Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил... Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять... Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить?..

— Валерк! — заглянул Роман в горницу. — Николай Степаныч дома?

— Не знаю. А что? — испугался Валерка.

— Да ничего, учи. Сразу струсил... Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

— Никого не набедокурил. Чего ты?

— Он в район не собирался ехать?

— Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степаныч был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы, учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

— Здравствуйте, Николай Степаныч.

— Здравствуйте, Роман Константиныч! — Учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. — Потерял одну штуку... извозился весь.

— Николай Степаныч, — сразу приступил Роман к делу, — слушал я счас сынишку... «Русь-тройку» учит...

— Так.

— И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любят, можно сказать, дорогу дают — Русь-тройка! Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают...

— Так...

— А кто в тройке-то? — Роман пылливо уставился в глаза учителю. — Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

— Чичиков едет...

— Так это Русь-то — Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза — пытливо и требовательно.

— Да нет, — сказал учитель, — при чем тут Чичиков?

— Ну а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются...

— Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется... Здесь — движение, скорость, удалая езда — вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

— Так он же едет-то, Чичиков!

— Ну и что?

— Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол... А в тройке — шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа... Усмехнулся.

— Как-то вы... не с того конца зашли.

— Да с какого ни зайдя, — в тройке-то Чичиков. Ехай там, например... Стенька Разин, — все понятно. А тут — ездил по краю...

— По губернии.

— Ну, по губернии. А может, Гоголь так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются — меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

— Как-то... неожиданно вы все это поняли. Станный какой-то настрой... Чего вы?

— Да вот влетело в башку!..

— Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе...

— Да это-то я понимаю.

— Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома... Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил — до второго тома...

— В тройке оставил-то, вот что меня... это... и заскребло-то. Как же так, едет мошеник, а... Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда... Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

— Да подумали уже... чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет — за Гоголя. Он-то так не думал.

— Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело: может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

— Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал. — Николай Степаныч улыбнулся. — Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет... Вы сынишке-то сказали об этом?

— Нет. Ну, зачем я буду?..

— Не надо. А то... Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

— Чего потеряли-то? — спросил Роман.

— Да потерял одну штукенцию... штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять... Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот — потерял, забросил куда-то.

— Закаты теперь дивные, — сказал Роман. — А для чего штатив-то?

— А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

— А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

— Да. — Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. — Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это в самом деле. Ребячество какое-то.

— А ведь сами небось учили?

— Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже... А через тридцать лет только дошло. — Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он — не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуясь — Чичикова везут или не Чичикова?» И опять — как проклятие навалилось — подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

— Тьфу! — Роман бросил окурочек и полез опять за пачкой. — Вот наказание-то! Это ж надо так... забуксовать. Вот же зараза-то еще — прилипла. Надо же!..

ТРИ ГРАЦИИ

Рассказ-шутка

Воскресенье. Сегодня в течение дня буду ненавидеть. Месяца два, как я переехал на новую квартиру, и каждое воскресенье — весь день напролет — ненавижу. Это происходит так.

С утра, часов в девять, на скамейку под моим балконом садятся три грации и беседуют. Обо всем: о чужих мужьях, о политике, о прохожих... Я выставляю на балкон кресло, курю, слушаю этих трех — и ненавижу. Все человечество. Даже устаю к вечеру.

Как-то будет сегодня? Погодка славная (раза два в воскресенье шел дождь, их не было, я не знал, куда деваться от тоски); сегодня они должны хорошо поговорить.

Итак, заготовил пачку сигарет, бутылку хорошего вина (буду пропускать по рюмочке, когда какой-нибудь из этих трех удастся особенно больно уесть прохожего, или если выяснится, что у товароведа из 27-й квартиры — крупная недостача, или что он — рогоносец).

Сперва коротко опишу их.

Номер один. Тихая с виду, в очках, коротконогая. Лет 30 с гаком. Говорит негромко, мне приходится наклоняться, чтобы хорошенько расслышать ее. Одинокая, но заявляет, что «они от меня никуда не уйдут». Будем называть ее — Тихушница.

Номер два. За 40. Крупная, с вишневой бородавкой на шее. Говорит громко, уверенно. Часто сморкается, после чего негромко, несколько раз делает так: «кхм, кхм, кхм». Эта раза три обронила: «Все они сейчас — никуда не годятся». Будем называть ее — Деятель.

Номер три. Рыжеволосая. Тоже за 40, необычайно подвижная, легкая на ногу. Стремительная в мыслях, мастер замочных скважин. Тоже, как я, ждет не дождется воскресенья — приходит на скамеечку раньше подружек, трещит без умолку, но авторитетом в коллективе не пользуется: суждения ее не глубоки. Будем называть ее — Летающая по волнам. Можно просто — Рыжая.

Десять часов. Что-то запаздывают. Четверть одиннадцатого... Начинаю нервничать. Что с ними? Уж не поехали ли за город? Нет!.. Вон идет Рыжая. Лапочка моя!

Ой-ой — в новом свитере!.. А походка!.. Вся — движение, порыв. Наполеон на Аркольском мосту. Глаза горят. Наверно, какой-нибудь из ее начальников полетел за «аморалку». Или кто-нибудь где-нибудь отступил. Она — утопичка: ей кажется, что никто никогда не должен уступать. Ммх, лапочка!..

А вот и Тихушница. Идет, переваливается уточкой. Тоже вообще-то лапочка. Она, конечно, не Наполеон на мосту, но я глубоко убежден, что «они от нее никуда не уйдут». Как-то раз она сказала: «Я знаю, что им всем надо». Сейчас, когда так ослепительно блестят ее очки, я верю — знает.

Две есть. Третья?

А-а!.. Деятель. Идет. Я всегда думаю, глядя на нее, что сильный характер — это от бога, как бородавка.

Ну — собрались. Закурим! Наверно, начнут с политики — прохожих еще мало.

— Сегодня так плохо спала ночь, так плохо спала! — Это Рыжая. — У этих собака внизу... Гадина!.. Всю ночь — «гав-гав-гав»!

— А меня этот паровоз всю ночь донимал, — сказала Деятель. — Всю ночь — «ту-у! ту-у! ту-у!». Какого черта гудеть? Ночью же на путях детей нету.

— Маневровый, — пояснила Тихушница.

— А?

— Маневровый. Он своим сотрудникам гудит, чтобы его перевели на другие рельсы. А у меня голова что-то всю ночь болела...

Все три плохо выспались. Будет дело!

— Почему же огурцы теперь стали? — спросила Деятель.

— Я в прошлую субботу была на базаре — два рубля.

— Два рубля?! Да я вчера в «Овощи-фрукты» по рупь тридцать брала. И народу мало.

— А я вчера... — заговорила было Рыжая, но тут нанесло неурочного: какой-то парень, явно с похмелья, шел по двору, направляясь, видно, в магазин за пивом.

Все трое смотрели на него. Попался, голубчик! Выпил в субботу? Сейчас закусишь.

— Иде-ет, — сказала Деятель. Таким тоном, будто по двору шел ночной грабитель, которого за углом ждет не пиво, а наряд конной милиции.

— Краса-авец... Ручки в брючки.

— Што, милок, с похмелья?

Парень посмотрел на них.

— А вам што?

— Ничего, ничего — пей. Больше пей — к сорока годам будешь чурка с глазами. — Это — Деятель.

Парень, изумленный, остановился.

— Ты што?

— Я, мол, пей. Больше пей!

Тихушница и Рыжая промолчали.

Парень пожал плечами, пошел дальше. Но только он отошел, мои грации осмелели.

— Он и сейчас-то уж никуда не годится. Для мебели только.

— Алкоголик, глот. Тоже ведь — «ты што»?

— А у меня — сестрин муж, — стала рассказывать Рыжая. — Я ему: «Што ж ты, говорю, пьешь-то, рожа твоя кывадратная? Ведь ты вот с полочки-то сколь? — двенадцать рубликов усадил! А на двенадцать рублей можно полторы недели питаться, если ты — опять же — не нальешь глаза-то да мяса себе не будешь требовать. Так он мне: «Все пьют. Не пьют только собака да кошка — они лакают». Такой паразит!..

— Што ты! Они ответют.

— Я, говорит, работаю. Што же, мне и выпить нельзя?

— Они работают! Со мной на площадке один — тоже работает. Я на днях стала диван выколачивать, так он: «Што же это вы на площадке-то? Люди работают и должны вашу пыль глотать!» Я говорю: «Где же это ты, милоч, работаешь-то? Ты ж целыми днями дома сидишь. Вот так работка», — говорю. Он мне: «Я диссертацию пишу». — «Эх, ты, думаю, лысая ты коленка, диссертацию ты пишешь!.. А чего же полысел-то раньше времени?»

— Истаскался.

— Знамо дело!

— Пьет?

— Што ты! Он скорей задавится, чем бутылку себе возьмет.

— Они такие — лысые: истаскаются, потом начинают: тут болит, там болит... А деньги на книжечку.

За этого лысого, который диссертацию пишет, я выпил рюмочку — очень уж славно они его уделали. Голеньким выставили — со всех сторон. Будь здоров, очкарик!

Деятель высморкалась, сделала «кхм, кхм» и продолжала:

— Они лысеют, а людей на земле уменьшается. Я бы расстреливала таких.

— Собрать их всех в одно место и посадить на карточную систему! — неожиданно громко и зло сказала Тихушница. — Узнают тогда.

Какова Тихушница-то!.. Голосок прорезается. С карточной системой она неплохо придумала.

— А один лысый, я слышала, — заторопилась Рыжая, — сделал себе капроновые волосы, заплатил валютой, напился пьяный, а его постригли в милиции. Ха-ха-ха!.. Они же не знали! Ха-ха-ха!..

Ну, эта все по анекдотам дает, верхушки сшибает. Нет, голубушка, если за душой ничего нет, не помогут и капроновые волосы. Что это!.. Нет, Рыжая явно не тянет.

Тут выпорхнуло из подъезда этакое воздушное создание и заспешило, заспешило, отстукивая каблучками по асфальту. Коротенькая юбочка — туда-сюда, туда-сюда...

— Вот она! — в один голос сказали Деятель и Тихушница.

— Ну к чему такие короткие юбки? — вякнула Рыжая.

Да заткнись ты!

— А лёгше, лёгше, без всяких там... — сказала Деятель.

— Больше-то нет ничего, вот они и выставляют колени, — заметила Тихушница.

То есть как это «ничего нет»? Не понял. Что-то ты, матушка, не того... не объективно.

— К любовнику пошла — торопится. Сейчас придет, а там — другая.

— У них график. Как у паровозов.

— Идет, виляет... А чего вилять, чего вилять? Там вилять-то нечем.

— Шкелеты.

В это время вышел на солнышко глубокий старик.

— Идите к нам! — сказала Деятель.

Старик присел на лавочку.

— К сыну приехал?

Старик был с глухотцей.

— А?

— К сыну погостить приехал?

— Ага.

— Сноха-то ничего, не гложет?

— Нет, ничего. Она хорошая.

— Они все хорошие... пока спят. Как там в деревне-то?!

— Хорошо. Косить начали...

— Оптимистический старичок! — сказала Рыжая. — Везде у него хорошо! Видел такой фильм: «Оптимистическая трагедия»?

Деятель снисходительно похлопала старичка по спине.

— Волос-то — тоже: на одну драку осталось!

Старичок усмехнулся.

— Мне уж семисит пять скоро...

— О! А все жалуетесь: плохо в деревне, трудно.

— Я не жалуюсь.

— Они теперь все — хорошие, трудящиеся...

— А кто огурцы по два рубля продает?! Кто с мешками на метро ездит?.. Мешает!.. — Это Рыжая «покатила бочку». — Кто поступает в дворники, а потом получает секции? Кто в колхозы не хотел идти? Кто упирался?!

Деятель стиснула зубы и оглянулась во гневе.

— Кто из-за угла стрелял? — спросила она тихо. — Кто без конца вредил?

Я налил рюмочку. Старичочек, конечно, не ждал такого. Тихо было кругом, тепло, солнышко светило.

— Кто с необъятных полей колоски воровал?! — как-то даже взвизгнула Тихушница. — Кто самогон ва...

Тут старичок встал, весь подобрался и неожиданно громко — на весь двор — скомандовал:

— Стать!

Грации опупели. Молчали.

— Стать!!! — заорал старичок. И замахнулся палкой.

Рыжая и Тихушница встали. А Деятель, наклонив вперед голову, смотрела на старичка.

— Я — Егорьевский кавалер! — кричал старичок. — У меня медаль «За трудовую доблесть»! У меня сын — токарь седьмого разряда! Я вас сам в ГПУ — за такие слова! — Он заплакал и пошел домой.

Рыжая и Тихушница сели. Им стыдно стало, что они испугались. Они стали оправдываться:

— Он же ненормальный, я давно замечала.

— Я тоже замечала.

— Когда «давно»? — спросила Деятель.

— Ну, давно.

— Он только вчера приехал. Это сын у него ненормальный.

— Это который на мотоцикле-то? Да тот уж лежал в

психиатрическим раз пять. Тот просто задавит кого-нибудь, и все. «Токарь седьмого разряда». Знаем мы этих токарей... Только премиальные хапать.

Деятель понюхала табачку.

— А потом пропивают их с мастерами. Да на мотоциклах гоняют.

— Думают, у них мотоцикл, так за ними любая победит! Тьфу!.. — Тихушница в самом деле плюнула. — Да по мне — хоть будь с трактором, мне и то на дух не надо. Мне — лишь бы человек был.

Я налил рюмочку — за мотоциклистов. Вообще — за наш славный спорт. Хороши они сегодня, мои грации!.. Мои лапочки. Ворочают пласты — от коллективизации до мотопробега. Сердце радуется! Маленько старичок их смутил... Но это... так, ерунда. Они ему тоже бубну выбили: будет знать, как стрелять из-за угла и воровать колоски. Кулацкая морда. Да еще Георгиевским крестом хвалится! Ясно: какого-нибудь пролетария свалил. Пень дремучий. Дупло. Я выпил еще рюмочку — за Россию. Потом я выпил еще: товаровед из 27-й квартиры не только растратчик, но еще и без одного легкого. Куркуль недорезанный. Тубик. И тут меня стукнула идея. Как только я выпиваю лишнего, меня начинают стучать разные идеи. Иной раз с похмелья все тело болит. Идея такова: в нашем дворе есть еще одна скамейка с высокой спинкой. Если эту спинку аккуратненько подпилить да потом снова приставить на место... Представляете? Человек садится на скамеечку и приваливается к спинке... Тот же старичок. Или этот, с одним легким... Представляете? А наблюдать все это можно с моего балкона хотя бы. Я вынесу еще три кресла — балкон у меня большой.

Я выпил рюмочку и спустился к грациям.

— Здравствуйте! — сказал я. — Представляете?.. человек присел отдохнуть, так? и раз! — кверху ногами? Мы хохочем негромко. Вы спросите: как это делается? Вон скамейка — видите? Подпиливается спинка... Мм? Я это берусь сделать в ночь с субботы на воскресенье. И мы весь день хохочем. Старичок грохнулся, я выхожу и опять подстраиваю спинку... А этому, с одним легким-то, много ему надо! А? Я даже диван на балкон вынесу... Мы славно попируем!

Тут Тихушница встала и куда-то пошла.

Я продолжал развивать мысль. Я доказывал, что всякая идея должна воплотиться в образ, должно быть зре-

лице, спектакль. Только тогда идея будет выражена до конца.

Сосед из 27-й квартиры рассказывал мне через три дня:

— Вы кричали на них: «Почему вы не понимаете этой идеи со спинкой скамьи?.. Вы — пустобрехи! Кустари!» Чего вы хотели от них? Они же глупы, как...

Я смотрел на него, на этого недорезанного, и думал: «Не будь они глупы, ты бы сейчас кровью харкал». Но это было потом.

А тогда, в воскресенье, я вдруг обнаружил, что передо мной стоит милиционер. Как из-под земли вырос. Они меня предали. Они ничего не поняли...

Тот же сосед рассказывал:

— Когда вас вел милиционер, вы плакали. Вы обращались к ним и говорили: «Эх, вы! За чечевичную похлебку!.. А я любил вас! Ну и сидите, зубоскальте! Мещанки... А годы проходят! Жизнь проходит!» Чего вы все-таки от них хотели?

— Совершенства. Цельности. Красоты.

Сосед громко захохотал. (При одном легком!)

— Нашли красавицу!.. Что вы, помоложе не можете подыскать?

Нет, зря я тогда лишнего выпил. Не выпей я лишнего, я бы смог спокойно и обстоятельно разъяснить им, зачем надо было подпилить скамеечку. Загубил прекрасную идею!

БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ

Марья Селезнева работала в детсадишке, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась.

— Куда я переквалифицируюсь-то? — горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года. — Легко сказать — переквалифицируйся... Что я, боров, что ли, — с боку на бок переваливаться? — Она поняла это «переквалифицируйся» как шутку, как «перевались на другой бок».

Ну, посмеялись над Марьей... И предложили ей сторожить сельмаг. Марья подумала и согласилась.

И стала она сторожить сельмаг.

И повадился к ней почами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе — то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении, — все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был человек, никогда не высывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый... К концу-то огляделись — да он умница, этот Баев! Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он — умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него выиграло ретивое — теперь как-то это стало не опасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он — редкого ума человек.

Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье — разговаривать.

Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья: из окон весь сельмаг виден.

В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно. И не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом; а ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные: луну точно на веревке спускали сверху — такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете.

В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света — топились камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами — большая и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты — и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться.

— Люди, они ведь как — сегодняшним днем живут, — рассуждал Баев. — А жизнь надо всю на прострел брать. Смета!.. — Баев делал выразительное лицо, при

этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками — так и казалось, что он сейчас скажет: «сево?» — Смета! Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чего. В учетном деле и называется — смета. А то ведь как: вот размахнулся на крестовый дом — широко жить собрался, а умишка, глядишь, — на пятистенок едва-едва. Просадит силенки до тридцати годов, на шумит, наорется, а дальше — пшик.

Марья согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев, сидючи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь — такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни.

— Больно шустрые! Я как-то лежал в горбольнице... меня тогда Неверов отвез, председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь?

— Нет. Их тут перебывало...

— Неверов, Василий Ильич. А тогда что. С молокопоставками не управились — ему хоть это... хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: «Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?» — «Ну-ка», — говорит. «У нас, мол, колхозники-то все вытаскали?» — «Вроде все, — говорит. — А что?» Я говорю: «Вы проверьте, проверьте — все вытаскали?»

— Ох, тада и таска-али! — вспомнила Марья. — Бывало, подоишь — и все отнесешь. Ребятишкам по кружке нальешь, остальное — на молоканку. Да ведь планы-то какие были... безобразные!

— Ты вот слушай! — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке.

«Все, мол, вытаскали-то? Или нет?» Он вызвал девку. «Принеси, — говорит, — сводки». Посмотрели: почти все, ерунда осталась. «Ну вот, — говорит, — почти все». — «Теперь так, — это я-то ему, — давайте рассуждать: госпоставки недостает столько-то, не помню счас сколько. Так? Колхозники свое почти все вытаскали... Где молоко брать?» Он мне: «Ты, говорит, мне мозги не... того, говори дело!» Матерщинник был несусветный. Я беру счета в руки: давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров. — Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью. — Так? Это из расчета, что процент жирности

молока у твоей коровы — такой-то. — Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. — Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже. Пони-маешь? Тогда тебе уже не пятьсот литров надо отнести, а пятьсот семьдесят пять, допустим. Сообразила?

Марья не сообразила пока.

— Вот и он тогда так же: хлопает на меня глазами — не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех — будет дополнительное молоко. А вы это молоко, с колхозников-то, как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно прове-сти. Ох и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь! Я говорю: отвези меня в городскую больницу — полежать. Отвез.

Марья все никак не могла уразуметь, как это они то-гда вышли из положения с госпоставками-то.

— Да господи! — воскликнул Баев. — Вот ты отгаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно, — как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня со счетиками: давайте считать вместе... Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, недоглядел... А я — в горбольнице. С сельской местности-то туда и счас не очень берут. А я вот когда попал!

— А чего?.. Заболел, што ли?

— Как тебе сказать... Нет. Недостаток-то у меня был: глаза-то и тогда уж... Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а... как это выра-зиться... Охота было в горбольнице полежать. Помню, ишо молодой был, а все думал: как же бы мне устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки... В палате ишо пять гавриков лежат, у кого что: один с рукой, один с башкой забинтованной, один тракторист лежал — пол-спины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил ту-да. Та-ак. Ну ладно, думаю, желание мое исполняется.

— Дак чего, просто вот полежать, и все? — никак не могла взять в толк Марья.

— Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слышал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил — больше ин-тересуются: «Что болит? Где болит?» Сердце, говорю, бо-лит — иди, доберись до него. Всего обстукали, облуща-

ли, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то: про людей-то мы заговорили... Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы... Я им по-хорошему: «Здравствуйте, мол, ребята!» И прилег с дороги-то соснуть малость: дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят: «Надо анализы собирать». — «Какие анализы?» — «Калу, — говорят, — девятьсот грамм и поту пузырек». Я удивился, конечно, но...

Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется.

— Ну и как? — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. — Собрал?

— Стали сперва собирать пот, — продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия: он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. — Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели под мышку зажать — туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей: хворают, называется! Ить подумали бы: идет такая страшная война, их, как механизаторов, на броне пока держут: тут надо прижухнуться и помалкивать, вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать черт-те чего. Думает он, лежит, что у него — жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится?.. Что ты! Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается.

Марья вспомнила про девятьсот граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться.

— Да, а как... с этим-то?.. Собрал, что ли? — Вытерла опять глаза. — Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости меня, Николай Ферапонтыч, шибко смешно. Собрал девятьсот грамм-то?

— Вот то-то и оно — ничего сделать с собой не можем, — обиделся Баев. — Живем безалаберно — ничего с собой сделать не можем; пьем-гуляем — ничего с собой сделать не можем; блуд совершаем — опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый: тоже ничего с собой сделать не может. Кобели. Поганки. — Баев по-живому обозлился. — Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихний — да колом бы, колом бы всех бы подряд. Ржать научи-

лись? Ногами дрыгать научились?.. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду! Козлы.

Посидели молча. Марья даже вздохнула: у самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась.

— А как вот им поможешь? — сказала она. — И рад бы душой — помочь, а как?

— Никак, — резко сказал Баев. — Пускай сами разбираются.

Опять замолчали.

Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями — одной, другой, — поморгал подслеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.

— Помогает глазам-то? — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.

— Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь.

— Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были.

— Зрячие... — вздохнул Баев. — Все зрячие, да не все умные. — Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. — Что он, покойный родитель мой, делал со мной — это же ни пером описать, ни... как там говорится?.. Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил. А мне страсть как учиться хотелось. Тада же ишо приходская школа-то была... Батюшка-то к родителю ходил: способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну! Родителю моему только... Грех поминать нехорошо, но и... тоже... Как я только ни просил: в ногах у него валялся, ревя ревел — отпустите в школу! Закинет пимы на полати, и все. Сиди за печью, гложи ногу овечью — вот весь сказ родительский. Эх-х!.. — Баев еще помолчал горестно. — Дак я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то — вот они, глаза-то, и сели.

— Дак а чего уж он так?

— А спроси его! Не мужицкое дело, мол... Темен был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню: «Прости, Колька, учиться тебе препятствовал...» И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. «Ладно, — говорю, — чего теперь?» Вот как душа затвердела! А потому что — обидно. Я же какой башковитый-то был! Бывало, стишок два раза прочитаю и тут же его отбарабаню без запинки.

— А понимал же потом-то — вишь, «прости» говорил.

— Да потом-то... Ко мне, бывало, придут: «Напиши, ради Христа, прошение», или еще чего, ну, курочку несут или яиц десяток, а то шерсти... фунта два... Я сяду — мне плевать делю прошение-то составить: где заострил, где подсушил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции... Тут целая наука тоже. Вот составишь. «На, хлопочи, ехай». Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит — чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы... Ладно. Рази бы тут курочками пахло! Ведь это я самоучкой уж достиг — счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучи-ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы... не знаю... Эх-х! Ладно. — Баеву правда было горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. — Чего теперь. Обидно, конечно... Ведь вот сейчас уж дело прошлое — ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки! Ведь меня ревизором в другие районы посылали! Еду, бывало, и думаю: знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шугил один: церковно-приходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня — на других ревизором! Молчал уж...

— А ведь вот дал же бог такое стремление — учиться! — неподдельно уважительно заметила Марья. — Откуда бы такое стремление?

— Наблюдательность, — пояснил Баев. — Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательным. Ишо карапуз был, а, бывало, зайду по колена в воду — озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось, — залезу и стою. По полдня торчал неподвижно — наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от бога. Это уже не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить заместо совета разумного.

— Надо же, — с уважением опять сказала Марья. — А мне вот — хоть бы что! Больше играть любила на улице. По целым дням, бывало, не загонялась!

— Я уж, грешным делом, думаю... — Баев даже оглянулся и заговорил тише: — Я уж думаю, не приспала ли меня мать-покойница с кем другим?

— Господь с тобой! — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась. — Тетка Анисья-то! Да ты что, Ферापонтыч... Господи! Да ты и похожий-то на отца. Только ты посытей

да без бороды, а так-то... Да что ты, бог с тобой! Да с кем же она могла?

— Ну!.. — Баев полез опять за пузырьком. — А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тут тада рылись — искали чего-то в горах... Шут его знает! Они же... это... народишко верткий.

— Дак, а похож-то?

— Ну!.. Похож! Потрись с малых лет возле человека — будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то... Шут его знает! Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас с им... противоположные взгляды. Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять... — ни к какой крестьянской работе. И к вину никогда не манило. — Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорей размышлял и сомневался. — Ведь если так-то подумать: куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там... буянить на праздники. Нет! В огороде своем копаться не люблю! Вот в конторе посиживать, это по мне...

— Дак оно бы и все-то так посиживали — в тепле да на почете, — вставила Марья.

— Садись! — воскликнул с сердцем Баев. — Чего ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай.

— Посиживай...

— Во-от! Голову надо иметь? Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца?

— Ну что же, уж из мужиков и людей больших не было? Вон в войну...

— В войну-у! — перебил Баев. — С наганами-то бегать да горло драть — это ишо не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов! Одного Ваню Кысу возьми... С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил, сердешный. А тоже — храбрец из храбрецов считался...

— Ну сравнил!

— Ну а как же? Уж куда храбрей Кысы-то?.. Был ли кто?

— Кыса — разбойник. Разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов... Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тада присылал, мы всей деревней смотреть бегали.

— Это... все так, — вздохнул Баев. Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья — спорить, неглубоко берет баба своим рассудком. — Конечно, командир, ордена... трень-брень, сапоги со скрипом... Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или... так — куда шапку надевают.

Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь — наискосок — домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом — день шумливый, суетной, бестолковый... И опять опускалась на землю ясная ночь, и охота было опять поговорить, подумать, повспоминать — испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия.

...Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, Баев собрался уже уходить, закладывая в нос последнюю порцию душистого — с валерьяновыми каплями — табаку, и тут увидела Марья, как на крыльце сельмага всходит какой-то человек... Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.

— Ферапонтыч, — выдохнула она с ужасом, — гляди-ка!

Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось.

Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок... Слышно звякнуло железо.

— Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье. — Стреляй!.. Через окно прямо!

Марья не шевелилась. Смотрела в окно.

— Стреляй! — опять велел Баев.

— Да как я?! В живого человека... «Стреляй»! Как?! Ты што?

Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился напрямик к ним.

— Царица небесная, матушка, — зашептала Марья, — конец наступает. Прими, господи, душеньку мою грешную...

А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно — стреляй, дескать.

Шаги громко захрустели под окнами... Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно:

— Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!

— А чего это никого нет-то? — спросил Петька Сибирцев.

— Заходи, заходи! — помахала рукой Марья. — Вот гад-то подколодный! Я думала, у меня счас разрыв сердца будет. Вот черт-то полуношный! Он, наверно, с похмелья день с ночью перепутал.

Вошел Петька.

— Счас что, ночь, что ли? — спросил он.

— Вот идиот-то! — опять ругнулась Марья. — А ты что, за четвертинкой в сельмаг?

Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь — ночь.

— Заспал...

Баев пришел наконец в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.

— Да-а, — сказал он. — Пить так уж пить — чтоб уж и время потерять: где день, где ночь.

Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.

— Ну надо же! — все изумлялась Марья. — А если б я стрельнула?

Петька поднял голову, посмотрел на Марью — то ли не понял, что она сказала, то ли не придавал значения ее словам.

— У него голова болит, — с сердцем посочувствовал Баев. — Эх-х... Жители! — Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. — Мне счас внучка книжку читает: Александр Невский землю русскую защищал... Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там.

Марья и Петька посмотрели на старика.

— Не верю! — еще раз с силой сказал Баев. — Выдумал... и получил хорошие деньги.

— Как это? — не поняла Марья.

— Наврал, как! Не врут, что ли?

— Это же исторический факт, — сказал Петька. — Как это он мог наврать? Конечно, он, наверно, приукрасил, но это же было.

— Не было.

— Вот как! — Петька качнул больной головой. — Хм...

— С кем это он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами, вроде тебя?

Петька опять посмотрел на старика... Но смолчал.

— Если уж сейчас с вами ничего сделать не могут — со всех концов вас воспитывают да развивают... борются всячески, — то где же тогда было набраться сознания?

Петька похлопал по карманам — искал курево, но не обнаружил ни папирос, ни спичек.

— Пиши в газету, — посоветовал он. — Опровергай.

И встал и пошел вон из избушки.

Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной заморозки, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмаг.

— У их, наверно, свадьба, — сказала Марья. — Сестра-то Петькина за этого вышла... за этого... Как его? Брат-то к агрономше приехал... Как его?

— Черт их теперь знает. И знать не хочу... Сброд всякий. — Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно — как ватные сделались. Все же испугался он сильно. — Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать!

— Они, ночи-то, вон какие светлые. Наверно, соскочил со сна-то — видит, светло, и дунул в сельмаг.

— Это ж... он и солнце с луной спутал?

Марья засмеялась.

— Видно, гуляют крепко.

В животе у Баева затревожилось, он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся.

— Пойду. Спокойно тебе додежурить.

— Будь здоров, Ферапонтыч. Приходи завтра, я завтра картошки принесу — напекем.

— Напекем, напекем, — сказал Баев. И поскорей вышел.

Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко — Баев был в валенках.

А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Непокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.

БЕСПАЛЫЙ

Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся: как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она... Черт их знает, людей: как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они же не знали, какая она остроумная, озорная. Как она ходит! Это же поступь, черт возьми, это движение вперед, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены: смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения.

— Что? — спрашивала Клара. — Мм?.. — И, играя, показывала Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней.

...И они же еще вякали про то, что она... О деревня! Серега молил бога, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился: по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его, и нет ли тут какого недоразумения — вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: «Э-э, друг ситный, да ты что?! Ишь захапал!»

Серега увидел Клару первый раз в больнице (она только что приехала работать медсестрой), увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик-сапожок. И сразу забеспокоился. Это потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все остальное было — рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетался в стороны; она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурой очереди: «Кто на перевязку — заходите». И скрылась в кабинетке. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: «Не больно?» У Сереги кружилась голова от ее духов, он на вопросы только мотал головой — что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться.

— Что вы? — спросила Клара.

Сергея от растерянности опять качнул головой — что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом... У Сергея где-то внутри, выше пупка, зажгло... Он сморщился и... заплакал. Натурально заплакал! Он не мог понять себя и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами. И слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики. Клара испугалась: «Больно?!»

— Да иди ты!.. — с трудом выговорил Серега. — Делай свое дело. — Он приник бы мокрым лицом к этим милым пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но страх, страх парализовал его, а теперь еще и стыд — что заплакал.

— Больно вам, что ли? — опять спросила Клара.

— Только... это... не надо изображать, что мы все тут — от фонаря работаем, — сказал Серега сердито. — Все мы, в конце концов, живем в одном государстве.

— Что-что?

Ну, и так далее.

Через восемнадцать дней они поженились.

Клара стала называть его — Серый. Ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался «вареный какой-то», они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был «вареный», ходил, выпитив грудь, чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его.

И в это-то время, когда он не знал, что бы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его — капризная и злая. Серега презирал их всех. Они же не знали, как она... О люди! Все иззавидовались, черти. Что такое, не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет.

— Вы берите пример с животного мира, — посоветовал Серега одному такому умнику. — Они же спокойно относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они же не злятся. Чего вы-то психуете?

— Да жалко тебя...

— Жалко у пчелки... знаешь где? Вот так.

Сергея злился, понимал, что это ни к чему, глупо и еще больше злился.

— Не обращай внимания на пустолаек, — говорила жена Клара. — Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу.

Сергея поругался с родней, что они не пришли в во-

сторг от Клары, с дружками... Бросил совсем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельзико в предбаннике, чтоб никто из зубоскалов не видел. Мать Серёги не могла понять: хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как-то не пристало мужику бабскую работу делать, с другой стороны... Шуг ее знает!

— Но он же не пьет! — сказала Клара свекрови. — Чего вам еще? Он занят делом.

— Да и ты возьми да пожалей его: возьми да сама постирай, он неделю-то наломался, ему отдохнуть надо.

— А я что, не работаю?

— Да твоя-то работа... твою-то работу рази можно сравнить с мужиной, матушка! Покрути-ка его день-дневской (Серёга работал трактористом) — руки-то какие надо! Он же не двуужильный.

— Я сама знаю, как мне жить с мужем, — сказала на это Клара. — Вам надо, чтобы он пил?

— Зачем же?

— Ну и все. Им же делаешь хорошо, и они же еще недовольны.

— Да ведь мне жалко его, он же мне сын...

— Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются? Жалко? Ну и все. И не надо больше говорить на эту тему. Ясно?

— Господи, батюшка!.. — опешила мать. — И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей и слова не скажи.

— Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает?

— Да чо ты извязалась с пьянкой-то! — рассердилась мать. — Он и до тебя не шибко пил, чо ты с пьянкой-то? Заладила: «пьянка, пьянка».

— Хорошо, я скажу ему, что вы не велите стирать, — объявила Клара. И даже поднялась и книжку медицинскую отложила в сторону.

Мать испугалась.

— Ладно! Сразу — «скажу». Только бы бегать жалиться.

— Хорошо, что вы предлагаете? — Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь. — Конкретно.

— Ничего. Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить, вот что. Если б жить думала, ты бы его берегла. А ты, как... не знаю, как ксплотаторша какая: заездила мужика. Неужели же тебе тяжело хоть воды-то натаскать! Он и так целый день там руки-то вы-

ворачивает, а придет домой — снова запрягайся. Да когда же ему отдохнуть-то, бедному?

— Повторяю: я о нем думаю. И когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут... распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать.

— Господи, господи, — только и сказала мать. — Вот какие нынче пошли жены-то! Ай-яй!

Знал бы Серега про эти разговоры! У Клары хватало ума не передавать их мужу.

А Сереге это одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простирнуть... Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер. А то попросит ее надеть белый халат.

— Ну заче-ем! — мило капризничала Клара. — Что за странности какие-то?

— Я прошу, — настаивал Серега. — Я же тогда тебя в халатике увидел, первый раз-то. Надень, погляжу: у меня вот здесь опять ворохнется. — Он показывал под сердце. — Я прошу, Кларнетик. — Он ее называл — Кларнетик. Или — Лларнет, когда надо громко позвать.

Клара надевала халат, и они баловались.

— Где болит? — спрашивала Клара.

— Вот здесь, — показывал Серега на сердце.

— Давно?

— Уже... семьдесят пять дней.

— Разрешите. — Клара прижималась ухом к Сергиной груди. Серега вдыхал запах ее крашенных волос... И снова, и снова у него чуть кружилась голова от волнения и радости. Он стискивал «врача» в объятиях, искал губами ее милый носик — любил почему-то целовать в носик.

— Ну-у, — противилась Клара, — врача-то!.. — Ей, наверно, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа.

«Господи, за что мне такое счастье! — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату. — Я же могу не вынести так. Тронусь, чего доброго. Или ослабну вовсе».

Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное.

Приехал на каникулы двоюродный брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе в техническом вузе, родня им хвасталась, и, когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славкин, собирал вечер. Так было уже два раза, теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять. Позвали Серегу с Klarой.

Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреновом

платье с пышными рукавами, на груди медальон — часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят... Как любил ее Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет: из всех-то она выделялась за столом, гордая сидела, умная, воспитанная — очень и очень не простая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так — о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их.

— Хорошо, хорошо, — говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают, — мы — технократия, народ... сухой, как о нас говорят и пишут... Я бы тут только уточнил: конкретный, а не сухой, ибо во главе угла для нас — господин Факт.

— Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди, — возразила на это Клара, тоже улавливая ухом, что все их слушают.

— Кто же спорит! — сдержанно, через улыбочку, пульнул технократ Славка. — Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди, и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки!

Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так:

— Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы? — Это она сильно выразилась; за столом стало совсем тихо.

Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул:

— Если хотите — да! — сказал он. — Только такой ценой человечество овладеет всеми богатствами природы.

— Но это же шарлатанство, — при общей тишине негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара.

Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво, он сам почувствовал. Он занервничал.

— Почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойственно медицине. И только медицине.

— Вы имеете в виду самовольные аборты?

— Не только...

— Знахарство? Так вот, запомните раз и навсегда, — напористо, и сердито, и назидательно заговорила Клара, — что всякий, кто берется лечить даже насморк че-

ловека, но не имеет на это соответствующего права, есть потенциальный преступник. — Особенно четко и страшно выговорилось у нее это «преступник». И это — при бабках, которые всю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами, это при них она так... Все смотрели на Клару. И тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал. Он молился на свою очкастую богиню, хотелось заорать всем: «Что, съели?! А вякали!..» Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает что за нервы у него! То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил.

Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже: Славка проиграл. К Кларе потянулись — кто с рюмкой, кто с вопросом... Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к уху, спросил:

— Как ее величать?

— Никаноровна. Клавдия Никаноровна.

— Клавдия Никаноровна! — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса. — А, Клавдия Никаноровна!..

Клара повернулась к этому холму за столом.

— Да, я вас слушаю. — Четко, точно, воспитанно.

— А вот вы замужем за нашим... ну, родственником, а свадьбу мы так и не справили. А почему вообще-то? Не по обычаю...

Клара не задумывалась над ответами. Вообще казалось, вот это и есть ее стихия — когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки... Когда все удивляются на нее, любят ее, кто и завидует исподтишка, а она все шлет и шлет и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопрос этого дяди Егора Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы... Скользнула взглядом по технократу Славке и сказала, не дав даже договорить дяде Егору:

— Свадьба — это еще не знак качества. Это, — Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце, — всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок.

Ну, она разворачивалась сегодня! Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она была явно в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного бестактного человека, посыпалось со всех сторон:

— Получил? Вот так.

— Что, Егорша: спроть шерсти? Хх-э!..

— С обычаем полез! Тут без обычая отбреют так, што... На, закуси лучше.

Сергеа — в безудержной радости и гордости за жену — выпил, наверно, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома; радость его была велика, хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеялся... Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол, под навес, — покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал. Сергеа скоро отошел на воздухе и сидел, думал. Не думал, а как-то отдыхал весь — душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него: он как будто куда-то плыл, повинуюсь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно: «Вот — живу. Хорошо».

Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома; у него больно екнуло сердце: он узнал голос жены. Он замер. Да, это был голос Клары. А второй — Славкин. Над навесом была дощатая перегородка, Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так: Сергеа сидел по одну сторону перегородки, спиной к ней, а они стояли по другую сторону... То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что голоса, или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость — точно он под кроватью лежал — так поначалу ошарашила, оглушила, что Сергеа не мог пошевелинуть ни рукой, ни ногой.

— Чиженька мой, — ласково, тихо — так знакомо! — говорила Клара, — да что же ты так торопишься-то? Дай я тебя... — Чмок-чмок. Так знакомо! Так одинаково! Так близко... — Славненький мой. Чудненький мой... — Чмок-чмок. — Сладенький...

Они там слегка возились и толкали Сергеа. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал — Сергеа пропускал его слова, — Клара тихо смеялась и говорила:

— Сладенький мой... Куда, куда? Ах, ты, шалунишка! Поцелуй меня в носик.

«Так вот это как бывает, — с ужасом, с омерзением, с болью постигал Сергеа. — Вот как!» И все живое, имеющее смысл, имя, — все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла — одна черная яма. «Ну, теперь все равно», — подумал Сергеа. И шагнул в эту яму.

— Кларнети-ик, это я, Серый, — вдруг пропел Сергеа,

как будто он рассказывал сказку и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка и так вот пропела: — Ау-у! — еще спел Серега. — А я вас сейчас буду убива-ать.

Дальше все пошло мелькать, как во сне: то то видел Серега, то это... То он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот что он запомнил хорошо: как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались; когда она махнула через прясло, ее рыжая грива вздыбилась над головой... Этаким огонь метнулся. И этот-то летящий момент намертво схватила память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина — полет, и было смешно и больно.

В тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало... Куда-то все подевались. Серега остался один с топором... Он стал все сознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно от боли. «Да что же это такое-то! Что же делается?» — подумал Серега... Положил на жердину левую руку и тянул топором по пальцам. Два пальца — указательный и средний — отпали. Серега бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подолом.

С тех пор его и прозвали на селе — Беспалый.

Клара уехала в ту же ночь; потом ей куда-то высылали документы: трудовую книжку, паспорт... Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, орудует этой своей культей не хуже прежнего. О Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками.

— Говорили тебе, Серьга: злая она...

— Какая она злая-то?! — вдруг вскипел Серега. — При чем тут злая-то?

— А какая она? Добрая, что ли?

— Да при чем тут — добрая, злая? В злости, что ли, дело?

— А в чем же?

— Ни в чем! Не знаю, в чем... Но не в злости же дело. Есть же другие какие-то слова... Нет, заталдычили одно: злая, злая. Может, наоборот, добрая: брату хотела помочь.

— Серьга, — поинтересовались, — а вот ты же это... любил ее... А если б сейчас приехала, простил бы?

Сергея промолчал на это. Ничего не сказал.

Тогда мужики сами принялись рассуждать.

— Что она, дура, что ли, — приедет.

— А что? Подумаает — любил...

— Ну, любил, любил. Он любил, а она не любила. Она уже испорченный человек — на одном все равно не остановится. Если смолоду человек испортился, это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу — все равно. Она иной раз и сама не хочет, а делает.

— Да, это уж только с середки загнить, а там любой ветерок пошатнет.

— Воли им дали много! — с сердцем сказал Костя Бибииков, невзрачный мужичок, не очень дерзкий на слово. — Дед Иван говорит: сейчас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно. Воли много, они и распустились. У Игнахи вон Журавлева — тоже: напилась дура, опозорила мужика — вел ее через всю деревню. А потом на его же: «А зачем пить много разрешал!» Вот как!..

— А молодые-то!.. Юбки эти возьми — посмотришь, иде-ет... Тьфу!

Сергея сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре. Покусывал травинку, смотрел вдаль куда-то. Он думал: что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ей руки — пошел бы навстречу. Все же, как ни больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так... Но праздник-то был? Был. Ну и все.

МНЕНИЕ

Некто Кондрашин, Геннадий Сергеевич, в меру полненький гражданин, голубоглазый, слегка лысеющий, с надменным, несколько даже брезгливым выражением на лице, в десять часов без пяти минут вошел в подъезд большого глазастого здания, взял в окошечке ключ под номером 208, взбежал, поигрывая обтянутым задком, на

второй этаж, прошел по длинному коридору, отомкнул комнату номер 208, взял местную газету, которая была вложена в дверную ручку, вошел в комнату, повесил пиджак на вешалку и, чуть поддернув у колен белые отглаженные брюки, сел к столу. И стал просматривать газету. И сразу наткнулся на статью своего шефа, «шефуни», как его называли молодые сотрудники. И стал читать. И по мере того, как он читал, брезгливое выражение на его лице усугублялось еще насмешливостью.

— Боженька мой! — сказал он вслух. Взялся за телефон, набрал внутренний трехзначный номер.

Телефон сразу откликнулся:

— Да. Яковлев.

— Здравствуй! Кондрашин. Читал?

Телефон чуть помедлил и ответил со значительностью, в которой тоже звучала насмешка, но скрытая:

— Читаю.

— Заходи, общемся.

Кондрашин отодвинул телефон, вытянул тонкие губы трубочкой, еще пошуршал газетой, бросил ее на стол — небрежно и подальше, чтоб видно было, что она брошена, и брошена небрежно... Поднялся, походил по кабинету. Он, пожалуй, слегка изображал из себя кинематографического американца: все он делал чуть размашисто, чуть небрежно... Небрежно взял в рот сигарету, небрежно щелкнул дорогой зажигалкой, издав далеко небрежно бросил пачку сигарет на стол. И предметы слушались его: ложились, как ему хотелось, — небрежно, он делал вид, что не отмечает этого, но он отмечал и был доволен.

Вошел Яковлев.

Они молча — небрежно — пожали друг другу руки. Яковлев сел в кресло, закинул ногу на ногу, при этом обнаружили его красивые носки.

— А? — спросил Кондрашин, кивнув на газету. — Каков? Ни одной свежей мысли, болтовня с апломбом. — Он, может быть, и походил бы на американца, этот Кондрашин, если б нос его, вполне приличный нос, не заканчивался бы вдруг таким тамбовским лапоточком, а этот лапоточек еще и — совсем уж некстати — слегка розовел, хотя лицо Кондрашина было сытым и свежим.

— Не говори, — сказал Яковлев, джентльмен попроще. И качнул ногой.

— Черт знает!.. — воскликнул Кондрашин, продолжая ходить по кабинету и попыхивая сигаретой. — Если нечего сказать, зачем тогда писать?

— Откликнулся. Поставил вопросы...

— Да вопросов-то нет! Где вопросы-то?

— Ну как же? Там даже есть фразы: «Мы должны напрячь все силы...», «Мы обязаны в срок...»

— О да! Лучше бы уж он напрягался в ресторане — конкретнее хоть. А то именно — фразы.

— В ресторане — это само собой, это потом.

— И ведь не стыдно! — изумлялся Кондрашин. — Все на полном серьезе... Хоть бы уж попросил кого-нибудь, что ли. Одна трескотня, одна трескотня, ведь так даже для районной газеты уже не пишут. Нет, садится писать! Вот же Долдон Иваныч-то.

— Черт с ним, чего ты волнуешься-то? — искренне спросил Яковлев. — Дежурная статья...

— Да противно все это.

— Что ты, первый год замужем, что ли?

— Все равно противно. Бестолково, плохо, а вид-то, посмотри, какой, походка одна чего стоит. Тьфу!.. — И Кондрашин вполне по-русски помянул «мать». — Ну почему?! За что? Кому польза от этого надутого дурака. Бык с куриной головой...

— Что ты сегодня? — изумился теперь Яковлев. — Какая тебя муха укусила? Неприятности какие-нибудь?

— Не знаю... — Кондрашин сел к столу, закурил новую сигарету. — Нет, все в порядке. Черт ее знает, просто взбесила эта статья. Мы как раз отчет готовим, не знаешь, как концы с концами свести, а этот, — Кондрашин кивнул на газету, — дует свое... Прямо по морде бы этой статьей, по морде бы!..

— Да, — только и сказал Яковлев.

Оба помолчали.

— У Семена не был вчера? — спросил Яковлев.

— Нет. Мне опять гостей бог послал...

— Из деревни?

— Да-а... Моя фыркает ходит, а что я сделаю? Не выгонись же.

— А ты не так. Ты же Ожогина знаешь?

— Из горкомхоза?

— Да.

— Знаю.

— Позвони ему, он гостиницу всегда устроит. Я, как

ко мне приезжают, сразу звоню Ожогину — и нике проблем.

— Да неудобно... Как-то, знаешь, понятия-то какие! Скажут: своя квартира есть, а устраивает в гостиницу. И тем не объяснишь, и эта... вся испсиховалась. Вся зеленая ходит. Вежливая и зеленая.

Яковлев засмеялся, а за ним, чуть помедлив, и Кондрашин усмехнулся.

С тем они и расстались. Яковлев пошел к себе, а Кондрашин сел за отчет.

Через час примерно Кондрашину позвонили. От «шефуня».

— Дмитрий Иванович просит вас зайти, — сказал в трубку безучастный девичий голосок.

— У него есть кто-нибудь? — спросил Кондрашин.

— Начальник отдела кадров, но они уже заканчивают. После него просим зайти вас.

— Хорошо, — сказал Кондрашин. Положил трубку, подумал: не взять ли с собой чего, чтобы потом не бегать. Поперебирал бумаги, не придумал что брать... Надел пиджак, поправил галстук, сложил губы трубочкой — привычка такая, эти губы трубочкой: вид сразу становился деловой, озабоченный и, что очень правилось Кондрашину в других, — вид человека, настолько погруженного в свои мысли, что уж и не замечались за собой некоторые мелкие странности вроде этой милой ребячьей привычки, какую он себе подобрал, — губы трубочкой, и, выйдя из кабинета, широко и свободно пошагал по коридору... Взбежал опять по лестнице на третий этаж, бесшумно, вольно, с удовольствием прошел по мягкой ковровой дорожке, смело распахнул дверь приемной, кивнул хорошенькой секретарше и вопросительно показал пальцем на массивную дверь «шефуня».

— Там еще, — сказала секретарша. — Но они уже заканчивают.

Кондрашин свободно опустился на стул, приобнял рукой спинку соседнего стула и легонько стал выстукивать пальцами по гладкому дереву некую мягкую дробь. При этом сосредоточенно смотрел перед собой — губы трубочкой, брови чуть сдвинуты к переносью — и думал о секретарше и о том помпезном уюте, каким издавна окружают себя все «шефы», «шефуня», «надшефы» и даже «подшефы». Вообще ему нравилась эта представительность, широта и некоторая чрезмерность обиталища «ше-

фов», но, например, Долдон Иваныч напрочь не умеет всем этим пользоваться: вместо того, чтобы в этой казенной роскоши держаться просто, доступно и со вкусом, он надувается как индюк, важничает. О секретарше он подумал так: никогда, ни с какой секретаршей он бы ни в жизнь не завел ни самого что ни на есть пустого романа. Это тоже... долдонство: непременно валандаться с секретаршами. Убогость это, неуклюжесть. Прimitивность. И всегда можно погореть...

Дверь кабинета неслышно открылась... Вышел начальник отдела кадров. Они кивнули друг другу, и Кондрашин ушел в дерматиновую стену.

Дмитрий Иванович, «шефуня», был мрачноват с виду, горбился за столом, поэтому получалось, что он смотрит исподлобья. Взгляд этот пугал многих.

— Садитесь, — сказал Дмитрий Иванович. — Читали? — И пододвинул Кондрашину сегодняшнюю областную газету.

Кондрашин никак не ждал, что «шефуня» прямо с этого и начнет — с газеты. Он растерялся... Мысли в голове разлетелись точно воробьи, вспугнутые камнем. Хотел уж соврать, что не читал еще, но вовремя сообразил, что это хуже... Нет, это хуже.

— Читал, — сказал Кондрашин. И на короткое время сделал губы трубочкой.

— Хотел обсудить ее до того, как послать в редакцию, но оттуда позвонили — срочно надо. Так вышло, что не обсудил. Просил их подождать немного, говорю: «Мои демократы мне за это шею намылят». Ни в какую. Давайте, говорите теперь — постфактум. Мне нужно знать мнение работников.

— Ну, это понятно, почему они торопились, — начал Кондрашин, глядя на газету. Он на секунду-две опять сделал губы трубочкой... И посмотрел прямо в суровые глаза «шефуни». — Статья-то именно сегодняшняя. Она сегодня и нужна.

— То есть? — не понял Дмитрий Иванович.

— По духу своему, по той... как это поточнее — по той деловитости, конкретности, по той простоте, что ли, хотя там все не просто, именно по духу своему она своевременна. И современна. — Кондрашин так смотрел на грозного «шефуню» — простодушно, даже как-то наивно, точно в следующий момент хотел спросить: «А что, кому-нибудь неясно?»

— Но ведь теперь же все с предложениями высовываются, с примерами...

— Так она вся — предложение! — перебил начальника Кондрашин. — Она вся, в целом, предлагает... зовет, что ли, не люблю этого слова, работать не так, как мы вчера работали, потому что на дворе у нас — одна тысяча девятьсот семьдесят второй. Что касается примеров... Пример — это могу я двинуть, со своего, так сказать, места, но где же тогда обобщающая мысль? Ведь это же не реплика на совещании, это статья. — И Кондрашин приподнял газету над столом и опустил.

— Вот именно, — сказал «шефуня». — Примеров у меня — вон, полный стол. — И он тоже приподнял какие-то бумаги и бросил их.

— Пусть приходят к нам в отделы — мы их завалим примерами, — еще сказал Кондрашин.

— Как с отчетом-то? — спросил Дмитрий Иванович.

— Да ничего... Все будет в порядке.

— Вы там смотрите, чтоб липы не было, — предупредил Дмитрий Иванович. — Консультируйтесь со мной. А то наворочаете...

— Да ну, что мы... первый год замужем, что ли? — Кондрашин улыбнулся простецкой улыбкой.

— Ну-ну, — сказал Дмитрий Иванович. — Хорошо. — И кивнул головой. И потянулся к бумагам на столе.

Кондрашин вышел из кабинета.

Секретарша вопросительно и, как показалось Кондрашину, с ехидцей глянула на него. Спросила:

— Все хорошо?

— Да, — ответил Кондрашин. И подумал, что, пожалуй, с этой дурочкой можно бы потихоньку флиртануть — так, недельку потратить на нее, потом сделать вид, что ничего не было. У него это славно получалось. Он даже придержал шаг, но тут же подумал: «Но это ж деньги, деньги!..» И сказал: — Вы сегодня выглядите на сто рублей, Наденька.

— Да уж... прямо, — застеснялась Наденька.

«Совсем дура, — решил Кондрашин. — Зеленая».

И вышел из приемной. И пошел по ковровой дорожке... По лестнице на второй этаж не сбежал, а сошел медленно. Шел и крепко прихлопывал по гладкой толстой периле ладошкой. И вдруг негромко, зло, даже остервенело, о ком-то сказал:

— Кр-ретины.

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАГАНОВА

Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо... Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова — ни тогда, на курсе, ни после, ни теперь, когда хотелось мысленно увидеть Майю, — не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же — женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить, — то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего: любил он эту Майю Якутину. С их курса ее любили четыре парня; все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весть, талантливого физика. Все решили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог: во-первых, никакого права не имел на это, во-вторых... за что же винить? Ваганов всегда знал: Майя не ему чета. Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника... Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, что ни делается — все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно — от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи... У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал: «Вот так, наверно, падают в обморок». И ничуть этого не испугался,

только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел на свет, только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение — исцеловать письмо — было. Ваганов вырос в деревне, с суровым отцом и вечно занятой, вечно работающей матерью, ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то — поцелуев.

Майя писала, что ее семейная жизнь «дала трещину», что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: «Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встречу меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?» Дальше она еще писала, что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг, что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркино, упорство в учебе и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань... «Ну-ну-ну — легче, матушка, легче, — с удовлетворением думал молодой Ваганов. — Подожди пока цыпляток считать».

Вот с этим-то письмом в портфеле и шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме, в письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал... А сердце нет-нет да подмоет: «Неужели же она моей будет? Ведь не страну же она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как...»

Целиком занятый решением этой волнующей загадки в своей судьбе, Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно заняла... В проем осторожно просунулась стриженная голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване.

— Можно к вам?

Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду:

— Входите.

— Здравствуйте. — Мужчине этак под пятьдесят, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал куда девать.

— Садитесь, — велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону.

— Я тут... это... характеристику принес, — сказал мужчина. И, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он называл характеристикой.

— Какую характеристику?

— На жену. Они тут на меня дело заводят... А я хочу объяснить...

— Вы Попов?

— Ага.

— А что вы объяснять-то хотите? Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избili жену и соседа? При чем тут характеристика-то?

Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверно, был очень красив. Он и теперь еще красив: чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный... Но, конечно, помят, несвеж, вчера выпил изрядно, с утра кое-как побрился, наспех ополоснулся... Эхма!

— Ну-ка, дайте характеристику.

Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать. Ваганов побежал глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие — веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере.

Ваганов дочитал.

— Попов... это ведь не меняет дела.

— Как не меняет?

— Не меняет. Вот вы тут пишете, что она такая-то и такая-то — плохая. Допустим, я вам поверил. Ну и что?

— Как же? — удивился Попов. — Она же меня нарочно посадила! На пятнадцать суток-то. Посадила, а сама тут с этим... Я же знаю. Мне же Колька Королев все рассказал. Да я и без Кольки знаю... Она мне сама говорила.

— Как говорила?

— Говорила! — воскликнул доверчиво Попов. — Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой.

— Да ну... Что, так прямо и говорила?

— Да в том-то и дело! — опять воскликнул Попов. И даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а

нормальный мужской. — Тебя, говорит, посажу, а сама — назло тебе — поживу с Мишкой.

— Она именно «назло» и говорила?

— Да нет! Я же знаю ее!.. И Мишаню этого знаю — сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все головой ручаюсь. Жили, собаки! На другой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил...

— Ну, не знаю... — Молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть: похоже, мужик говорит всю горькую правду. — Тогда уж разводиться, что ли, надо?

— А куда я пойду — разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это... ребятишки еще не оперились, жалко мне их...

— Сколько у вас?

— Трое. Меньшому только семь, я люблю его до смерти... Мне на стороне не сдюжить — вовсе сопьюсь.

— Ну, слушайте! — с раздражением сказал Ваганов. — Вы уж прямо как... паралитик какой: «не сдюжу», «сопьюсь». Ну а как быть-то? Ну, представьте себе, что вы вот не с жалобой пришли, не к начальству, а... к товарищу. Вот я вам товарищ, и я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого — живи, не сможешь...

— Смогу, — твердо сказал Попов. — Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый: шумлю много, не шибко ласковый... Если б был маленько поласковей, она, может, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи... Они же посадить хотят. И посадят, у их свидетелей полно, медицинские кспертизы обои прошли... Года три впяют.

— Что же ты хочешь-то, я не пойму?

— Чтоб они закрыли дело.

— А характеристика-то зачем?

— А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрят, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они же сами кругом виноватые! Ты гляди-ка, посадить человека, а самой тут... Ну, не зараза она после этого!

— Здорово избил-то?

— Да где здорово! Шуму больше, крику...

— А без битья уж не мог?

Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено.

— Не сдюжил...

— Опять не сдюжил! Ах ты, господи, — какие ведь мы несдюжливые! — Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету. Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость, это Ваганов, даже при своем небольшом еще опыте, научился различать: когда нарочно стараются разжалобить, и делают это иногда довольно искусно. — Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить: возможно, что и... Впрочем, что же теперь об этом?

— Да, чего уж, — согласился Попов.

Некоторое время они молчали.

«Ну что вот делать? — думал Ваганов. — Посадят ведь дурака. Как ни веди дело, а... Эхма!»

— Как вы поженились-то?

— Как?.. Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала... Ну — сошлись. Я ее и раньше знал.

— Вы здешний?

— Здешний. Только у меня родных тут никого не осталось: мать с отцом ишо до войны померли — угорели, старших братьев обоих на войне убило, две тетки были, тоже померли. Племянники, какие были, в городах где-то, я даже не знаю где.

— А жена где сейчас?

Попов вопросительно посмотрел на следователя.

— Где работает, что ли? Там же, в сельпе.

— На работе сейчас?

— На работе.

— Тебя кто научил с характеристикой-то?

— Никто, сам. Нет, говорили мужики: надо, мол, на встречу бумаги какие-нибудь двинуть... Я подумал... чего двинуть? Написал вот...

— Хорошо, оставь ее мне. Иди. Я попробую с женой поговорить.

Попов поднялся... Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел.

Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь. Потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма. Спросил:

— Ну что, Майя? Что будем делать? — Подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило. — Фу ты, черт! —

с досадой сказал Ваганов. И дальше подумал: «Вечером напишу».

Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо — это было рядом.

Ваганов просмотрел пока «бумаги», обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтоб мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано! Нашелся и писарь. Ваганов пододвинул к себе «характеристику» Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ... Это, собственно, не характеристика, а правдивое изложение случившегося: «Пришел я, бритый, она лежит, как удав на перине. Ну, говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась? Она видит, дело плохо, давай базланишь. Я ее жогнул разок: ты можешь потише, мол? Она вырвалась и — не куда-нибудь побежала, не к родным — к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашло, я не сдюжил...»

Попова, миловидная еще женщина лет сорока, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает: закон охраняет ее.

— Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет: как выпьет, так начинает хулиганить. К какому-то Мишке меня приревновал!.. Дурак необтесанный.

— Да, да... — Ваганов подхватил фамильярный тон бойкой женщины и поманил ее дальше. — Безобразник. Что он, не знает, что сейчас за это — строго! Забыл.

— Он все на свете забыл! Ничего — спомнит. Дадут года три — спомнит, будет время.

— Дети вот только... без отца-то — ничего?

— А что? Они уж теперь большие. Да потом, такого отца иметь — лучше не иметь.

— Он всегда такой был?

— Какой?

— Ну, хулиганил, дрался?..

— Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут — к Михайле-то приревновал... С прошлого года начал. Да еще грозит! Грозит, Георгий Константиныч: прирежу, говорит, обоих.

— Так, так. А кто такой этот Михайла-то?

— Да сосед наш, господи! В прошлом годе приехали... Шофером в сельпо работает.

— Он что, одинокий?

— Да они так: переехать-то сюда переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михайле глянется. Он рыбак заядлый, а тут у нас рыбачить-то хорошо. Вот они на два дома и живут. И там огород посажен, и здесь... Вот она и успеvat-ездит, жена-то его: там огород содырживат и здесь, — жадничат, в основном.

— Так, так... — Ваганов вовсе убедился, что прав Попов: изменяет ему жена. Да еще и нагло, с потерей совести. — Вот он тут пишет, что, дескать, вы ему прямо сказали: «Тебя посажу, а сама тут с Мишкой поживу». — В «характеристике» не было этого, но Ваганов вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал. — Было такое?

— Это он так написал?! — громко возмутилась Попова. — Нахалюга! Надо же!.. — Женщина даже посмеялась. — Ну надо же!

— Врет?

— Врет!

«Да, уверенная бабочка, — со злостью уже думал Ваганов. — Ну нет, так просто я вам мужика не отдам».

— Значит, сажать?

— Надо сажать, Георгий Константиныч, ничего не сделаешь. Пусть посидит.

— А не жалко? — невольно вырвалось у Ваганова.

Попова насторожилась... Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе.

— В каком смысле? — спросила она.

— Да я так, — уклонился Ваганов. — Идите. — Он пристально посмотрел на женщину.

Женщина сказала «ага», поднялась, прошла к двери, обернулась, озабоченная... Ваганов все смотрел на нее.

— Я забыл спросить: почему у вас так поздно дети появились?

Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь: тон его, взгляд его... От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела.

— А не беременела, — сказала она. — Что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что?

— Ничего, идите, — еще раз сказал Ваганов. И положил руку на «бумаги». — Во всем... — он подчеркнул это «во всем», — во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий: кто виноват, тот и ответит. До свидания.

Женщина направилась к выходу... Уходила она не так уверенно, как вошла.

— Да, — вспомнил еще следователь, — а кто такой... — он сделал вид, что искал в «бумаге» Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было, — кто такой Николай Королев?

— Господи! — воскликнула женщина у двери. — Королев-то? Да собутыльник первый моего-то, кто ему поверит-то?! — Женщина была сбита с толку. Она даже в голосе поддала.

— Он что, зарегистрирован как алкоголик? Королев-то?

Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева: видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в ее наступательной позиции.

— Да кто у нас их тут регистрирует-то, товарищ Ваганов! Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были...

— Ну, хорошо, идите. Во всем разберемся.

Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его... Задумался, глядя на эти листы. Майя... Далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя... Можно и начать наконец писать слова красивые, сердечные — одно за одним, одно за одним — много! Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать... И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно легкие стрелы с тетивы — и втыкать, и втыкать их в точеную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви... Пробьет он ее деревянное сердечко, думал Ваганов, достанет где — живое, способное любить просто так, без расчета. Но вот теперь вдруг ясно и просто подумалось: «А может она так? Способна она так любить?» Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла... Вообще не сможет, и все. Вся эта история с талантливым физиком... Черт ее знает, конечно! С другой стороны, объективности ради, надо бы больше знать про все это — и про физика, и как у них все началось, и как кончилось. «Э-э, — с досадой подумал про себя Ваганов, — повело тебя, милый: заезозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни... Ну? Мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет! Что же, каждую примерять к се-

бе, что ли? Да и почему — что за чушь! — почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они, со своей житейской неумностью, должны подсказать, как ему решить теперь такое — такое! — в своей не простой, не маленькой, как хотелось и думалось, жизни?» Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание «обстреливать» далекую Майю. Утренняя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили — все внутри встревожилось, сжалось... «Вечером напишу, — решил Ваганов. — Дурацкое дело — наверно по молодости — работу мешать с личным настроением. Надо отмежеваться. Надо проще».

Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол — писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства... Ваганов уж и ругал себя обидными словами, и рассуждал спокойно, логично... Нет! Стоят, и все, в глазах эти люди. Даже не они сами, хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним, — вот что спутало мысли и чувства. «Ну, хорошо, — вконец обозлился на себя Ваганов, — если уж ты трус, то так и скажи себе — трезво. Ведь вот же что произошло: эта Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя — такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому неизмеримо больше. Но это-то и хуже — мучительнее убьет. Ведь вот же что ты здесь почувал, какую опасность. Тогда уж так прямо и скажи: «Все они одинаковы!» — и ставь точку, не начав письма. И трусь, и рассуждай дальше — так безопаснее. Крючок конторский!»

Ваганов долго сидел неподвижно за столом... Он не шутя страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще... Нет, не поднимается рука писать, нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость, а есть там, тоже, наверно, врожденная, трусость: как бы чего не вышло! Вот же куда все уперлось, если уж честно-то, если уж трезво-то. «Плебей, сын плебея! Ну, ошибись, наломай дров... Если уж пробивать

эту толщу жизни, то не на карачках же! Не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уж и так-то во всем копать... это же тоже — пакость, мелкость. Куда же шагать с такой нищей сумой! Давай будем писать. Будем писать не поэму, не стрелы будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так: что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так».

...Часам к четырем утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уже светло. В открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов прислонился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его раз двенадцать, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно: никакой там ясности, кажется, нету, ума особого тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал, — все время чувствовал, что больше кокетничает, чем... Он вчастую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо.

«Майя! Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой: весь в мыслях. Я спрашиваю себя: что это? И не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя: что это, Майя? Пожить у меня неделю — ради бога! Но это же и есть то, о чем я спрашиваю: что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение... Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось по-прежнему таким, каким было тогда: я люблю тебя И именно это обстоятельство дает мне сейчас право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе. И о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну что же... приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда. А убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю (как на допросе!): что это, Майя? Умоляю тебя, напиши мне еще одно письмо, коротенькое, ответь на вопрос: что это, Майя?» Так начал Ваганов свое длинное письмо... Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. «Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу!.. Слизняк». Это, правда, было как горе — эта неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился... «Господи, да что же делать-то? Что делать?» Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь, — он готов был и на это пойти, — никого не вспомнил, никого не было здесь, кому бы он не постыдился рассказать о своих муках и кому поверил

бы. А вспомнил он только... Попова, его честный, прямой взгляд, его умный лоб... А что? «А что, Майя? — съязвил он еще раз со злостью. — Это ничего, Майя. Просто я слизник, Майя».

Он скомкал письмо в тугий комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какая-нибудь неприятность скорей бы забылась и прошла.

Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть откуда влетевший мотивчик: «А я играю на гармошке у прохожих на виду-у...» С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому ясно: способен ли сам-то на что-нибудь или он выдумал себя такого — умного, деятельного, а другие, как дурачка, подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца — пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно: он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным, и его будущее — накроется. «Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный, — думал он про себя с искренней злостью. — Подождем и посмотрим».

Работу он начал с того, что послал за Поповым.

Попов пришел скоро, опять осторожно заглянул в дверь.

— Входи! — Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом.

— Как твое имя?

— Павел.

— Ну как там?.. Дома-то?

Попов помолчал... Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое, и сам он страдал много... Не это ли и есть сила-то человеческая — вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное — хамство, рвачество и жестокость?

— Ничего вроде... А что? — спросил Попов.

— Не говорил с женой?

— Мы с ей неделю уж не разговариваем.

— Не заметил в ней никаких перемен?

— Заметил. — Попов усмехнулся. — Вчера вечером до-олго на меня смóтрела, потом говорит: «Был у следователя?» — «Был, — говорю. — А что, тебе одной только бегать туда?»

— А она что?

— Ничего больше. Молчит. И я молчу.

— Возьмут они свои заявления назад, — сказал Ваганов. — Еще разок вызову, может, не раз даже... Думаю, что возьмут.

— Хорошо бы, — просто сказал Попов. — Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже...

— Павел, — в раздумье начал Ваганов про то главное, что томило, — хочу с тобой посоветоваться... — Ваганов прислушался к себе: не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешно ли он? Нет, не совестно, и вроде не смешно. Что уж тут смешного! — Есть у меня женщина, Павел... Нет, не так. Есть на свете одна женщина, я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять... — Вот теперь только почувствовал Ваганов легкое смущение — оттого, что бестолково начал. — Словом, так: люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь.

— Чего так? — спросил Попов.

— Да боюсь, что она такая же... вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить было, весело, разнообразно... Ну, в общем, все мои замыслы — побоку, а только ублажай ее.

— Ну-у, как же это так? — засомневался Попов. — Надо чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе: горе — горе, радость — тоже...

— Да постой, это я знаю — как нужно-то! Это я все знаю.

— А что же?

У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то.

— Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю, что она... никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?

— Да моя-то!..

— А что «моя-то»? Люди все одинаковы, все хотят

жить хорошо... Разве тебе не нужен был друг в жизни?

— Я так скажу, товарищ Ваганов, — понял наконец Попов. — С той стороны, с женской, — оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся? — спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос. — Попов говорил свободно, убежденно — правда, наверно, думал об этом. — Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты — пустой нуль. Чего же тогда мы детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила — терпеть все женские выходки...

— Но есть же... нормальные семьи!

— Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносят. А сами втихаря... бушуют.

— Ну, елки зеленые! — все больше изумлялся Ваганов. — Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она — друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они так сделаны. Чего обижаться? — В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной, — он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался.

— Так, так, — проговорил Ваганов. — Ну, нет, Попов, это в тебе горе твое говорит, неудача твоя. Это все же не так все...

Попов пожал плечами.

— Вы меня спросили — я сказал, как думаю.

— Это верно, верно. Я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так... это...

— Конечно. Каждый так и живет — с самого начала. Скажи мне тогда: «Не женись, мол, Пашка, — ошибесся». Что я на это? Послал бы подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает.

— Да, да, — согласился Ваганов. — Это верно. Ну хорошо. — Он встал. Попов тоже встал. — До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж...

— Да нет, что вы, товарищ Ваганов! — заверил По-

пов. — Больше этого не повторится, даю слово. Глухость это... Чего из их выколачивать-то? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно — напумел... Хожу, кляузами занимаюсь — рази ж не совестно?

— Ну, до свидания.

— До свидания.

Только за Поповым закрылась дверь, Ваганов сел к столу — писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму:

«Приезжай. Палат нету — все мое нопу собой. Встречу. Георгий».

Он записал так... Прочитал. Посвистел над этими умными словами все тот же мотив: «Я играю на гармошке...» Аккуратно разорвал лист, собрал клочки в ладонь и пошел и бросил их в корзину. Постоял над корзиной... Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады. Но и работать он бы не смог в этот день. Он подошел к столу и размахисто, во весь лист, написал:

«Нездоровится. Пошел домой».

Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то — это тоже сегодня не по силам.

Он пошел домой. Дорогой негромко пел:

А я играю на гармошке
У прохожих на виду-у.
К сожаленью, день рожденья —
Только ра-аз в го-оду-у.

День стоял славнецкий — не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцвело, и там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки — будущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день — впереди.

Ваганов свернул к почте. Запел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному чернилами столику, с краешку, написал адрес Майи... Несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст... И написал: «Приезжай».

И уставился в это айкающее слово... Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину.

— Что, раздумали? — спросила женщина в окошечке.

— Адрес забыл, — соврал Ваганов. И вышел на улицу. Пошел теперь твердо домой.

«И врать ведь как научился! — подумал о себе, как о ком-то — отчужденно. — Глазом не моргнул».

И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить.

НАКАЗ

Молодого Григория Думнова, тридцатилетнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным; сперва было заколебались — не молод ли? Но потом за эту же самую молодость так принялись хвалить Григория, что и самому ему, и тем, кто приехал рекомендовать его в председатели, стало даже неловко. Словом, выбрали.

Поздно вечером домой к Григорию пришел дядя его Максим Думнов, пожилой крупный человек с влажными веселыми глазами. Максим был слегка «на взводе», завылся шумно.

— Обмыва-ать! — потребовал Максим, тяжело привалившись боком к столу. — А-а?.. Как мы тебя — на руках посадили! Сиди! Сиди крепко!.. — Он весело смотрел на племянника, гордый за него. И за себя почему-то. — Сам сиди крепко и других — вот так вот держи! — Максим сжал кулак, показал, как надо держать других. — Понял?

Григорий не обрадовался гостю, но понимал, что это неизбежно: кто-нибудь да явится, и надо соблюсти этот дурацкий обычай — обмыть новую должность. Должность как раз сулила жизнь нелегкую, хлопотную, Григорий не сразу и согласился на нее... Но это не суть важно, важно, что тебя — выбирали, выбрали, говорили про тебя всякие хорошие слова... Теперь изволь набраться терпения, благодарности — послушай, как надо жить и как руководить коллективом.

Максим сразу с этого и начал — с коллектива.

— Ну, Григорий, теперь крой всех. Понял? Я, мол, кто вам? Вот так: сядь, мол, и сиди. И слушай, что я тебе говорить буду.

Григорий понимал, что надо бы все это вытерпеть —

покивать головой, выпить рюмку-другую и выпроводить довольного гостя. Но он почему-то вдруг возмутился.

— Почему крыть-то? — спросил он, не скрывая раздражения. — Что за чертова какая-то формула: «крой всех!..» И ведь какая живучая! Крой — и все. Хоть плачь, но крой. Почему крыть-то?!

— А как же? — искренне не понял Максим. — Ты что? Как же ты руководить-то собрался?

— Головой! — Григорий больше и больше раздражался, тем более раздражался, что Максим не просто бубнил по пьяному делу, а проявил убежденность и при этом смотрел на Григория, как на молодого несмышляныша.

— Головой я руководить собрался, головой.

— Ну-у!.. Головой-то многие собирались, только не вышло.

— Значит, головы не хватало.

— Хватало! Не ты один такой умница, были и другие.

— Ну? И что?

— Ничего. Ничего не вышло, и все.

— Почему же?

— Потому что к голове... твердость нужна, характер.

— Да мало у нас их было, твердых-то?! От кого мы стонали-то, не от твердых?

— Ладно, — согласился Максим. Спор увлек его, он даже не обратил внимания, что на столе у племянника до сих пор пусто. — Ладно. Вот, допустим, ты ему сказал: «Сделай то-то и то-то». А он тебе на это: «Не хочу». Все. Что ты ему на это?

— Надо вести дело так, чтоб ему... не знаю — стыдно, что ли, стало.

Максим Думнов растянул в добродушной улыбке рот.

— Так... Дальше?

— Не стыдно, нет, — сказал Григорий, поняв, что это, верно что, не аргумент. — Надо, чтоб ему это невыгодно было экономически.

— Так, так, — покивал Максим. И, не задумываясь, словно он держал этот пример наготове, рассказал: — Вот у нас пастух, Климка Стебунов, пропас наших коров два месяца, собрал деньги и послал нас всех... «Не хочу!» И все. А ведь ему экономически вон как выгодно! Знаешь, сколько он за два месяца слупил с нас? Пятьсот семьдесят пять рублей! Где он такие деньги заработает?

Нигде. А он все равно не хочет. Ну-ка, раскинь головой: как нам теперь быть?

— Ну, и как вы?

— Пасем пока по очереди... Кому позарез некогда, тот нанимает за себя. Но так ведь дальше-то тоже нельзя.

— А где этот Климка?

— Гуляет, где! Пропьет все до копейки, опять придет... И мы опять его, как доброго, примем. Да еще каждый будет стараться, как накормить его получше. А его, по-хорошему-то, гнать бы надо в три шеи. Вот тебе и экономика, милый Гриша. Окончи ты еще три института, а как быть с Климкой, все равно не будешь знать. Тем более что он — трудовой инвалид.

Григорий поубавил наступательный разгон, решил, что, пожалуй, стоит поговорить повнимательней.

— Погоди. Ну а как бы ты поступил, будь ты хозяин... то есть не хозяин, а...

— Понимаю, понимаю. Как? Пришел бы к нему домой, к подлецу... От него дома-то все плачут! «Вот что, милый друг, двадцать четыре часа тебе: или выходи коров пасти, или выселяем тебя из деревни». Все.

— Как же ты так? Сам же говоришь, он инвалид...

— Нам известно, как он инвалидом сделался: по своей халатности...

— А как?

— На вилы со стога прыгнул. Надо смотреть, куда прыгаешь. Но я ведь тебе не говорю, что я имею право его выселить. Ты спросил, как бы я действовал на твоём месте, я и прикидываю. Перво-наперво я бы его напугал насмерть. Нашел бы способ! Подговорил бы милиционера, подъехали бы к нему на коляске: «Садись, поедем протокол составлять об твоём выселении». Я же знаю Климку: сразу в штаны наложит. Завтра же до света помчится со своей дудкой коров собирать. Ничем больше Климку не взять. Проси ты его, не проси — бесполезно. Экономку эту он тоже... у него своя экономика: он рублей триста домой отдал, семье, а двести с лишним себе оставил и прикинул, на сколько ему хватит. Недели на две хватит: он хоть и гуляет, а угостить из своего кармана шиш кого угостит.

Григорий задумался. Ведь и правда, завтра же перед ним станет вопрос: как быть со стадом колхозников? А как быть?

— Так что, неужели никого больше нельзя заинтересовать?

— А кого?! — воскликнул Максим. — Мужики помоложе да покрепче, они все у дела — все почти механизаторы, совсем молодой — тот посовестится пастухом, бабу какую-нибудь?.. У каждой семья, тоже не может. Вот и беда-то — некому больше. Я бы пошел, но староват уже гоняться-то там за имя́ по косогорам. Вот видишь, я тебе один маленький пример привел, и ты уже задумался. — Максим весело посмотрел на племяша, дотянулся к нему, хлопнул по плечу. — Не журись! Однако прислушайся к моему совету: будь покруче с людьми. Люди, они ведь... Эх-х! Давай-ка по рюмочке пропустим, а то у меня аж в горле высохло: целую речь тут тебе закатил.

Григорий хотел позвать жену из горницы, чтоб она собрала чего-нибудь на стол, но Максим остановил:

— Не надо, пусть она там ребятишек укладывает. Мы сами тут чего-нибудь...

Григорий достал что надо, они налили по рюмочке, но пить не стали пока, закурили.

— Я ведь по глазам вижу, Гриша: сперва окрысился на меня — пришел, дескать, ученого учить! А я просто радый за тебя, пришел от души поздравить. Ну и посоветовать... Я как-никак жизнь доживаю, всякого повидал. — Максим склонил массивную седую голову, помолчал... И Григорий подумал в эту минуту, что дядя его, правда, повидал всякого: две войны отломал, на последней был ранен, попал в плен. Потом, после войны, долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен... А пока это выясняли, жена его, трактористка-стахановка, заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя, и всенародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их. И вышла за другого фронтовика. Все это надо было вынести, и Максим вынес. — Да, — сказал Максим, — вот такие наши дела. Давай-ка...

Они выпили, закусили, снова закурили. Максиму стало легче, он вернулся к разговору:

— Вся беда наша, Григорий, что мужик наш середки в жизни не знает. Вот я был в Германии... Само собой, гоняли нас на работу, а работать приходилось с ихними же рядом, с немцами. Я к ним и пригляделся. Тут... хошь не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал: немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затынут... Но до края он ни-когда не дойдет. Нет. И работать по-нашен-

ски — чертомелить — он тоже не будет: с такого-то часа и до такого-то, все. Дальше, хоть ты лопни, не заставишь его работать. Но свои часы отведет аккуратно — честь по чести, — они работать умеют, и свою выгоду... экономику, как ты говоришь, он в голове держит. Но и вот таких, как Климка Стебунов, там тоже нету. Их там и быть не может. Его там засмеют, такого, он сам не выдержит. Да он там и не уродится такой, вот штука. А у нас ведь как: живут рядом, никаких условий особых нету ни для одного, ни для другого, все одинаково. Но один, смотришь, живет, все у него есть, все припасено... Другой только косится на этого, на справно-го-то, да подсчитывает, сколько у него чего. Наспроть меня Геночка вон живет Байкалов... Молодой мужик, здоровый — ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то. И вся работа. Я ему: «Генк, да неужель ты это работой считаешь?» — «А что же это такое?» — «Это, мол, у нас раньше называлось: смолить да к стенке становить». Вот так работа, елкина мать! Сходит, семь болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет: и эта-то, такая-то работа, — через день! Во как!

— Сколько же он получает? — поинтересовался Григорий.

— Восемьдесят пять рублей. Хуже бабы худой. Доярки вон в три раза больше получают. А Генке — как с гуся вода: не совестно, ничего. Ну, ладно, другой бы, раз такое дело, по дому бы чего-то делал. Дак он и дома ни хрена не делает! День-деньской на реке пропадает — рыбачит. И ничего ему не надо, ни об чем душа не болит... Даже завидки берут, ей-богу. Теперь — другой край: ты Митьшу-то Стебунова знаешь ведь? — Максим сам вдруг подивился совпадению: — Они как раз родня с Климкой-то Стебуновым, они же братья сродные! Хэх... Вот тебе и пример к моим словам: один всю жизнь груши околачивает, другой... на другого я без уважения глядеть не могу, аж слеза прошибет иной раз: до того работает, сердешный, до того вкалывает, что приедет с пашни — ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И думаешь, из-за жадности? Нет — такой характер. Я его спрашивал: «Чего уж так хлещеся-то, Митьша?» — «А, — говорит, — больше не знаю, что делать. Не знаю, куда девать себя». Пить опасается: начнешь пить, не остановишься...

— Что, так и говорит: начну, значит, не остановлюсь?

— Так и говорит: «Если уж, говорит, пить так пить,

а так даже и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать». Он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь мы какие... заковыристые. — Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку... Качнул головой: — Но все же это только последнее время так народ избаловался. Техника!.. Она доведет нас, что мы — или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать лет в сорок. Ты гляди только, какие мужики-то пошли жирные! Стыд и страм глядеть. Иде-ет, как баба брюхатая. «Передай привет, три года не вижу». Ведь он тебе счас километра пешком не пройдет — на машине, на мотоцикле. А как бывало... Мы вот с отцом твоим, покойником, как? День косишь, а вечером в деревню охота — с девками поиграть. А покосы-то вон где были! — за вторым перешейком, добрых пятнадцать верст. А коня-то кто тебе даст? Кони пасутся. Вот как откосимся, повечеряем — и в деревню. В деревне чуть не до свету прохороводишься — и опять на покос. Придешь, бывало, а там уж поднялись — косить налаживаются. И опять на полдня...

— Когда же вы спали-то?

— А днем. В пекло-то в самое не косили же. Залезешь в шалаш — и умер. Насилу добудются потом. Помню, Ванька... Иван, отец твой, один раз таким убойным сном заснул, что не могут никак разбудить. Чего только с им не делали!.. Штаны сняли, по поляне катали — спит, и все. Тятя разозлился: «Счас, говорит, бич возьму да бичом скорей добужусь!» Я уж щекотать его начал, ну, кое-как продрал глаза. А то никак! — Максим посмеялся, покачал головой, задумался: вспомнил то далекое-далекое, милое сердцу время. И Григорий тоже задумался: он плохо помнил отца, тот вскоре после войны умер от ран, Григорий хранил о нем светлую память. Долго молчали.

— Да, — сказал Григорий. — Но с техникой — это ты зря. Что же, весь свет будет на машинах, а мы... в ночь по тридцать верст пешака давать? Тут ты тоже... в крайность ударился. Но про середку — это, пожалуй, не лишено смысла. А?

— Не лишено, нет. Налей-ка, да я тебе еще одну поучительную историю расскажу. Ты ничего, спать не хошь?

— Нет, нет! Давай историю.

Максим пододвинул к себе рюмку, задумчиво посмотрел на нее и отодвинул.

-- Потом выпью, а то худо расскажу. И ведь шел к тебе, эту историю держал в голове, расскажу, думаю, Гришке — сгодится. Это даже не история, а так — из детства тоже из нашего. Но она тебе может сгодиться — она тоже... как сказать, про руководителя: каким надо быть руководителем-то. — Максим посмотрел на племянника не то весело, не то насмешливо... Григорию показалось — насмешливо. Дядя вроде подсмеивался над его избранием в руководителя. У Григория даже шевельнулось в душе протестующее чувство, но он смолчал. В этот вечер он как-то по-новому узнал дядю. «Сколько же, оказывается, передумала эта голова! — изумлялся он, взглядывая на Максима. — Ничего не принял мужик на голую веру, обо всем думал, с чем не согласен был, про то молчал. Да и не спорщик он, не хвастал умом, но правду, пожоже, всегда знал».

— Было нам... лет по пятнадцать, может, поменьше, — стал рассказывать Максим. — Деревня наша, не деревня — село, в старину было большое, края были: Мордва, Низовка, Дикари, Баклань...

— Это я еще помню, — подсказал Григорий.

— А, ну да, — согласился Максим. — Я все забываю, что тебе уж тоже за тридцать, должен помнить. Ну, вот. И вот дрались мы — край на край — страшное дело. Чего делили, черт его в душу знает. До нас так было, ну и мы... Дрались несусветно. Это уж ты не помнишь, при Советской власти это утихать стало. А тогда просто... это... страшное дело что творилось. Головы друг другу гирьками проламывали. Как какой праздник, так, глядишь, кого-нибудь изувечили. Ну а жили-то мы в Низовке, а Низовка враждовала с Мордвой, и мордовские нас били: больше их было, что ли, потом они все какие-то... черт их знает — какие-то были здоровые. Спуску мы тоже не давали... У нас один Митька Куксин, тот черту рога выломит — до того верткий был парень. Но все же ордой они нас одолевали. Бывало, девку в Мордве лучше не заводи: и девке попадет, и тебе ребра перещитают. И вот приехал к нам один парнишечка, наш годок, а ростиком куда меньше, замухрышка, можно сказать. Теперь вот слушай внимательно! — Максим даже и пальцем покачал в знак того, чтоб племянш слушал внимательно. — Тут самое главное. Приехал этот мальчишечка... Приехали они откуда-то из Черни, с гор, но — русские. Парнишечку того звали Ванькой. Такой — пшербатенький, невысокого росточка, как я сказал, но — подсадый,

рука такая... вроде не страшная, а махнет — с ног полетишь. Но дело не в руке, Гриша. Я потом много раз вспоминал этого Ваньку, перед глазами он у меня стоял: душа была стойкая. Ах, стойкая была душа! Поселились они в нашем краю, в Низовке, ну, мордовские его один раз где-то прищучили: побили. Ладно, побили и побили. Он даже и не сказал никому про это. А с нами уже поддружился. И один раз и говорит: «Что эт вы от мордовских-то бегаете?» — «Да оно ведь как, мол? — привыкли и бегаем». — Максим без горечи негромко посмеялся. — Счас смешно... Да. Ну, давай он нам беса подпускать: разжигать начал. Да ведь говорить умел, окаанный! Разжег! Оно, конечно, пятнадцатилетних раззудить на драку — это, может, и нехитрое дело, но... все же. Тут много разных тонкостей! Во-первых, мы же лучше его знали, какие наши ресурсы, так сказать, потом — это не первый год у нас тянулось, мы не раз и не два пробовали дать мордовским, но никогда не получалось. И вот все же сумел он нас обработать, позабыли мы про все свои поражения и пошли. Да так, знаешь, весело пошли! Сошлись мы с имя на острове... спроть фермы островок был, Облепишный звали. Счас там никакого острова нет, а тогда островок был. Мелко, правда, но штаны надо снимать — перебродить-то. Перебрали мы туда... Договорились, что ничего в руках не будет: ни камней, ни гирек, ничего. И пошли хлестаться. Ох, и полосовались же! Аж вспомнить — и то весело. Аж счас руками задвигал, ей-богу! — Максим тряхнул головой, выпил из рюмки, негромко кхэкнул — помнил, что в горнице улеглись ко сну дети Григория и жена. И продолжал тоже негромко, с тихим азартом: — Как мы ни пластались, а опять они нас погнали. А погнали куда? К воде. Больше некуда. Мы и сыпанули через протоку... Те за нами. И тут, слышим, наш пшербатенький Ванька ка-ак заорет: «Стой, в господа, в душу!.. Куда?!» Глядим, кинулся один на мордовских... Ну, это, я тебе скажу, видеть надо было. Много я потом всякого повидал, но такого больше не приходилось. Я и драться дрался, а глаз с Ваньки не спускал. Ведь не то что напролом человек пер, как пьяные, бывает, он стерегся. Мордовские смекнули, кто у нас гвоздь-то заглавный, и давай на него. Ванька на ходу прямо подставил одного, другого вокруг себя — с боков, со спины — не допускайте, говорит, чтоб сшибли, а то развалимся. Как, скажи, он училище какое кончал по этому делу! Ну, полоскаемся... А в протоке уж дело-то проис-

ходит, на виду у всей деревни. Народ на берег сбежался — глядят. А нам уж ни до чего нет дела — целое сражение идет. С нас и вода и кровь текет. Мордовские тоже уперлись, тоже не гнутся. И у нас — откуда сила взялась! Прямо насмерть схватились! Не знаю, чем бы это дело закончилось, может, мужики разогнали бы нас кольями, так бывало. Переломил это наше равновесие все тот же Ванька шшербатый. То мы дрались молчком, а тут он начал приговаривать. Достанет какого и приговаривает: «Ах, ты, головушка моя бедная! Арбуз какой-то, не голова». Опять достанет: «Ах, ты, милашечка ты мой, а хлебни-ка водицы!» Нам и смех, и силы вроде прибавляет. Загнали мы их опять на остров... И все, с этих пор они над нами больше не тешились. Вот какая штука, Григорий! Один завелся — и готово дело, все перестроил. Вот это был — руководитель. Врожденный.

— М-да, — молвил Григорий; история эта не показалась ему поучительной. Ни поучительной, ни значительной. Но он не стал огорчать дядю. — Интересно.

Максим уловил, однако, что не донес до племянника, что хотел донести. Помолчал.

— Видишь, Григорий... Я понимаю, тебе эта история не является наукой... Но, знаешь, я и на войне заметил: вот такие вот, как тот Ванька, мно-ого нам дела сделали. Они всю войну на себе держали, правда. Перед теми, кто только на словах-то, перед имя же не совестно, а перед таким вот стыдно. Этот-то, он ведь все видит. Ты ему не словами, делом доказывай... Делом доказывай, тогда он тебе душу свою отдаст. Конечно, история... не ах какая, но, думаю, выбрали тебя в руководители, дай, думаю, расскажу, как я, к примеру, это дело понимаю. А? — Максим посмотрел прямо в глаза племяннику, непонятно и значительно как-то усмехнулся. — Ничего, поймешь что к чему. Пойме-ешь.

— Что потом с этим Ванькой стало? — спросил Григорий.

— А не знаю. Уехали они опять куда-то. Вскорости и уехали. Да разве дело в том Ваньке! Их таких много. Хотя я тогда прямо полюбил того Ваньку, честное слово. Прямо обожал его. А он еще и... это... не нахальный был. Жили они бедновато, иной раз и пожрать нечего было. Я не знаю... чего-то мотались по свету... Так вот, прине-сешь ему пирог какой-нибудь, он аж покраснеет. «Брось, — говорит, — зачем?» Застесняется. Я люблю

таких... Уехали потом куда-то. А я вот его всю жизнь помню, вот же как.

— История твоя не лишена, конечно, смысла, — сказал Григорий.

— Не лишена, нет. — Максим кивнул головой согласно. Но оттого, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его души, он скис, как-то даже отрезвел и погрузтел. — Не лишена, Гриша, не лишена. На словах я тебе могу только одно сказать: не трусь. Как увидят, что не трусишь, так станут люди поддерживать...

— Ну, одной смелости тут тоже, наверно, мало.

— Мало. — Максим опять кивнул. Подумал. — Но смелый хоть не врет. — Максим снова посмотрел в глаза Григорию. — Не додумается врать, смелый-то. Чувешь? А голова... что же, какая есть. Какую бог дал. Голова у тебя неплохая. Но... бывает... — Максим вдруг махнул рукой, досадливо поморщился. — Заговорился я чего-то. Ладно. Лишка, видно, хватил, правда. Не обессудь, Гриша. Спите. — Максим встал из-за стола, посмотрел на дверь горницы... И спросил шепотом: — Как жена-то?

— Что? — не понял Григорий.

— Не ворчит, что в деревню увез из города?

Григорий улыбнулся... Не сразу сказал, и сказал тоже тихо:

— Всякое бывает.

Это Максиму понравилось: ответ правдивый, не бравый и не жалостливый. Он кивнул на прощание и пошел к двери, стараясь ступать нетяжело, но все равно вышло грузно и шумно. Максим поскорей уж дошел последние шаги, толкнул дверь и вышел в сени. И там только ступил всей ногой... И на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе:

— Экая темень-то! В глаз коли...

МЕДИК ВОЛОДЯ

Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой на каникулы. Ехал, как водится, в общем вагоне, ехал славно. Сессию сдал хорошо, из деревни писали, что у них там все в порядке, все здоровы — на душе у Володи было празднично. И под вечерок пошел он

в вагон-ресторан поужинать и, может быть, выпить граммов сто водки — такое появилось желание. Пошел через вагоны и в одном, в купейном, в коридоре, увидел землячку свою, тоже студентку, кажется, пединститута. Она была из соседней деревни, в позапрошлом году они вместе ездили в райцентр сдавать экзамены по английскому языку и там познакомились. Володе она тогда даже понравилась. Он потом слышал, что она тоже прошла в институт, но в какой и в каком городе, толком не знал. Вообще как-то забыл о ней. Он было обрадовался, увидев ее у окошка, но тут же оторопел: забыл, как ее звать. Остановился, отвернулся тоже к окну, чтоб она пока не узнала его... Стал вспоминать имя девушки. Напрягал память, перебирал наугад разные имена, но никак не мог вспомнить. То ли Алла, то ли Оля... Что-то такое короткое, ласковое. Пока он так гадал, уткнувшись в окно, девушка оглянулась и тоже узнала его:

— Володя?.. Ой, здравствуй!

— Хелло! — воскликнул Володя. И сделал вид, что очень-очень удивился, и остро почувствовал свою фальшь — и это «хелло», и наигранное удивление. От этого вопросы дальше возникли очень нелепые: «Каким ветром? Откуда? Куда?»

— Как?.. На каникулы.

— А-а, ну да. Ну, и как? На сколько? — Володя до боли ощущал свою нелепость, растерянность и суетился еще больше: почему-то страшно было замолчать и не фальшивить дальше. — До сентября? Или до октября?

Девушка — это было видно по ее глазам — отметила, сколь изменился с недавней поры ее земляк. Но странно, что и она не сказала в простоте: «Да ты что, Володя? Я тоже еду на каникулы, как и ты», а сразу подхватила эту показную вольную манеру.

— Не знаю, как нынче будет. А вы? Вам сказали или тоже на бум-бум едете?

Володе сделалось немного легче оттого, что девушка не осадил его с глупой трескотней, а готова даже сама поглупеть во имя современных раскованных отношений.

— Нам сказали к сентябрю собраться, естественно. Но мы пронюхали, что опять повезут на картошку, поэтому многие из нас хотят обзавестись справками, что работали дома, в родимых колхозах.

— А мы тоже!.. Мы говорим: «А можно, мы дома работаем?»

— Зачем же их спрашивать? Надо привезти справку,

и все. — Володе даже понравилось, как он стал нагло распоясываться, он втайне завидовал сокурсникам-горожанам, особенно старшекурсникам, но сам не решался изображать из себя такого же — совестно было. Но теперь он вдруг испытал некое удовольствие в нарядной роли... чуть ли не кутилы и циника. Будь у него в кармане деньги, хоть немного больше, чем на сто граммов водки и на билет в автобус до своего села, он, пожалуй, ляпнул бы что-нибудь и про ресторан. Но денег было только-только.

— А не опасно со справкой-то? — спросила девушка. — Могут же... это...

— Я умоляю! Отработал — и все. Возил навоз на поля. — Володя с улыбкой посмотрел на девушку, но поскорей отвернулся и полез в карман за сигаретой. Не все еще шло гладко пока. Маленько было совестно.

— Вас куда в прошлом году возили?

— В Заозерье. Но мы там пожили неплохо... — Володе и правда понравилось ездить с курсом на осенние работы в колхоз, и никакую справку он не собирался доставать дома.

— А мы ездили в Красногорский район, — тоже не без удовольствия вспомнила девушка. — Также неплохо было. Хохми-или-и!..

— А как отдыхаете дома летом? Чем занимаетесь?

— Да чем? За ягодами ходим... — Девушка спохватилась, что, пожалуй, это банально — за ягодами. — Вообще скучно.

— Скооперируемся? — навернул Володя. — А то я тоже с тоски загигаюсь. Нас же разделяет всего... четырнадцать километров, да? Сядем на велики...

— Давайте, — легко согласилась девушка. — У нас тоже молодежи нету. Подруги кое-какие остались, но... Знаете, вот были подругами, да? Потом вдруг что-то — раз! — и отношения портятся. Вот так, знаете, обвально.

— Это вполне понятно, — сказал Володя. — Этого надо было ожидать. Это — один к одному.

— Но почему? — очень притворно удивилась девушка.

— Разошлись дороги... И разошлись, как в море корабли. — Володя посмеялся и стряхнул пепел в алюминиевую неудобную пепельницу вниз. — Это так же естественно, как естественно, что у человека две ноги, две руки и одно сердце. — Володя вспомнил, что он медик.

И девушка тоже вспомнила, что он медик.

— Ой, а трудно в медицинском, а?

Володя снисходительно посмеялся.

— Почему? Нет, отсев, естественно, происходит... — Володе нравилось слово «естественно». — Нас на первом курсе повели в анатомичку, одна девушка увидела жмуриков и говорит: «Ах, держите меня!» И повалилась...

— В обморок?

— Да. Ну, естественно, это уже не врач. В фармацевты.

— Обидно, наверно, да?

— А у вас... стабильное положение?

— У нас со второго курса нынче ушла одна. Но она просто перевелась, у нее просто отец военный, его куда-то перевели. Во Владивосток. А так нет. А у вас клуб в деревне построили?

— Кинотеатр. В прошлом году. Я как-то пошел посмотреть какую-то картину, половины слов не понял — бубнеж какой-то: бу-бу-бу... Я ушел. Хуже, что библиотеки доброй нет. У вас хорошая библиотека?

— Да нет, тоже... Я везу кое-что с собой.

— Ой, что, а?! — выдал Володя показушный великий голод.

— «Путешествия Христофора Колумба». Это, знаете, дневники, письма, документы... Я же — географичка.

— Так. Еще?

— Еще кое-что... А у вас есть что-нибудь?

— У меня кое-что специальное тоже... «Записки врача» этого... Как его, врач тоже был?..

— Чехов?

— Нет, но они, кажется, поддерживали приятельские отношения... Вот вылетела фамилия. А Брэбери у вас ничего нету?

— Нет. А вы любите читать про медиков?

— Да нет... Любопытно бывает, если не туфта полная. А Камю ничего нет?

— Нет, нету.

— Ну, так как мы будем бороться со скукой? — весело спросил Володя. — Как вы себе это представляете? — Ему совсем хорошо стало, когда свалили этих Камю, Брэбери...

— Общими усилиями как-нибудь... — тоже весело сказала девушка. Как-то вроде обещающе сказала...

Володя быстро утрачивал остатки смущения. Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная. Неопытная. Он и сам был не бог весть какой опытный, то

есть вовсе неопытный, но рядом с такой-то, совсем-то уж зеленой... Ну-у, он хоть что-то да слышал! Отважиться? Возможность эта так внезапно открылась Володе, и так он вдруг взволновался, что у него резко ослабли ноги. Он уставился на девушку и долго смотрел — так, что та даже смутилась. И от смущения вдруг рассмеялась. Глядя на нее, и Володя тоже засмеялся. Да так это у них громко вышло, так самозабвенно! Так искренне.

— Вплоть до того, что... — хохотал Володя, — вплоть до того, что — поставим... — Володя и хотел уже перестать смеяться и не мог. — Поставим шалаш и...

Как услышала девушка про этот шалаш, так еще больше закатилась.

— Как Робинзоны... на этом... да?

Володя только кивнул головой — не мог говорить от смеха.

Тут отодвинулась дверь ближнего к ним купе, и какая-то женщина крестьянского облика высунулась и попросила негромко:

— Ребята, у меня ребенок спит — потише бы...

Тотчас и в соседнем с этим купе скрежетнула дверь, и некая лысая голова зло и недовольно сказала:

— Как в концертном зале, честное слово! Не в концерте же! — И голова усунулась, и дверь опять нервно скрежетнула и щелкнула. Даже женщина, у которой ребенок, удивленно посмотрела на эту дверь.

— Не спится юному ковбою, — громковато сказал Володя, перестав смеяться, но еще улыбаясь. Он тоже смотрел на сердитую дверь. И сказал еще, но потише: — Вернее так: не спится лысому ковбою.

Девушка прихлопнула ладошкой новый взрыв смеха и бегом побежала по коридору — прочь от опасного места. Володя, польщенный, пошел за ней; чего ему не хватало для полного утверждения в новом своем качестве, так этой вот голой злой головы. Он шел и придумывал, как он сейчас еще скажет про эту голову. Может так: «Я сперва подумал, что это чье-то колено высунулось».

Девушка ушла аж в тамбур — от греха подальше.

— Ой, правда, мы расшумелись, — сказала она, поправляя волосы. — Люди спят уже...

Володя закурил... Его опять охватило волнение. Его прямо колыхнуло, когда она — совсем рядом — вскинула вверх и назад оголенные свои руки... Он успел увидеть у нее под мышкой родинку. Дым сигареты стал горьким, но он глотал и глотал его... И молчал. Потом бросил си-

гарету и посмотрел на девушку... Ему казалось, что он посмотрел смело и с улыбкой. Девушка тоже смотрела на него. И по тому, как она на него смотрела — вопросительно, чуть удивленно, — он понял, что он не улыбается. Но теперь уж и отступить было некуда, и Володя положил руку на ее плечо и стал робко подталкивать пальцами девушку к себе. Так как-то двусмысленно подталкивал — приглашал и не приглашал: можно, однако, подумать, что он влечет к себе, тогда пусть шагнет сама... Жуткий наступил момент, наверно, короткий, но Володя успел разом осознать и свою трусость, и что ему вовсе не хочется, чтоб она шагнула. И он вовсе потерялся...

— Что ты? — спросила девушка серьезно.

— Начнем? — сказал Володя.

Девушка убрала его руку.

— Что начнем? Ты что?

— О боже мой! — воскликнул Володя. — Чего ж ты уж так испугалась-то?.. Пичужка. — И он коротко хохотнул, торопливо похлопал девушку по плечу и сказал снисходительно и серьезно: — Иди спать, иди спать, а то поздно уже. Да? — И ринулся в наружную дверь тамбура — вон отсюда.

— Завтра поедем вместе? — спросила вдогонку девушка.

— Да! Обязательно! — откликнулся Володя. Он уже был в переходном этом мешке, где грохотало и качалось.

Он почти бежал по вагонам. Очень хотелось или самому выпрыгнуть из вагона, или чтоб она, эта географичка, выпала бы как-нибудь из вагона, чтоб никто никогда не узнал его гнусного позора и какой он враль и молокосос.

Он припел в свой вагон, снял ботинки, тихо, как всякий мелкий гад, влез на верхнюю полку и замер. Боже ж ты мой! Так ждал этого лета, так радовался, ехал, так все продумал, как будет отдыхать... Тьфу! Тьфу! Тьфу! Он вдруг вспомнил, как зовут девушку — Лариса. И еще он вспомнил, как он хохотал в купейном вагоне... Он заворочался и замычал тихо. Ведь не сломал же руку или ногу, ни от поезда не отстал, ни чемодан не украли — сам мелко напаскудил. Эта Лариса теперь расскажет всем... Они любят рассказывать — смеются всегда! — когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло — получил по ушам. Приврет еще, приврет обязательно.

Так он казнил себя на верхней полке... пока вдруг не

заснул. Как-то заснул и заснул — страдал, страдал и заснул.

А проснулся, когда уж поезд стоял на родной станции — дальше он никуда не шел. За окном был ясный день; на перроне громко разговаривали, смеялись, вскрикивали радостно... Встречали, торопились к автобусам.

Володя моментально собрался... И вдруг вспомнил вчерашнее... И так и сел. Но надо было выходить: по вагону шел проводник и поторапливал замешкавшихся пассажиров.

Володя вышел на перрон. Огляделся... И прошмыгнул в вокзал. Сел там в уголок на чемодан и стал ждать. Эта Лариса уедет, наверно, одним из первых автобусов, она девка шустрая. А они потом еще будут, автобусы-то, много. И все почти идут через его село. Черт с ней, с этой Ларисой!.. Может, расскажет, а может, и не расскажет. Зато он все равно дома. И уж не так было больно, как вчера вечером. Ну, что же уж тут такого?.. Стыдно только. Ну, может, пройдет как-нибудь. Володя выглянул в окно на привокзальную площадь... И сразу увидел Ларису: она стояла поодаль от автобусов — высматривала Володю среди людей, идущих с перрона. Володя сел опять на чемодан. Вот же противная девка, стоит, ждет! Ничего, подождешь-подождешь и уедешь — домой-то охота. Но ведь какая настырная — стоит, ждет!

КАК ЗАЙКА ЛЕТАЛ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ

Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь, он без памяти любил девочку. Такая была игрунья, все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома, теребила его волосы, хотела надеть на свой носик-кнопку папины очки... И вот — заболела. Друзья Федора Кузьмича — у него были влиятельные друзья, — видя его горе, нагнали к нему домой докторов... Но там и один участковый все понимал: воспаление легких, лечение одно — уколы. И такую махонькую — кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Федор Кузьмич уходил куда-нибудь из квартиры, на лестничную площадку, да еще спускался этажа на два вниз по лестнице, и там

переживал. Курил. Потом приходил, когда девочка уже не плакала, лежала — слабенькая, горячая... Смотрела на него. У Федора все каменело в груди. Он бы и плакал, если б умел, если бы вышли слезы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горя он тяжело обидел жену, мать девочки: упрекнул, что та — недосмотрела за дитем. «Тряпками больше занята, а не ребенком, — сказал он ей на кухне, как камни-валуны на стол бросил. — Все шкафы свои набивают, торопятся». Жена — в слезы... И теперь, если и не ругались, — нелегко было бы теперь ругаться, — то и помощи и утешения не искали друг у друга, страдали каждый в одиночку.

Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда... Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь, и если бы как-нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух, устремить ее волю к какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорей поправилась. Нет, она и так поправится, но еще лучше, если она, пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорей выздороветь.

Федор Кузьмич присел перед кроватью дочери.

— Доченька, чего бы ты вот так хотела бы?.. Ну-ка, подумай. Я все-все сделаю. Сам не смогу, попрошу волшебника, у меня есть знакомый волшебник, он все может. Хочешь, я наряжу тебе елочку? Помнишь, какая у нас была славная елочка? С огоньками!..

Девочкина ручка шевельнулась на одеяле, она повернула ее ладошкой вверх, горсткой, — так она делала, когда справедливо возражала.

— Еечка же зимой бывает-то.

— Да, да, — поспешно закивал седеющей головой папа. — Я забыл. А хошь, сходим с тобой, когда ты поправишься, мульти-пульти посмотрим? Много-много!..

— Мне незя много, — сказала умная Верочка. — Папа, — вдруг даже приподнялась она на подушке, — а дядя Игой казочку ясказывай — п'о зайку... Ох, хoesенькая!..

— Так, так, — радостно всполошился Федор Кузьмич. — Дядя Егор тебе сказочку рассказывал? Про зайку?

Верочка закивала головой, у нее даже глазки живо заблестели.

— П'о зайку...

— Тебе охота бы послушать?

— Как он етай на сайках...

— Как он летал на шариках? На каких шариках?

— Ну, на саиках!.. Дядя Игой пиедет?

— Дядя Егор? Да нет, дядя Егор далеко живет, в другом городе... Ну-ка, давай, может, мы сами вспомним: на каких шариках зайка летал? На воздушных? Катался?

— Да не-ет! — У Верочки в глазах показались слезы. — Вот какой-то... Ветей подуй, он высоко-высоко поетей! Пусть дядя Игой пиедет.

— Дядя Егор-то? Он далеко живет, доченька. Ему надо на поезде ехать... На поезде: ту-ту-у! Или на самолете лететь...

— А ты яскажи?

— Про зайку-то? А ты мне маленько подскажи, я, может, вспомню, как он летал на шариках. Он что, надул их и полетел?

Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стене. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза, росинкой ясной перекатилась через переносье и упала на подушку.

— Доча, — взмолился отец. — Я счас узнаю, не плачь. Счас... мама, наверно, помнит, как он летал на шариках. Счас, доченька... Ладно? Счас я тебе расскажу.

Федор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда, такой, жена даже испугалась.

— Что?

— Да нет, ничего... Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках?

— На шариках? — не поняла жена. — Какой зайка? Федор Кузьмич опять рассердился.

— Француз-зайка, с рогами!.. Зайка! Сказку такую Егор ей рассказывал. Не слышала?

Жена обиделась, заплакала. Федор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошкой ее слезы.

— Ладно, ладно...

— Прямо, как преступница, сижу здесь... — выговаривала жена. — Что ни слово, то попрек. Один ты, что ли, переживаешь?

— Ладно, ладно, — говорил Федор. — Ну, прости, не со зла... Голову потерял — ничего не могу придумать.

— Какую сказку-то?

— Про зайку какого-то... Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал... Э-х! — вдруг спохватился Федор. — А я счас позвоню Егору! Пойду и позвоню с почты.

— Да зачем с почты? Из дома можно.

— Да из дома-то... пока их допросишься из дома-то... Счас я сбегаю.

И Федор Кузьмич пошел на почту. И пока шел, ему пришла в голову совсем другая мысль — вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок, он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И еще навдумывает всяких... Сегодня четверг, завтра крайний день, отпросится на денек, а в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим часа на самолете... Еще так думал Федор: это будет для нее, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам «дядя Игой» — она его любила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала.

Не так сразу Федор Кузьмич дозвонился до брата, но все же дозвонился. К счастью, Егор был дома — пришел пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот — заболела дочка... и так далее.

— Егор! — кричал в трубку Федор. — Я тебя в воскресенье посажу в самолет, и ты улетишь. Все будет в порядке! Ну, хошь, я потом напишу твоему начальнику!..

— Да нет! — тоже кричал оттуда Егор. — Не в этом дело! Мы тут на дачу собрались...

— Ну, Егор, ну отложи дачу, елки зеленые! Я прошу тебя... У нее как раз переломный момент, понимаешь? Она аж заплакала давеча...

— Да я-то рад душой... Слышишь меня?

— Ну, ну.

— Я-то рад бы душой, но... — Егор что-то замялся там, замолчал.

— Егор! Егор! — кричал Федор.

— Погоди, — откликнулся Егор, — решаем тут с женой...

«Э-э! — догадался Федор. — Жена там поперек стала».

— Егор! А Егор! — дозвался он. — Дай-ка трубку жене, я поговорю с ней.

— Здравствуйте, Федор Кузьмич! — донесся далекий вежливый голосок. — Что, у вас доченька заболела?

— Заболела. Валентина... — Федор забыл вдруг, как ее отчество. Знал, и забыл. И переладился на ходу: — Валя, отпусти, пожалуйста, мужа, пусть приедет — на два дня! Всего на два дня! Валенька, я в долгу не останусь, я... — Федор сгоряча не мог сразу придумать, что бы такое посулить. — Я тоже когда-нибудь выручу!

— Да нет, я ничего... Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зиму стояла без присмотра — хотели там...

— Валя, прошу тебя, милая! Долго сейчас объяснять, но очень нужно. Очень! Валя! Валя!..

— Да, Федор. Я это, — отозвался Егор. — Ладно. Слышь? Ладно, мол, вылечу. Сегодня.

— Ох, Егор... — Федор помолчал. — Ну, спасибо. Жду.

А у Егора, когда он положил трубку, произошел такой разговор с женой.

— Господи! — сказала жена Валя. — Все бросай и вылетай девочке сказку рассказывать.

— Ну болеет ребенок...

— А то дети не болеют? Как это — чтобы ребенок вырос и не болел.

Егору и самому в диковинку было — лететь чуть не за полторы тысячи километров... рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос, у него слезы слышались в голосе — нет, видно, надо. Может, больше надо самому Федору, чем девочке.

— Первый раз собрались съездить... — капала жена Валя. — Большаковы вон ездили, говорят, у них крыша протекла. А у нас крыша-то хуже ихней...

— Ну так бы и сказала ему! — вскипел Егор. — Чего ты ему так не сказала?! Чего ты... Уже ж посулился, нет, давай душу теперь травить!

— Ладно, не ори — душу ему растравили. Что я, глоса лишенная, — свое мнение высказать?

— Да чего ты ему-то не высказала? Высказала бы ему. А то... туда же, посочувствовала: «У вас доченька заболела?» — Не злой был человек Егор, но передразнивать умел так до обидного похоже, так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизни. Потому, наверно, и сказки-то мастер был рассказывать: передразнивал всех зверей, злых и добрых, а особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу.

— Ехай, ехай! — махнула рукой жена Валя. — Ехай, ублажай там, если больше делать нечего. Какие ведь господа живут!..

— А случалось, что эти господа и тебе помогали! — Егор с укоризной посмотрел на жену. — Забыла?

Жена Валя ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью. Нет, не забыла! Федор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь! Но и расстроилась она очень, и не показать этого она тоже не могла.

Егор также расстроился. Так сложились их отношения

с женой, давно уж и незаметно как-то сложились, что главными в доме были — дела жены. Егор покори́лся этому, ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевки в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе... Умел только работать. Но ведь... что же? Кони тоже умеют работать. От работы одной толку мало, это Егор также давно понял и потому смирился. Иногда, правда, бунтовал, но слабо и нерешительно: вскипит, посверкает глазом да досыта наматерится в душе, и все. Так-то лучше — не бунтовать вовсе, не протестовать, а то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких.

Егор еще немного сердито поторчал в комнате, взял из комода сорок рублей и ушел. «Хорошо, что не надо чемодан брать... Гостинцев бы захватить? Но... ладно: раз уж так все — с тормозами, какие уж тут гостинцы. Ладно, хоть сам поехал», — думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва — впопыхах — не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка, а теперь, когда поехал, понял до конца: глупо было и раздумывать. А вдруг да... Но эту мысль Егор прогнал из головы, не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха (Егор был мастер-краснодеревщик, на работе его ценили), и тот беспрекословно отпустил его: знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня, и даже больше.

В аэропорту, в кассе, Егору сказали, что билетов в Н-ск нету.

— Ну, может, один как-нибудь... — робко попросил он.

— Что значит «один как-нибудь»? Нет билетов, — повторили в окошечке строго.

Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом... И еще раз сунулся к ней:

— Мне очень нужно, девушка... А? Там это... ребенок...

— Гражданин, я же вам сказала: нет билетов. Неужели непонятно? Один ему как-нибудь...

— Да понятно-то понятно... — Егору захотелось переразнить женщину в окошечке, он бы сумел это сделать... «Э-э! — вдруг вспомнил он. — А этот-то, кому стеллажи-то делал... он же говорил: что будет нужно, обращайтесь ко мне». К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал в книжечке... Нашел!

Долго, подробно мусолил в трубку про маленькую племянницу, про брата, про сказки...

— Куда билет-то нужен? — вышел из терпения могучий товарищ.

— В Н-ск.

— Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один?

— Один. На сегодня. Я уже здесь... понимаете? Я здесь, в аэропорту, а билетов, говорят, нету. Я думаю: да неужели так ни одного билета и нету? Не может же быть, думаю, такого...

— Перезвоните минут через десять, — опять прервал уверенный басок.

Егор понял, что улетит сегодня.

Походил по вокзалу, подождал минут пятнадцать и позвонил.

— Подойдите к кассе номер три и возьмите билет, — сказал басок.

— Вот спасибо-то! — кинулся Егор с благодарностями. — А то я уже стал сомневаться... А брат чуть не со слезами просит. У него, понимаете, это второй брак, ребеночек последний, он поэтому так переживает. Я ее тоже люблю, девочку-то, такая смышленная, все сказками интересуется...

— Ну, до свиданья, — сказали на том конце. — Счастливо долететь.

— До свиданья, — сказал Егор.

Касса номер три — это не та, куда он подходил. Если бы была та, Егор сказал бы той женщине, в окошечке... Сказал бы: «Значит, все же нашелся один билет? Эх, вы... Как же так получается, уважаемая? А сидишь — строгую из себя изображаешь, справедливую. «Вам же сказали: нет билетов!» А один звонок — и билет, оказывается, есть. Значит, так надо и говорить: «Для вас — нету». А вид-то, вид-то — не подступись! А такой же — нуль, только в пилотке». Ну, может, не так бы едко сказал... А может, и не сказал бы вовсе: правда что — нуль, чего и говорить.

...В Н-ск Егор прибыл под утро, часов в пять. А в шесть был уже у брата.

Позвонил... Открыла хозяйка, Надежда Семеновна.

— О-о! — удивилась она. — Так рано?

— С билетом удачно вышло, — радостно сказал Егор. — Прямо сразу улетел... Как Верочка-то?

— Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста...

— Конечно! — тихо воскликнул Егор. — А Федор-то дома?

— Дома.

— Ну, мы на кухне пока посидим... Пусть он на кухню придет.

Федор пришел на кухню в халате и в шлепанцах. Сонный, большой и нелепый в этом халате, Егору даже смешно стало.

— Ты прямо как поп в ем, — сказал он, здороваясь. Брат Федор pokrивил в ухмылке губы.

— Как долетел?

— Хорошо!

— А чего там жена-то? Возражала, что ли?

— Да на дачу собрались... Да ну ее!

— Что это она у тебя, командовать-то любит?

— Та-а.. Чего об этом? Как Верочка-то?

— Перелом наступил. Поправится. Трухнул я тут...

— Да я уж понял.

— Давай чего-нибудь? Чаю? Или кофе? А может, что... с дороги-то?.. — Смешной Федор начал соваться по шкафам. — Счас мы изобретем... Во, коньяк! Будешь?

— Давай. — Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора — не то что в гостях — проездом: всех поразил своей деловитостью, таким волевым напором, избытком сил. «Да, — подумали в провинции, — эта птица может больно клюнуть». — Давай, братка, давай. Смешной ты какой-то, — не удержался и сказал Егор. — Нормальный человек... никакой не деятель.

— Ну! — недовольно молвил Федор. — Чего тут смешного-то? Халат, что ли, никогда не видал? Удобная штука, кстати.

— Да не халат... Ну, давай — со встречей. И чтоб Верочка скорей поправилась.

Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжелых рюмочек... Помолчали.

— Как живешь-то? — спросил Федор.

— Да как... — Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку-патрон. Рюмочка пискнула звонким краешком в гладкий стол и расколосась. — Ах ты, господи! — испугался Егор. И глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и отскочивший ее краешек и бросил в мусорную корзинку.

— Видно, с детства живет этот страх в человеке, —

сказал Федор. — Вот, знаешь, Верочку же никто никогда не ругал за посуду, а один раз выронила блюдце, да так испугалась!.. Я же ее и успокаивать кинулся: ерунда, мол, чего ты так испугалась-то? Куклу уронит — ничего, а посуду... Есть, наверно, какой-то закон здесь. А?

— Наверно. Рюмка-то дорогая, черт ты возьми, — с сожалением сказал Егор. — Хрустальная.

— Да брось! — недовольно уже сказал Федор. — Хрустальная... Все равно это — вещь, и должна служить человеку. Ну, и отслужила свой век, туда ей и дорога.

Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело: дочь Егора, Нина, сдавала вступительные экзамены, начала сдавать сразу неважно, должен был вмешаться Федор... Все разговоры крутились вокруг экзаменов, института. Егор жил у Федора, очень переживал за дочь, но особенно не высывался с советами, все надежды свалил на брата и только со страхом ждал, когда наконец закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то он и подружился с маленькой Верочкой и вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было.

— Как Нина-то? — вспомнил и Федор про Нину; может, тоже подумал, что, когда Нина устраивалась в институт, было хлопотно, но разговоры случались сами собой, не надо было выдумывать, о чем говорить.

— Работает в библиотеке. Я говорю: отдохни ты лучше, покупайся вон — успеешь еще, наработаешься! Нет, лучше глянется работать. Практика, говорит, мне будет.

— Ну и пусть работает — полезней. Накупаться тоже еще успеет. Сейчас надо этот главный рубеж взять — окончить институт.

— Да ведь устают, поди, от учебы-то! Неуж не устают?

— Да ничего страшного нет в учебе! — напористо и поучительно сказал Федор. — Что за дикость — учебы страшиться. Уж нашему ли народу не учиться — давно и давно пора. Нет, помню, бабка Фекла: «Федька, не дочитывай до конца книгу — спятишь!» Вот же понимание-то! Да почему? Черт его в душу знает, откуда этот панический страх перед книгой? Нам-то как раз и не хватает этой книги... И вот извольте: не дочитывай до конца, а то с ума сойдешь.

— А что, были же случаи...

— Да от книг, что ли?

— От книг! Парень вон у Гилевых... Игнаху-то Гиле-

ва помнишь? Вон сын его, Витька, — зачитался: тихое помешательство.

— С чего вы решили, что от книг-то?

— Читал день и ночь...

— Ну и что?

— Как же?.. Зачитался.

Федор хмыкнул с досадой, но пока не стал говорить, достал другой хрустальный патрончик, плеснул в него коньяку. И себе тоже плеснул.

— Давай. С ума они, видите ли, сходят от чтения... Ты много за свою жизнь книг прочитал?

— Я не пример.

— А кто пример? Ну, я вот: прочитал уйму книг — жив-здоров, чувствую, что мало еще прочитал, надо бы раза в три больше.

— Куда тебе больше-то? — удивился Егор. — Чего не хватает-то? Всего же вдосталь...

— Знаний не хватает! — сердито сказал Федор. — Вот чего. Вот они приходят счас, молодые, на смену — и поджигают. Да как поджигают! Сколько-то еще подержимся, а дальше — извини-подвинься: надо уступать. С жизнью, брат, не поспоришь.

— Не знаю... — сказал Егор. — Меня, например, никто не поджигает.

— Да тебя-то! Твое дело... не обижайся, конечно, но дело твое каждый сумеет делать. Ну, не каждый — через одного. Есть вещи сложнее...

— Ну, и надо уступать, — тоже чего-то рассердился Егор, наверно, за профессию свою обиделся. — А то и правда-то: смотришь, сидит — пень пнем, только орать умеет.

— Не торопи-ись, — с дрожью в голосе протянул Федор. — Больно прыткие! Есть еще такие понятия, как — опыт. Старшинство ума. Дачи увидели! Машины увидели!.. А не видите, как ночами приходится ворочаться от... Ты в субботу-то купаться пошел, а я сижу в кабинете, звонка жду: то ли он позвонит, то ли не позвонит. А и позвонит, да что скажет? Это ведь легче всего: в чужом кармане деньги считать. Их заработать труднее...

— Я не считаю твои деньги. Что ты?

— Я не про тебя. Есть... любители. Сам еще ночного горшка не выдумал, сопляк, а уже с претензиями. Не-ет, подожди, пусть сперва материно молоко на губах обсохнет, потом я выслушаю твои претензии. Свистуны. Мне что, на блюдечке все это поднесли? — Федор неопреде-

ленно покачал головой: то ли он имел в виду эту большую богатую квартиру, то ли адресовался дальше — дачу с машиной и с гаражом подразумевал, то ли, наконец, показал на шифоньер, где висел его черный костюм с орденами. — Тут уж я самому господу богу могу прямо в глаза смотреть: все добыто трудом. Вот так. Сам от работы никогда не бегал, но и другим... — Федор чуть сжал хрустальную рюмочку, и она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет, крепок был еще Федор Максимов, не скоро подвинется и даст место другому. — Подняли страну на дыбы? — выходи вперед, не бегай по кустам. — Федор, наверно, чуть-чуть захмелел, а может, высказывал наболевшее, благо подвернулся брат родной — должен понять. — Вот так надергаешься за день-то, наорешься, как ты говоришь, — без этого, к сожалению, тоже не обойдешься, — а ночью лежишь и думаешь: «Да пошли вы все к чертям собачьим! Есть у меня Родина, вот перед ней я и ответчик: так я живу или не так».

— Кто тебе говорит, что ты не так живешь? — сказал сочувственно Егор. — Что ты? Наоборот, я всегда рад за тебя, всегда думаю: «Молодец Федор, хоть один из родни в большие люди выбился».

— Дело не в «больших людях». Не такой уж я большой... Просто, делаю свое дело, стараюсь хорошо делать. Но нет!.. — пристукнул Федор ребром ладони по столу и даже не спохватился, что шумит. — Найдутся... некоторые, будут совать в нос свое... Будут намекать, что крестьянский выходец не в состоянии охватить разумом перспективу развития страны, что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом, пашней... Вот еще как рассуждают, Егор! — Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждений. — Вот еще с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил во веки веков? Не крестьянин?

— У тебя неприятности, что ли? — спросил Егор.

— Неприятности... — Федор вроде как вслушался в само это слово. Еще раз сказал в раздумье: — Неприятности. — И вдруг спросил сам себя: — А были они, неприятности-то? — И сам же поспешно ответил: — Были, конечно. Да нет, ничего. Так я... Устал за эти дни, изнервничался. Есть, конечно, и неприятности, без этого не проживешь. Ничего! Все хорошо.

А Егору чего-то вдруг так сделалось жалко брата, так жалко! И лицом и повадками Федор походил на отца. Тот

тоже был труженик вечный и тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в 33-м году, в голодуху, отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы немолотой, шумно так заявился: «Живем, ребяташки!» Мать сварила жито, а он есть отказался, да тоже весело, бодро: «Вы ешьте, а я уж налупился дорогой — сырой! Аж брюхо пучит». А сам хотел, чтоб ребяташкам больше досталось. Так и Федор теперь... Хорохорится, а самому худо чего-то, это видно. Но как его утетишь — сам все понимает, сам вон какой...

— Да, — сказал Егор. — Ну, и ладно. Ничего, братка, ничего. Дыши носом.

— Что за сказку ты ей рассказывал? — спросил Федор. — Про зайку-то... Как он летал на воздушных шариках.

Егор задумался. Долго вспоминал... Даже на лице его, крупном, добром, отразилось, как он хочет вспомнить. И вспомнил, аж просиял.

— Про зайку-то?! А вот: пошел раз зайка на базар с отцом. И увидел там воздушные шарики — мно-ого! Да все разноцветные: красные, синие, зеленые... — Егор весело смотрел на брата, а рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке — не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше. — Вот. И привязался он к отцу, зайка-то: купи да купи. Отец и купил. Ну, купил и сам же и держит их в руке. А тут увидел: морковку продают! «Нака, говорит, поддержи шарики, я очередь пока займу». Зайка-то, маленький-то, взял их... И надо же — дунул как раз ветер, и зайчишку нашего подняло. И понесло, и понесло! Выше облаков залетел...

Федор с интересом слушал сказку, раза два даже носом шмыгнул в забывчивости.

— Как тут быть? — спросил Егор брата. Тот не понял.

— Чего как быть?

— Как выручать зайку-то?

— Ну... спасай уж как-нибудь, — усмехнулся Федор. — На вертолете, что ли?

— На вертолете нельзя: от винтов струя сильная, все шары раскидает...

— Ну а как?

— Вот все смотрят вверх и думают: как? А зайка кричит там, бедный, ножками болтает. Отец тут с ума сходит... И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допус-

тим, кричит: «Я удумала!» Это у меня Нина, когда маленькая была, говорила: «Я удумала». Надо — я придумала, а она: «Я удумала». Вот Верочка и кричит: «Я удумала!» Побежала в лес, созвала всех птишек — она знала такое одно словечко: скажет, и все зверушки, все птички ее слушаются — вот, значит, созвала она птичек и говорит: «Летите, говорит, к зайке и проклевывайте клювиками его шарики, по одному. Все сразу не надо, он упадет. По одному шарик прокалывайте, и зайка станет опускаться». Вот. Так и выручили зайку из беды.

Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам. А чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата.

— Довольно это... современная сказочка. Я думал, ты про каких-нибудь волшебников там, про серого волка...

— Нет, я им нарочно такие — чтоб заранее к жизни привыкали. Пускай знают побольше. А то эти волшебники да царевны... Счас какая-то и жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что...

— Да, тут есть волшебники... Целые змеи-горынычи! — засмеялся Федор.

— Не говоря уж про бабу-ягу: что ни бабочка, то баба-яга. Мы твою-то не разбудим? Громко-то...

— Бабу-ягу-то? — хохотнул опять Федор. — Ничего. У меня, Егор, даже не баба-яга, — сбавил он в голосе, — у меня нормальная тряпошница, мещанка. Но так мне, седому дураку, и надо! Знаешь... — Федор заикнулся было про какую-то свою тайну тоже, но безнадежно махнул рукой и не стал говорить. — Ладно, чего там.

Егора опять поразило, как не похож этот Федор на того, напористого, властного, каким он бывал на людях, на своих стройках...

— Что-то все же томит тебя, братец, — сказал Егор. — Давай уж... может, и помогу каким словом.

— Да ничего, — смутился Федор. И чтоб скрыть смущение, потянулся опять к сигаретам. — Я и так что-то сегодня... Размяк что-то с тобой. Все нормально, Егорша. Все хорошо. — Помолчал, глядя в стол, потом тряхнул сивой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата, еще раз сказал: — Все хорошо. Хорошо, что приехал... Правда. Я, знаешь, что-то часто стал отца-покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будто на мельнице... Старею, что ли. Старею, конечно, что же делаю. Коней еще часто вижу... Я любил коней.

— Стареем, — согласился Егор.

— Давай-ка... за память светлую наших родителей. — Федор наполнил два хрустальных патрончика коньяком. — Мы ведь тоже уже... завершаем свой круг... А? — Федор, словно пораженный этой мыслью, такой простой, такой понятной, так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке — смотрел сперва на брата, потом опять в стол, в стол смотрел пристально, даже как будто сердито. Очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата, выпил. — Да, — сказал, — разворотил ты мне душу... А чем, не пойму. Наверно, правда, устал за эти дни. Думал, никакая меня беда не согнет, а вот... Ну, ничего. Ничего вообще-то не жаль! — встряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим неломким прямым взглядом. — Жалко дочь малую. Но... подпояшемся потуже и будем жить. Так? — спросил брата, спросил, как спрашивал многих других днем, на работе, на стройках своих — спросил, чтоб не слушать ответа, ибо все ясно. — Так, Егорша, так. Ложись-ка сосни часок-другой, а там и Верунька проснетя. А я посижу пока тут с бумажками... покумекаю. Да, — вспомнил он, — подсажи мне, чего бы такое жене твоей купить? Подарок какой-нибудь...

— Брось! — сердито воскликнул Егор.

— Чего брось? Мне счас будет звонить один... волшебник один... — Федор искренне, от души засмеялся... — Вот волшебник так волшебник! Всем волшебникам волшебник, у него там всего есть... Чего бы? Говори.

— Да брось ты! — еще раз с сердцем сказал Егор. — Что за глупость такая — подарки какие-то! К чему?

Федор с улыбкой посмотрел на брата, кивнул согласно головой.

— Ладно. Иди поспи. Там постель тебе приготовлена... Иди.

Егор тихонько прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями... Посидел. Огляделся... Посмотрел на окно — форточка открыта. Достал из кармана папиросы, закурил. Курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось.

Вошел в комнату Федор.

— Слушай, — сказал он, — у меня чего-то серьезно душа затревожилась — наговорил тут тебе всякой всячины... Подумаешь бог знает что. А? — Федор улыбнулся. Присел рядом на диван. И даже по спине братца хлопнул весело. — У меня все хорошо. Все хорошо, я тебе говорю! Чего смотришь-то так?

— Как? Ничего... Я ничего не думаю. Что ты?
— Да смотришь как-то... вроде жалеешь.
— Ну, парень! — воскликнул Егор. — Ты что?
— Ну, тогда ладно. Поспи, поспи маленько, а то ведь не спал небось в самолете-то? Поспи.
— Ладно, — сказал Егор. — Посплю. Покурю вот и лягу.
— Мгм. — Федор ушел.
Егор осторожненько стряхнул пепел в ладонку, склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось.

ВЕРСИЯ

Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе (мотоцикл ездил покупать), зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал... А не заметил, что зал отделяет стеклянная стена — пошел на эту стенку. И высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Санькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал:

— Зарплаты две выложишь. А то и три.

— Я же не нарочно.

— Мало ли что!

Зашли в кабинет директора... И тут-то и начинается диковина, тут сельские люди слушали и переглядывались — не верили. Санька рассказывал так:

— Заходим — сидит молодая женщина. Пышная, глаза маленько навывкате, губки бантиком, при золотых часиках. «Что случилось?» Товарищ этот начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили... А эта на меня смотрит. — Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить.

— Ну-ну?

— Она этому товарищу говорит: «Ну хорошо, говорит, идите. Мы разберемся». А кабинет!.. Ну, ё-мое, наверно, у министров такие: кругом мягкие креслы, диваны, на стенах картины... «Вы откуда?» — спрашивает. Я объ-

яснил. «Так, так, — говорит. — Как же это вы так?» А сама на меня смо-отрит, смо-отрит... До-олго смотрела.

Еще потому не верили земляки Саньке, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине — зачем, господи?! Чего там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени... Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили.

— Ну-ну, Саня? Дальше?

Дальше Санька бил в самое дыхало; история начала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане...

— Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. Три дня! Я просыпаюсь, от так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского — буль-буль-буль!.. Она мне: «Ты бы хоть из фужера, Санек, вон же фужеров полно!» Я говорю: «Имел я в виду эти фужеры!» Гужуемся три дня и три ночи! Как во сне жил. Она на работу вечером ходит, я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу... Ванна отделана голубым кафелем, туалет — желтым. Все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился, она заметила, подняла на смех. «Брось ты, говорит, Санек! Надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам. Что же, говорит, я все это с собой, что ли, возьму?» Шторы такие зеленые, с листочками... Задернешь — полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы же ффраера! Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это мечта жизни. Счас я себе делаю кровать из простой березы... город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться-то ты должен!

— Ну-ну, Сань?

— Так проходят эти три дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные... Они мне сигналиют, я спускаюсь, беру переносной такой холодильник, несу... И мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, пошываем шампанское... Чего только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю: «А вот я видел в кино: наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика... Ты можешь так?» — «Это, говорит, называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски счас привезут». Точно, минут через пятнадцать привезли виски. Они мне, кстати, не поглянулись. Я пил водку с содовой. От так от нажимаешь

курóчек на сифончике, оттуда как даст в стакан... Прелесть.

— А как со стеклом-то?

— С каким стеклом?

— Ну, разбил-то...

— А-а. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась: «Как ты, говорит, не порезался-то?» А мотоцикл — я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили...

Вот такая история случилась будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было: Санька в самом деле ездил в город; не было его три дня; мотоцикл привез именно такой, какой хотел и на какой брал деньги; лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился... Говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего этого Санька где-то слышался.

— Ну, ё-мое! — психовал Санька. — Да где же я эти три дня был-то?! Где?!

— Может, в вырезвители.

— Да как я в вырезвитель-то попаду?! Как? У меня лишнего рубля не было!

— Ну, это... Свинья грязи найдет.

— Иди найди! Иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то три дня?

Этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана и в ее трехкомнатную квартиру — тоже не могли поверить. Это уж черт знает что такое — таких дур и на свете-то не бывает.

— Дистрофики! — обзывал всех Санька. — Жуки невозные. Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?

Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер колхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение — как-то так повелось — уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень неглупый.

— Что скажешь, Егорка?

— Версия, — кратко сказал Егорка.

— Какая версия? — не понял Санька.

— Что ты дурачка-то из себя строишь? — прямо спросил Егорка. — Чего ты людей в заблуждение вводишь?

Санька аж побелел... Думали, что они подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил:

— У тебя машина на ходу?

— Зачем?

— Я спрашиваю: у тебя машина на ходу? — Санька угрожающе придвинулся к Егорке. — Ну?

Егорка подождал, не кинется ли на него Санька; подождал и ответил:

— На ходу.

— Поедем, — приказным голосом сказал Санька. — Надоела мне эта комедия: им рассказываешь как добрым, а они, стерва, хаханьки строят. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в двадцатом веке. Предупреждаю: без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество — может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера? — Саньку повело на спектакль — он любил иногда «выступить», но при всем том... При всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит или врет. Это серьезно.

Егорка, не долго думая, сказал:

— Поехали.

— Кто еще хочет? — еще раз спросил Санька.

Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще два таких едут... Недолго и того... угореть.

А Санька с Егоркой поехали.

Дорогой еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтоб он никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами.

— А то я ж вас знаю...

— Да пошел ты к такой-то матери! — обозлился Егорка. — Строит из себя, сидит... «Я — ва-ас...» Кого это «вас»-то? А ты-то кто такой?

— Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?

— Научи лучше себя — как не трепаться. Не врать. А то звону наделал... Счас, если приедем и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется, — Егорка постучал пальцем по рулю, — обратно пойдешь пешком.

— Ладно. Но если все будет, как я говорил, я те... Ты принародно, в клубе, скажешь со сцены: «Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву — он не врал». Идет?

— Едет, — буркнул мрачный Егорка.

— Черти! — в сердцах сказал Санька. — Сами живут... как при царе Горохе, и других не пускают.

Приехали в город засветло.

«Направо», «Налево», «Прямо!» — командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость: он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал «влево», «вправо»... Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии.

— Узнаю ресторан «Колос», — торжественно сказал Санька. — Тут, по-моему, опять налево. Да, иди налево.

— Адрес-то не знаешь, что ли?

— Адресов я никогда не помнил — на глаз лучше всего.

Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя... И подъехали к одному, и остановились.

— Вот он, подъездик, — негромко сказал Санька. — Голубенький, с козырьком.

Посидели немного в кабине.

— Ну? — спросил Егорка.

— Счас... Она, наверно, на работе, — неуверенно сказал Санька. — Сколько счас?

— Без двадцати девять.

— У нее самый разгар работы...

— Ну-у... начинается. Уже очко работает?

— Пошли! — скомандовал Санька. — Пошли, телепочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан.

Поднялись на четвертый этаж пешком.

— Так, — сказал Санька. Он волновался. — Следи за мной: как я, так и ты, но малость скромнее. Как будто ты мой бедный родственник... Фу! Волнуюсь, стерва. А чего волнуюсь? Упэред! — И он нажал беленький пу-почек звонка.

За дверь из тишины послышались остренькие ша-жочки...

— Паркет, знаешь, какой!.. — успел шепнуть Санька.

В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ — может, не один?

Санька нервно подмигнул Егорке.

Наконец дверь приоткрылась... Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтоб она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке.

— Кто это? — тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила.

— Ира... это я! — сказал Санька ненатуральным голосом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были — нос и улыбка, остальное — морщины.

— Боже мой! — зло и насмешливо сказал голос за дверью (Егорка не видел из-за Саньки лица женщины), и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула.

Санька ошалел... Посмотрел растерянно на Егорку.

— Ё-мое! — сказал он. — Она что, озверела?

— Может, не узнала? — без всякого ехидства подсказал Егорка.

Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопку. Наконец послышались шаги — тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку... Потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и — быстро-быстро — поискали, нет ли еще кого? И, стараясь, чтоб вышло зло и страшно, спросил:

— В чем дело?

— Позови Ирину, — сказал Санька.

Мужчина мгновение решал, как поступить... Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпуская. Дверь опять раскрылась.

— Что, выйти накостылять, что ли?! — уже всерьез злобно сказал мужчина.

Санька подставил ногу под дверь, чтоб мужчина не сумел ее закрыть.

— Выйди на минутку, — сказал он. — Я спрошу кое-что.

Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь... Санька взвыл. Егорка с этой стороны — точно так, как тот за дверью, — откатнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь.

— Семен! — заполошно крикнул мужчина.

Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут... Цепочка лопнула.

— Руки вверх! — заорал Санька, ввалившись в коридор.

Мужчина с розовым лицом попятился от них... Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед

с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом.

— Во-он! — Странно, до чего она была легкая при своей тучности, и до чего же пронзительно она визжала. — Вон отсюда, сволочи!! Звоните в милицию! Я звоню в милицию! — Женщина так же легко ускакала звонить.

— Пошли, Санька, — сказал Егорка.

Санька не знал, как подумать про все это.

— Пошли, — еще сказал Егор.

— Нет, не пошли-и, — свирепо сказал розоволицый. И стал надвигаться на Саньку. — Нет, не пошли-и... Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!

Человек в тапочках пошел было окружать. Но тут вернулся от двери Егор...

...Из «окружения» наши орлы вышли, но получили по пятнадцать суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли — за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили. И часто просили рассказать, как он гужевался в городе три дня и три ночи. И смеялись.

Не смеялся только Егорка: без машины стал меньше зарабатывать.

— Дурак — поперся, — ворчал он. — На кой черт?

— Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?

— Да я и разглядеть-то не успел как следует: прыгал какой-то буфет по квартире...

— А квартира-то, правда, что ли, такая шикарная?

— Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная.

Санька долго еще ходил по деревне героем.

ВАНЬКА ТЕПЛЯШИН

Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по

спине... Поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке:

— Поедешь в городскую больницу?

— Зачем? — не понял Ванька.

— Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот... Сергей Николаевич лечить будет.

Ванька согласился.

В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть «тематический больной».

— А где тематический больной-то? — спрашивала сестра.

— Курит, наверно, в уборной, — отвечали соседи Ванькины. — Где же еще.

— Опять курит? Что с ним делать, с этим тематическим...

Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случилось в жизни: как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной...

— Лед впереди уже о так от горбатится — горкой... Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг — вниз поехал!.. — Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое. — Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода — хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться...

— Ты прямо, как это... как в баню попал: «вылез, начинаю осматриваться». Меньше ври-то.

Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.

— Я вру?! — Некоторое время он даже слов больше не находил. — Хот... Да ты что? Как же я врать стану! Хот...

И верно, посмотришь на Ваньку — и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже — уметь надо.

— Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.

— Я, значит, смотрю вверх — вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился... Я туда погреб.

— Да сколько ж ты под водой-то был?

— А я откуда знаю? Небось недолго, это я рассказываю долго. Да еще перебивают...

— Ну, ну?

— Ну, вылез... Ко мне уже бегут. Завели в первую избу...

— Сразу — водки?

— Одеколоном сперва оттерли... Я целую неделю потом «Красной гвоздикой» вонял. Потом уж за водкой сбежали.

...Ванька и не заметил, как налачился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице — по людям, по машинам... Еще пройдет, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке, Ванька проводит ее взглядом. А так — все одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире, внизу, вдруг увидел свою мать... Пробирается через улицу, оглядывается — боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.

— Мама идет! — закричал он всем в палате радостно.

Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.

— Где, Ваня?

— Да вон! Вон, с сумкой-то! — Ванька свесился с подоконника и закричал: — Ма-ам!

— Ты иди встретить ее внизу, — сказали Ваньке. — А то ее еще не пропустят: сегодня не приемный день-то.

— Да пустят! Скажет — из деревни... — Гадать стали.

— Пустят! Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот сроду не пустит.

Ванька побежал вниз.

А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее.

— Это ко мне! — издали еще сказал Ванька. — Это моя мать.

— В среду, субботу, воскресенье, — деревянно прокуковал красноглазый.

Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал ее.

— Назад.

— Да ко мне она! — закричал Ванька. — Ты что?!

— В среду, субботу, воскресенье, — опять трижды отстукал этот... вахтер, что ли, как их там называют.

— Да не знала я, — взмолилась мать, — из деревни я... Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть...

Ваньку впервые поразило, — он обратил внимание, — какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос... И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:

— Помолчи, мам.

— Да я вот объясню товарищу... Чего же?

— Помолчи! — опять велел Ванька. — Товарищ, — вежливо и с достоинством обратился он к вахтеру, но вахтер даже не посмотрел в его сторону. — Товарищ! — повысил голос Ванька. — Я к вам обращаюсь!

— Вань, — предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с забубки.

Красноглазый все безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.

— Пойдем вон там посидим, — изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтером. И пошел мимо него.

— Наз-зад, — как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.

Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и, бледнея уже, но еще спокойно, сказал матери:

— Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.

Но и дальше тоже ждал Ванька — ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.

— Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распускать... — заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова, — я тебе... я буду иметь с вами очень серьезный разговор.

— Вань, — чуть не со слезами взмолилась мать. — Господи, господи...

— Садись, — велел Ванька чуть осевшим голосом. — Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..

Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги.

— Стигнеев! Лизавета Сергеевна!.. — закричал он. — Ко мне! Тут произвол!.. — И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйнопомешанного, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только напряжился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: — Стигнеев!

Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке...

— А? — спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.

— Ко мне! — закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.

Ванька принял его... Вахтер отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел «произвол» и бросился на Ваньку.

...Ваньку им не удалось сдаться... Он не убежал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька еще стерегся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но все равно, тумбочка вахтерская полетела, и с нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся... Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин... Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели вверх. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился.

— Ну как же так, Иван?..

Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.

— На кой черт ты связался-то с ним? — никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.

— Он мать не пустил.

— Да сказал бы мне, я бы все сделал! Иди в палату, я ее приведу.

— Не надо, мы счас домой поедем.

— Как домой? Ты что?

Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался до-

мой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своем кабинетике... Сказал даже так:

— Пусть твоя мама поживет пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе...

— Нет, — сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого... — Нет. Что вы!

— Но я же не выпишу тебя!

— Я из окна выпрыгну... В пижаме убегу ночью.

— Ну-у, — огорченно сказал Сергей Николаевич. — Зря ты.

— Ничего. — Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора... жалко, что он огорчился. — А вы найдете кого-нибудь еще с язвой... У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.

— Не в этом дело. Зря ты, Иван.

— Нет. — Ваньке становилось все легче и легче. — Не обижайтесь на меня.

— Ну, что ж... — Сергей Николаевич все же очень расстроился. — Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься...

— Нет. Решено.

Ванька помчался в палату — собрать кой-какие свои вещички.

В палате его стали наперебой ругать:

— Дурак! Ты бы пошел...

— Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довел бы тебя до конца.

Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.

— Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь поправить. Эх ты!

— Надо человеком быть, — с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька. — Ясно?

— Ясно, ясно... Зря порешь горячку-то, зря.

— Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и все было бы в порядке. Чего ты?

Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с легкой душой поскакал вниз.

Надо было еще взять внизу свою одежду. А одежду

выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:

— Выгнали? Ну вот...

А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, с запоздалым укором:

— Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и все — никакого шуму не было бы. Молодежь, молодежь... Неужели трудно догадаться?

— Надо человеком быть, а не сшибать полтинники, — опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.

— Ботинки эти? Твои?

— Мои.

— Не долечился и едешь...

— Дома долечусь.

— До-ома! Дома долечисся...

— Будь здоров, Иван Петров! — сказал Ванька.

— Сам будь здоров. Попросил бы врача-то... может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.

Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.

И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор — на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил — хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.

— Будь здоров! — сказал Ванька. — Загогулина.

Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул — все смотрел вдоль своей вахты.

Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленной-перехваленной горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.

— Не плачь, — сказал Ванька матери. — Чего ты?

— Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться, — сказала мать свою горькую думу. — Из ФЗУ тада тоже...

— Да ладно!.. Вались они со своими ФЗУ. Еще тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?

— Много так сделаешь — не просить-то!

— Ну... и так тоже нельзя. Слушать стыдно.

— Стыдно ему!.. Мне вон сейчас гумажки собирать на пенсию — побегай-ка за имя да не попроси... Много соберешь?

— Ладно, ладно... — Мать никогда не переговорить. — Как там, дома-то?

— Ничо. У себя-то будешь долеживать?

— Та-а... не знаю, — сказал Ванька. — Мне уже лучше.

Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.

ГЕНА ПРОЙДИСВЕТ

Последнее время волосатый Генка работал массовиком-затейником в горном санатории. Отдыхающие удивлялись на него. Удивляли Генкины песни и шалопайство. Песни он сам сочинял и сам исполнял под гитару. Шалопайство... Вообще, это не шалопайство у Генки, а полная его — демонстративная — свобода, раскованность. Будучи этак раскованным, он и шарахался по жизни, как по загону, сшибал столбики, ранился и злился.

Кто-то когда-то сказал Генке, что он самобытный композитор. Генка уверовал в это, и когда его песни не нравились, он мучился и в отчаянии мог выкинуть какую-нибудь шальную глупость.

Приехал в санаторий какой-то поэт; Генка, волнуясь, спел ему несколько песен. Поэт удивился.

— Ну и что? — спросил он. — О чем эти песни? Что вы хотите сказать ими?

Генка выпил в буфете стакан водки и вышел к бассейну, где в это время было много отдыхающих. И громко объявил:

— Вы!.. Сейчас то же самое, но в оригинальном исполнении.

Пошел к вышке, откуда желающие смельчаки прыгают в бассейн. Остервенело заколотил по струнам и запел:

Вот так номер,
Вот так так —
Это не по правилам:
Были,

Были, —
Напылили,
А потом пр-ропали!..

Не то это у него марш, не то подзаборный жиганистый выверт — не поймешь сразу. Взосел Генка на вышку, стал на самый край доски и продолжал:

Я же помню этот бег —
Небо содрогалось,
Ваши гривы об зарю
Красную
Трепались.

«Сбацал» на краешке доски — пощелкал каблукчиками-носочками — и еще раз:

Ох, ваши гривы об зарю
Красную
Трепались!

Все с интересом смотрели на массовика-затейника. А он кричал с вышки и бил гитару:

Я же знаю,
Мы хотели
Заарканить месяц.
Почему же он теперь,
Сволочь,
Светится?!

И Генка, в чем был, махнул с вышки в воду. Вынырнул, вылил из гитары воду и докричал, лежа на спине и играя:

Значит, снова промахнулись...
Пропади ты пропадом!
Ну-ка, снова,
В три креста!
Кони-лошади!..

Генка откашлялся, отплевался и сообщил:
— «Навязчивый сон» называется!
Генку уволили.

Дома, в своей деревне, Генка появлялся обычно на короткое время — отдышаться, поправить финансовые дела. И тут наваливались на парня всей говорливой родней. Стыдили. Приводили примеры... Учили.

— Я все понимаю, — говорил Генка, — но мы, художники, — люди особого склада. Я бы мог, конечно, освоить профессию, скажем, животновода, но на мне тогда будет смертельный грех. Я людьми занимаюсь.

— Занялся бы тобой бичина хороший — вот было бы то, что требуется. Вот это не грех был бы.

— Тупо, неубедительно.

Пришел как-то дядя Генкин, дядя Гриша. Дядя Гриша недавно поверил в бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку.

— Ты вроде как даже гордишься, что такой смиренный, — сказал он.

— Не горжусь, а суетню всякую понимаю, — смиренно отвечивал новообращенный. — Все суета, Геннадий.

— Ну, это уж вы как-то... совсем просто: «Все суета» — и баста.

— Все суета! — убежденно твердил дядя Гриша.

— Смерть — суета? Любовь — суета?

— Мы здесь — гости. Поживем — и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся: за все придется отвечать. Безобразно живешь. Вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь... А ведь все учитывается! Мы, как киноаппараты: живем, а на кинолентку все снимается, все снимается... Как поступил, как подумал, где против совести пошел — все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот — тело твое — хоронят, а пленку берут и проявляют: смотрят, как ты жил... Вот.

— Хм... Ну-ка, еще что-нибудь, интересно. Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать, надо же.

— Поверить вы, знамо, не сможете. Ну!.. — Дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился. — Вам же чудо нужно, чудо! Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь — крест огненный, — тогда я поверю! Ах ты господи!... — Где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений, и те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, наверно, очень недовольны этим тупым требованием, и это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже. — А чудо — на каждом шагу! Чудо — вон в огороде: смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры... Ведь это все — деликатесы, а все — из земли. Ведь все из земли! Ты возьми ее в горсть да посмотри хорошенько — что там? Земля. А ты откуда? Из земли...

— Привет!

— Из земли, и в землю же обратишься. Сказано: ни один волос не упадет с головы... Ты думаешь, если

ты — Гена Пройдисвет, то над тобой нет закона божьего? Есть.

— Погоди, ты что-то все в кучу: и землю и закон... Ты объясни сперва: ну и что, что ты стал такой смиренный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо?

— Вы есть жуки навозные, вы думаете: вот наша навозная куча — это и весь мир. Воюете, деретесь, злитесь... А не знаете того, что вы все... все люди — под наблюдением.

— Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня — семнадцать выговоров, у меня это наблюдение вот здесь сидит.

— Не про то наблюдение я говорю. Это — ваше наблюдение, вы сами и разбирайтесь. Я говорю про высшее наблюдение, которое...

— Знаешь что? — перебил Генка, глядя в глаза дяде Грише, словно он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот смиренный. — Знаешь, что я тебе скажу: ни хрена ты не верующий. Понял? Если б ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты, как сорока на колу, — в разные стороны: «Верю! Верю!» Не веришь, вот так.

Дядя Гриша кротко, смиренно посмеялся.

— Эх, Гена... Гена ты и есть. Дружок анчуткин. Жук навозный. Ты меня хочешь из равновесия вывести, из покоя? Не выйдет.

— С чего это так вдруг в бога-то поверил? Шестьдесят лет прожил — не верил, вдруг — нá тебе...

— Пошел я, иду, — терпеливо сказал дядя Гриша. — Иду с богом. А ты колбаси дальше по дорогам — где-нибудь голову сломишь.

Вопрос этот — с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в бога, — вопрос этот всерьез заинтересовал Генку, даже встревожил. Отец Генки, умелый печник, хвостун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил братнино обращение в веру:

— Мужик, он ведь как: достиг возраста — и смяк телом. А башка ишо ясная — какие-нибудь вопросы хочет решать. Вот и начинается: один на вино напирает — башку туманит, чтоб она ни в какие вопросы не тыркалась, другой... Миколай вон Алфимов, знаешь ведь его? — историю колхоза стал писать. Кто куда, лишь бы голова не пустовала. А Григорий наш, вишь, в бога ударился. Пускай, он никому вреда не приносит. С чего началось-

то? А у нас же тут верующие-то есть, много. Старухи-то. Он стал к им похаживать от нечего делать, а те его сагитировали. Ты не досажай ему с этим, а то он сердится. Не надо. Они безобидные люди.

Жена дяди Гриши померла лет семь назад, а жил он со средней дочерью, тридцатилетней Анной. Анна, рослая, скуластая, добрая, любила играть на гармошке. Играла, а играть толком не умела — тянула туда-сюда, слушала и о чем-то думала. Анна так сказала:

— Не лезь, Генка, к отцу! Понял?

— Чего замуж-то не выходишь? — поинтересовался Генка.

— За кого?

— Нашла бы какого-нибудь...

— Какого-нибудь мне не надо, одна проживу.

— Это же ненормально...

— Ничего. Нормально.

— Похаживает кто-нибудь ночами? Да?

— Не твое дело.

— Какие ведь все уверенные, все-то они знают! — обозлился Генка. — Все понимают. А спросишь — ответить толком не умеют. Не знаете, так хоть не делайте вид, что знаете. Чего ради человек на седьмом десятке в религию кинулся? Это же не просто так. Значит, было какое-то потрясение душевное. Или — опять ложь. Притворство.

— Зачем ему притворяться-то?

— А вот это я узнаю, не я буду, если не узнаю.

— А ты чего такой нервный-то? А, Ген?.. — спросила добрая Нюра. — У тебя же все хорошо, ты говоришь. Ты — вольная птица, чего тебе?

Генка показал, что ему скучно разговаривать с Нюрой, ушел.

Но он не оставил мысли про дядю Гришу, нет. Мысль эта больше и больше занимала его. Он и правда чего-то нервничал. Он чуял какой-то подвох с этой верой дяди Гриши, и это не давало покоя. Память Генки держала вовсе другое про дядю Гришу: когда тот пришел с войны, то много пил, гулял, хвастался орденами... Играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще уж никак не монах он по склонности души, не мопах. Монахи, насколько понимал Генка, жизнь не любят, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе. У него и теперь, у кроткого, кулак-то — гиря, пудовая: звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда,

такой уверовал в бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки, — это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле, кроме того, человек верующий должен быть немного глуп. И жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый... Как же это совместить?

И вот один раз под вечерок Генка пошел к дяде Грише. Прихватил бутылку водки, гитару...

— Здорово, дядь Гриша!

— Здорово. — Дядя Гриша прищурил наметанный глаз на оттопыренный карман Генкиных брюк, ничего не сказал.

— Зашел поговорить.

— Ладно.

— А Ньюраха... в кино небось учесала? Вот дьявольская выдумка-то еще? А? Ты теперь не ходишь?

— Нет.

— А чего ты такой мрачный?

— А ты чего такой... развеселый?

— Настрой хороший. Давай выпьем.

Дядя Гриша внутренне подсобрался, шевельнул желваками, насмешливо посмотрел на Генку... А потом — как-то вовсе беспомощно — на календарик под часами в углу: с календарика беззаботно пялилась красная цифирка — воскресенье. Дядя Гриша искал защиты и спасения хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь. Искуситель Генка невольно улыбнулся.

— Давай. Сегодня можно. Ты не думай, дядь Гриша, я ведь не нахал... не подонок. Я религию уважаю, но... Где у вас тут стаканы-то?

— В шкапчике. Чего запнулся-то? Уважаешь, но?.. Договаривай.

— Сейчас, сейчас... — Генка добыл пару стаканов, поставил на стол. — Достань закусить чего-нибудь. Не будем торопиться, будем обстоятельно ковырять души. До-стань солонинки.

Дядя Гриша поднялся, грузный, открыл крышку в подпол.

— Нырни, там в кадушке капуста и огурцы.

Генка взял из шкафчика тарелку, обер ее полотенцем... Глянул весело на дядю Гришу и полез в подполье. Он заметил, что суетится и волнуется: это бывало с ним, когда предстояло петь свои песни или когда он хотел понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обозначало — петь. Он даже усмехнулся там, в темноте, подумал: «Чего это я?»

Генка положил в тарелку огурцов, капусты... Подал наверх дяде Грише. Выскочил, закрыл подпол, отряхнул брюки, опять весело и значительно глянул на дядю Гришу. Ему и впрямь было весело, и он правда волновался.

Налили по полстаканка.

— Я когда был в институте, — вспомнил Генка и стал рассказывать, поглаживая стакан и улыбаясь, — мы после первого курса поехали на практику... не на практику, а так — подработать, жизнь повидать: в тайгу, с геологической партией.

— Ты чего институт-то бросил? — спросил дядя Гриша.

— Та-а... сложно это. Не сложно, а... Да ну ее к черту, в двух словах не скажешь, а долго объяснять — лень. Не показалось мне, что это ценность великая — диплом. А туда половина только из-за того и лезет — из-за диплома. Я посмотрел-посмотрел — и сделал жест: не хочу, все. Может, глупо. — Генка помолчал, заметно посерьезнел. Тряхнул волосатой головой. — А может, нет.

— Дурак.

— Может, дурак. Не сбивай меня с настроения. У меня какое-то сегодня... — Генка тоже глянул в угол на календарик. — Тоже сегодня какое-то красненькое настроение. — Он засмеялся, погладил бороду. — Слушай. Шли по тайге, я как-то отбилсь в сторону от всех, отстал маленько, побежал догонять и оступился, ногу потянул. Не могу идти. Сел — сижу. Даже весело стало. Думаю: вернутся искать или нет? Шумихи же много про всякое это братство-товарищество. Вернутся, думаю, или нет? Посидел так с полчаса, слышу, вернулись — кричат. У меня ружье, мог выстрелить — услышали бы. Да и крикнуть, тоже услышали бы. Нет, сижу! — Генка сверкнул азартным глазом. — Бросят, думаю, искать или все же найдут? Вот же гадская натура! Вечно надо до края дойти, так уж понять чего-нибудь, где и понять-то... может, нельзя. Вот бросят, думаю, искать или будут искать? В общежитии же все вылупались про таежную романтику, про... Ну-ка? Ну-ка, ффраера, — это же не песенку спеть под гитару, это ж — человека найти! А уже солнышко садится, а до лагеря еще далеко-о. А? — Генка оскалился недобрый оскалом, уставился на дядю Гришу светлыми, немного безумными глазами. — Как вы насчет того, чтоб заночевать тут из-за одного дурака? Под открытым небушком, может, под дождем... А там, в зимовье,

нары, одеяла, костер, спиртыга, две институтские обаяшки, которые прямо млеют от самодельных лыцарей, а? Вот задача-то? Ну-ка!..

— Нашли? — нетерпеливо и недовольно перебил дядя Гриша.

Генка, тоже недовольный, что сбили с подъема, неохотно досказал:

— Нашли. Хотели отметелить, но у меня ружье было — не получилось.

— Надо было... Чтобы зря не пугал людей.

— Да они не испугались! Это тоже пижонство: чтоб потом про них говорили, что они — мужики. Они молодкососы. Все почти. Ну, давай.

Выпили, похрустели капустой.

— Не уважают тебя, Генка, — сказал дядя Гриша. Не то сказал, не то спросил, не то подумал. — Тебе ведь уж тридцать с лишним, пора это... к делу какому-то прирастать.

Генка взял гитару, попробовал что-то такое подобрать, раздумал, кинул ее на кровать, к подушкам, закурил. Настрой его, веселый и едкий, скособочился.

— Меня не уважают, да, — сказал он. — А что, обязательно, чтоб уважали? Ты из-за этого в бога поверил? — спросил. И сам ответил: — Из-за этого. Я тебя, кажется, понял. Между прочим, я бы тоже что-нибудь такое... придумал себе, но мне безразлично чужое мнение, вот моя слабина. Я в этом смысле какой-то нерусский, выродок какой-то. Но тебя я понимаю. Объясню, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился — тебе неохота просто так уходить, тебе надо, чтоб о тебе потом говорили: он же верующий был! Так?

— Дурак, — просто сказал дядя Гриша. Подумал и еще сказал: — Волосатик.

— Ты заметил, — оживился Генка, — что за то короткое время, пока мы беседуем, ты раз пять уже сказал слово «дурак»?

— Ты для чего пришел сюда?

— Понять, почему ты... Разоблачить тебя. Я не верю, что ты правда поверил в бога. Слушай, да кто же так в бога верит — повесил икону и заявил всем: я верующий! Ты что? Это же богохульство! Ты же ничего про бога не знаешь. Я больше тебя знаю...

— Сказал? — Дядя Гриша угрожающе нагнул голову. — А теперь...

— Стоп! — воскликнул Генка. — Не надо. Не надо...

Давай мирно беседовать, у нас же водки полно. Не надо наклонять голову. — Генка умоляюще прижал руки к груди. — Я не нарочно, я не... это... Я поторопился, не заинтриговал тебя своими познаниями про бога. Слушай!

Генка торопливо налил в стаканы. Дядя Гриша подозрительно следил за ним.

— Давай, дядя Гриша, духобор ты мой показушный. У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт. Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб... Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать? А? На бога меня не хватит. То есть это как-то неконкретно... Выпили! Счас решим.

Дядя Гриша, все еще не веря, что Генка не просто дурачится, опасливо отпил только половину налитого, чтобы потом, при худом исходе этой беседашки, не было разговоров, что они вместе сидели тут и пили водку.

— Ты хоть не в секте какой-нибудь? — спросил Генка, стараясь, чтоб тон его был как можно более дружелюбный. — А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь... Нет? Христос же везде — Христос, бог, но по-разному понимают, как в него верить. Ты православной веры-то? Или ты не знаешь?

Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул кулак к себе...

— Ишо, поганец такой, выговоришь эти слова, я тебя за столом прямо пристукну. — Это было серьезно. Это было, пожалуй, страшно: лицо дяди Гриши, обветренное, посерело, и щетина на щеках стала совсем белой. — Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова...

Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит. И вот — бывали мгновения, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя (он про себя думал, что безнадежно трусоват), — вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обозленного человека. Посмотрел и крепко и насмешливо сказал:

— Раб божий... да ты прямо как с цепи сорвался. Чего ты? Господь с тобой, батюшка, опомнись. Что я такого сказал? Сказал, что бывают случаи, когда бапти-

сты, например, сбивают с толку... У них — тоже Христос. — И слова Генкины наливались покоем, силой. Он чувствовал, как он убедителен и правдив. И смелел больше, и пошел добирать всю правду, до дна. — Но ведь нет же ни баптизма, ни нормального христианства — это же ложь, у тебя-то. Ложь! Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? — Генка почувствовал, что к глазам его подступают слезы. Но это не остановило его, а даже как-то придало силы и совсем расковало на желанную, злую правду, на святую правду, на большую правду. Даже дядя Гриша оторопел и слушал. Редкостное вырывалось из груди Генкиной — нечто дорогое, свободное, наболевшее. — Как же жить-то, люди?! — Генка скривился, заплакал... Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой. — Как же нам жить-то?! Когда — раз, и соврал, ничего не стоит! А? — Генка встал, потому что сидеть стало тесно, душно. — Ты меня упрекаешь... все упрекает: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез нужно, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же... Эх! Взял, выдумал: верю. В кого?! Зачем-ем? Всю жизнь под конец опозорил враньем... Да зачем тебе это надо-то? Убей, не пойму: зачем? И почему... Да взял вон топор в руки — и под Быстрианский мост: грабить. Лучше ведь. Безгрешнее. Ты в бога поверил, говоришь... А что ты с ним сделал! В горшок его глиняный превратил — щей сварить. Ни себя не пощадил, ни... Вот сидишь, хлопаешь глазами — как про тебя думать? Как про всех про нас думать? Врать умеем. Легко умеем врать. Я же уважать себя не могу, понимаешь? Уважать. Не могу — с души воротит. А вся твоя жизнь достойна уважения, а... Тьфу! Да кого же мне тогда уважать-то?! — Генка устал. Обессилел. Сел. — Взять и под занавес все испортить. «Мы — под наблюдением», «каждый наш поступок...». Ведь ты же совсем не думаешь про это про все, ты же чужие слова молотишь. Я же думал, ты не способен на ложь — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может! Все — в подпол вон, одна капуста и останется. На закусь. Выпьем, раб божий. — Генка налил в стаканы, качнул устало головой. — И ведь нашел же в душе такую способность! Наше-ол.

Все думают, ее там нет, а она есть. Раз — и вот она: хоть стой, хоть падай.

Генка поднес стакан ко рту, и вмиг он у него вырвался из рук. Он даже сперва не понял — что это? Стакан рванулся и полетел вверх...

— Хватит лакать, — сказал дядя Гриша сдавленным злым голосом. — Распился тут.

Генка хотел встать, но дядя Гриша загреб ногой его стул, и Генка упал. И тотчас на него упал дядя Гриша, захватил его волосы и стал стучать головой об пол.

— Вот так ее... — приговаривал он. — Умную-то головушку. Вот так, вот так...

Генка упруго изогнулся под дядиной тушей, подпустил ему под брюхо ноги и двинул что было силы. Дядя взмахнул руками и грянулся затылком об стол. Стол упал, со стола с веселым разговором полетели стаканы, бутылка, тарелка... Генка понимал, что упускать инициативу нельзя, иначе массивный дядя подомнет его и расколотит всю голову. Он, впрочем, не очень и думал. Азарт схватки враз опалил его, подчинил своим законам: он действовал как всякий нормальный боец, — вроде не соображая, но очень рассудочно и точно. Раза два угодил дяде кулаком в лоб, чтоб тот не сумел подняться, а когда дядя все же набычился и начал вставать, Генка ногой опять свалил его. Злости не было, было сознание опасности, что дядя Гриша поднимется и сгоряча схватит что-нибудь в руки, какой-нибудь предмет. И ломанет. Поэтому никак нельзя было дать ему подняться.

Так они напрягались: один хотел встать, другой не давал.

...Когда пришла Нюра, бой был в разгаре, и на полу валялось все, что могло упасть... А посередке молча возились дядя с племянником. Рубахи у обоих изодраны, кровь видна... Нюра насилу отодрала их друг от друга. Генке залепила пару оплеух, оттолкнула в угол, отца усадила на кровать.

— Поганец, — тяжело дыша, сказал дядя Гриша, вытирая драным рукавом рубахи кровь с губы. — Будет тут... слова разные потребляют... Разинул рот-то. Шшенок.

— Горько, горько, — говорил Генка, сплевывая сукровицу. — Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот... деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать... уважения захотел... Врать начал! Если я паясничая на дорогах, — Генка постучал себе с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за

мной — Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! — Генка закричал, как на базаре, как на жадную, бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать. — Мы же так опрокинемся!..

— Я те опрокинусь, — гудел негромко, с дрожью в голосе дядя Гриша, все вытирая окровавленный рот. — Я тя самого опрокину — башкой лохматой в помойное ведро вон. Шшенок.

Нюра налила в рукомойник воды, подвела сперва отца, вымыла ему лицо, приговаривая в том духе, что — бесстыдники, как дети малые, честное слово... Сцепились. Чего не поделили?

— Россию! — высокопарно заявил Генка.

— Я вот те сейчас покажу Россию! — повысила голос и Нюра. — Трепач... На старика-то — с кулаками? Э-эх! А говоришь, книжки умные читаешь. Где же это написано, чтоб... Я вот не погляжу сейчас, что я баба, надаю по загривку-то, будешь знать.

— От тебя приму. Ты духовно чистый человек... Ты не врешь.

— А я што тебе?! — пошел дядя Гриша к Генке с мокрым лицом, но Нюра легко развернула его и сунула опять под рукомойник.

Потом дядя Гриша вытирался, а Генка мылся до пояса над шайкой, Нюра поливала ему из ковша. Потом она дала им свежие рубахи из сундука и из сундука же достала бутылку перцовки.

— От простуды берегла... но уж нате. И не коситесь друг на друга. Вот же глупые-то! Сказать кому, не поверят. Сцепились... Ты, Геночка, не зачитался случаем? Шибко уж языкастый да кулакастый стал. Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются — с ума сходят. Давайте и я с вами пригублю маленько. Миритесь.

Выпили втроем огневой славной перцовки... Посидели молча. отошли.

— Спеть? — спросил Генка.

— Спой, — согласилась Нюра. — Только понятную какую-нибудь. А то у вас нынче не поймешь ни черта. Что за люди пошли! Живут непонятно, поют — и то непонятно.

— Сказано, — заговорил дядя Гриша, но заговорил как-то сипло, тонко. Прокашлялся. — Сказано: придет владыка мира... Сперва их четверо придут, потом один троих подомнет под себя и станет единовластно влады-

чить. Это и будет — антихрист шестьсот шестьдесят шесть, три шестерки. И будет он владычить три с половиной года, но законы его будут действовать только три года. Но перед тем как он придет, он разошлет по свету своих агентов: они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент.

Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре.

— Бледно, — сказал он. — Мог бы поярче что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой. Итак, понятную! — объявил он. И запел:

То, ох, не ве-етер ветку кло-онит,
Не, ох, не дубра-авушка-а шуми-ит...

Бросил, задумался, посасывая разбитую губу.

— Чего ж бросил-то? Хорошо ведь начал, — сказала Нюра.

— А возможно, что это не притворство у вас, — заговорил Генка из своих дум. И посмотрел на дядю Гришу. — Возможно, что тут налицо элементарная самодетельность. — Он долго и участливо смотрел на дядю. Тот тоже глянул на него и обиженно отвернулся, поморщился даже от Генкиного словоблудия.

— Пой-ка лучше, правда.

Но Генка петь больше не стал, сидел, облокотившись на гитару, смотрел в окно.

— Корова-то!.. Матушка ты моя, давно уже ворота поддеёт, стоит! — спохватилась Нюра, увидев корову у ворот. И побежала впустить ее.

Генка и дядя Гриша безучастно следили, как она пробежала по двору, открыла ворота и впустила большую комолую корову. И шла с ней по двору и что-то ей говорила.

— Корова, — задумчиво сказал Генка. Непонятно, к чему он это сказал.

Дядя Гриша все смотрел, как Нюра сняла с колышка выжаренный знойным июльским солнышком подойник, ловким коротким движением подобрала край юбки у сгиба колен сзади, села доить. В дно подойника звонко ударили первые, невидимые отсюда струйки молока. И Генка мысленно, как въявь, увидел, как бьют в дно теплые стремительные стрелки, как пузырится на дне, а новые струйки попадают в пузырьки, они лопаются, и белые капельки-брызги летят невысоко и обильно и

стекают по бокам ведра тонюсенькими ручейками. И скоро там все вспенится, и струйки уже не будут звенеть, а будут втыкаться в белую шапку с мягким, ласковым, сдобным каким-то звуком. Сильная Нюра чуть покачивалась сидя — вправо-влево, вправо-влево — в такт, как двигались руки, и под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки.

— Корова... — еще раз в раздумье сказал Генка. — Этой ночью напишу стихи. Если не затуманю голову. Давай по маленькой?

— Хватит, — сказал дядя Гриша. — Не хочу больше.

— Ну и я не буду, — решил Генка и отодвинул перцовку подальше от себя. — Лучше стихи напишу. Про корошу.

ПЬЕДЕСТАЛ

И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.

— Долбаки! — зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук. — Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! — Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку. — В чем здесь логика восприятия? Счастье — в кружке пива?

Жена Константина Смородина, худощавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затаянном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот — рассеянно и бесконечно — даже когда продавала билеты. Отрывала билетики, брала деньги, сдавала сдачу — и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел — она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтобы она реагировала. И — странно тоже — почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.

— А если я вам вместо счастливого лица нарисую кружку пива и большой кукиш — это как? А ведь тут ба-альшой смысл! — Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал. — Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом — ты взял кружку пива. Выпил. Постоял маленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил — и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил ее на жаре. Тебя развезло... Ты пошарил в кармане — у тебя оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, «затроил», в результате пришел домой на бровях. Шум. Скандал. Все началось с кружки пива. — Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены... Она ему — из далеких-далеких каких-то своих дум — кивала поощрительно.

— Пойдем еще по логике... — продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.

— Будешь ужинать? — спрашивала жена.

— Окрошечки бы... М-м? — спрашивал Смородин. — Холодненькой.

— Садись.

Хлебая окрошку, Смородин опять возмущался.

— Окрошка из сладкого кваса! Ну не ё-моё?! — В недавнем прошлом Смородина значилась тюрьма, лет пять, — за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь. — Пить его — еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки — другой, кислый. Ну что же — сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму...

— Не ругайся, — спокойно просила жена.

— Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. «Как, говорит, пойдет, что охота укусить кого-нибудь, — беги к холсту!»

У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того: «Дурак, делать, что ли,

больше нечего?» 2. Не гонись за богатством — меньше хлопот. 3. Самые хорошие люди — кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.

Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь всегда надо, — складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как подрост, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя — цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь и только пузыри от тебя пойдут. Но кое-что Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст... Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна — от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека... с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться «Самоубийца». Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.

Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь — с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо щурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.

Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.

— Как дела? — спрашивал Смородин.

Жена пожимала плечами, что — «никак». Молча передевалась (тоже надевала халат), молча ж подса-

живалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал: — Захожу вчера к своему долбаку: «Вызывали?» — «Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?» — «Я-с. Не нравится?» — «Что это у вас тут такое?» — «Вымя коровье. А это — соски. Просто же». — «Это авиабомбы какие-то, а не соски!»

Жена Смородина, когда он рассказал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же — вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость. Смородин этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.

— Авиабомбы, да! — начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют... так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу — на здоровье!

— Про Вьетнам надо было, — подсказала жена.

— Что про Вьетнам? — не понял Смородин. И остановился.

— Там — смерть, здесь — молоко. Он бы завизжал от восторга.

— Не сообразил. — Смородин двинулся было, но опять остановился. — А если вообще — триптих такой: бомбежка — раз, кладбище — два, и вымя в облаках... А?

Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила:

— Зачем?

— Ну, триптих такой...

— Это же не музей.

— Ну да, — согласился Смородин.

— Чем закончилось с выем-то?

— Переделал! — как-то даже весело воскликнул Смородин. — Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше. — И Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.

— Ты таких слов не говорил, — сказала она.

— Я их говорю!

— Ты их не говорил, — упрямо повторила смуглая жена.

— Не понял, — признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.

— Твой начальник ни-когда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.

— А-а! — дошло наконец до Смородина. — Ну, это само собой. Это я секу.

— Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг, в один прекрасный день, все узнают, что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант. — Жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями, — в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба — это мерзко, гадко, противно, наконец просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина... Когда они вышли на волю, они разыскали друг друга и сошлись. С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.

— Могут не признать, суки, — встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался. — Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь?

— Ни в коем случае! — твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа. — Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! — Все же прекрасен сильный человек! Жена Смородина, когда вселяла в слабого,

суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя губа хищновато дергалась кверху, и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел... и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.

— Но не признают же...

— Кто?

— Ну, кто... Что ты, не знаешь, кто?

— И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтоб они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж... все само собой делается.

И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах — о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено было делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел, и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело: хоть скупой и неохотный, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись в бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось «взорваться» — чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках... Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.

Таким он и входил в маленькую комнатку — готовый «взорваться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.

— Ну, суки... — говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.

И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.

— Завтра позову его, — сказал вечером на кухне Смородин.

У жены — как будто она напугалась чего — широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из

ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:

— Да?

— Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра... Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезать. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут...

— Я все сделаю, — с несвойственной ей поспешностью сказала жена. — Все будет на уровне, не беспокойся.

И на другой день рано утром, в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин — «взорвался». Или он это скажет, или... Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.

Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами...

— Ну, что ты тут намазал?.. Где?

— погоди, погоди, — суетился Смородин, — давай сперва дернем по малой... Зоя, у нас есть там чего-нибудь?

— Проходите сюда, пожалуйста, — сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.

Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «гм» и зашагнул на кухню.

— О-о! — густо сказал он. — Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну, давайте... — И художник первым сел за стол и пригласил хозяев: — Садитесь. Вы славно живете! — еще приятно удивился он. — Как вас, Роза?..

— Зоя, — сказала жена Смородина.

— Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя... Ну, так... Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.

— Нет, она... по финансовой части, — сказал Смородин. — Наливай, Зайка.

Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.

— Вчера приняли с Поволоцким... Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень. — Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником,

знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук. — И ну, так, так... Хорошо!

Еще выпили по одной дорогого коньяку.

— Эх, жизнь бекова! — сказал художник Коля. — Как там у вас говорили, Константин? А интересно там, да? Мне охота бы побывать, только недолго, ну ее к черту... Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.

Сморозин хихикнул встревоженно... И глянул на жену — проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.

— Что нарисовал-то? — спросил тот. И посмотрел весело на Сморозина. — «Утро нашей Родины»?

— Увидишь, — уклончиво, но и обещающе сказал Смородин. — Давай посидим пока...

Художник засмеялся.

— Чего ты меня готовишь, как... невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А?

Сморозин пожал плечами.

— Год работал...

— Ну-у, даже интересно. Пойдем глянем!

Сморозин опять быстро и вопросительно глянул на жену.

— Выпейте еще, — сказала Зоя, — потом уж делами займетесь.

— Да что вы такие?! — спросил удивленный художник, глядя на Сморозина. — Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?

— Выпейте, — жена Сморозина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало — чтобы она терялась. — Выпейте, закусите, потом и пойдете. — Боялась она, что ли?

Еще выпили. И закусили.

— Пойдем, — нетерпеливо сказал художник Коля. — А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?

Пошли.

Вошли в маленькую комнатку... Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заняло.

Художник прищурился на картину... Долго смотрел... Потом посмотрел на Сморозина...

— Самоубийца, — сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.

Художник засмеялся и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин — весь настроившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.

— Чего ты? — спросил тихо Смородин.

— Ты прямо напугал меня, — добродушно сказал Коля-художник. — Я уж думал, тут правда черт-те чего... Не вышло, Константин. Самоубийца... — Он опять невольно хохотнул. — Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?

Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.

— Костя!.. — окликнул он. — Ты чего? Брось ты так... Давно надо было позвать меня — не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь... Ну куда тебя, к черту, понесло — самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма... Ничего. — Он посмотрел на картину. — Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой... окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?

— Вон отсюда! — раздался вдруг сзади них голос. Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а — гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.

— Вон из квартиры! — повторила она, глядя на художника.

— Зоя... — хотел что-то сказать Смородин.

— Вон! — крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью. — Вон! Вон! Вон!!!

Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться... И, даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это, — пошел вон. Подошел к двери, оглянулся...

— Во-он!! — закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: — Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..

Смородин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился... Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав — Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука, — и все торопила, все повторяла:

— Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!

На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:

— Догони его! Догони — двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот... Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!

Смородин обнял жену, стал успокаивать.

— Зоя, Зоя... ну что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..

— Уйди! — зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином. — Уйди! Подонки!.. Хамье! Подонки! Подонки!..

Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.

— Ну что ты, дурашка ты моя? — говорил ласково Смородин. — Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков... они скажут. Не реви. Успокойся. — Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди. — Успокойся, милая, успокойся, не надо...

А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм... Даже подвывала тихонько — так горько плакала. И не могла остановиться.

УПОРНЫЙ

Все началось с того, что Мотя Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель — невозможен. По тем-то и тем-то причинам — потому хотя бы, что существует трение. Мотя... Тут, между прочим, надо объяснить, почему — Мотя. Его звали — Митька, Дмитрий, но бабка звала его — Митрий, а ласково — Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Мотю — так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Мотя, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Мотя, что вечный двигатель невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие — в разные времена — предлагались... И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да ладно, будут тут мне...» И теперь он тоже подумал: «Да ну!.. Что значит — невозможен?»

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Мотя окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Мотя был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея — то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, — то идея та,

какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал — ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор — все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к полости колеса) желоб — так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гиричка. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то — он же будет его толкать, ну, не толкать — давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось — закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, — как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет, и все — почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов, — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был

не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы — хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал — там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину, — скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Мони все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут — прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Мони с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, посмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Мони закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах — просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Мони испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать — кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб — как если бы они думали. Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Мони усмехнулся и пошел к человеческому изобретению — к рукомойнику, умываться.

И все утро потом Мони пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время — умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться.

В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко — хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебешек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что — есть она, и вроде ее нет.

— Чего эт ты седня такой? — спросила бабка, когда сидели завтракали.

— Какой? — спокойно и снисходительно поинтересовался Мотя.

— Довольный-то. Жмурился, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Мотя несколько подумал... И сказал заковыристо:

— Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.

— Подь ты к лешему! — Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: — Ну, и что бы ты с имя стал делать?

— Что?.. А ты что?

— Я тебя спрашиваю.

— Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

— Мне ничего не надо. Может, дом бы перебраться...

— Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать — гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

— Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

— Начинается! — недовольно сказал Мотя. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Мотю: разговоры о предстоящей смер-

ти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью — нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. — Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.

— А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет матушка...

— Ну и... придет — значит, придет: чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотыка не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

— Дак чего приснилось-то?

— Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

— Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет — не возрадуется.

— Ничего! — беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. — Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в оgrade, возился с мотоциклом.

— Здравствуй! — сказал Моня.

— Здравствуй! — не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».

«Переживешь, — подумал Моня. — Молодой еще».

— Зашел сказать свое «фэ», — продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

— Что еще за «фэ»?

— Как ученые думают насчет вечного двигателя? — сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу. — А?

— Что за вечный двигатель?

— Ну, этот — перпетум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

— Ну? И что?

— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

— Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

— Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу.

— Сняли.

— Не рано? — не давал ему уйти от разговора Мона.

— Что «не рано»? — оглянулся опять инженер.

— Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Монию.

— Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Мона тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

— Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее взгляделся в Монию... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку — тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

— Поздравляю.

Мона обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель — невозможен. Этак — и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми — это тяжело, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

— А что дальше? — спросил Мона.

— В каком смысле?

— Ну, ты поздравил... А дальше?

— Дальше — пускай его по инстанции, добивайся...

Ты его сделал уже? Или только придумал?

— Придумал.

— Ну, вот... — Инженер усмехнулся, качнул головой. — Вот и двигай теперь... Пиши, что ли, я не знаю.

Мона помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

— Ну а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно?

— Нет, — жестко сказал инженер. — Неинтересно.

— Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бро-

сил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

— Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

— Полтора года.

— Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком... Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

— Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что — все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

— И узнавать не хочу.

— Почему?

— Потому что — это глупость. И ты должен сам понимать, что глупость.

— Ну а вдруг не глупость?

— Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

— Спасибо за совет. — Моня встал. — Вообще за добрые слова...

— Ну вот... — сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно. — И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

— Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

— Ну а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! — воскликнул инженер. — Почти девять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

— Да вот так вот все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

— Да не махнули рукой, а доказали давно: не-возмо-жен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? — Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал. — Что же ты восемь с половиной лет делал?

— Смолил и к стенке становил, — тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру. — Что ты,

как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

— Вот видишь... — чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. — Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить. — Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавил ее в землю и пошел заводить мотоцикл.

Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел напрямик домой — к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну, и что? Груз — вот он — давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то! А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: «Что же ты восемь с половиной лет делал?» Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления движется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну, и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но — вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны — подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было — иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, в пору бегом бежать. Малость Моня и подбежал — в перелуке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

— Здравствуйте, — сказал Моня. — А муж уехал?
— Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

— А вы же ведь учительница? — спросил он.

Хозяйка удивилась.

— Да. А что?

— По какому?

— По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку, — что она еще не привела себя в порядок, — прошел к столу.

— Ну-ка, гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда.

Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

— Что? — спросил Моня.

— А в чем дело-то? — тоже спросила учительница; подходя к столу.

— Смотрите, — стал объяснять Моня по чертежу, — вот это такой желобок, из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он — вот так вот — наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двигает его?

— Надавит...

— Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

— Это что же, вечный двигатель, что ли? — удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

— Что это? — спросила она.

— Да вы же сами сказали!

— Вечный двигатель?

— Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки,

долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

— А? — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

— Не будет колесо вращаться, — сказала учительница.

— Почему?

— Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

— Ну, ребята!.. — заговорил он. — Я не понимаю: или вы заучились, или... Почему не будет-то? — Моня остановился, глядя в упор на женщину. — Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась.

— А вам нужно, чтобы вращалось? — спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил — все свое:

— Почему оно не будет вращаться?

— А как вам муж объяснил?

— Муж... никак. Муж взялся стыдить меня. — И опять Моня кинулся к чертежу: — Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

— Давит.

— Давит. Стержень от этого давления...

— Знаете что, — прервала Моню учительница, — чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

— Знаю.

— Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

— Только подождите меня, ладно? — попросила учительница. — Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась.

— Мне одеться нужно...

— А-а, — догадался Моня. — Ну, конечно. Я на крыльце подожду. — Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: — Вот дела-то! Да?

— Я сейчас, — сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволж-

ских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

— Вот!.. — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. — Видите, как все продумано! А вы говорите... — И повернулся к Моне. И потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять: — Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот... — Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его «прикрепил» стержень. — Вот сюда мы его присобачим... Так? — Гекман был очень доволен. — Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину... Во-от. — Учитель и пружину изобразил. — А другим концом...

— Я уже такой двигатель видел в книге, — остановил Мона учителя. — Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель. — А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы...

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит и на стержень, и на желоб. Ни на что — чуть-чуть меньше, ни на что — чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — вскинулся он. — Вы что? По желобу он только скользит — желоб можно еще круче поставить, — а на стержень падает. И это — одинаково?! — Мона свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики. — Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал Мона. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

Мона приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, ве-

лел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось-покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу — с изумлением, враждебно — смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал... Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

...Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупьazole себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то все беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два — говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет — пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Мона, что и заря занялась. Он вовсе от-решился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Мона, нарожать детей — трех примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Мона очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Мона не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять во-зился со своим мотоциклом.

— Доброе утро! — сказал Мона, остановившись у из-городи. И смотрел на инженера мирно и весело.

— Здорово! — откликнулся инженер.

— А ведь крутится! — сказал Мона. — Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое вре-мя смотрел на Мону — не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

— Двигатель, что ли?

— Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь кру-тилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я по-шел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И несколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

— Правда, что ли?

— Пойдем — поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

— Ну, это... фокус какой-нибудь, — все же не верил он. — Подстроил там чего-нибудь?

— Какой фокус! В сарае... на полу: крутится и кру-тится.

— От чего колесо-то?

— От велика.

Инженер приостановился.

— Ну, правильно: там хороший подшипник — оно и крутится.

— Да, — сказал Мона, — но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Мона тоже молчал. Благодное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

— И всю ночь крутится? — не удержался и еще раз

спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

— Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Монею, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерское звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

— Приготовились! — сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай — крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

— Ну-у, — сказал инженер. — Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень.

— Ну, извини, — сказал Моня, довольный. — Пойдем — у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся.

— Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату... Прошли уже было, но бабка услышала.

— Мотыка, где был-то всю ночь? — спросила она.

— Спи, спи, — сказал Моня. — Все в порядке.

Они вошли в горницу.

— Садись, — пригласил Моня. — Я сейчас организую...

— Да ты... ничего не надо организовывать! — сказал инженер шепотом. — Брось. Чего с утра организовывать?

— Ну ладно, — согласился Моня. — Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну, ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

— Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился?

А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный — как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются.

— Весь день вчера угробил... Дело не в этом, — заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и го-

ря, а с глубоким, искренним любопытством, — дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

— Не должно, — сказал инженер. — В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек — улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него по его молодости и совестливости навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо — не до этого стало.

— Учиться надо, дружок, — посоветовал инженер. — Тогда все будет понятно.

— Да при чем тут — учиться, учиться, — недовольно сказал Моня. — Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

— Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

— Давай еще по рюкзаке?

— Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки.

— Шагай вольнее, — сказала она, — все равно не сплю.

— Здравствуй, бабушка! — поприветствовал ее инженер.

— Здорово, милоч. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики... Вам спать да спать надо.

— А в старости-то что будем делать? — сказал инженер весело.

— В старости тоже не поспишь.

— Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.

— Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным — всходило солнце. Село пробудилось: хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. Люди, милые люди... Здравствуйте!

АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Его и звали-то — не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того — старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником — кочегарил на ферме, случалось — ночное дело — принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой» — в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай — как об стенку горох. Хлопает глазами... «Ну, понял, Алеша?» — спросят. «Чего?» — «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?» — «Чего?» — «Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?» — «Нет. Между прочим, насчет дурачка — я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне — оскорбление словом, я тебе — в лоб: считается — взаимность». Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, — по пять часов парился! С одыхом, конечно, с перекуром... Но все равно — это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умылся, а шел сразу во двор — колоть дрова.

У него была своя наука — как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колот их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная — зябко было, сыро, ветрено — конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик — постучало мягко, дробно в стекла окон — и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело — ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал — снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленицы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

— Ишь ты... какой, — говорил он ласково чурбаку. — Атаман какой... — Ставил этого «атамана» на широкий пенёк и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна, и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле камени. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в камени. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенял ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескаться из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

— Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

— И не плескает ведь!

— Да куда так несется-то?

— Ну, баню опять топят...

— Да рано же еще!

— Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконечный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в камени, две

большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо! Она стояла на полкѣ, с краю, места много не занимала — не мешала париться, — а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полкѣ, когда на голове волосы трещали от жары, он курил голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане, — продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все — на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье скорого праздника. Сердце Алеша нет-нет да подмоет радость — подумает: «Сча-ас». Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пласть, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, — на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и думает, это баня. Хэх!.. Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно — так, поперек, а потом сверху. Но там — в той амбразуре-то, которая образуется-то, — там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадилась теперь обливать, — там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед

каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, — все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» Или еще он сделал открытие: человек, помирая — в конце в самом, — так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить.

Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом.

Пока он занимался баней, ребяташки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь — Алеша слышал — то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал — что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала.

Когда пили чай, поговорили с женой.

— Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет, — сказала жена.

— И выпадет. Оно бы и ничёго, выпал-то, — на сырую землю.

— Затопил?

— Затопил.

— Кузьмовна заходила... Денег занять.

— Ну? Дала?

— Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

— Ну и ладно. — Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег — все как-то повеселей в гла-

за людям смотришь. А то наладились: «Бесконвойный, Бесконвойный». Глупые. — Сколько попросила-то?

— Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

— Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего — тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! «Что мне, душу свою на куски порезать?!» — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!» Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъялдыкнула: «Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?» Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван польхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: «Смотри... а то — не в роду ли это у их». И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню.

А баня всюю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно — огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достаёт жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное — без слов, голосом, Алеша слазил на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосно-

вых лап — поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал — надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят! Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно — ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел — высоко-высоко — и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на пастбище — маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как зарешь — что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие — ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, — вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя — через всю почти страну. Но ехали звонко — так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

— Слушай, солдат, возьми меня — вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на щеке, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит — вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже — горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит смотрит странно... У Алеши так заглохло сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона она уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

— Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

— А кто дома-то? — разлепил рот Алеша.

— Да никого, одна я.

— Ну, так я провожу, — сказал Алеша.

— А как же ты? — удивилась и обрадовалась женщина.

— Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

— Да, их тут каждый день едет... — согласилась она.

И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила — радость не радость — жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжело, будто прогретое за день июньское небо — опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука — мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Оп какой-то и колючий и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша — маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама — просто, доверчиво — взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему... И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да... Ну, была почь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе.

Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, ког-

да оставался сам с собой, и усмеялся. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алехто. Вот как.

Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он — угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут — стены, полók, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап — такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, — славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню — нет, угарно.

Алеша пошел в дом.

— Давай бельишко, — сказал жене, стараясь скрыть свою радость — она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеша. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболочка до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить.. Но курить дома он отвык давно уж — как пошли детишки.

— Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да кончились — от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

— Много они картошки-то сдали?

— Веза два отвезли... Кулей двадцать.

— Огребут деньжат!

— Огребут. Все копят... Думаешь, у их на книжке нету?

— Как так нету! У Соловьевых да нету!

— Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

— Давай бумажные, пока еще не так нижет.

— На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане.

— Так... Ну, ладно.

— У Кольки ангина опять.

— Зачем же в школу отпустила?

— Ну... — Таисья сама не знала, зачем отпустила. — Чего будет пропускать. И так-то учиться — через пень-колоду.

— Да... — Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, — не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавителие человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровадается.

— Так... Ну, ладно, — сказал Алеша. — Пойду.

И Алеша пошел в баню.

Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет... Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя — ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэ-х... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!.. —

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они — понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь — вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая — до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра... — стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу —
Нет моего милого, —

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани —
Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться... Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,
Моя дума — стороной.
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке — плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо — сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полкѣ — просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться — подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет — придет, чего раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть — не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее, как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет — придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник, не надо его и понимать, как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и «не суетиться перед клиентом». Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: «Главное, не суетиться перед клиентом». Долго Алеша смеялся и думал: «Верно, суетимся много перед клиентом». Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом — чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал слушать-

ся покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любит все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный пушистый веник из тазу, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку — первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Пар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полók. Чтобы доски полкá не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя — походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под колени, к пояснице... Спустился с полкá, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

— С легким паром! — сказал Борис.

— Ничего, — ответил Алеша, глядя перед собой. — Иди в баню-то.

— Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал — не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, — стал как-то переживать, что отец его — скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. Попервости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что

заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец — пастух... Эх, милый! Ну давай, давай — целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девочку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

— Иди в баню-то, — сказал Алеша.

— Жарко там?

— Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу — в Коростылевых.

Сын пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком — достать белье сыну.

— Помнишь, — сказал Алеша, — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.

— Что?

— Стишок-то сочинила... К чему ты?

— Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. Я пойду ребятешек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

— Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

ОСЕНЬЮ

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

— Никак не могут уняться! — сказал он сердито.

— Кого ты опять? — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

— Бомбят! — Филипп кивнул на репродуктор.

— Кого бомбят?

— Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться — некогда, она собиралась на базар.

Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому.

Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать — плотничать — он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свиная визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше — к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь — от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много — убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда

без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Правилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: «Они мне коня много давали — я просил за дровами?..» Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. «Да ты что, Егор, — говорил он мужику, — да рази можно сравнивать?! Вот так раз! Тут — политическое дело, а ты с каким-то конем: спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: «Ты им скажи там...» Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну народ! — думал он, весь объятый заботами большого дела. — Обормоты дремучие». С годами активность Филиппа слабела, а тут его в голову-то шваркнуло — не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая — нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... всяма и всяма показушная, хвастливая. Хоть и мода — на машинах-то, с лентами-то, — но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал — нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удасть. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс — покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой — они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатах. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила — дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами... И опять же: сам комсомольцем не был, но кричал и ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи — хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, — тут как тут: тоже против венчанья. А Марья — нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов: хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья — искусство редкое на селе), убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться, и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглушил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посылно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. Попервости было так тяжело, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья — по правилам гражданского брака, — детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: «Вы защищаете ваших матерей, жен...» — Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было

убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится — и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то (не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марьи: «Не совестно было? В церкву-то поперся...» На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» — «Старикам-то поддался». — «Я не поддался, — сказал Павел, — я сам хотел венчаться». — «Вот я и спрашиваю, — растерялся Филипп, — не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?.. Мы же так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился. Сказал: «Пошли вы!..» И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так — носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но при-терпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки — ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныла прямо, затревожилась.

«Раза два еще сплаваю и пойду на обед», — решил Филипп.

Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у паромы всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

«Кого же это? — думал Филипп, вглядываясь в людей. — Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же — откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?»

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут... Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладились держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то... Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп, как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло.

Паром стукнулся о шаткий припоромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припоромка, закличили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припоромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп как замороженный стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью... Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

— Где ставить-то?! — крикнул шофер.

— А?

— Где, мол, ставить-то?

— Да ставь... — Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это?

Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу.

Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

— Что, Павел?.. — спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: «Марьюшка, Марья...» Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу ак не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать? Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

«Да проститься же надо было!.. — понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. — Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать — провезти, и все. Ведь, если чье это горе, так больше всего — его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, не забытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом — самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжело — он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с парома: последняя машина,

только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

— Догони-ка крытую... с гробом, — попросил он, залезая в кабину.

— А чего?.. Зачем?

— Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали.

Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу.

— Это краюшкинские, что ли? — спросил он, кивнув на крытую машину впереди.

Филипп молча кивнул.

— Родня, что ли? — еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посерединке кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми — и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

— Обогнать, что ли? — спросил шофер.

— Обгони... И ссади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится... Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь...

Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лестнице, которая внизу кузова.

— Павел... — сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить. — Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

— Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. — Иди!.. — за-

кричал Павел. И еще толкнул, и еще — да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

— Э, э, чего вы? — всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверно, взял Павла за плечи и повлекв кузов. — Что ты? Что с тобой?

— Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел. — Пусть он уходит отсюда!.. Я те посмотрю. Приполз... гадина какая. Уходи! Уходи!.. — Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя.

Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые:

— Что, горько?.. Захапал чужое-то, а — горько. Радовался тогда?..

— Ты зато много порадовался! — сказал из кузова Павел. — А то я не знаю, как ты радовался!

— Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить, — продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать свое, очень важно. — Думал, будешь жить припеваючи? Не-ет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось...

— Много ли ты-то припевал? Ты-то... Сам-то... Само-го-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил — чего же согнулся? От хорошей жизни?

— Радовался тогда? Вот — нарадовался... Побирушка. Ты же побирушка!

— Да что вы?! — рассердился молодой мужчина. — С ума, что ли, сопли!.. Нашли время.

Машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова:

— Я побирушка!.. А ты скулил всю жизнь, как пес, за воротами! Не я побирушка-то, а ты!

Филипп медленно пошел назад.

«Марья, — думал он, — эх, Марья, Марья... Вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот — два дурака... Обои мы с тобой побирушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не побирушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил смолоду кусок счастья — живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал — раз, два — увезли!.. Обрадовались».

Горько было Филиппу... Но теперь к горькой горечи этой примешалась еще досада на Марью.

«Тоже хороша: нет, подождать — заусилась в Краюшкино! Прямо уж нетерпеж какой-то. Тоже толку-то было... И чего вот теперь?..»

— Теперь уж чего... — сказал себе Филипп окончательно. — Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться — следом. Ничего теперь не воротишь.

Ветер заметно поослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то — осень, с чего теплу-то быть?

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

*Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева,
человека и гражданина*

«О государстве»

В райгородок Н. приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы — так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье.

— Да, — сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги. — Войдите!

Вошел невысокий человек лет сорока пяти, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

— Здравствуйте! — сказал человек весело. — Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

— Садитесь, — пригласил Кайгородов.

— Спасибо. — Князев сел и оглядел жилище спортсменов. — А номерок-то... не очень. А?

Кайгородов пожал плечами.

— Ничего. Временно же...

— Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой, — сказал Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

— Зачем? — спросил прямодушный Кайгородов.

— Да так — в гости. Поъем чайку... — Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно. — Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?

— Иконами?.. Нет. А что?

— У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди, — показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки, — тоже покажет.

— Нет, не интересуюсь.

— Ну, просто так пойдете.

— Да зачем? — все не понимал хозяин.

— В гости, боже мой! — воскликнул Князев. — Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа... Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

— Ну? — продолжал Князев. — Чего переглядывать-ся-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить.

— Слушайте, — перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный, — я не понимаю: чего вам надо?

— Тю-тю-тю, — с улыбкой, мирно сказал Князев. — Сразу — обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

— Да я не обижаюсь... — Спортсмен несколько смутился. — Но с другой стороны... я не пойму...

— А я объясняю: пойдете ко мне в гости, — опять мирно, терпеливо пояснил Князев. — И будет как раз с той стороны, с какой...

— Не пойду, — отчетливо, тоже изо всех сил спокойно сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие гостя, его какая-то противная веселость. — Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся:

— Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали.

— Гриша, — сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал... Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью — ногой — тапочки, надел их и пошел к выходу.

— Пойдемте, — велел он Князеву тихо, но решительно.

— Гриша! — опять сказала жена.

— Все в порядке, — обернулся с порога Кайгородов. — Чего? — И требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: — Пойдемте.

— Куда? — спросил Князев.

— В коридор. Там объясните мне: чего вам надо.

— Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? — Похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке: — Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут... преследую, просто захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь не часто жалуют. Почему вы обиделись-то? — И Князев просто, кротко посмотрел на хозяйку. — Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение... — Князев встал со стула. — Как умел, так и пригласил.

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

— Гриша, — заговорила жена, — ты ведь свободен... Я-то не могу, — сказала она гостю, — мы завтра уезжаем, надо подготовиться...

— Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел, — сказал Князев. — Вы уж извините, что так нескладно вышло... Хотел как лучше. Вас, наверно, покорибило, что я хихикать стал? — повернулся он к Кайгородову. — Это я от смущения. Все же вы люди... заметные.

— Да ну, чего тут!.. — сказал Кайгородов. И посмотрел на жену. — Можно сходить, вообще-то...

— Сходи. А я буду собираться пока.

— Пойдемте! — подхватил Князев. — Посмотрите, как живут провинциалы... Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева. Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

— Пойдемте, — решительно сказал он. И встал.

— Ну вот, — с облегчением, как бы сам себе молвил Князев. — А то — в коридор...

Кайгородову теперь уж даже хотелось поскорей вый-

ти отсюда с Князевым — понять наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

— А может быть, лучше... — начала было она, но муж не дал ей договорить:

— Я скоро, Галя.

— Мы быстро, — сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

— Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда, лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

— Вон там вон мой дом, — сказал Князев. — Метров триста.

Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

— Ну, так в чем дело? — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

— Вас как по батюшке-то? — спросил Князев.

— Что надо, я спрашиваю?

Они стояли друг против друга.

— Господи! — насмешливо сказал Князев. — Да вы что, испугались, что ли?

— Что надо?! — в третий раз спросил Кайгородов строго. — Я, знаешь, всяких этих штук не люблю...

— Тьфу! — горько и по правде изумился Князев. — Да вы что?! Ну, спортсмены... На чай приглашаю, в гости! Вот мой дом — рукой подать. У меня жена дома, дети, двое... Тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены. Вы что?

— А что это за манера такая... странная? — сказал Кайгородов. — Хаханьки какие-то...

— Манера-то? — Князев хмыкнул. — Заметил!.. — И он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом. — Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом — и начнешь хихикать. — Князев

говорил серьезно, негромко, с грустью. — Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж — смешно.

Кайгородов не знал что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз наткнулся на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

— Осторожно.

— Темно, как...

— Про Спинозу что-нибудь слышал? — спросил Князев.

— Слышал... Мыслитель такой был?

— Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей... Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? — сразу на смех: глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

— Вы спрашиваете, что ли?

— Спрашиваю. Что делать мыслителю?

— Что делать?.. Что он и делал — писать.

Князев помолчал... Потом сказал грустно:

— Это — легко сказать... спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти... штуки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом, — сказал Князев. — Я хочу только предупредить... — Князев остановился перед воротцами. — Жена у меня... как бы это поточнее — не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайтесь внимания, если она будет чего-нибудь... недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

— Может, не ходить? — если она недовольство проявляет.

Князев — слышно было — тихо заругался матом.

— А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Смелей, спортсмен! Пусть нас осудят потом — если исторически окажутся умней нас. — Князев — чувствовалось — намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми. — Не бойтесь.

— Да ничего я не боюсь! — раздраженно сказал Кайгородов. — Но поперся с вами зря, это уж точно.

— Как сказать, как сказать, — молвил Князев, открывая сеничную дверь. — Тут осторожней — головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях... Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно-вопросительные, умные, но сердитые.

— Здравствуйте, — сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

— Это товарищ из госцирка, — пояснил Князев. — Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем... Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в гостиную — тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

— Почему столько телевизоров-то? — спросил Кайгородов.

— Ремонтирую, — сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги. — Спиноза стекла шлифовал, а я вот... паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать. — Он достал бумаги — несколько общих тетрадей, — посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно. — Садитесь, пожалуйста. Чаю, возможно, не будет... Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят. — Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже — торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках. — Здесь, — продолжал он и качнул тетради, — труд многих лет. Я вас очень прошу... — Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его... в глазах его стояла серьезная мольба и тревога. — Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов.

Князев пропустил мимо ушей его удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени... — Тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: — Я прошу! Я очень прошу!.. Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что

Князев еще раз четко, отдельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-чень! — И захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал: — Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека.

Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях... Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство, — начал он, но еще не читать начал, а так пока говорил, готовясь читать, — это очень сложный организм, чтобы извлечь из него пользу, надо... он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке... — Он показал глазами на дверь. — Но... тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жеваться. Пожалел дуру... А себя не пожалел. Но это все — так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства. — Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать: — «Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем...» Мобилизуйте вашу фантазию, и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками. — Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно, — сказал Кайгородов.

— «Представим себе, — продолжал читать Князев, — это огромное здание — в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — «х» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получают дополнительную нагрузку;

закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи... Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже «у». С пульта управления...»

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других... Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свиданья.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева, он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире.

— Слушай, — сказал он добро и участливо, — ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил...

— Я понимаю, понимаю, — негромко перебил его Князев, — двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно... Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно... представить. Так ведь? Здесь — другое. — Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо. — До свиданья.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну, — сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сених, — напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он. — У нас там буфет до двенадцати работает... Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойдем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько. — Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву... — Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал...

— Николай Николаевич.

— Николай... Меня — Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты свое государство! Там без нас разберутся...

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — У Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут. — Вы послушайте... хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева... Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смейся людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

«Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу... Развернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю, — тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания. — Закрой дверь.

«О смысле жизни»

Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши... Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: «Опять за свое!» Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши, — говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать, чтобы навести порядок

в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничто не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадами, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить... Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехали, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неумная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой «колхозники-совхозники» (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя... Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет...

— Ладно, потом как-нибудь, — пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко... Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся:

— Ишь ты!.. — негромко говорил он. — Это сурьезно.

Старик как раз был в оgrade, и тот самый Сильченко тоже был в оgrade, налаживали удочки.

— А-а! — весело сказал старик. — Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем.

— Не люблю, — сказал Князев. — Но посижу с вами на берегу.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев, — около сорока. — Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками... Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых, — отбил Князев эту нелепую попытку учить его, — и пассивный. Активный

предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет, — посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих мероприятиях», а о целесообразных, — подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно. — Улавливаете разницу?

Сильченко тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают... Он тоже был человек с мыслями.

— Нет. не улавливаю, объяснитесь, сделайте милость.

— Вы кто по профессии?

— Какое это имеет значение?

— Ну, все же...

— Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел; синие глаза его загорелись веселым насмешливым огнем; он стал нахально-снисходителен.

— Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал.

— При чем здесь курганы?

— Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

— А вы видели?

— Ну, в кино-то видели же!

— Ну... допустим.

— Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курган. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм... Представили?

— Допустим.

Князев все больше воодушевлялся — это были дорогие минуты в его жизни: есть перед глазами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает.

— Обрати тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот — горсть земли, — Князев показал ладонь, сложенную горстью, — а с другой стороны — холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства — от Урарту до современных супер-бв. Понятно? Что может сделать слабая человеческая рука?.. — Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и по-

казал обоим. — Удочка. Вот — тоже произведение рук человеческих — удочка. Верно? — Он вернул удочку старику. — Это — когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли — образуется холм. Удочка — и холм. — Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко. — Улавливаете?

— Не улавливаю, — сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала. — При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время... Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул хорошо.

— Бред, галиматъя, — сурово и весело сказал Князев. — Рассуждаете на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накапливает количество. Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! — Князев хоть был возбужден, но был и терпелив. — Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли... А вы — не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

— Чепуха какая-то. Вот уж действительно галиматъя-то. Какой холм? Я вам говорю: вот я приехал отдохнуть... На природу. Мне нравится рыбачить... вот я и буду рыбачить. В чем дело?

— И я тоже приехал отдохнуть.

— Ну?..

— Что?

— Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

— То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает... такой уж наглядный пример! — Самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности. — В чем смысл нашей жизни вообще? — спросил он прямо.

— Это — кому как, — уклонился Сильченко.

— Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? — Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им. — Во всеобщей же государственности. Процветает государство — процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами... Но согласился — пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

— Ну, так...

— Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз... Вот представьте себе, — еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера, — мы втроем — я, вы, дедушка — несем бревно. Несем — нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: «У меня отпуск, я отдыхаю».

— Так что же, отпусков не нужно, что ли? — заволновался и Сильченко. — Это же тоже бред сивой кобылы.

— В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревёшко пронесем положенных сто метров и сбросим — тогда отдыхайте.

— Не понимаю, чего вы хотите сказать, — сердито заговорил Сильченко. — То холм, то бревно какое-то... Вы приехали отдыхать?

— Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как... по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко пронырливо и строго.

— Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?

— Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! — Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего. — Ну полная же бестолочь!.. Ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

— А? — встрепнулся он.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот... товарищ молотит здесь?

— Я слушаю, — сказал дед неопределенно.

— А я ничего не понимаю. Ни-чего не понимаю!

— Да вы спокойней, спокойней, — снисходительно и недобро посоветовал Князев. — Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

— А зачем тут чепуху-то пороть?!

— Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже — чепуха. Да почему же... Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

— Да вы сами-то...

— Раз не понял, значит — чепуха, бред. Великолепная логика! Сколько же мы так отмахиваться-то будем!

— Хорошо, — взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак. — Ну-ка, ясно, просто, точно — что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

— Вы где живете? — спросил Князев.

— В Томске.

— Нет, шире... В целом. — Князев широко показал руками.

— Не понимаю. Ну, не понимаю! — стал опять нервничать Сильченко. — В каком «в целом»? В чем это? Где?

— В государстве живете, — продолжал Князев. — В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

— Не знаю.

— С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

— Ну, ну, ну?

— В чем же тогда ваш смысл жизни?

— Ну, ну, ну?

— Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

— Ну, в чем?.. Чтобы работать, быть честным, — стал перечислять Сильченко, — защищать Родину, когда потребуется...

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего — Сильченко никак не мог опять уловить.

— Это все правильно, — сказал Князев. — Но это все — отвлечения. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

— В чем?

— Я вас спрашиваю.

— А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай! Ты просто дурак! Долбо... — И Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака. — Чего тебе от меня надо?! — закричал он. — Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты! Дубина!

Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будут... Тьфу!

— Тихо, тихо, тихо, — сказал он, отступая назад. И грустно, и безнадежно смотрел на неврастеника гримера. — Зачем же так? Зачем кричать-то?

— Чего вам от меня надо?! — все кричал Сильченко. — Чего?!

Из дома на крыльцо вышли люди...

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль.

— Хамло, — сказал он негромко. — Ну и хамло же... Разинул пасть. — Помолчал и еще проговорил горько: — Мы не пойдем — нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день, поутру, к Нехорошевым (тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

— Приятного аппетита, — сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева. — С приездом вас.

— Спасибо, — ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия. — С нами... не желаете?

— Нет, я позавтракал. — Председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

— Слушаю, — сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

— Что там у вас случилось-то? — спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он — «пропагандирует». — Опять мне чего-то там рассказывают...

— А что рассказывать-то?! — воскликнул Князев. — Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу... более ясное представление...

— Товарищ Князев, — сухо, казенным голосом заговорил председатель, — мне это неловко делать, но я должен...

— Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу, что я сделал? Хотел просто объяснить ему... а он заорал, как дурной. Я не знаю... Он нормальный, этот Сильченко?

— Товарищ Князев...

— Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! — Князев нервно

сплюнул. — Больше не буду. Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но, боже ж мой!.. — опять изумился он. — Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

— Человек отдыхать приехал... Зачем его тревожить. Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

— Хорошо, хорошо. Пусть, как хотят... Ведь он же пример!

— Ну.

— Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу...

— Зачем?

— Да интересно же! Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверно, артистов гримирует... Про артистов бы рассказал.

— А при чем тут... жизненные задачи?

— Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает — образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустить, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря...

— Товарищ Князев, — перебил председатель, — мне сейчас некогда: у меня в девять совещание... Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить...

— Хорошо, хорошо, — торопливо, грустно сказал Князев. — Идите на совещание. До свиданья. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему... И проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя:

— Он с удовольствием послушает! Обрадовал... Иди заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели. Одолжение он сделает — послушает...

«О проблеме свободного времени»

Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день — с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал — куда бы

пойти? И пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва... Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть, правда, интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже выказывала большой интерес к езде на пони.

— Во, во, что делают! — говорил негромко мужчина в шляпе. — Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно: и радость людям, и государству польза: взрослый билет — 20 копеек, детский — 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек на себя и на ребенка! А радости, действительно, сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

— Да ведь... это — прощаются! — все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил. — Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают!

— Психологически — это для них кругосветное путешествие, — сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся... И Князева обдало силовым духом. Мужчина молодой и очень приветливый.

— Да? Радости-то сколько!

— Да, да, — неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети... Потом посмотрел птиц, потом обезьянок... Один дурак-обезьян (мужского пола) начал ни с того ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка — надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что — неужели люди произошли от обезьян?

— Тут свободно? — спросили Князева.

Князев поднял голову — стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

— Свободно, — сказал Князев. Ничего больше не оставалось — столик, и правда, свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом... Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

— Примешь?.. — спросил он. — Полстакашка.

Князев энергично закурил головой:

— Нет, нет.

— Чего? — удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман. — Не пьешь?

— Не пью, — недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно вздохнул и принялся закусывать.

— Вот и решена проблема свободного времени, — не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

— М-м? — не понял молодой человек.

— Все, оказывается, просто?

— Чего просто?

— Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

— Какого свободного времени?

— Ну, шумят, спорят... А тут, — Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака, — полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно, что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят, — хотелось тоже поддержать разговор.

— Кто спорит? — терпеливо и вежливо спросил он.

Князев жалел уже, что заговорил.

— Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот... все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

— Да, да.

— Зверей смотрели? — спросил Князев.

— А шел мимо — зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню... А ведь... это — дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

— Кто?

— Слон хотя бы.

Князев пожал плечами:

— Черт его знает.

— Но, если б не было выгоды, их не держали бы, — тут же и заметил молодой человек. — Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что государство только и делает, что преследует голую выгоду.

— Верно... Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут — от нечего делать: идут — познать что-либо для себя.

— Ну-у уж!.. — неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и докончил: — Чего тут познать-то? Слона, что ли? Дерьма-то. — Он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

— Сейчас пойду и заявлю, — сказал Князев.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов был улыбнуться — так это не походило на правду, это заявление Князева.

— Что? — спросил Князев. — Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в голосе Князева и поверил, что, — наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился... Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

— Что? — опять спросил Князев.

— Ничего, — значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо его уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

— Скоты, — вслух сказал Князев, выйдя из кафе. — В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь... нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо не-

годовал на пьянчуг. Потом машинам дали передохнуть, Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы — просто так, от нечего делать: до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо... Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе... Смотрит.

— Что такое?! — резко сказал Князев. Он испугался.

— Хотел спросить... — мирно заговорил молодой человек. — Я давеча не понял: ты правда, что ли?..

— Что «правда»?

— Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал...

— Ничего я не хотел... Но внушить кое-что надо бы! — вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпивохе. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и — разило.

— Ну-ка? — согласился молодой человек.

Князев оглянулся... Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек — за ним.

Сели на скамейку.

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Князев серьезно, — я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется — государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать...

— Я же не на работе, — возразил молодой человек тоже серьезно. — Я — в свой выходной.

— Во-от! — поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался. — Вот об этом и стоит поговорить. Выходной день... Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую... Допустим, что мы монтируем какую-то стальную конструкцию...

— Я электрик.

— Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день — мы напились. Протрезвились, отработали неделю — опять напились...

— Что я, алкаш, что ли?

— Я хочу сказать: нам государство предоставляет выходной день... даже два теперь — для чего?

Молодой человек молчал. Смотрел на Князева.

— Для того, — продолжал Князев, — чтобы мы, во-

первых, отдохнули, во-вторых, — не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: «Зайти, что ли?» Ну а если бы мимо... не знаю, мимо аптеки шел: «Зайти, что ли, касторки взять?» Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева. Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой «касторки». Он посмеялся и уже добродушнее продолжал:

— Нельзя же... таким деревом-то плыть по реке: куда прибьет, туда и ладно. Человек получает свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужно. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну, что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху? — Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился. — Хватит уж, хватит, мил человек, хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже — лайнер! А мы — за этим лайнером-то — все пешком, пешком... Все наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер — с красными-то глазами? Блевать там?..

— Сука, — с дрожью в голосе, негромко сказал молодой человек, — карьеру на мне хочешь построить. — И он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столу...

Князев сперва не понял, что он хочет сделать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще несколько тычков в бок и в живот, и довольно болезных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

— Ты!.. — взволновался Князев и хотел вскочить. Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

— А-а!.. — закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навёрнул сверху по шляпе. — Сюда, люди! Ко мне!.. — кричал он. И второй раз навёрнул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут.

...Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

— Где работаете? — спрашивал он молодого человека.

— В рембытконторе, — отвечал тот и успевал тоже сказать: — Он на меня начал говорить, что я блюю где попало...

— Подождите вы! — строго говорил дежурный. — Кем?

— Я про тебя, что ли, говорил?! — накинулся Князев на своего врага.

— Про кого же? Про Пушкина?

— Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме...

— Да тихо! — приказал дежурный. — Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

— Электриком.

— Дубина, — сказал Князев, потирая челюсть. — Тебе не электриком, а золотарем надо... В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает...

— А вы? — перешел к нему дежурный.

...Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору — сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному «до свиданья». И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, и смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела, Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

— Сволота... Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой.

Конец мыслям

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души — тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу.

Опять будут недоумевать, говорить, что «Вы знаете, товарищ Князев...». О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту — отсылать в Центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли: Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать — посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что — вот, восемь общих тетрадей, их надо послать... Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей, — от того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева — опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения... Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она, эта... Нет, она открыла рот и заговорила!

— Николай Николаевич, дорогой... давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но тем не менее послушайте доброго совета: подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете... А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и поддержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

— Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что?! Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «гасударство»!

— Не смейте так орать! — тоже закричала женщина. — Сергей Николаич! А, Сергей Николаич!..

— Сергей Николаич! — подхватил и Князев ее зов. — Идите-ка суда — вместе глаза выщучим: тут чьей-то про гасударство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине... И стремительно пошел к Князеву.

— Что? Что это тут?!

— Тут чьей-то про гасударство, — с мстительным

злорадным чувством говорил Князев. — Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть...

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаича — в пору вязать кого-нибудь.

— В чем дело?

— В шляпе. — Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаич крепко положил на них ладонь.

— Прочь! — крикнул Князев. И хотел отбросить наглую руку. Но не смог отбросить. — Пр-рочь! — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаича в грудь. — Пр-рочь, хамло!..

Сергей Николаич сгреб его спереди за руки и сильно сдвинул.

— Ну-ка, кто-нибудь помогите! — позвал он. — Он, наверно, буйный!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князева руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

— Ура!.. — воскликнул он. — Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите... Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян, этот номер у вас не пройдет... Я позволил себе записать некоторые мысли — и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось, боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаич? Вы тут — главная лягушка. Жаба! Все знает — знает, как связать человека. Курица ты дохлая, остолоп!

— Поговори, поговори, — спокойно молвил Сергей Николаич, связывая ремнем руки Князева. — Покричи. Вконец свихнулся?

— Кретины, — говорил Князев. — Полудурки. И ведь нравится — вот ситуация-то — нравится быть полудурками! Хоть ты лоб тут разбей — нравится им быть полудурками, и все.

Князева подтолкнули вперед... Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев... Князев вышагнул из круга — орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

— Пугачева ведут! — кричал он. — Не видели Пуга-

чева? Вот он — в шляпе, в галстукел.. — Князев смеялся. — А сзади несут чявой-то про гасударство. Удивительно, да? Вот же еще: мы всю жизнь лаптем пшти хлебаем, а он там чявой-то про гасударство! Какой еще! Ишь, чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те напишем! Мы те подумаем!.. Да здравствуют полудурки!

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого...

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

— Ну, шумел, шумел... Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

— У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что полудурками-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

— Совершенно нормальный человек. А что?

— Да кинулся оскорблять всех, — стали объяснять врачу. — Всех подряд обзывать начал...

— Ну, это уж... что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

— Что случилось-то, Князев?

— Да ну их к черту! — устало сказал Князев. — Взорвался просто... Глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне: «Давайте пока не посылать — давайте подумаем». Она подумает!.. Курица.

— Ну а оскорблять-то зачем было?

— Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала, — тетради лежали у начальника на столе, — а судит! И я знаю откуда: жена ей наговорила... Она к жене моей ходит, та ей и... охарактеризовала всю работу — что глупость, мол, бред, пустая трата... и прочее.

— А что тут вообще-то?

— Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей... Потом на

Князева. И опять это проклятое удивление, изумление...

Князев поморщился.

— Только ничего не надо сейчас... Не надо.

— Оставь мне, я посмотрю.

— Посмотрите. — Князев встал. — Можно идти, что ли?

— Можно-то можно... Надо потом извиниться перед почтовскими. Надо, Князев. — Начальник строго глядел на Князева. — Надо, как думаешь?

— Ладно, — сказал Князев. — Извинюсь. — Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя. — Я извинюсь.

— Хорошо. Иди. Это я потом отдам. — Начальник положил руку на тетради.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

— Там — восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку.

— Так... И что?

— Чтобы не случилось чего. Там восемь?

— Восемь.

— Чтобы не затерялись где-нибудь.

— Все будет в сохранности.

— Ведь тут... — Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей, — тут, может быть... — Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл...

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована:

«ТЕТРАДЬ № 1»

Дальше было вступление, которое имело заглавие:

«КОРОТКО ОБ АВТОРЕ»

И следовала краткая «Опись жизни» Н. Н. Князева, сделанная им самим.

«Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти

пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я, спустя некоторое время, вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орет?» Мой разум еще не смог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено! А порядка нет». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе — никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже, но он хочет выглядет передовым и, тем самым, побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство: каждый старается на своем месте. «И тем не менее, — думал я, — государство еще все же живет. Чем же оно живет? — продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: — Структурой». Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой, — подумал я, — что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения.

И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону — решил взять их домой и почитать.

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залуцаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. И он пошел по складскому делу — стал кладовщиком и всю жизнь был кладовщиком, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию. Воровал ли он со складов? Как вам сказать... С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием — да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого — это не воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка, причем, если учесть — окинуть взором — сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют! Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других. Потому-то ни один из этих, с университетскими значками, ни разу не поймал его за руку. С совестью Николай Григорьевич был в ладах: она его не тревожила. И не потому, что он был бессовестный человек, нет, просто это так изначально повелось: при чем тут совесть! Сумей только аккуратно сделать, не психуй, и не жадничай, и не будь идиотом, а совесть — это... знаете... Когда есть в заглазнике, можно и про совесть поговорить, но все же спится тогда спокойней, когда ты все досконально продумал, все взвесил, проверил, свел концы с концами — тогда пусть у кого-нибудь другого совесть болит. А это — сверкать голым задом да про совесть трещать — это, знаете, неумно.

Словом, все было хорошо и нормально. Николай Григорьевич прошел свою тропку жизни почти всю. В минуту добрую, задумчивую говорил себе: «Молодец: и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили».

Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверно, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти (надо еще по-

нять, прихоть это или что другое), как многому в жизни подчинялся.

Вот что он делал последние лет пять-шесть.

В субботу, когда работа кончалась, когда дома, в тепле, ждала жена, когда все в порядке и на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик водки и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И есть там место, где курят, возле туалета. Там всегда — днем и ночью — полно, дым коромыслом и галдеж стоит непрерывный. Туда-то и шел напрямик Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры.

— Мужики, — прямо обращался он, — кто из деревни?

Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там — деревенские.

— Ну?.. — спрашивали его. — А что тебе?

— Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники? Я тридцать четыре года проработал в этой системе... — И Николай Григорьевич доверчиво, просто, с удовольствием и подробно рассказывал, что он сам — деревенский, давно оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь, под старость, потянуло опять в деревню... И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской, соглашались, что да, сколько по городам ни околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревни на выбор. Николай Григорьевич только успевал записывать адреса. Начинали шуметь. Спорили.

— Да уж ты со своей Вязовкой!..

— А ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замаhal?! Ты хоть раз бывал там?

— Вязовку-то? Да я ее как облупленную знаю, вашу Вязовку! Господи, Вязовка!.. У человека — к старости, желательно, чтоб природа...

— А при чем тут природа-то? — вступали другие. — Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей Вязовки, но склад-то там есть? Человек же прежде всего насчет работы спрашивает.

— Нет, — говорил Николай Григорьевич, — желательно, чтоб и природа, конечно...

— Да в том-то и дело! Что он тебе, склад?! Склад, он и есть склад, теперь они везде есть. И если, например...

— Ну, вы тоже рассудили, — говорил какой-нибудь степенный, — только поорать. Ну — склад, они действи-

тельно везде теперь, а как, например, с жильем? У нас вон — и склад, и река, и озеро, а постройки страшно дорогие.

— Ну, сколь так? — вникал в подробности Николай Григорьевич.

— Это смотря что требуется.

— Ну, например, пятистенок... Добрый еще.

— С постройками?

— Ну да, баня, сарай для дров... Ну, навес какой-нибудь, завозня там — я построгать люблю в свободное время.

— Если, допустим, хороший пятистенок, — начинал соображать мужик, — банешка...

— Не развалюха, конечно, хорошая баня.

— Хорошая баня, сарай из горбыля, у нас в основном все сараи из горбыля идут, из отлета...

— Пилорама в деревне?

— Не в самой деревне, а на отделении.

— Ну, ну?

— Если все честь по чести, огород нормальный...

— Огород нам со старухой большой не надо.

— Ну, нормальный, их теперь больших-то и нету — нормальный, если все честь по чести, то будет так — три, три с половиной.

— Тыщи?! — изумлялся кто-нибудь.

— Нет, рубля, — огрызался степенный.

— Ну, это уж ты загнул. Таких и цен-то нету, — сомневались.

Сепенный вмиг утрачивал свою степенность.

— А чего ради мне загигать-то перед вами?! Что я, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю как есть. Человечек же спрашивает...

— А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое?

— Ничего, совхоз.

— Да, а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там?

— Мы не сошли, сошли там, где постройки, я слышал, на дрова пускают. Вот там-то сошли. Это уж я тоже не понимаю...

— Это я слышал тоже. Рублей за триста, говорят, можно хороший дом взять.

— Ну, за триста не за триста...

— А как твоя деревня называется? — записывал Николай Григорьевич.

— Завалиха. Не деревня, село.

— Это где?

— А вот если сейчас ехать... — И мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда.

— Райцентр, что ли?

— Был раньше райцентр, а потом, когда укрупняли районы, мы отошли к Красногорскому району, а у нас стала центральная усадьба.

— Ну, есть, наверно, перевалочная база? — допрашивал Николай Григорьевич.

Мужик послушно, очень подробно рассказывал. И был как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту.

— Это ж что ж это за цены такие! Леса, наверно, нет близко?

— А у вас какие? — нервничал мужик из дорогого села. — Ну скажи, сколько у вас добрый пятистенок стоит? Только не ври.

— Чего мне врать-то? Добрый пятистенок у нас... с постройками, со всем, с огородом — тыщи полторы-две.

— Где это? — поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич.

И тогда тот, кто перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почему у них мясо осенью...

— У меня вот свояк приезжал... как раз осенью тоже... Посмотрел. «Ну-у, — говорит, — у вас-то жить можно! Это, — говорит, — ты у нас иди сунься».

— А откуда он?

— За Уралом... Город Златоуст.

— Что ж ты город-то суешь? Мы про сельскую жизнь говорим.

— Он не из самого города, а близко к этому городу.

— Да зачем же там где-то брать, человек про наши места интересуется! Это я тебе могу наказать: у меня свояк в Магадане вон...

— Ну, едрена мать! Ты еще скажи — в Америке.

— А при чем тут Америка-то?

— А при чем Магадан?

— Да при том, что — речь идет про сельскую местность, а ты куда-то в Златоуст полез! Чего ты в Златоуст-то полез?!

— Тихо, тихо, — успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином.

ном — на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих. — Спокойно, мужики, — говорил Николай Григорьевич, — мы же не на базаре. Меня теперь интересует: сколько над уровнем моря твое село? — Это вопрос к тому, в чьем селе дом-пятистенок стоит дешевле.

Тот не знал. И никто не знал, сколько над уровнем моря их деревни и села.

— А зачем это?

— Это очень важно, — пояснил Николай Григорьевич. — Для сердечно-сосудистой системы необходимо. Если место немного возвышенное — тоже нельзя: сразу скажется нехватка кислорода.

— Не замечали, — признавались мужики.

Но это — так, это Николай Григорьевич подпускал для пущей важности. Больше говорили про цены на постройки, на продукты, есть ли река в деревне или, может, озеро, далеко или близко лес... Потом переходили на людей — какие люди хорошие в деревне: приветливые, спокойные, не воруют, ни кляузничают. И тут — незаметно для себя — начинали слегка врать друг другу. Это как-то само собой случалось, никто не преследовал никакой посторонней цели: один кто-нибудь начинал про своих людей, и уж тут другие не могли тоже умолчать, тоже рассказывали, но так, чтобы получалось, что у них — лучше.

— А у нас... обрати внимание: у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом не запирает — зачем? Приткнет дверь палочкой, и все: сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы — у нас их полно — и то не зайдут: мы их так приучили.

— Да кого!.. Вы вот возьмите: у нас один вор есть...

— Вор?!

— Вор! Мы все про него знаем, что он вор, он уже раз пять сидел за это дело. А у нас одна заслуженная учительница живет, орден имеет... И этот вор натурально пришел к ней и говорит: «Пусти пожить недели две». А он у нее учился когда-то... в первом классе, что ли. Он вообще-то детдомовский, а она, видно, работала там. Да. «Пусти, — говорит, — пару недель пожить, пока не опрделюсь куда-нибудь».

— Пустила?

— Пустила! Ну, думаем, и обчистит же он ее!.. Жалели даже старушку.

— Дело в том, что у них такой закон есть: где живешь, там не воруй.

— Да, да.

— Не обчистил?

— Не! Ни-ни, ни волоска не взял. Сдержался.

— Нет, это уж такой закон. Вот если бы взял... если бы он ее все же обокрал, ему бы там свои за это дело...

— Ни-чего не взял!

— Это странно все же... Плевали они на эти законы! Закон. У меня прошлый год стожок сена увезли, змеи ползучие...

— Ну-у, это такие, что ли! Это уж... наш брат кто-нибудь, свои. На кой ему черт сено, урке?

Смеялись. Вспоминали еще случаи... Курили и курили без конца — накурено бывало так, что глаза слезились. А время, слава богу, шло: глядишь, и подойдет час ехать. Ждать на вокзале — это не самое милое из того, что нам приходится делать.

— А я как-то еду из района, — встревал в минуту затишь какой-нибудь расторопный, — гляжу, стоит бабка... ну, лет так восемьдесят — восемьдесят пять. Подняла руку, я остановился. «До Красного, сынок». До Красного шестьдесят пять километров. «Платить-то, — говорю, — есть чем?» — «Есть, милай, есть». Ну, везу... — И рассказчик заранее поблескивает глазом. — Доехали до Красного. «Все, — говорю, — бабка, приехали. Плати». Она мне достает откуда-то из сумки... пять штук яиц!

Смех. Рассказчик доволен.

— «А раньше, — говорит, — брали. Мы, — говорит, — всегда яйцами расплачивались». — «Ладно, — говорю, — иди, бабка».

Рассказчик непременно еще повторял не один раз, как он ей сказал, старухе: «Иди, — говорю, — бабка, иди. Иди, чего с тебя взять». Это надо понимать, что — вот и он тоже добрый человек. Вообще добрых, простодушных, бесхитростных, бескорыстных, как выяснилось на этих беседах, по деревням и селам — навалом, прохода нет от бесхитростных и бескорыстных. Да все такие, чего там! А если встречаются иногда склочные, злые, жадные, то это так — придурки.

Николай Григорьевич уже не записывал адреса, а слушал, поворачивался в разные стороны, смеялся тоже... И оттого, что он так охотно и радостно слушал, рассказывали — с радостью тоже — новые истории, где раскры-

валось удивительное человеческое бескорыстие. Правда, нечаянно проскакивали случаи, где высывалась вдруг морда какого-нибудь завистника или обманщика, но это — пропускали, это не суть дела, это чепуха. Все молча соглашались, что это — чепуха, а миром движет разум и добро.

— Я седня гляжу: пиво продают. Отстоял в очереди — она мне наливает... А наливает — вот так вот не долила. Сунула под край — и дальше. Я отошел и думаю: «У нас бы ей за такие дела спасибо не сказали».

Тут же соглашались, что — да, конечно... Люди торопятся, людей много, она этим пользуется, бесстыдница. Но если так-то подумать — ну сколько уж она там не долила! Конечно, ей копейка так и набегаёт, но ведь, правда, не умер же ты, что не допил там глоток-другой. А у ней тоже небось — семья...

Но вот уж чего не понимали деревенские в городе — это хамства. Это уж черт знает что, этому и объяснения-то как-то нету. Кричат друг на друга, злятся... Продащицу не спроси ни о чем, в конторах тоже, если чего не понял, лучше не переспрашивай: так глянут, так тебе ответят, что дай бог ноги. Тут, как наезжали на эту тему, мужики дружно галдели — не понимали, изумлялись... И Николай Григорьевич тоже со всеми вместе не понимал и изумлялся. Прижимал кого-нибудь к стене туалета и громко втолковывал и объяснял:

— Ведь почему и уехать-то хочу!.. Вот потому и хочу-то — терпенья больше нет никакого. Ты думаешь, я плохо живу?! Я живу дай бог каждому! У меня двухкомнатная секция, мы только двое со старухой... Но — не вмоготу больше! Душу всю выворачивает такая жизнь!.. — Николай Григорьевич в эту минуту, когда кричал в лицо мужику, страдал вполне искренне, бил себя кулаком в грудь, только что не плакал... Но — и это поразительно — он вполне искренне забывал, что сам много кричит на складе, сам тоже ругается всюю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забывалось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют. И отчетливо ясно было, что это не жизнь, пропади она пропадом такая жизнь, и двухкомнатная секция, лучше купить избу в деревне и дожить спокойно свои дни, дожить их достойно, по-человечески. Не хочется же оскотинить здесь со всеми вместе, нельзя просто, мы ж люди! И дорого это было Николаю Григорьевичу, вот эти слова про достоин-

ство человеческое и про покой, и нужно, и больно, и сладко было кричать их... Иногда даже замолкали вокруг, а он один — в дыму этом, в запахах — говорил и кричал. Ему искренне сочувствовали, хотели помочь.

Так, выговорившись, с адресами в кармане Николай Григорьевич шел домой. Шел с вокзала всегда пешком — это четыре остановки. Отходил после большого волнения. Тихонько еще ныла душа, чувствовалась усталость. К концу пути Николай Григорьевич всегда сильно хотел есть.

Никуда он не собирался ехать, ни в какую деревню, ничего подобного в голове не держал, но не ходить на вокзал он уже не мог теперь — это стало потребностью. Пристыди его кто-нибудь, ну, старший сын, например, запрети ходить туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками... Да нет, как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь не мог без этого.

ВЛАДИМИР СЕМЕНЫЧ ИЗ МЯГКОЙ СЕКЦИИ

Владимир Семеныч Волобцов здорово пил, так пил, что от него ушла жена. В один горький похмельный день он вдруг обнаружил, что его предали. Ужасное чувство: были слова, слезы, опять слова, и вот — один. Нет, конечно, родные в городке, знакомые есть, но мы же знаем, что все эти родные и знакомые — это тоже слова, звуки: «Петр Николаич», «Анна Андреевна», «Софья Ивановна...» За этими звуками — пустота. Так, по крайней мере, было у Владимира Семеныча: никогда эти люди для него ничего не значили.

Владимир Семеныч не на шутку встревожился, очутившись в одиночестве. Что делать? Как жить? Но когда первый ошеломляющий вал прокатился над головой, муть, поднятая в душе Владимира Семеныча осела, осталось одно едкое мстительное чувство.

«Так? — думал Владимир Семеныч. — Вы так? Хорошо! Посмотрим, как ты дальше будешь. Как говорится, посмотрим, чей козырь старше. Не прибежишь ли ты, голубушка, снова сюда да не попросишь ли Вовку-глота принять тебя».

И Владимир Семеныч бросил пить. Так бывает: вошел клин в сознание — стоп! Вся жизнь отныне сама собой

подчинилась одной мысли: так поставить дело, чтобы преподобная Люсенька (жена) пришла бы и бухнулась в ноги — молить о прощении или, чтобы она там, где она обитает, с отчаяния полезла бы в петлю.

«Ты смотри! — с возмущением думал Владимир Семеныч, — хвост дудкой — и поминай как звали! Нет, милая, так не бывает. Не тебе, крохоборке, торжествовать надо мной победу!»

Владимир Семеныч работал в мебельном магазине, в секции мягкой мебели. Когда он давал кому-нибудь рабочий телефон, он так и говорил:

— Спрашивайте Владимира Семеныча из мягкой секции.

Работать Владимир Семеныч умел: каждый месяц имел в кармане сот пять-шесть, кроме зарплаты. Люди бросились красиво жить, понадобились гарнитуры, гарнитуров не хватало — башка есть на плечах, будешь иметь в кармане. Владимир Семеныч имел башку на плечах, поэтому имел в кармане. Но раньше он много денег пускал побоку, теперь же стал вполне бессовестный и жадный: стал немилосердно обирать покупателей, стал сам покупать ценности, стал богато одеваться. Он знал, что Люсенька никуда из городка не уехала, живет у одной подруги. То обстоятельство, что она не подавала на развод и не делила квартиру, вселяло поначалу уверенность, что она вернется. Но проходили недели, месяцы... Два с половиной месяца прошло, а от нее ни слуху ни духу. А ведь слышала же, конечно, что Владимир Семеныч бросил пить, ходит нарядный, покупает дорогие вещи. Значит?..

«Значит, нашла любовника, — горько и зло думал Владимир Семеныч. — Зараза. Ну ладно!»

И Владимир Семеныч решил тоже показать, что он не лыком шит, решил показать, что его козырь старше. Он был человек расторопный.

Сперва появилась Валя с сырзавода, белозубая, с голубыми глазами. Она была из деревни, почтительная, это очень понравилось Владимиру Семенычу. Раза два они с Валею ходили в кино, потом Владимир Семеныч пригласил ее к себе домой. В воскресенье. Прибрался дома, расставил на столе шампанское (для Валею), конфеты, грецкие орехи, яблоки... И поехал за Валею.

В общежитие к ней он доехал на трамвае, а обратно пошли пешком: чтобы все видели и передали Люське.

Шли с Валею под ручку, нарядные, положительные.

— Меня тут некоторые знают, — предупредил Владимир Семеныч, — могут окликнуть... позвать куда-нибудь...

— Куда позвать? — не поняла Валя.

— В пивную. Не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше не знаю, оглоедов. Чужбинников. Злятся, что я бросил пить... А чего злиться? Нет, злятся. Могут провокацию устроить — не надо обращать внимания.

— А самого-то не тянет больше к ним? — спросила Валя.

— К ним?! Я их презираю всех до одного!

— Хорошо. Молодец! — от всего сердца похвалила Валя. — Это очень хорошо! Теперь — жить да радоваться.

— Я и так пропустил сколько времени! Я бы уж теперь завсекцией был.

— Еще пока опасаются?

— Чего опасаются? — не понял Владимир Семеныч.

— Завсекцией-то ставить. Пока опасаются?

— Я думаю, уже не опасаются. Но дело в том, что у нас завсекцией — старичок, он уже на пенсии, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что — неудобно его трогать. Но, думаю, что внутреннее решение они уже приняли: как только этот старпер уйдет, я занимаю его место.

Пошли через городской парк.

Там на одной из площадок соревновались городошники. И стояло немного зрителей — смотрели.

Владимир Семеныч и Валя тоже минут пять постояли.

— Делать нечего, — сказал Владимир Семеныч, трогаясь дальше в путь.

— А у вас, Владимир Семеныч, я как-то все не спросу: родные-то здесь же живут? — поинтересовалась Валя.

— Здесь! — воскликнул не без иронии Владимир Семеныч. — Есть дяди, два, три тетки... Мать с отцом померли. Но эти... они все из себя строят, воображают, особенно, когда я злоупотреблял. У нас наметилось отчуждение. — Владимир Семеныч говорил без сожаления, а как бы даже посмеивался над родными и сердился на них. — Обыватели. Они думают, окончили там свои... Мещане! Я же не мальчик им, понимаешь, которого можно не допускать к себе, потом, видите ли, допустить. У меня ведь так: я молчу-молчу, потом как покажу зубы!.. Эта моя дура тоже думает, что я за ней бегать ста-

ну. Шутить изволите! Если у меня в жизни вышел такой кикс, то я из него найду выход. — Владимир Семеныч очень гордился, что бросил пить, его прямо распирало. — Посмотрим через пару лет, как будут жить они, а как я. Крохоборы. Я через месяц себе «Роджерс» (гарнитур такой, югославский) приволоку: обещали завезти штук семь. Мы уже распределили, кому первые три пойдут... Две тысячи сто семьдесят рэ. Через месяц они у меня будут. Видела когда-нибудь «Роджерс»?

— Нет. Мебель такая?

— Гостиная такая, особенно стенка шикарная. А «Россарио» видела?

— Нет.

— У меня стоит «Россарио», счас посмотришь. Всего девять штук в городе!

— Гляди-ка! — удивилась Валя.

— Им во сне не снились такие гарнитуры. От «Роджерса» они вообще офигеют. Жить надо уметь, господу присяжные заседатели! — воскликнул Владимир Семеныч, ощутив прилив гордого чувства. — Меня почему и пить-то повело: чего ни возьмусь сделать, — все могу! Меня даже из других городов просят: «Достань холодильник «ЗИЛ», или: «Достань дубленку». Ну, естественно, каждый старается угостить... У меня душа добрая: я уважительный тон хорошо чувствую. И вот это сознание — что я все могу — привело меня к злоупотреблению. Я и работал, как конь, и пил, разумеется.

Валя засмеялась.

— А? — сказал довольный Владимир Семеныч. — Что смеешься?

— Да вы прямо уж... всю правду про себя.

— А чего?! — опять воскликнул Владимир Семеныч. Ему было легко с Валею. — Я всегда так. Если я хочу Люське фитиля вставить, я не скрываю: вставлю. Она надеется, что комнату у меня оттяпает? Пусть. Я все равно себе кооперативную буду строить, но пусть она попробует разменять двухкомнатную на две однокомнатные. Я же в кооператив-то не подам, пока нас не разделят, а как разделят, сразу подаю в кооператив. Вот тогда она узнает: подселят ей каких-нибудь пенсионеров, они ей покажут тинь тили-ли. Будь спок, милая: я все сделаю по уму.

Дома у себя Владимир Семеныч чего-то вдруг засуетился, даже как будто заволновался.

— Ну-с... вот здесь мы и обитаем! — шумно говорил

он. — Не хоромы, конечно, но, как говорит один мой коллега, я под этой работой подписываюсь. Как находишь?

— Хорошо, — похвалила Валя. — Очень даже хорошо!

Владимир Семеныч снял с нее плащ-болонью, при этом почему-то не смотрел ей в глаза (может, грех затевал), усадил в креслице, к креслицу пододвинул журнальный столик... На столике было много разных журналов с картинками.

— Прошу... полистай пока. Как тебе «Россарио»?

— Какой «Россарио»?

— На чем сидишь-то! — воскликнул Владимир Семеныч со смехом. — Кресло-то из «Россарио». А вот — стенка. Гарнитур «Россарио». Финский. Тысяча двести.

— Так, а зачем же еще какой-то?

— Надо дожимать. Но «Роджерс» здесь не появится, пока нас с Люськой не разделят: нема дурных. Посиди, я пока кофе себе сготовлю. — И Владимир Семеныч поспешил на кухню готовить кофе. Но и оттуда все говорил. Громко. — У тебя родных много в деревне?

— Много, — отвечала Валя.

— Вот эти родственнички!.. — кричал с кухни Владимир Семеныч. — Да?! Как грибов!.. А коснись чего-ни-то — никого! Да?

Валя ничего на это не сказала, листала журнал.

— Как находишь журналы?! — опять закричал Владимир Семеныч.

— Хорошие.

— По тематике подбирал! Обрати внимание: все жмут на уют.

— А?

— Уют подчеркивают!

— Да... — сказала Валя.

— Не находишь, что в квартире, — кричал Владимир Семеныч, — не хватает заботливой женской руки?!

Валя не знала, что на это говорить.

— Да бог ее знает...

— А?!

— Не знаю!

— Явно не хватает! — Владимир Семеныч появился в комнате с подносом в руках. На подносе — медный соусец с кофе, малые чашечки. — Жить тем не менее надо красиво, — сказал он. — Прошу: сядем рядком, потолкуем ладком.

Сели к столу, где стояла бутылка шампанского, стоя-

ли вазы с конфетами, с орехами, с печеньем. Владимир Семеныч нагнулся вбок куда-то и что-то такое включил — щелкнуло. Музыка, оказывается: в комнату полились грустные человечнейшие звуки.

— «Мост Ватерлоо», — сказал Владимир Семеныч тихо. И смело посмотрел в глаза девушке. — Как находишь?

— Хорошая, — сказала Валя. И чуть покраснела от взгляда Владимира Семеныча.

Зато Владимир Семеныч осмелел вполне. Он говорил и откупоривал шампанское, наливал шампанское в фужер и говорил...

— Я так считаю: умеешь жить — живи, не умеешь — пеняй на себя. Но, кроме всего прочего, должен быть вкус, потому что... если держать, например, две коровы и семнадцать свиней — это тоже считается хорошо. Должен быть современный уровень — во всем. Держи, но пока не пей: мы на брудершафт выпьем. Я себе кофе налью.

— Как это? — спросила Валя.

— На брудершафт-то? А вот так вот берутся... Дай руку. Вот так берут, просовывают... — Владимир Семеныч показал. — Так? И — выпивают. Одновременно. Мм? — Владимир Семеныч близко заглянул опять в глаза Вале. — Мм? — Губы его чуть дрожали от волнения.

— Господи!.. — сказала Валя. — Для чего так-то?

— Ну, происходит... тесное знакомство. Уже тут... сознаются друг другу. Некоторый союз. Мм?

— Да что-то мне... как-то... Давайте уж прямо выпьем.

— Да нет, зачем же прямо-то? — Владимир Семеныч хотел улыбнуться, но губы его свело от волнения, он только покривился. И глотнул. — Мм? Зачем прямо-то? Дело же в том, что тут образуется некоторый союз... И скрепляется поцелуем. Я же не в Карачарове это узнал. — Владимир Семеныч опять глотнул. — Мм?

— Да ведь неспособно так пить-то!

— Да почему же неспособно?! — Владимир Семеныч придвинулся ближе, но у него это вышло неловко, он расплескал кофе из чашечки. — Вовсе даже способно. Почему неспособно-то? Поехали. Музыка такая играет... да же жалко. Неужели у тебя не волнуется сердце? Не волнуется?

— Да бог ее знает... — Вале было ужасно стыдно, но она хотела преодолеть этот стыд — чтобы наладился этот

современный уровень, она хотела, чтобы уж он наладился, черт с ним совсем, ничего не поделаешь — везде его требуют. — Волнуется, вообще-то. А зачем говорить-то про это?

— Да об этом целые тома пишут! — воскликнул ободренный Владимир Семеныч. — Поэмы целые пишут! В чем дело? Ну? Ну?.. А то шампанское выдыхается.

— Да давай прямо выпьем! — сказала Валя сердито. Никак она не могла развязаться. — Какого дьявола будем кособочиться?

— Но образуется же два кольца... — Владимир Семеныч растерялся от ее сердитого голоса. — Зачем же ломать традицию. Музыка такая играет... Мы ее потом еще разок заведем. Мм?

— Да не мычи ты, ну ты к черту! — вконец чего-то обозлилась Валя. — Со своей музыкой... Не буду я так пить. Отодвинься. Трясется сидит, как... — Валя сама отодвинулась. И поставила фужер на стол.

— Выйди отсюда, — негромко, зло сказал Владимир Семеныч. — Корова. Дура.

Валя не удивилась такой чудовищной перемене. Встала и пошла надевать плащ. Когда одевалась, посмотрела на Владимира Семеныча.

— Корова, — еще сказал Владимир Семеныч.

— Ну-ка!.. — строго сказала Валя. — А то я те побываю тут! Сам-то... слюнтяй.

Владимир Семеныч резко встал... Валя поспешно вышла из квартиры. Да так крепко саданула дверь, что от стены над косяком отвалился кусок штукатурки и неслышно упал на красный коврик.

— Корова, — еще раз сказал Владимир Семеныч. И стал убирать со стола.

После этого Владимир Семеныч долго ни с кем не знакомился. Потом познакомился с одной... С Изольдой Викторовной. Изольда Викторовна покупала дешевенький гарнитур, и Владимир Семенович познакомился с ней. Она тоже разошлась с мужем, и тоже из-за водки — пил мужик. Владимир Семеныч проявил к ней большое сочувствие, помог отвезти гарнитур на квартиру. И там они долго беседовали о том, что это ужасно, как теперь много пьют. Как взбесились! Семьи рушатся, судьбы ломаются... И ведь что удивительно: не с горя пьют, какое горе?! Так — разболтались.

Изольда Викторовна, приятная женщина лет тридцати трех—тридцати пяти, слушала умные слова Влади-

мира Семеныча, кивала опрятной головкой... У нее чуть шевелился кончик аккуратного носика. Она понимала Владимира Семеныча, но самой ей редко удавалось вставить слово — говорил Владимир Семеныч. А когда ей удавалось немного поговорить, кончик носа ее очень заметно шевелился, на щеках образовывались и исчезали, образовывались и исчезали ямочки, и зубки поблескивали белые, ровные. Владимир Семеныч под конец очень растрогался и сказал:

— У меня один родственничек диссертацию защитил — собирает банкет: пойдете со мной? А то я тоже... один, как столб, извините за такое сравнение.

И Владимир Семеныч поведал свою горькую историю: как он злоупотреблял тоже, как от него ушла жена... И так у него это хорошо — грустно — вышло, так он откровенно все рассказал, что Изольда Викторовна посмеялась и согласилась пойти с ним на банкет. Владимир Семеныч шел домой чуть не вприпрыжку — очень ему понравилась женщина. Он все видел, как у нее шевелится носик, губки шевелятся, щечки шевелятся — все шевелится, и зубки белые поблескивают.

«Да такая умненькая! — радостно думал Владимир Семеныч. — Вот к ней-то «Роджерс» подойдет. Мы бы с ней организовали славное жилье».

Было воскресенье. Владимир Семеныч шел с Изольдой Викторовной в ресторан. Хотел было взять ее под ручку, но она освободилась и просто сказала:

— Не нужно.

Владимир Семеныч хотел обидеться, но раздумал.

— Я вот этого знаю, — сказал он. — Только не оглядывайтесь. Потом оглянетесь.

Прошли несколько.

— Теперь оглянитесь.

Изольда Викторовна оглянулась.

— В шляпе, — сказал Владимир Семеныч. — С портфелем.

— Так... И что?

— Он раньше в заготовконторе работал. Мы как-то были с ним в доме отдыха вместе, ну, наклюкались... Ну, надо же что-то делать! Он говорит: «Хочешь, сейчас со второго этажа в трусах прыгну?» Струков его фамилия, вспомнил.

— Ну?

— Прыгнул. Разделся до трусов и прыгнул. На клумбу цветочную. Ну, конечно, сообщили на работу. Прихо-

дил потом ко мне: «Напиши, как свидетель, что я случайно сорвался».

— И что вы?

— Что я, дурак, что ли? Он случайно разделся, случайно залез на подоконник, случайно закричал: «Полундра!» Я говорю: «Зачем «полундру»-то было кричать? Кто же нам после этого поверит, что случайно?» По-моему, перевели куда-то. Но ничего, с портфелем ходит... Мы, когда встречаемся, делаем вид, что не знаем друг друга. А в одной комнате жили.

— Дурак какой, — сказала Изольда Викторовна. — Со второго этажа... Мог же голову свернуть.

— Не дурак, какой он дурак. Это так называемые духари: геройство свое показать. Я, если напивался, сразу под стол лез...

— Под стол?

— Не специально, конечно, но... так получалось. Я очень спокойный по натуре. — Владимир Семеныч, сам того не замечая, потихоньку хвалил себя, а про «Роджерс» и «Россарио» молчал — чуял, что не надо. Изольда Викторовна работала библиотекарем, Владимир Семеныч ее уважал, хоть понимал, что там платят гроши.

В ресторане для банкета был отведен длинный стол у стены.

Приглашенные, некоторые, уже сидели. Сидели чинно, прямо. Строго и неодобрительно поглядывали на малые столики в зале, за которыми вышивали, купали, беседовали... Играла музыка, маленький толстый человек пел на возвышении песню не по-русски.

— Вон та, в голубом платье... — успел сообщить Владимир Семеныч, пока шли к столу через зал, — с ней опасайтесь насчет детского воспитания спорить: загрызет.

— Что такое? — испугалась Изольда Викторовна.

— Не бойтесь, но лучше не связывайтесь: она в детсадике работает, начальница там какая-то... Дура, вообще-то. — Владимир Семеныч широко заулыбался, с достоинством поклонился всем и пошел здороваться и знакомить Изольду Викторовну.

На Изольду Викторовну смотрели вопросительно и строго. Некоторые даже подозрительно. Она смутилась, растерялась... Но когда сели, Владимир Семеныч горячо зашептал ей:

— Умоляю: выше голову! Это мещане, каких свет не

видел. Тут одна показуха, один вид, внутри — полное убожество. Нули круглые сидят.

— Может, нам уйти лучше?

— Зачем? Посидим... Любопытно.

Получилось вообще-то, что они сидят напротив начальницы из детсадика, а по бокам от них — пожилые, и тоже очень строгие, больше того, презирающие всех, кто в тот вечер оказался в ресторане. Они смотрели в зал, переговаривались. Делали замечания. Не одобряли они все это, весь этот шум, гам, бестолковые выкрики...

— А накурено-то! Неужели не проветривается?

— Дело не в этом. Здесь же специально сидят одурманивают себя — зачем же проветривать?

— А вон, во-он — моло-оденькая!.. Во-он, хохочет-то. Заливается!

— С офицером-то?

— Да. Как хохочет, как хохочет!.. Будущая мать.

— Почему будущая? У них теперь это рано...

— Это вы меня спросите! — воскликнула полная женщина в голубом. — Я как раз наблюдаю... результаты этого смеха.

— А где же наш диссертант-то? — спросил Владимир Семеныч.

— За руководителем поехал.

— За генералом, так сказать?

Не поняли.

— За каким генералом?

— Ну, за руководителем-то... Я имею в виду Чехова. — Владимир Семеныч повернулся к Изольде Викторовне. — У него руководитель — известный профессор в городе, я ему «Россарио» доставал. Я его называю — генерал, в переносном смысле, разумеется. Вам не хочется поговорить с кем-нибудь? Может, пошутили бы... А то как-то неудобно молчать.

— Я не знаю, о чем тут говорить, — сказала Изольда Викторовна. — Мне все же хочется уйти.

— Да ничего! Надо побыть... Можно алкоголиков покритиковать — они это любят. Медом не корми, дай...

— Нет, не сумею. Надо уйти.

— Да почему?! — с сердцем воскликнул Владимир Семеныч. — Ну, что уж так тоже: уйти, уйти! Уйти мы всегда успеем. — Владимир Семеныч спохватился, что отчитывает милую женщину, помолчал и добавил мягко, с усмешкой: — Не торопитесь, я же с вами. В случае чего, я им тут фитиля вставлю.

Изольда Викторовна молчала.

А вокруг говорили. Подходили еще родственники и знакомые нового кандидата, здоровались, усаживались и включались в разговор.

— Кузьма Егорыч! — потянулся через стол Владимир Семеныч к пожилому крепкому еще человеку. — А, Кузьма Егорыч!.. Не находите, что он слишком близко к микрофону поет?

— Кто? — откликнулся Кузьма Егорыч. — А, этот... Нахожу. По-моему, он его сейчас скушает.

— Кого? — не поняли со стороны.

— Микрофон.

Ближайшие, кто расслышал, засмеялись.

— Сейчас вообще мода пошла: в самый микрофон петь. Черт знает, что за мода!

— Ходят с микрофоном! Ходит и поет: Так-то можно петь.

— Шаляпин без микрофона пел!

— Ну, взялись, — негромко, с ехидной радостью сказал Владимир Семеныч своей новой подруге. — Сейчас этого... с микрофоном вместе съедят.

— То — Шаляпин! Шаляпин свечи гасил своим басом, — сказал пожилой. Так сказал, как если бы он лично знал Шаляпина и видел, как тот «гасил свечи».

— А вот и диссертант наш! — заволновались, задвигались за столом.

По залу через танцующих пробирались мужчина лет сорока, гладко бритый, в черном костюме и в пышном галстуке, и с ним — старый, несколько усталый, наверно, профессор.

Встали навстречу им, захлопали в ладоши. Женщина в голубом окинула презрительным взглядом танцующих бездельников.

— Прошу садиться! — сказал кандидат.

— А фасонит-то! — тихо воскликнул Владимир Семеныч. — Фасонит-то!.. А сам небось на тройки с грехом пополам вытянул. Фраер.

— Боже мой! — изумилась Изольда Викторовна. — Откуда такие слова!.. Зачем это?

— Тю! — в свою очередь, искренне изумился Владимир Семеныч. — Да выпивать-то с кем попало приходилось — набрался. Нахватался, так сказать.

— Но зачем же их тут произносить?

Владимир Семеныч промолчал. Но, как видно, затаил досаду.

Тут захлопали бутылки шампанского.

— Салют! — весело закричал один курносый, в очках. — За новоиспеченного кандидата!

— Товарищ профессор, ну, как он там вообще-то? Здорово плавал?

Профессор неопределенно, но, в общем, вежливо пожал плечами.

— За профессора! За профессора! — зашумели.

— За обоих! И — за науку!

Кандидат стоял и нахально улыбался.

— За здоровье всех наших дам! — сказал он.

Это всем понравилось.

Выпили. Придвинулись к закуске. Разговор не прекращался.

— Грибки соленые или в маринаде?

— Саша, подай, пожалуйста, грибочки! Они соленые или в маринаде?

— В маринаде.

— А-а, тогда не надо, у меня сразу изжога будет.

— А селедку?.. Селедку дать?

— Селедочку? Селедочку можно, пожалуй.

— Вам подать в маринаде? — спросил Владимир Семеныч Изольду Викторовну.

— Можно.

— Сань, подай, пожалуйста, в маринаде! Вон — в маринаде!

— А танцуют ничего. А?

— Слышите! Сергей уже оценил: «Танцуют ничего!» Засмеялись.

— Подожди, он сам скоро пойдет. Да, Сергей?

— А что? И пойду!

— Неисправимый человек этот Сергей!

— Дурак неисправимый, — уточнил Владимир Семеныч Изольде Викторовне. — Дочка в девятый класс ходит, а он все на танцах шустрит. Вон он, в клетчатом пиджаке.

Изольда Викторовна интеллигентно потыкала вилочкой в маринованные грибочки, которые она перед тем мелко порезала ножиком... Но Владимир Семеныч не давал ей как следует поесть — все склонялся и говорил ей что-нибудь. Она слушала и кивала головой.

Поднялся во весь рост курносый Сергей.

— Позвольте!

— Тише, товарищи!..

— Дайте тост сказать! Товарищи!..

— Товарищи! За дам мы уже выпили... Это правильно. Но все же, товарищи, мы собрались здесь сегодня не из-за дам, при всем моем уважении к ним.

— Да, не из-за их прекрасных глаз!

— Да. Мы собрались... поздравить нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто — нашего Славу. И позвольте мне тут сегодня скаламбурить: слава нашему Славе!

Засмеялись и захлопали.

Курносый сел было, но тут же вскочил опять.

— И позвольте, товарищи!.. Товарищи! И позвольте также приветствовать и поздравить руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал... и является организатором и вдохновителем руководящей идеи, которая заложена в основе. За вас, товарищ профессор!

Дружно опять захлопали.

— Трепачи, — сказал Владимир Семеныч Изольде Викторовне.

Изольда Викторовна тоскливо опять покивала головой.

Со всех сторон налегали на закуски и продолжали активно разговаривать.

Пожилой человек и человек с золотыми зубами наладили через стол дружеские пререкания. А так как было шумно и гремела музыка, то и они тоже говорили очень громко.

— Что не звонишь?! — кричал пожилой.

— А?

— Не звонишь, мол, почему?!

— А ты?

— Я звонил! Тебя же на месте никогда нету!

— А-а, тут я не виноват! «Не виновата я»!

— Так взял бы да позвонил! Я-то всегда на месте!

— А я звонил вам, Кузьма Егорыч! — хотел влезть в этот разговор Владимир Семеныч, обращаясь к пожилому, к Кузьме Егорычу. — Вас тоже не было на месте.

— А? — не расслышал Кузьма Егорыч.

— Я говорю, я вам звонил!

— Ну и что? А чего звонил-то?

— Хотел... это... Нам «Роджерсы» хотят забросить...

— Кузьма! А, Кузьма!.. — кричал золотозубый. Кузьма Егорыч повернулся к нему. — Ты Протопопова встречаешь?

— Кого?

— Протопопова!

— Каждый день!

— Ну, как? — спросил Владимир Семеныч Изольду Викторовну. — Скучно?

— Ничего, — сказала она.

— Видите, какой загул мещанства! Взял бы всех и облил шампанским. Здесь живут более или менее только вот эти два, которые кричат друг другу... Остальные больше показуху разводят.

— А я уж думал, тебя перевели куда-нибудь! — кричал Кузьма Егорыч золотозубому. — Куда он, думаю, пропал-то?!

— Куда перевели?

— Может, думаю, повысили его там!

— Дождись — повысят! Скорей — повесят!

— Ха-ха-ха!.. — густо, гулко засмеялся Кузьма Егорыч.

— Ну, что, Софья Ивановна? — обратился Владимир Семеныч к женщине в голубом. Его злило, что ни его, ни его подругу как-то не замечают, не хотят замечать. — Все воюете там, с малышами-то?

Софья Ивановна мельком глянула на него и постучала вилкой по графину.

— Товарищи!.. Товарищи, давайте предложим им нормальный вальс! Ну что они... честное слово, неприятно же смотреть!

— В чужой монастырь, Софья Ивановна, со своим уставом...

— Да почему?! Мы же в своей стране, верно же! Давайте попросим сыграть вальс. Молодежь!..

— Не надо, — остановил Кузьма Егорыч. — Не наше дело: пусть с ума сходят.

— А вот это в корне неправильное решение! — воскликнула Софья Ивановна.

— Да хорошо танцуют, чего вы! — сказал человек с золотыми зубами. — Был бы помоложе, сам пошел бы... подрыгался.

— Именно — подрыгался! Разве в этом смысл танца?

— Ну, еще тут смысла искать! А в чем же?

— В кра-соте! — объяснила Софья Ивановна.

— А смысл красоты в чем? — все хотел тоже поговорить Владимир Семеныч. — А, Софья Ивановна? Если вы, допустим, находите, что вот этот виноград...

— Одну минуточку, Алексей Павлыч, вы что, не согласны со мной? — требовательно спрашивала Софья Ивановна золотозубого.

— Согласен, согласен, Софья Ивановна, — сказал

Алексей Павлыч недоволен. — Конечно, в красоте. В чем же еще!

— Да, но в чем смысл красоты?! — вылетел опять Владимир Семеныч.

— Так в чем же дело? — Софья Ивановна не хотела замечать Владимира Семеныча. — Алексей Павлыч!

— Ау?

— В чем же дело?!

Владимир Семеныч помрачнел.

— Пойдемте домой, — предложила Изольда Викторовна.

— Подождите. А то поймут, как позу... Ну, кретины! Крохоборы.

— Саша, Саш! — громко говорили за столом. — У тебя Хламов бывает?

— Вчера был.

— Как он?

— В порядке.

— Да? Устроился?

— Да.

— Довольный?

— Ничего, говорит. А чего ты о нем?

— Пойдемте домой, — опять сказала Изольда Викторовна.

Владимир Семеныч вместо ответа постучал вилкой по графину.

— Друзья! — обратился он ко всем. — Минуточку, друзья!.. Давайте организуем летку-енку! В пику этим...

— Да что они вам?! — рассердился Алексей Павлыч, золотозубый. — Танцуют люди, нет, надо помешать.

Владимир Семеныч сел.

Помолчал и сказал негромко:

— Ох, какие мы нервные! Ах ты, батюшки!.. — Взял фужер с вином и выпил один.

— Что это вы? — удивленно спросила Изольда Викторовна.

— Какие ведь мы все... культурные, но слегка нервные! — не мог успокоиться Владимир Семеныч. — Да? Зубы даже из-за этого потеряли.

Никто не слышал Владимира Семеныча, только Изольда Викторовна слышала. Она со страхом смотрела на него. Владимир Семеныч еще набухал в фужер и выпил.

— Какие мы все нервные! Да, Софья Ивановна?! — повысил голос Владимир Семеныч, обращаясь к Софье Ивановне. — Культурные, но слегка нервные. Да?

Софья Ивановна внимательно посмотрела на Владимира Семеныча.

— Нервные, говорю, все! — зло сказал Владимир Семеныч, глядя в глаза строгой женщины. — Все прямо изнервничались на общественной работе! — Владимир Семеныч искусственно — недобро — посмеялся.

— Что, опять? — спросила Софья Ивановна значительно и строго.

— Да вы только это... не смотрите на меня, не смотрите таким... крокодиллом-то, — сказал Владимир Семеныч. — Не смотрите — мы же не в детсадике. Верно? Имел я вас всех в виду!

К Владимиру Семенычу повернулись, кто был ближе и слышал, как он заговорил. Повернулись и смотрели.

— Имел, говорю, я вас всех в виду! — повторил для всех Владимир Семеныч. — Очень уж вы умные все, как я погляжу! Крохоборы...

— Володька! — предостерегающе сказал курносый Сергей.

— Что — «Володька»? Я тридцать четыре года Володька. Я вас всех имел в виду. — Владимир Семеныч еще налил в фужер и выпил. — Вот так. — Он оглянулся — Изольды Викторовны рядом не было. Сбежала. Владимира Семеныча пуще того злость взяла. — Я вам популярно объясняю: вы все крохоборы. Во главе с Софьей Ивановной. А она просто дура набитая. Мне жалко ребятшек, которыми она там командует... Вы все дураки!

Теперь все за столом молчали.

— Ду-ра-ки! — повторил Владимир Семеныч. И встал. — Мещане! Если вас всех... все ваши данные заложить в кибернетическую машину и прокрутить, то выйдет огромный нуль! Нет, вы сидите и изображаете из себя поток информации. Боже мой!.. — Владимир Семеныч скорбно всех оглядел. — Нет, — сказал он, — я под такой работой не подписываюсь. Адью!

Он вышел на улицу и стал звать:

— Изольда Викторовна! Изольдушка!.. — Он думал, она где-нибудь близко — ждет его. Но никто не отзывался. — Изольдушка!.. — еще покричал Владимир Семеныч. И заплакал. Выпитое вино как-то очень ослабило его. В голове было ясно, но так вдруг стало грустно, так одиноко! Он хотел даже двинуть к подружке жены, чтобы поговорить с женой... Но одумался.

— Нет, — говорил он сам с собой, — нет, только не

это. Этого вы от меня не дождетесь, крохоборы. Нули. Этой радости я вам не сделаю.

Он шел по неосвященной улице, как по темной реке плыл, — вольно загребал руками, и его куда-то несло. От горя и одиночества хотелось орать, но он знал и помнил, что это нельзя, это, как выражаются кандидаты, чревато последствиями.

Принесло его как раз к дому. Он вошел в опостылевшую вдруг квартиру и, не раздеваясь, стал ломать «Рос-сарио». Открывал дверцы и заламывал их ногой в обратную сторону: дверцы с хрустом и треском безжизненно повисали или отваливались вовсе. И этот хруст успокаивал растревоженную душу, это как раз было то, что уладило вдруг его злое, мстительное чувство.

— Вот так вот... крохоборы несчастные, — приговаривал Владимир Семеныч. — Пр-рошу!.. — Хр-р-ресть — еще одна дверца отвалилась и со стуком упала на пол. — Пр-рошу!.. Мещане! — И еще одна гладкая, умело сработанная доска валяется на полу. — Нулики! Пр-рошу!..

Но что удивительно: Владимир Семеныч ломал «Рос-сарио» и видел, как это можно восстановить. В мебельном магазине, где работал Владимир Семеныч, работал же золотой краснодеревщик, дядя Гриша, он делал чудеса с изуродованной мебелью. И опытный глаз Владимира Семеныча отмечал, где надо будет поставить латку и пустить под морилку, где, видно, придется привернуть металлические полоски, чтобы было куда крепить шарнирные устройства. Но все же дверцы Владимир Семеныч выломил все. И после этого лег спать.

ВНЕЗАПНЫЕ РАССКАЗЫ

МЕЧТЫ

Как-то зашел я в гостиничный ресторан — подкрепиться. Сел. Жду.

Подходит официант... Опрятный, курносый, с лицом, которые забываются тут же. Впрочем, у этого в глазах было некое презрение, когда он слушал. Он слушал и чуть кивал головой. И в глазах его, круглых, терпеливых,

я обнаружил презрение. Это и остановило мое внимание на его скучном лице... И я без труда узнал человека.

Лет двадцать пять назад мы с ним работали на одной стройке, жили в общежитии в одной комнате. Было нам по шестнадцать лет, мы приехали из деревни, а так как город нас обоих крепко припугнул, придавил, то и стали мы вроде друзья.

Работали... А потом нас тянуло куда-нибудь, где по-тише. На кладбище. Это странно, что мы туда наладились, но так. Мы там мечтали. Не помню, о чем я тогда мечтал, а выдумывать теперь тогдашние мечты — лень. Тогда бы, в то время, если бы кто спросил, наверно, со-врал бы — что-нибудь про летчиков бы, моряков: я был скрытный, к тому же умел врать. А теперь забыл... Все-речь захотел вспомнить — о чем же все-таки мечта-лось? — и не могу. Забыл. Помню, смотрел тогда фильм «Молодая гвардия», и мне очень понравился Олег Коше-вой, и хотелось тоже с кем-нибудь тайно бороться. До того доходило, что иду, бывало, по улице и так с головой влезу в эту «тайную борьбу», что мне, правда, казалось, что за мной следят, и я оглядывался на перекрестках. И даже делал это мастерски — никто не замечал. Но ед-ва ли я рассказывал про такую мечту. Да и не мечта это была, а игра, что ли, какая-то. Как про это расска-жешь.

А он рассказывал. Он мечтал быть официантом.

Я хорошо помню, как он азартно напирал и шлепал губами про то, как официанты хорошо живут, богато. Он был тогда губошлеп, а потом, как стал, видно, офици-антом, то губы подобрал, сдержанный стал, вежливый. Только что это за презрение у него в круглых глазах? Никакого презрения тогда не намечалось, наоборот, дурак дураком был, простодушный и до смешного доверчивый. Даже я учил его, чтоб он не был таким доверчивым.

Меня не удивляло, что он хочет быть официантом. Я, наверно, думал: «Ну и будь!» Не отговаривал. Даже, наверно, гордился потихоньку, что сам я не хочу быть официантом, даже когда голодали. Но это теперь легко сказать, что — гордился, а гордился ли — не помню. Од-нако хорошо помню, что он хотел быть официантом. Я только то и помню: кладбище калужское и что он очень хотел быть официантом.

Кладбище было старое, купеческое. На нем, наверно, уже не хоронили. Во всяком случае, ни разу мы не на-ткнулись на похороны. Каких-то старушек видели — си-

дели на скамеечках старушки. Тишина... Сказать, чтоб мысли какие-нибудь грустные в голову лезли, — нет. Или думалось: вот, жили люди... Нет. Самому жить хотелось, действовать, может, бог даст, в офицеры выйти. Скулила душа, тосковала: работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими, гоняли нас туда-сюда, обижали часто. Особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы — только что из деревни, хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие, — в недалеком прошлом — тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали, а все время шпыняли нас: «Что, мать-перемать, неохота в колхозе работать?»

Помню еще надгробия каменные, тесаные, тяжелые. Я думал тогда: как же было тащить сюда такую тяжесть? На подводах, что ли? Надписи на камнях — все больше купцы лежат. Сколько же купцов было на Руси! Или — это кладбище только купеческое? Тишина была на кладбище. Отторговали купцы, отшумели... Лежат. Долго-долго будут лежать, пока не раскурочат кладбище под какой-нибудь завод. У нас в деревне забросили старое кладбище, стали хоронить на новом месте, на горе.

Да, так вот — официант. Странно, что я никак не встревожился, не заволновался, что встретил его, не захотел поговорить. Не знаю — почему-то не захотел. Может, потому, что у меня совсем уж плохие дела. Еще пожалеет. А разубеждать — совестно. Словом, не стал я объявляться. А возьму да и пожалею... Зачем?.. Я стал наблюдать за ним. И получил какое-то жестокое удовольствие. Он совсем изменился, этот человек. Не будь у меня такая редкая память на лица, никогда бы мне не узнать его. Я сказал, что обнаружил у него в глазах презрение. Никакого презрения! Тут же подошел к соседнему столику и таким изящным полупоклоном изогнулся, да так весело, беззаботно, добро улыбнулся, что куда тебе! Помурлыкал что-то насчет закуски, посоветовал, покивал причесанным на пробор шарбанчиком, взмахнул салфеткой и отбыл в сторону кухни. Э-э, он таки научился Презрение — это ко мне только, потому что я с похмелья. И один. И одет — так себе. И лицо солдатское. А так бы он и мне с достоинством поклонился. Ах, славно он кланяется! Именно — с достоинством, не угодливо, нет, — красиво, спокойно, четко, ни на сантиметр ниже, ни на сантиметр выше, а как раз, чтоб подумали: «Надо потом прикинуть к счету рубль-другой». Поклонись он

мне так, я бы так и подумал. А вот бережет же свой поклон, не всем подряд кланяется. Опыт. Конечно, иногда, наверно, ошибается, но, в общем, метит точно. Там, например, где он только что поклонился, сидели совсем молодые ребята с девушками, ребятки изображали бывалых людей, выдавали дома прыщи, курили заграничные сигареты. Тут-то он им — и поклончик, поводит умытым пальцем по меню — совет, что лучше заказать, покивал головкой — коньяк, шампанское... Легкое движение — переброс салфетки с руки на руку — заключительный поклон, исчезновение. Славно. И ведь, хитрец: все с понимающим видом, с видом, что — вот: молодые, беспечные — «бродят». Как там у Хемингуэя (у Хема)? Зашли в одно место — выпили, зашли в другое место — выпили... Шельма, он же знает, что для того, чтоб сюда войти с улицы, надо отстоять в очереди, где вся беспечность улетучится. Но так как молодые играли в беспечность, он умело подхватил игру. Он знает, что деньги у них — папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги четырехтопнику Даля... Но он все принимает за чистую монету: вошли джентльмены, все будет о'кэй. Прежде всего он понимает, что ребятки форсят перед девушками, при расчете не станут пересчитывать, а еще и подкинут трояк.

Но вот уж он иноходит от кухни... Ширк-ширк, ширк-ширк — обогнул столик, другой, поднос на левой руке как щит, а на щите — всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про калужское кладбище? Помнишь, мол, как там тихо-тихо было?.. Нет, пожалеет он меня, наверняка пожалеет в душе.

— У вас что было?

— Котлета.

— Котлета... Пожалуйста.

— По-калужски?

— Что?

— Котлета по-калужски?

— Почему по-калужски? Нормальная котлета.

— Я думал, по-калужски.

— Где вы видите — по-калужски?

— Да нигде не вижу... Я вот смотрю на нее, думал, она — по-калужски.

— Нет у нас никаких по-калужски!

— Ну, нет — и не надо. Я же не прошу. Я говорю: я думал, она по-калужски.

— Будете кушать?

— А как же!

— Водка... А что собой представляет по-калужски?

— Такие... на гробики похожи... Купеческие котлеты.

Он быстро, подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что мне поставил, — испугался: не развезет ли меня, если я это оглошу, в графинчике-то? Их за это ругают, я слышал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь, сказал как можно приветливее:

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Официант отбыл к соседнему столику.

Нет, не буду я ему ничего говорить про Калугу. А три рубля лишних дам потом. Как можно небрежней дам, и никакого презрения — дам, и все. Как будто я каждый раз вот так по тройку отваливаю — такой я странный, щедрый человек, хоть и с солдатским лицом и неважно одет. Меня прямо нетерпение охватило — скорей дать ему три рубля. Посмотреть: какое у него делается лицо!

...Я поел, выпил. Он мне кратким движением — сверху вниз — счет. Я заплатил по счету, встал и пошел. Тройк не дал. Ни копейки не дал. Не знаю, что-то вдруг разозлился и не дал. А чтоб самому про себя не думать, что я жадный, я отдал эти три рубля гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы, а подошел и просто дал. Он меня спросил:

— Побрызгать?

— Не надо, — сказал я. — Брызгать еще...

«Вот так вот, — думал я сердито про официанта, — гроша ломаного не дам. И так проживешь. Вон какой ловкий!.. Научился».

НА КЛАДБИЩЕ

Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц... Макушка лета. Где-то робко ударили в колокол... И звук его — медленный, чистый — поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.

...Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на

земле вот так — тепло и спокойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все — как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей... Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин... Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции — вот уж странно-то!

...Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:

— Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.

Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.

— Моя могилка-то, — сказала она еще.

Я вскочил со скамеечки... Смутился чего-то.

— Извините...

— Да что же?.. Садись. — Она села на скамеечку и показала рядом с собой. — Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.

Я сел.

— Сынок у меня тут, — сказала она, глядя на ухоженную могилку. — Сынок... Спит. — Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито... Видно, горе ее — давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.

— А ты чего? — спросила старушка, повернувшись ко мне. — Тоже есть тут кто-нибудь?

— Нет... я так. Зашел просто... Зашел отдохнуть.

Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.

— Тут рази отдыхают...

— А что? — Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать. — Тут-то и отдохнуть. Подумать.

— Оно так, — согласилась старушка. — Только дума-то тут... вишь, какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему. — Она повернулась опять к могилке. — Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут — мне

бы и спокойней было. Куда лучше! Только... не нам это решать дадено, вот беда.

— Давно схоронили?

— Давно. Семь лет уж.

— Болел?

Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой — вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время — покачивает головой.

— Двадцать четыре годочка всего и пожил, — сказала старушка покорно. Еще помолчала. — Только жить начинать, а он вот... завалился туда... А тут, как хошь, так и живи. — Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне. — Неладно живете, молодые, ох неладно, — сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами. — Вот расскажу тебе одну историю, а ты уж как знаешь: хошь верь, хошь не верь. А все — послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торопись?

— Нет.

— Вот тут у нас, на Мочишшах... Ты здешний ли?

— Нет.

— А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут — Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там теперь не хоронят. Раньше хоронили... И вот стоял один солдат на посту... А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу — женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай: может, мне кажется? Тот послушал — плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина, надо узнать, в чем дело — чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронят, подозрительно, мол... Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружие, на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих... А темень, глаз коли. Он спрашивает: есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подхо-

дит женщина... Он ее, солдат-то, фонариком было осветил — хотел разглядеть получше. А она говорит: убери фонарик-то, убери. И оружие, говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел... «Ты плакала-то?» — «Я плакала». — «А чего ты плачешь?» — «А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала». — «Да я же комсомолец! — Это солдатик-то ей. — Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, — говорит, — не верю тебе». А она вот так вот прикоснулась к нему, — и старушка легонько коснулась ладошкой моей спины, — и говорит: «Пове-рите». И — пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело — кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!.. — Старушка сказала последние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно: — Как же не обсмеют! Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то, — на гимнастерке-то образ божьей матери. Вот такой вот. — Старушка показала свою ладонь, ладошку. — Да такой ясный, такой ясный!..

Так это было неожиданно — с образом-то — и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел — нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил, охота было, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой — наш, сегодняшней.

— А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой: меняет их без конца. Я говорю: да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй. Шило на мыло менять? Сошелся тут с одной, рабечка нажили... Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах ты, господи-то! Беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная, лаборанка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне отгудова: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». — Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся, и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей

охотой продолжала рассказывать. — Ну, я и разлысила лоб-то — поехала. Приехала, погостила... Дура, старая, так мне и надо — поперлась!

— Плохо приняли, что ли?

— Да сперва вроде ничего... Ведь я же не так поехала-то, я же деньжонок с собой повезла. Вот дура-то старая, ну не дура ли?! Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была, потом деньжонки-то кончились, она: «Мамаша, кто же так оладьи пекет!» — «Как кто? — говорю. — Все так пекут. А чего не так-то?» Дак она набралась совести и давай меня учить, как оладушки пекчи. Ты, говорит, масла побольше в сковородку-то, масла. Да сколько же тебе, матушка, тада масла-то надо? Полкило на день? И потом, они же черные будут, когда масла-то много, не пышные, какие же это оладьи. Ну, и взялись друг дружку учить. Я ей слово, она мне — пять. Иди их переговори, молодых-то: черта с рогами замучают своими убеждениями, прости, господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждений? А мужа не кормит! Придет, бедный, нахватается чего попади, и все. А то и вовсе: я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думаю, образованная! Вертихвостки вы, а не образованные. — Старушка помолчала и еще добавила с сердцем: — Прокломации! Только подолом трясти умеют. Как же это так-то? — повернулась она ко мне. — Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют. А?

— Да где они там знают много! — сказал я тоже со злостью. — Там насчет знаний-то... конь не валялся.

— Да вон по сколь годов учатся!

— Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?

— Ну, да, в колхозе-то неохота работать, — согласилась старушка. — Господи, господи... Вот жизнь пошла! Лишь ба день урвать, а там хоть трава не расти.

Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле, спина сделалась совсем покатой; она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась.

Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка, сказала громко:

— Сорванцы.

— Ребятишки, что ли?

— Да ну, лазият там... Пойду палкой попру. — Старушка поднялась, посмотрела на меня. — Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то... все думать буду: сидит кто-то возле моей могилки. Не надо.

— Нет, я тоже пойду. Хватит.

— Ага. А то все как-то думается... — вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой.

КАК МУЖИК ПЕРЕПЛАВЛЯЛ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛКА, КОЗУ И КАПУСТУ

Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос: как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко; скоро перешли на личности. Один, носатый, с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобастого, терпеливого:

— А ты думай! Думай! Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест! Думай!.. У тя ж голова на плечах, а не холодильник.

Лобастый медленно смеется.

Этот лобастый — он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию. Сидим, например, в курилке, курим. Молчим. Глухая ночь... Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина — Жизнь. Но только — кажется. На самом деле сидишь, туго смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот — ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит... Спокойно, верно, обдуманно:

— А денечки идут.

Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:

— Да. Не идут, а бегут, мать их!..

Но не я первый додумался, что они так вот — неповторимо, безоглядно, спокойно — идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами — верно и вовремя сказанными — поймать за руку Время. Вот же черт!

Лобастый медленно (он как-то умеет — медленно, то есть не кому-нибудь, себе) смеется.

— Эх, да не зря бы они бежали! А?

— Да.

Только и всего.

Лобастый отломал две войны — финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него в такой... компактный, так, что ли, рассказ:

— Морозы стояли!.. Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться — каждому пять минут. Я пришел, пристроился сбочку, задремал. А у меня шинелька — только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от это вот место все выгорело. Она же — сукно — шает, я не учуял. Новенькая шинель.

— Убивали же там!

— Убивали. На то война. Тебе уколы делают?

— Делают.

— Какие-то слабенюкие теперь уколы. Бывало, укол сделают, — так три дня до тебя не дотронься: все болит. А счас сделают — в башке не гудит и по телу ничего не слышно.

...И вот Носатый прет на Лобастого:

— Да их же нельзя вместе-то! Их же... Во дает! Во тункель-то!

— Не ори, — советует Лобастый. — Криком ничего не возьмешь.

Носатый — это не загадка, он тоже... ничего себе человек. Все знает. Решительно все. Везде и всем дает пояснения; и когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по-особенному отчетливо знаю, что волк это делает — съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест. И косточками похрустит.

— Трихопол?! — кричит Носатый в столовой. — Это — для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! — И таков дар у этого человека —

я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном его желудке.

Третья бледно-зеленая пижама — это Курносый. Тот все вспоминает сражения и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непосредственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на «Спокойной ночи, малыши». Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорить, что колена брить — зачем?

Вот эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу получилось много.

Да, еще про Носатого... Его фамилия — Суворов. Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и приколол к своей клеточке в умывальнике. Мне это показалось неуместным, и я подписал с краешку карандашом: «Не Александр Васильевич». Возможно, я сострил не бог весть как, но неожиданно здорово разозлил Суворова. Он шумел в умывальнике:

— Кто это такой умный нашелся?!

— А зачем вообще надо объявлять, что эта клеточка — Суворова? Ни у кого же нет. Вы что, полагаете... — пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом.

— Тогда чего же мы жалуемся, что у нас в почтовом ящике газеты поджигают?! Сегодня — карандаш, завтра — нож в руки!..

— Ну, знаете, кто взял в руки карандаш, тот...

— Пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему, я догадываюсь, кто это тут такой грамотный...

Очкарик побледнел.

— Кто?

— Сказать? Может, носом ткнуть?

Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько я, выступил блестящим недомерком.

— А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать.

— За такие шутки надо... не шум поднимать! Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует.

Дурак он. Дурак и злой.

— ...Как же ты туда повезешь волка, когда там коза?! — кричит Суворов. — Он же ее съест!

— Связать, — предлагает Курносый.

— Кого связать?

— Волка.

— Нельзя, тункель!

— А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты...

— Как же тут не кричать, скажи на милость?! Если вы не понимаете элементарных вещей...

Лобастый упорно думает.

— Как все покричать любят! — изумляется Курносый. — Знаешь — объясни. Чего кричать-то?

— Полные тункели! — удивляется в свою очередь Суворов. — Какой же тогда смысл в этой задаче? Ну — объяснил я, и все? А самим-то можно подумать?

— Вот мы и думаем. И предлагаем разные варианты. А ты наберись терпения.

— Привыкли люди, чтоб за них думали! Сами — в сторонку, а за них думай!

— Волк капусту не ест, — размышляет вслух Лобастый. — Значит, его можно здесь оставить...

— Ну! ну! ну! — подталкивает Суворов.

— Не понуждай, не запрет.

— Давай дальше... Волк капусту не ест... Правильно начал!

Серые, глубокие глаза Лобастого тихо сияют.

— Начать — это начать, — бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать. — Говорят, помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Значит, козу отвезли. Так?

— Ну!

— Плыдем назад, берем капусту...

— Ее же там коза сожрет! — волнуется Курносый.

— Сожрет? — спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония. — Тада мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая.

— А тут волк!

— А мы волка — туда. Пусть он у нас капустки спробует...

Суворов радостно хлопает Лобастого по спине; и так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки и пушка на это никак не вздрогнула.

— А-а! — догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется. — А потом уж мы туда — козу, в последнюю очередь!

— Дошло! — орет Суворов. Он просто не может не

орать. Все мы тут — крепко устали, нервные. — Это тебе не высоту брать.

— Сравнил телятину с... — обиделся Курносый.

Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную «памирину», смотрит на нее... И я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это — не им одним нажито, такими были его отец, дед... Это — вековое.

Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я — за ним. Посидеть с ним, помолчать.

БОРЯ

В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком, красивый, лет двадцати семи, но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал:

— Привет, привет!

Многие, кто лежал тут уже не первый раз, знали этого парня. Боря. Живет у базара с отцом и матерью, в воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей, не зло лает — весело. Он вообще добрый.

— Привет, Боря, привет! Ты зачем сюда? Чего опять натворил?

Няня, устраивая Боре постель, рассказывает:

— Матерю с отцом разогнал наш Боря.

— Ты што же это, Боря?! Мать с отцом побил?

Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой:

— Босе не бу, не бу, не бу!.. — Больше не будет.

— За што он их?

— Розу не купили! Стал просить матерю — купи ему розу, и все.

— Босе не бу, не бу!

— Ложись теперь и лежи. «Не бу!»

— А мама пидет? — пугается Боря, когда няня уходит.

— Мама пидет, пидет, — успокаивают его больные. — Сам разогнал, а теперь — мама.

В палате стало несколько оживленнее. С дурачками, я заметил, много легче, интереснее, чем с каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он — умница. И еще: дурачки, сколько я их видел, всегда почти люди добрые, и их жалко, и неизбежно тянет пофилософствовать. Чтоб не философствовать в конце — это всегда плохо, — скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил свои наблюдения за Борей. (Сказать все-таки охота.) Я думал: «Что же жизнь — комедия или трагедия?» Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда: комедия или тихая, жуткая трагедия, в которой все мы — от Наполеона до Бори — неуклюжие, тупые актеры, особенно Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. Зря все-таки воскликнули: «Не жалеть надо человека!..» Это тоже — от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать — да. Только ведь уважение — это дело наживное, приходит с культурой. Жалость — это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать — самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное — вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра — много всякого, но неизменно, всю жизнь — жалеет. Тут Природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее образование, умение воспитывать, уважение... Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три недели превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю — и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т. п. Но еще — в огромной мере — жалко.

Ну, самая пора вернуться к Боре. Я не специально наблюдал за ним, но думал о нем много. Целыми днями в палате, в коридоре только и слышалось:

— Пиве-ет! А мама?.. Пидет?

— Придет, Боря, придет, куда она денется. Пусть хоть маленько отдохнет от тебя.

Боря смеется, счастливый, что мама придет.

— Атобус, атобус?.. Да?

— На автобусе, да.

Даже когда мы отходим ко сну, Боря все спрашивает:

— А мама пидет?

Он никому не надоедает. Уколы переносит стойко, только сильно жмурится и изумленно говорит:

— Больно!

И потом с восторгом всем говорит, что было больно.

Над ним не смеются, охотно отвечают, что мама «придет, придет» — больше, сложнее Боря спрашивать не умеет.

Один раз я провел, как я теперь понимаю, тоже довольно неуклюжий эксперимент. Боря сидел на скамеечке во дворе... Я подсел рядом, позвал:

— Боря.

Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно глядеть ему в глаза. Долго глядел... Я хотел понять: есть ли там хоть искра разума или он угас давно, совсем? Боря тоже глядел на меня. И я не наткнулся — как это бывает с людьми здоровыми — ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие здоровым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем — недоумением, презрением, вызывающим: «Ну?» В глазах Бори была всеобъемлющая, спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых стариков. Мне стало не по себе.

— Мама идет, — сказал я, и стало совсем стыдно. А встать и уйти сразу — тоже стыдно.

— Мама идет? Да? — Боря засмеялся, счастливый.

— Идет мама, идет. — Я оглянулся — не наблюдает ли кто за мной? Это было бы ужасно. У всех как-то это легко, походя получается. «Мама идет, Боря! Идет». И все. И идут по своим делам — курить, умываться, пить лекарство. Я сидел на скамеечке, точно прирос к ней, не отваживался еще раз сказать: «Мама идет». И уйти тоже не мог — мне казалось, что услышу — самое оскорбительное, самое уничтожающее, что есть в запасе у человека, — смех в спину себе.

— Автобус? Да?

— Да, да — на автобусе придет, — говорил я и отводил глаза в сторону.

— Привет! — воскликнул Боря и пожал мне руку. Хоть умри, мне казалось, что он издевается надо мной. Я встал и ушел в палату. И потом незаметно следил за Борей — не смеется ли он, глядя на меня со своей кровати. Надо осторожней с этим народом.

Боря умеет подолгу неподвижно сидеть на скамеечке... Сидит, задумчиво смотрит перед собой. Я в такие минуты гляжу на него со стороны и упорно думаю: неужели он злиться умеет? Устроил же скандалевич дома из-за того, что ему не купили розу. Расплакался, начал стулья кидать, мать подвернулась — мать толкнул, от-

ца... Тогда почему же он — недоумок? Это вполне разумное решение вопроса: вымещать на близких досаду, мы все так делаем. Или он не понимает, что сделал? Досаду чувствует, а обиду как следует причинить не умеет...

В соседней палате объявился некий псих с длинными руками, уколобый. Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла. А они каким-то чутьем угадывают, кто их боится. Однажды один чиновник снисходительно, чуть грустно улыбаясь, часа два рассказывал мне, как ему сюда вот, в шею, угодила кулацкая пуля... «Хорошо, что рикошетом, а то бы... Так что если думают, что мы только за столами сидеть умеем, то...» И я напрягался изо всех сил, всячески показывал, что верю ему, что мне очень интересно все это.

Горилла сразу же, как пришел, заарканил меня в коридоре и долго, бурно рассказывал, как он врѣзал теще, соседу, жене... Что у него паспорт в милиции. «Я пацан с веселой душой, я не люблю, когда они начинают мне...»

Как-то горилла зашел в нашу палату, хохочет.

— Этот, дурак ваш... дал ему сигарету: ешь, говорю, сладкая. Всю съел!

Мы молчали. Когда вот так вот является хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только что сделал гадость, то всем становится горько. И молчат. Молчат потому, что разговаривать бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове — единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо. Но возню тут, в палате, с ним никто не собирается затевать. Он бы с удовольствием затеял. Один преждевременный старичок, осведомитель по склонности души, пошел к сестре и рассказал, что «пацан с веселой душой» заставил Борю съесть сигарету. Сестра нашла «пацана» и стала отчитывать. «Пацан» обругал ее матом. Сестра — к врачу. Распоряжение врача: выписать за нарушение режима.

«Пацан» уходил из больницы, когда все были во дворе.

— До свиданья, урки с мыльного завода! — громко попрощался он. И засмеялся. Не знаю, не стану утверждать, но, по-моему, наши самые далекие предки очень много смеялись.

Больница наша — за городом, до автобуса идти километра два леском. Четверо, кто полегче на ногу и понадежней в плечах, поднялись и пошли наперерез «пацану с веселой душой».

Через минут двадцать они вернулись, слегка драные,

но довольные. У одного надолго, наверно, зажмурился левый глаз.

Четверо негромко делились впечатлениями.

— Здоровый!..

— Орал?

— Матерился. Права качать начал, рубашку на себе порвал, доказывал, что он блатной.

На крыльце появляется Боря и к кому-то опять бросается с протянутой рукой.

— Пиве-ет!

— Привет, Боря, привет.

— А мама пидет?

— Пидет, пидет.

Жарко. Хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот душный покой... Скорей бы отсюда — куда-нибудь!

ПЕТЬКА КРАСНОВ РАССКАЗЫВАЕТ

Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит.

Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил «законную» и стал рассказывать. Он, вообще, рассказывать не умеет — торопится всегда, перескакивает с пятого на десятое и вдобавок шепелявит (букву «ш» толкает куда-то в передние зубы, получается не то «с», не то «з» — что-то среднее). А тут еще он волнуется, ему охота рассказать поярче, побольше — не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей. И всем, он понимает, интересно.

— Народу-у, мля!.. — У него какая-то дурацкая привычка: чуть ли не после каждого слова приговаривать «мля». К этому привыкли, не обращают внимания.

— Идес, мля, по пляжу — тут баба голая, там голая — валяются. Идес, переступаес через них... — Петька выговаривает: «переступас».

— Совсем, что ли, голые?

— Зачем? Есть эти, как их?.. купальники. Но это ж так — фиксия.

— А ты как? Одетый?

— Зачем? Я сперва в трусах ходил, потом мне там

один посоветовал купить плавки. Ну, я стал, как все. Так они что делают, мля: по улице и то ходят вот в таких вот станисках — сортики. Ну, идес, ну — смотрис же. Неловко, вообще-то...

— Ну да: другая по харе даст.

— Мне там один посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберес, куда смотрис.

— Как это?

— А вот они! На, надень! Ну, надень!

— Ну... Надел.

— Смотри вон на Зойку — баску не поворачивай! Ни же! Смотрис?

— Ну.

— Заметно, куда он смотрит?

— Нет, правда. Во!..

— Заходис вечером в ресторан, берес саслык, а тут наяривают, мля, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я те скажу!.. Сердце заходится, сто только выделывают! Так поглядис — вроде совестно, а потом подумаес: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего мне-то совестно? Атомный век, мля, — должна быть скорость. Нет, красиво. Там один стоял: бесстыдники, говорит. Ну, его тут же побрили: не нравится, не смотри! Иди спать! А один раз как дали «Очи черные», у меня на глазах слезы навернулись. Такое оссюсение: полез на меня пять человек — не страсно. Чуть не заплакал, мля. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз, мля, ну — красота! Море!.. Пароходы... И, главное, на каждом пароходе своя музыка. Такое оссюсение: все море поет, мля. Спускаемс — опять в ресторан...

— Так это ж сколько денег просадить можно?! Если тут — ресторан, там — ресторан...

— Там рестораны на каждом сагу. Дорого, конесно. Мне там один говорит: первый и последний раз. Нет, можно без ресторанов, там пельменные на каждом сагу.

— Пельмени?!

— Пельмени. Пожалуйста. Три порции — вот так хватает.

— То-то ты полторы сотни уханькал — по ресторонам-то.

— Десевле нельзя. Но сто я вам скажу: нигде не одного грубого слова! Стобы матерное слово — боже упаси! Только суточки, суточки... Все смеются, сутят. Смеются, прямо сердце радуется. И пьяных нету. Так, идес — видис: врезамсы, паразит! По глазам видно. Но — не сата-

ется. Но вот хохма была! Посли домик Чехова смотреть, ну, надели какие-то тряпосные стукотины на ноги — стоб пол не портить. Ну, сагаем потихоньку, слушаем... А там под стеклом кожаное пальто висит. Ну, эта женщина, солидная такая, стояла рядом... как заорет: «Это он такой большой был!» Да как брякнется! — Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя. — Она на каблучках, а хотела подойти поближе — поглядеть пальто, а запуталась в этих стуках-то... Ну, мля, все за животики взялись...

— А што за пальто-то? Какое пальто?

— Пальто Чехова, писателя. Он в нем на Сахалин ездил.

— Ссылали, что ль?

— Да зачем! Сам ездил — посмотреть. От он тогда и простыл. Додуматься — в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее спрашиваю: «А от чего у него чахотка была?» — «Да, мол, от трудной жизни, от невзгод», — начала вилать. От трудной жизни... Ну-ка, протрясать в таком кожанчике через всю Сибирь...

— Ну, она и была — трудная жизнь, раз ему тулуп взять не на што было.

— Может, не знал человек, какие тут холода.

Петька молчит, потому что забыл спросить тогда у женщины-экскурсовода, зимой ездил Чехов или летом.

— Знаес, какой у него рост был?

— У кого?

— У Чехова. Метр восемьдесят семь!

Это родных не удивило — знавали и повыше. Это тогда экскурсантов почему-то очень всех удивило, и Петька удивился со всеми вместе. И сейчас хотел удивить.

— Ну а радикулит-то как? Полегчало?

— Совсем почти не чую! Во, гляди: встал, нагнулся, выпрямился... — Петька встал, нагнулся, выпрямился. — А раньше, если нагнулся, то не разогнесся.

— А говоришь, на гору чуть не на карачках заполз.

— То — на гору! На гору мне пока тяжело.

— Ну, пора и на боковую, — сказал тесть Петькин, сам тоже с трудом поднимаясь, — засиделся. — Завтра вставать рано. Пойдешь покосить со мной? Или отдохнуть охота с дороги?

— Пойду! — с удовольствием откликнулся Петька. — Я наотдыхался.

— Ему теперь — двойную норму ломать надо, — сказал сосед Петькин, дядя Родион, который тоже приходил

послушать про теплые края. — Полторы тыщи по-старому за месяц — это...

— А дорога! — воскликнула теща.

— Да, кусаются они, курортики-то.

Петьке неловко стало, что из-за его проклятого радикулита пришлось истратить больше двухсот рублей.

— Виноват я теперь, если он ко мне извязался?

— Кто тебя винит! — искренне сказал тесть. — Никто не винит. Хворь — она всегда дорого стоит.

На том все и порешили.

Только теща добавила:

— Теперь уж берегись! А то ведь не берегетесь ни-сколь. Потные, не потные — лезете под машину, на сырую землю спиной. Рази так можно! Возьми да постели куфайку хоть, руки-то не отсохнут. Зато здоровый будешь.

Мужики закурили еще по одной. Дядя Родион ушел домой.

Петька докурил папиросу, сидя за столом, аккуратно загасил окурочек об край тарелки, бросил в угол и пошел в горницу — к жене Зое.

Зоя уже постелила и лежала, отвернувшись к стене. Петька, одетый еще, хотел сперва поцеловать ее... Зоя накрылась одеялом с головой. Петька опешил:

— Ты чего?

— Ничего... Не лезь. Их же там много на пляже валялось — чего ты ко мне лезешь?

— Да ты сто, Зой?!

— Ни «сто»! Не лезь, и все. Мало тебе их там было?

Петька даже осердился, хоть редко сердился.

— Дура ты, дура!.. Кому я там нужен? Там без меня хватает — специально этим делом занимаются. Их со мной, сто ли, сравнис?..

Зоя рывком скинула одеяло, села. Она была злая.

— Так какого ж ты черта весь вечер сидел только про их и говорил?! Ничего другого не нашлось рассказывать, только — бабы, бабы... Тут бабы, там голые бабы...

— Но если их там много, чего я сделаю?

— Ты лечиться поехал, а не глаза пялить на баб! Очки ему даже посоветовали купить... Страмец. Весь вечер со стыда сидела сгорала.

— Дак взяла бы и подсказала! Я ж думал, как повеселей. Не суми зря-то. Зря сумис-то.

— Сумис, сумис... Сюсюкалка чертова!

— Ну, отойди, отойди маленько, — миролюбиво ска-

зал Петька. — Я пока на крыльце посижу, покурю. — В душе он согласился с женой: в самом деле, распустил язык, не нашел, о чем поговорить. Да еще и приврал — с ресторанами-то: за весь месяц в ресторане-то был всего два раза. И один раз там пели «Очи черные». И танцевали. — Я покурю пойду.

— Иди куда хочешь.

Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора с женой не расстроила — она такая, Зоя: вспыхнет как порох и тут же отойдет. Да и не за что зло-то копить, что она, не понимает, что ли.

Ночь... Чуть лопочут листвою березки в ограде, чуть поскрипывает ставня... И наплывает от сараев, где коровы, куры, телок, живым теплым духом. И мерно каплет из рукомойника в таз... Вспомнились те ночи — далекие, где тихо шумит огромное море и очень тепло. И Петька усмехнулся, подумал: сколь велика земля! Пальмы растут на свете; люди пляшут, смеются; большие белые дома — чего только нет!

Ночь. Поскрипывает и поскрипывает ставенка — все время она так поскрипывает. Шелестят листвою березки. То замолчат — тихо, а то вдруг залопочут-залопочут, неразборчиво, торопливо... Опять замолчат. Знакомо все, и почему-то волнуется.

Петьке хорошо.

СНЫ МАТЕРИ

Вот материны сны, несколько. Почему-то они мне запомнились, не знаю. Может, потому, что рассказывала она их не один раз; она сама помнит их всю жизнь.

Первый

— Я была ишо маленькая, годов семь так, восемь было. Может, маленько больше. Вижу сон. Вышла я вроде из дома — в тятином дому-то, — а в ограде у нас на ослике сидит святой с бородкой. Маленький такой старичок, весь белый: бородка белая, волосы белые. «Поводи, говорит, меня, девочка, по оградке-то, поводи». Я — вроде так и надо — начала его водить. Взяла ослика-то за

уздечку да вожу. Осликов-то сроду не видела, а вот при-
снилось же. Вожу, а сама возьми да подумай: «Дай-ка я
у него спрошу, што мне на тем свете будет?» Да взяла
да спросила. Старичок засмеялся, достал откуда-то из-под
полы бумажку и подает мне. «Вот, говорит, чего тебе
будет». Я взяла бумажку-то, смотрю: она вся-вся испи-
сана. А читать-то я уж умела. Вижу, буквы все наши,
а разобрать сразу как-то не могу. Ладно, думаю, я его
ишо маленько покатаю, а потом пойду в избу да и про-
читаю ладом. А сердце так вот волнуется!.. Шибко уж я
рада, што узнаю про себя. Вожу вроде ослика-то, а са-
ма — нет-нет да загляну в бумажку. Не читаю, а так.
Радуюсь. Даже и про старичка забыла. Радовалась я, ра-
довалась — и проснулась. Так обидно, так обидно было,
даже заплакала. Маме утром рассказываю, она мне гово-
рит: «Глупенькая ты, глупенькая, кто же тебе здесь
скажет, чо на том свете будет? Никто не скажет». А я
вот все думаю: не проснись я раньше время, может, и
успела бы прочитать хоть словечка два. Главню, ведь то-
ропилась же я в избу-то!.. И вот — на тебе! — просну-
лась. Видно, и правда: не дано нам здесь знать про это,
не дано.

Второй

— А это уж когда у меня вы были... Когда уж Мака-
ра забрали.

— В тридцать третьем?

— Но. Только-только его забрали. Весной. Я боялась
ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу,
глазею. А вы — спи-ите себе, только губенки оттопырива-
ются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да раз-
говаривала — все не так страшно. А кого вам было-то!..
Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут — заснула. И
слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама
себя: вроде я на печке, с вами лежу — все как есть. Но
уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла
избную дверь, спрашиваю: «Кто?» А там ишо сеничная
дверь, в нее постучались-то. Мне оттуда: «Это мы, отро-
ки. С того света мы». — «А чего вы ко мне-то? — Это я-
то им. — Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему
не так страшно». — «Нет, нам к тебе надо. Ты нас не
бойся». Я открыла... Зашли два мальчика в сутаночках.
Меня всюю так и опажнуло духом каким-то. Прия-атным.
Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што по-

хожий. Сяли они на лавочку и говорят: «У тебя есть сестра, у нее померли две девочки от скарлатины...» — «Ну, есть, говорю. И девочки померли — Валя и Нюра». — «Она плачет об их, горюет». — «Плачет, говорю. Жалко, как же». — «Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать». — «Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?» Они мне ничего не сказали, ушли. А Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: «Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?..» Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать — маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалче.

Третий

— А тут вижу: хвораю лежу. А правда хворала-то. Сяильно хворала. Но это в то же время, как Макара взяли. А вижу, вроде я в тятином дому-то лежу, на кровати. Я часто себя в тятином дому вижу. И вот лежу хвораю. А вот так вот вскинула глаза-то позадь себя, а они стоят две — Авдотьины девочки-ти, которые померли-то. Стоят две. В чем их положили в гробики, в том и стоят — в платицах в таких, я их хорошо помню, эти платица. «Ой, говорю, Валенька, Нюронька!.. Да милые вы мои-то, вы откуда же?» — «А оттуда», — говорят. «Ну и как вам там?» — «Хорошо. Ой, няня Маруся, нам там хорошо!» Ну, знамо, безгрешные душеньки... А потом Валя, постарше которая, вот так вот пальчиком погрозила и говорит: «А куклы-то нам посулила, а сама не сделала». А правда: когда они хворали лежали, я им посулила куклы сделать. Тада ведь купить-то негде было, сами делали да из тряпочек разных платица шили да играли. И так мне горько сделалось, что я заплакала. Заплакала и проснулась — лежу зареванная... «Ладно, думаю, выздоровею, сделаю вам куклы». Выздоровела, выстрогала две куколки, одела их понарядней да соседским девочкам, какие победней, отдала. Вот, играйте на здорвье.

Четвертый

— А это уж, как война началась, — тоже сон видела. Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли — в шалоны са-

жать. Сигнали их туда — видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили — прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз — днем! — прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон. Будто бы мы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана... Сварила я похлебку да даю ему попробовать: «На-ко, мол, спробуй, а то тебе все недосол кажется». Он взял ложку-то, хлебнул да как бросит ложку-то и даже заматерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился — обжегся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил... Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: «Все, Маня... Неспроста этот сон: обожгусь я там». И — обжегся: полгода всего и пожил-то после этого — убило.

Пятый

— А вот сон тоже. Лежала я в больнице, а со мной вместе девушка одна лежала, сиротка. Я приголубила ее, она меня и полюбила. Да так привыкла! Ночевать потом ко мне ходила, когда мы из больницы-то выписались. А работала она на складе весовщицей. Каждый вечер, бывало, идет: «Мария Сергеевна, я опять к вам». Давай, милая, все веселей двоим-то.

— Ей что, жить, что ли, негде было?

— Да пошто же! Вот — привыкла. И я уж тоже к ей привыкла. Так мы дружно с ей жили! А потом она померла: плеврит, а от плеврита печень занялась. Померла, бедная. Я и схоронила ее. А потом вижу сон. Вышла я будто бы на речку, а на той стороне, где Гилёв остров, — город будто бы. Большой-большой город! Да красивый, дома высокие... И дома высокие, и весь вроде бы он в садах, весь-то он в зелени. Цветы — я даже с этой стороны вижу — так и колышутся, так и колышутся. Ах ты, господи! Сяла я в речку-то да и поплыла туда — сижмя как-то, сижу и плыву, только руками маленько подгребаюсь. И так меня к тому городу и вынесло. Вышла я на берег — никого нету. Я стою, не знаю, куда идти. А смотрю, выходит моя Ниночка, девушка-то, сиротка-

то. Матушка ты моя-то!.. Увидела меня да так обрадовалась, обняла да та-ак крепко прилюбила, я ишо подумала: «Сильная какая — не выхворалась». А она, правда, мало хворала-то, скоро убралась. «Куда же мне идти-то? — спрашиваю ее. — Пошто тут никого нет-то?» — «Есть, говорит, как нету. А тебе во-он туда, — показывает мне. — Во-он, видишь?» Я смотрю туда, а там место-то похужее, победней, и дома пониже. «А ты где же?» — спрашиваю Ниночку-то. А не спрашиваю же: «Ты где живешь?» — знаю, што она мертвая, а вишь, спрашиваю просто: «А ты где?» — «А я, говорит, вот — в центре». Конечно, сколько она и пожила-то. Она и нагрешить-то не успела, безгрешная душенька. А мне-то, вишь, на окраинке только место... Да хоть бы и на окраинке, а только там. Господи, как же там красиво! Все время у меня в глазах тот город стоит.

— Тогда телевизоры-то были уже?

— Какие телевизоры! Это когда было-то! — когда ты на действительной ишо служил. А Наташа в институте училась. Вон когда было-то. А што, думаешь, насмотрелась в телевизоре и поэтому такой город при-снился?

— Но.

— Нет. Я сроду таких городов ни в телевизоре потом, ни в кино не видела. Што ты!..

ПСИХОПАТ

Живет на свете человек, его зовут Психопат. У него есть, конечно, имя — Сергей Иванович Кудряшов, но в большом селе Крутилине, бывшем райцентре, его зовут Психопат — короче и точнее. Он и правда какой-то ненормальный. Не то что вовсе с вывихом, а так — сдвинутый.

Один случай, например.

Заболел Психопат, простудился (он работает библиотекарем, работает хорошо, не было, чтоб у него в рабочее время на двери висел замок), но, помимо работы, он еще ходит по деревням — покупает по дешевке старинные книги, журналы, переписывается с какими-то учреждениями в городе, время от времени к нему из города

приезжают... В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь, промок и простудился. Ему назначили ходить на уколы в больницу, три раза в день.

Уколы делала сестричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все краснела. Стала она искать иголкой вену у Психопата, тыкала, тыкала в руку, покраснела... Психопат стиснул зубы и молчал, ему хотелось как-нибудь приободрить сестричку, потому что он видел, что она сама мучается.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал он. — Вы спокойней — как вас учили-то...

— Она ускользает, — пояснила сестричка.

Психопат пошевелил свободным плечом вторую руку, левую, он напряг и изо всех сил работал кулаком, как велела сестричка. Кое-как всадили укол.

— Неужели все так будут? — спросил Психопат. Он даже вспотел.

Сестричка ничего на это не сказала, только опять смутилась, пинцетиком свихнула иголку со шприца и положила ее в металлическую блестящую вазочку, в которой кипела вода. Психопат подумал: «Как суп варится из железок, надо же».

Пришел он в другой раз делать укол. Заранее стал волноваться. Дождался своей очереди, вошел в кабинет, оголил правую руку до локтя и стал работать кулаком. Защемили резиновой кишкой руку выше локтя, и он продолжал пока работать кулаком, а сестричка налаживала шприц. Психопат между делом отметил, какая она статная, пора вообще-то замуж — хорошая, наверно, мать будет.

Стали опять искать вену. Рука у Психопата онемела.

— Отпускайте, — велела сестричка.

Психопат стал постепенно отпускать резиновую удавку, а сестричка все искала и все попадала мимо.

— Ускользает... — сказала она.

— Да куда она, к черту, ускользает! — вышел из терпения Психопат. Руку прямо ломило от боли. — Что вам тут, игра в прятки, что ли? — ускользает... Уметь же, наверно, надо!

Потом, идя из больницы, Психопат сожалел, что накричал, но не мог без раздражения думать про сестричку. Он думал: «Только детей и рожать — здоровые хоть будут. Мужа хоть аккуратно кормить будет... Нет, поперлась в медсестры — в люди вышла, называется».

Пошел он в третий раз делать укол. Шел и с ужасом думал, что надо ходить так целую неделю. «Как же она училась? — думал он с удивлением. — Ведь учил же ее кто-то — отметки ставили. Решил кто-то, что все, готовая медсестра». Что у него ускользает вена, он как-то не мог этого понять. Куда ускользает? Как это?.. Бред же. Не умеет человек, и все.

Оголил он в кабинетике левую руку, стянул ее резинкой, положил на красную холодную подушечку и пошел умело работать кулаком. На медсестру не смотрел — как она готовила шприц. У него болела душа — больно же, нестерпимо больно, еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену искать. Он работал кулаком и думал: «Ну на кой черт надо было в медучилище-то? Ну, бухгалтер там, счетовод, секретарь в сельсовете, если дояркой не хочется, — нет, непременно надо в медсестры!»

Сестричка подошла к нему, вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства, свободной ладошкой с силой несколько раз погладила руку Психопата от локтя книзу. На Психопата не смотрела — сама, как видно, всерьез страдала, что у нее плохо получается.

«Буду терпеть, — решил Психопат. — Неделю как-нибудь вытерплю».

Вена опять ускользала. И сестричка, и Психопат вспотели. Боль из руки стреляла куда-то под сердце. Психопат подумал, что так, наверно, можно потерять сознание.

— Да неужели вы всем так? — спросил он сквозь зубы. — Что же это такое-то?.. Мучительно же!

— Но если она у вас ускользает! — тоже осердилась сестричка.

«Она же еще и сердится!»

— Прекратите! — Психопат отвел свободной рукой руку сестры со шприцем. — Это пытка какая-то, а не лечение.

Сестричка растерялась. Покраснела.

— Ну а как же? — спросила.

— Да как, как!.. — Психопату тут же и жаль ее стало. — Не знаю как, но так же тоже нельзя, милая. Ведь я же не железный, ну!

— Я понимаю... — Сестричка стояла перед ним и при своей мощной молодой стати выглядела жалкой.

— Вы повнимательней как-нибудь, вспомните, как вас учили...

— Я все правильно делаю. — Сестричка смотрела на

него сверху просто, с искренним недоумением. — Всем так делаю — ничего...

— Ну, всем, всем... — сказал Психопат. И опять невольно с раздражением подумал: «В люди вышла». — Ну, давайте, что теперь...

Сестричка нацелилась опять в вену, вроде нащупала, вонзила иглу и успела надавить поршеньек шприца... Психопат вскрикнул от боли; боль полоснула по руке, даже в затылке стало тяжело и больно.

— Идиотство, — сказал он, чуть не плача. — Ну идиотство же полное!.. Позовите врача.

— Зачем? — спросила сестричка.

— Позовите врача! — требовал Психопат. И встал, и начал нервно ходить по кабинету, согнув левую руку и прижав ее к боку и раздражаясь все больше и больше. — Это идиотизм! Будем мы когда-нибудь что-нибудь уметь делать или нет?! — Он кричал на сестру; и она поэтому и пошла к врачу, что он кричал: жаловаться пошла, потому что он выражается — «идиотизм».

Пришел врач: молодой, с бородкой, тоскует в деревне, невнимательный, остроумный сверх всякой меры, заметил Психопат еще в тот раз, когда врач принял его.

— Что тут у вас? — Да с этакой снисходительной усмешечкой в глазах — прямо Миклухо-Маклай, а не лекарь заштатный. Эта-то усмешечка и взбесила вконец Психопата.

— Да у вас тут, знаете, коней куют, а я укол пришел делать...

— Ну-ну, — прервал его врач и видом своим показал, что ему некогда, — поближе к делу, пожалуйста.

— Да дела-то нету! — закричал ему в бородку Психопат. — Будем мы когда-нибудь хоть уколы-то делать или шпаги будем глотать?! — Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом страдал и казнил. — Ну что же, милые вы мои, как же так работать-то? Укол вот — час бьемся — сделать не можем. А мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось... Работать не умеем! Бородку-то легче всего отпустить, а она вон у вас уколы не умеет делать! — Психопат показал на сестричку. — Дядя доктор с бородкой... научили бы! Или сами тоже не умеем?

«Дядя доктор» сперва слушал с удивлением, потом рассердился.

— Ну-ка, прекратите кричать здесь! — сказал он строго. — Что вам здесь, базар, что ли?

— Да хуже! — не унимался Психопат. — Хуже! Базар по своим законам живет — там умеют, а у вас тут... черт знает что, конюшня.

Сестричка на это молча очень изумилась и возмутилась.

— Здание им построили!.. — все кричал Психопат. — А что толку? Все равно самодеятельность. Да что за проклятие такое, что же, вечно так и будем?! Ну, уколы-то, уколы-то — ведь уж... ну чего же проще-то! Нет, и тут через пень колоду! Да чтобы вас черт побрал с вашими бородками, с вашими гитарами!..

— Что, милицию, что ли, вызвать? — спросил доктор спокойно и презрительно.

— Давай! Давай, братец, дело простое. Проще, чем укол сделать. Эх-х... — Психопат надел пиджак и направился к выходу. Но не утерпел и еще сказал с порога: — Ду ю спик инглишь, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж... слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича. А то — гитара-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем — соловьи. — Помолчал, воспользовался, что доктор тоже молчит, еще сказал, миролюбиво, поучительно: — Работать надо учиться, сынок, работать. Потом уж — снисходительность, гитара — черт с ней, если так охота, но сперва-то работать же надо.

И Психопат ушел. Сестричка посмотрела на доктора — так посмотрела, словно хотела проверить и убедиться, что она не зря побеспокоила доктора, вызвав его.

— Работайте, — недовольно сказал доктор. И вышел из кабинета.

Его в коридоре поджидал Психопат. Он все еще держал руку согнутой и морщился. Врач, натолкнувшись на него, даже как будто растерялся — он думал, что нервный пациент ушел уже, а он тут.

— Простите, — сказал Психопат искренне, — я накричал там... Но я не виноват — больно же.

— Пойдемте, я вам в таблетках выпишу, — сказал молодой доктор на ходу. — Температура какая сейчас?

— Я не мерил, — ответил Психопат, входя следом за доктором в его кабинет.

— Ну вот... — Доктор с бородкой не горестно, а с досадой, привычно усмехнулся и присел к столу писать ре-

цепт. — А возмущаемся... Толстой. При чем здесь Толстой-то? — спросил он и посмотрел на Психопата насмешливо. Насмешка эта задела Психопата, но он решил быть спокойным.

— При том, что он умные слова писал: не мешало бы их помнить.

— А почему вы решили, что я... что их не помнят?

— Это вы-то помните? — удивился Психопат.

— Ну а почему бы нет? — Доктор не только насмешливо, а и с презрением опять, и снисходительно, как показалось Психопату, смотрел от стола — молодой, довольный, уверенный. Психопат в свои пятьдесят четыре года полагал, что это он должен снисходительно смотреть на такого, как этот доктор, а не наоборот.

— Да неужели?

Доктор считал, наверно, что в его положении — врача — несерьезно, даже глупо спорить с больным, да еще так... странно: читал ли он Толстого, Льва Николаевича? Кстати, он его не читал, кроме как в обязательном порядке: в школе и в институте. Но при чем здесь Толстой, господи! И он склонился и стал писать рецепт.

— Может быть, вы тогда скажете: почему мы ничего делать не умеем? — спросил Психопат, продолжая стоять у двери.

— Что мы не умеем делать? — Доктор не поднял головы, продолжал писать.

— Уколы, например.

— Она не читала Льва Толстого, поэтому не умеет.

— Хорошо, вы читали, тогда скажите: почему вы ничего не умеете делать?

— О, дядя!.. — Доктор перестал писать и с удивлением смотрел на Психопата. — Это уже интересно. Ничего не умею?

— Нет. — Психопат поглядывался, не нашел близко табуретки, присел на жесткий диван, застеленный белой простышкой, на краешек. — Не умеете, молодой человек.

— В чем же это выражается? — спросил ироничный доктор.

— Да во всем. — Психопат прямо и просто смотрел на доктора. — Вы — врач, — продолжал он рассуждать спокойно, — ваша медсестра не умеет делать уколы, а вы... вас это ни капли не встревожило. Вы, как крючок конторский, сели выписывать мне таблетки... Да ведь мне

уколы нужны-то! — Психопат протянул руку к доктору и членораздельно еще раз сказал: — У-ко-лы! Ведь вы же сами назначили уколы.

— Видите ли, — тоже терпеливо заговорил доктор, — есть такие особенные вены, которые...

— Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у всех людей одинаковые. Ты не доктор. — Психопат встал. — Из тебя такой же доктор, как из меня — акушерка. Но меня удивляет вот это вот... — Психопат показал на доктора, как если бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную картину — всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх, и еще тряхнул рукой, — это вот... тупое самодовольство. Сидит, душа мертвая, ни заботы, ни горюшка, — пишет рецепт. Умеет писать рецепты — тоже в люди вышел.

Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного. Молчал.

— Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. Вы простите, я на «ты» перешел — это не надо. Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни... Даже знать-то не хочет, не любит, а сидит — хмурится важно... Та хоть краснеет, а этот... важный. Господи, боже мой-то, да неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Когда же мы так прищемляем-то! Ну? Голубчик ты мой, бородка, ведь я так-то... не знаю — архиереем сяду вон и буду сидеть: мне что черт, что дьявол, что Никола Угодник — неинтересно. Что же уж так... обнаглели, что ли? Институт кончил... Да в двадцать-то пять лет я бы по домам ходил — старух с печек стаскивал: лечись, карга, а не жди конца, как... А тут все есть, а живой труп: сидит таблетки выписывает. Тогда уж касторку лучше, что же.

— Все? — спросил доктор жестко. И встал. — Выйдите отсюда. — Он еле сдерживал себя. — Выйдите, я прошу. Я требую!

— «Я требую!..» — передразнил его Психопат. — Эхх... А жить еще небось лет пятьдесят, а уж сосулька сосулькой. Он требует. Ты потребуй, чтоб тебе прожить человеком. Ничего не хотят люди! Бородки хотят носить... Да ведь когда и поработать-то смолоду, ведь чего уж лучше — людей лечить — нет, к тридцати годам душа уж дохлая. Только на гитаре и остается играть.

И Психопат вышел из кабинета. А доктор сел и некоторое время ошалело смотрел на дверь. Потом посмотрел в окно...

По больничному двору шел Психопат — высокий, прямой, с лицом сильного, целеустремленного человека. Шел широким ровным шагом, видно, привык ходить много и далеко; на нем какой-то длинный нелепый плащ и кожаная шляпа.

Вечером доктор нарочно пошел к своему товарищу, школьному учителю, который жил в этом селе года два уже. Спросил про Кудряшова Сергея Ивановича — знает ли он его.

— Знаю, — сказал учитель, улыбаясь. — А что?

— А кто он такой?

— Библиотекарь.

— Но он что... Он здешний?

— Здешний. Это человек любопытный, такой, знаешь... с неистребимой энергией: кроме работы, ходит еще по деревням, книги старые скупает, к нему из областной библиотеки приезжают, с архивами переписывается...

— А какое у него образование?

— Да никакого. Я не знаю точно, может, классов восемь... Сам ходит, по собственной инициативе. А что он? Наскандалил? Он скандалист большой...

— Да нет, просто интересно.

— Его в селе Психопатом зовут.

— Но ты его хорошо знаешь-то? Что он, читает много?

— Не думаю. Иногда такой дребедени нанесет...

А иногда попадет на дельное: тут раскольников было много, книги на чердаках есть. Иногда интересные приносит. Вообще любопытный мужик. Кляузник только: завалил все редакции предложениями и советами. Мешанины в человеке много. Но вот... никто же не просит ходить по деревням — ходит, свои деньги тратит...

— Но у него же покупают... Библиотеки-то.

— Не все же покупают-то, купят одну-две, а он по полмешка привозит. Такой вот... подвижник. Раздает много книг... В школу нам дарит. С ним одна история была. Набрал как-то мешок книг и стоит голосует на дороге... А платить шоферу нечем: весь истратился. Один подвез

и требует плату. Этот ему книгу какую-то: на, мол, дороже всяких денег. Тот, видно, послал его... а книжку — в грязь. Этот, Психопат-то, запомнил номер машины, нашел того шофера, в соседней деревне где-то живет, поехал к нему с братом, у него брат здесь, охотник, и побили шофера.

— Ничего себе! Ну и как? Судили?

— Шофер не подал — охотник откупился. У этого-то нет ничего, а охотник наскреб деньжат: откупились.

— А семья-то есть у него?

— У Кудряшова? Есть, двое детишек... Один в десятом классе — нормальные дети. А что он? Написал небось что-нибудь на больницу?

— Нет, так — был у меня сегодня, поговорили...

— Он поговорить любит! Пофилософствовать. Я, правда, писанину его не читал, но говорить часто приходится — любопытно.

— А печатают его? В газетах-то.

— Да ну, кто его будет печатать. Так — душу отводит. Его не трогают, привыкли... А он убежден, что делает великое дело — книги собирает. У него целая теория на этот счет.

Доктор помолчал... И спросил...

— Слушай, а как думаешь: Льва Толстого он читал?

— Ну, вряд ли, — удивился учитель. — Не думаю. Может быть, «Жилина и Костылина», и то вряд ли. Да нет, такой просто энтузиаст, как говорят. Убежден, что надо доставать книги с чердаков, — достает. Убеждение там колоссальное... Может, потому и кричит на всех. Но он безвредный. Не пьет, кстати. А может, и читал, надо спросить. Но думаю, что нет.

— А как же он библиотекарем без образования-то?

— Он тут с незапамятных времен библиотекарь, тогда не до этого было. Между прочим, хорошо работает. Не пьет, кстати... А, говорил уже. — Учитель засмеялся, поискал в карманах сигареты, нашел, закурил... И опять с интересом посмотрел на товарища. И спросил: — Ведь наверняка же что-то выкинул этот Кудряшов, а? Чего ты с таким пристрастием спрашиваешь-то?

— Да нет, говорю же тебе... Побеседовали просто в больнице. — Врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, пошлюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег всю спичку до края. И внимательно смотрел на огонек.

КЛЯУЗА

Опыт документального рассказа

Хочу тоже попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. Последнее время мне нравятся такие рассказы — невыдуманные. Но вот только начал я писать, как сразу загнулся: забыл лицо женщины, про которую собрался рассказать. Забыл! Не ставь я такой задачи — написать только так, как было на самом деле, — я, не задумываясь, подробно описал бы ее внешность... Но я-то собрался иначе. И вот не знаю: как теперь? Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, — я думал: буду помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот — забыл. Забыл даже: есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, может быть, это мне со зла кажется, что есть. Стало быть, лицо — пропускаем, не помню. Помню только: не хотелось смотреть в это лицо, неловко как-то было смотреть, стыдно, потому, видно, и не запомнилось-то. Помню еще, что немного страшно было смотреть в него, хотя были мгновения, когда я, например, кричал: «Слушайте!..» Значит, смотрел же я в это лицо, а вот — не помню. Значит, не надо кричать и злиться, если хочешь что-нибудь запомнить. Но это так — на будущее. И потом: вовсе я не хотел тогда запомнить лицо этой женщины, мы в те минуты совершенно серьезно НЕНАВИДЕЛИ друг друга... Что же с ненависти спрашивать! Да и теперь, если уж говорить всю правду, не хочу я вспоминать ее лицо, не хочу. Это я ради документальности решил было начать с того: как выглядит женщина. Никак! Единственное, что я хотел бы сейчас вспомнить: есть на ее лице бородавка или нет, но и этого не могу вспомнить. А прошло-то всего три недели! Множество лиц помню с детского возраста, прекрасно помню, мог бы подробно описать, если бы надо было, а тут... так, отшибло память, и все.

Но — к делу.

Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал. Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все вечером, а утром я позвонил врачам, извинился за самовольный уход из больницы и объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что ТА женщина уже написала на меня ДОКУМЕНТ, и посоветовали мне то-

же написать что-то вроде объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом: «Конечно, напишу. Я напишу-у!..» Меня возмутило, что ОНА уже успела написать! Ночью писала! Я, приняв димедрол, спал, а она не спала — писала. Может, за это уважать надо, но никакого чувства, похожего на уважение (уважают же, говорят, достойных врагов!), не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате и только мычал: «Ах ты...» Не то возмутило, что ОНА опередила меня, а то — что ОНА там написала. Я догадывался, что ОНА там наворочала. Кстати, почерк ЕЕ, не видя его ни разу, я, мне кажется, знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк покажи — сразу сказал бы, что это ЕЕ почерк. Вот дела-то!

Я походил, помычал и сел писать.

Вот что я написал:

«Директору клиники пропедевтики 1-го мединститута им. Сеченова».

Я не знал, как надо: «главврачу» или «директору», но подумал и решил: лучше — «директору». Если там «главврач», то он или она, прочитав: «директору», подумает: «Ну уж!..» Потому что, как ни говорите, но директор — это директор.

Я писал дальше:

«Объяснительная записка.

Хочу объяснить свой инцидент...»

Тут я опять остановился и с удовлетворением подумал, что в ЕЕ ДОКУМЕНТЕ наверняка нет слова «инцидент», а у меня — вот оно, извольте: резкое, цинковое словцо, которое и само за себя говорит, и за меня говорит: что я его знаю.

«...с работником вашей больницы...»

Тут опять вот — «вашей»... Другой бы подмахнул — «Вашей», но я же понимаю, что больница-то не лично его, директора, а государственная, то есть общее достояние, поэтому, sluкавь я, польсти с этим «Вашей», я бы уронил себя в глазах того же директора, он еще возьмет и подумает: «Э-э, братец, да ты сам безграмотный». Или — еще хуже — подумает: «Подхалим».

Итак:

«Хочу объяснить свой инцидент с работником вашей больницы (женщина, которая стояла на вахте 2 декабря 1973 года, фамилию она отказалась назвать, а узнавать теперь, задним числом, я как-то по-человечески не могу, ибо не считаю это свое объяснение неким «заявлением» и не жду, и не требую никаких оргвыводов по отношению

к ней), который произошел у нас 2 декабря. В 11 часов утра...»

В этом абзаце мне понравилось, во-первых, что «задним числом, я как-то по-человечески не могу...». Вот это «по-человечески» мне очень понравилось. Еще понравилось, что я не требую никаких «оргвыводов». Я даже подумал: «Может, вообще не писать?» Ведь получается, что я, благородный человек, все же — пишу на кого-то что-то такое... В чем-то таком хочу кого-то обвинить... Но как подумал, что ОНА-то уже написала, так снова взялся за ручку. ОНА небось не раздумывала! И потом, что значит — обвинить? Я не обвиняю, я объясняю, и «оргвыводов» не жду, больше того, не требую никаких «оргвыводов», я же и пишу об этом.

«В 11 часов утра (в воскресенье) жена пришла ко мне с детьми (шести и семи лет), я спустился по лестнице встретить их, но женщина-вахтер не пускает их. Причем я, спускаясь по лестнице, видел посетителя с детьми, поэтому, естественно, выразил недоумение — почему она не пускает? В ответ услышал какое-то злостное — не объяснение даже — ворчание: «Ходют тут!» Мне со стороны умудренные посетители тихонько подсказали: «Да дай ты ей пятьдесят копеек, и все будет в порядке». Пятидесяти копеек у меня не случилось, кроме того (я это совершенно серьезно говорю), я не умею «давать»: мне неловко. Я взял и выразил сожаление по этому поводу вслух: что у меня нет с собой пятидесяти копеек».

Я помню, что в это время там, в больнице, я стал нервничать. «Да до каких пор!..» — подумал я.

«Женщина-вахтер тогда вообще хлопнула дверью перед носом жены. Тогда стоявшие рядом люди хором стали просить ее: «Да пустите вы жену-то, пусть она к дежурному врачу сходит, может, их пропустят!»

Честное слово, так и просили все... У меня там, в больнице, слезы на глаза навернулись от любви и благодарности к людям. «Ну!..» — подумал я про вахтершу, но от всяческих оскорблений и громких возмущений я удерживался, можете поверить. Я же актер, я понимаю... Наоборот, я сделал «фигуру полной беспомощности» и выразил на лице большое огорчение.

«После этого женщина-вахтер пропустила жену, так как у нее же был пропуск, а я, воспользовавшись открытой дверью, вышел в вестибюль к детям, чтобы они не оставались одни. Женщина-вахтер стала громко требовать, чтобы я вернулся в палату...»

Тут я не смогу, пожалуй, передать, как ОНА требовала. ОНА как-то механически, не так уж громко, но на весь вестибюль повторяла, как в репродуктор: «Больной, вернитесь в палату! Больной, вернитесь в палату! Больной, я кому сказала: вернитесь сейчас же в палату!» Народу было полно; все смотрели на нас.

«При этом женщина-вахтер как-то упорно, зло, гадко не хочет понять, что я этого не могу сделать — уйти от детей, пока жена ищет дежурного врача. Наконец она нашла дежурного врача, и он разрешил нам войти. Женщине-вахтеру это очень не понравилось».

О, ЕЙ это не понравилось, да; все смотрели и ждали, чем это кончится, а кончилось, что ЕЕ как бы отодвинули в сторону. Но и я, по правде сказать, радости не испытал — я чувствовал, что это еще не победа, я понимал тогда сердцем и понимаю теперь разумом: ЕЕ победить невозможно.

«Когда я проходил мимо женщины-вахтера, я услышал ее недоброе обещание: «Я тебе это запомню». И сказано это было с такой проникновенной злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой!.. Тут со мной что-то случилось: меня стало мелко всего трясти...»

Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал, что — все, конец. Какой «конец», чему «конец» — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал — не ее приближение, но какой-то КОНЕЦ... Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: «Ты же не человек». Вот — смотрел же я на НЕЕ! — а лица не помню. Мне тогда показалось, что я сказал — гулко, мощно, показалось, что я чуть не опрокинул ЕЕ этими словами. Мне на миг самому сделалось страшно, я поскорей отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. «О-о!.. — думал я про себя. — А вот — пусть!.. А то только и знают, что грозят!» Но тревога в душе осталась, смутная какая-то жуть... И правая рука дергалась — не вся, а большой палец, у меня это бывает.

«Я никак не мог потом успокоиться в течение всего дня. Я просил жену, пока она находилась со мной, чтобы она взяла такси — и я уехал бы отсюда прямо сейчас. Страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино мысли, не могу доказать себе, что это — мелочь. Рука трясется, душа трясется, думаю: «Да отчего же такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то?»

При этом — не хочет видеть, что со мной маленькие дети, у них глаза распахнулись от ужаса, что «на их папу кричат», а я ничего не могу сделать. Это ужасно, я и хочу сейчас, чтобы вот эта-то мысль стала бы понятной: жить же противно, жить неохота, когда мы такие.

Вечером того же дня (в шесть часов вечера) ко мне приехали из Вологды писатель В. Белов и секретарь Вологодского отделения Союза писателей поэт В. Коротяев. Я знал об их приезде (встреча эта деловая), поэтому заранее попросил моего лечащего врача оставить пропуск на них. В шесть часов они приехали — она не пускает. Я опять вышел... Она там зло орет на них. Я тоже зло стал говорить, что — есть же пропуск!.. Вот тут-то мы все трое получили...»

В вестибюле в то время было еще двое служителей — она, видно, давала им урок «обращения», они с интересом смотрели. Это было, наверно, зрелище. Я хотел рвать на себе больничную пижаму, но почему-то не рвал, а только истерично и как-то неубедительно выкрикивал, показывая куда-то рукой: «Да есть же пропуск!.. Пропуск же!..» ОНА, подбоченившись, с удовольствием, гордо, презрительно — и все же лица не помню, а помню, что презрительно и гордо — тоже кричала: «Пропуск здесь — я!» Вот уж мы бесились-то!.. И ведь мы, все трое, — молодые люди, повидали всякое, но как же мы суетились, господи! А она кричала: «А то — побежа-али!.. К дежурному врачу-у!.. — Это ОНА мне. — Я побегаю! Побегаю тут!.. Марш на место! — Это опять мне. — А то завтра же вылетишь отсудова!» Эх, тут мы снова, все трое, — возмущаться, показывать, что мы тоже законы знаем! «Как это — «вылетишь»?! Как это! Он больной!..» — «А вы — марш на улицу! Вон отсудова!..»

Так мы там упражнялись в пустом гулком вестибюле.

«Словом, женщина-вахтер не впустила моих товарищей ко мне, не дала и там поговорить и стала их выгонять. Я попросил, чтобы они нашли такси...»

Тут наступает особый момент в наших с НЕЙ отношениях. Когда товарищи мои ушли ловить такси, мы замолчали... И стали смотреть друг на друга: кто кого пересмотрит. И еще раз хочу сказать — боюсь, надоел уж с этим, — не помню ЕЕ лица, хоть убей. Но отлично помню — до сих пор это чувствую, — с какой враждебностью, как презрительно ОНА не верила, что я вот так вот возьму и уеду. Может, у НЕЙ драма какая была в жизни, может, ЕЙ много раз заявляли вот так же:

возьму и сделаю!.. А не делали, она обиделась на веки вечные, не знаю, только ОНА прямо смеялась и особо как-то ненавидела меня за это мое трепаческое заявление — что я уеду. Мы еще некоторое время смотрели друг на друга... И я пошел к выходу. Тут было отделился от стенки какой-то мужчина и сказал: «Э-э, куда это?» Но я нес в груди огромную силу и удовлетворенность. «Прочь с дороги!» — сказал я, как Тарас Бульба. И вышел на улицу.

Был морозец, я в тапочках, без шапки... Хорошо, что больничный костюм был теплый, а без шапок многие ходят... Я боялся, что таксист, обнаружив на мне больничное, не повезет. Но было уже и темновато. Я беспечно, не торопясь, стараясь не скользить в тапочках, чтобы тот же таксист не подумал, что я пьяный, пошагал вдоль тротуара, оглядываясь назад, как это делают люди, которые хотят взять такси. Я шел и думал: «У меня же ведь еще хроническая пневмония... Я же прямо горстями нагребаю в грудь воспаление». Но и тут же с необъяснимым упорством и злым удовлетворением думал: «И пусть».

А друзья мои в другом месте тоже ловили такси. На мое счастье, я скоро увидел зеленый огонек...

Все это я и рассказал в «Объяснительной записке». И когда кончил писать, подумал: «Кляуза вообще-то...» Но тут же сам себе с дрожью в голосе сказал:

— Ну, не-ет!

И послал свой ДОКУМЕНТ в больницу.

Мне этого показалось мало: я попросил моих вологодских друзей тоже написать ДОКУМЕНТ и направить туда же. Они написали, прислали мне, так как точного адреса больницы не знали. Я этот их ДОКУМЕНТ в больницу не послал — я и про свою-то «Объяснительную записку» сожалею теперь, — а подумал: «А напишу-ка я документальный рассказ! Попробую, по крайней мере. И приложу оба ДОКУМЕНТА».

Вот — прикладываю и их ДОКУМЕНТ.

г. Москва, ул. Погодинская, клиника
пропедевтики, Главному врачу.

Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на следующий возмутительный случай, происшедший в клинике 2 декабря в период с 18 до 19 часов. Приехав из другого города по делам, связанным с писательской организацией, мы обратились к дежурной с просьбой разре-

шить свидание с находившимся в клинике Шукшиным В. М. Вначале дежурная разрешила свидание и порекомендовала позвонить на этаж. Но, узнав фамилию больного, вдруг переменяла решение и заявила: «К нему я вас не пущу». На вопрос «почему?» — она не ответила и вновь надменно и грубо заявила, что «может сделать, но не сделает», что «другим сделает, а нам не сделает». Такие действия для нас были совершенно непонятны, тем более что во время наших объяснений входили и выходили посетители, которым дежурная демонстративно разрешала свидания. Один из них благодарил дежурную весьма своеобразно — он сказал, уходя: «Завтра с меня шоколадка». (Мы не предполагали, что в столичной клинике может существовать такая форма благодарности, и шоколадом не запаслись.)

В. М. Шукшин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам даже поговорить с В. М. Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, каковы ее имя и фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пьяны. Разумеется, это была заведомая ложь и ничем не прикрытое оскорбление.

Считаем, что подобные люди из числа младшего медицинского персонала позорят советскую медицину, и требуем принять административные и общественные меры в отношении медработника, находившегося на дежурстве во второй половине дня 2 декабря с. г.

Ответственный секретарь Вологодской писательской
организации В. Коротяев.
Писатель В. Белов.

И — число и подписи.

...Прочитал сейчас все это... И думаю: «Что с нами происходит?»

МУЖИК ДЕРЯБИН

Мужику Дерябину Афанасию — за шестьдесят, но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на

уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить, всех (у него их трое — два сына и дочь) довел до десятилетки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует, иногда, в страдную пору, поможет, правда, по ремонту в РТС.

Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились: почему их переулок называется Николашкин. А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на Колхозную. И крайний дом у оврага как раз дерябинский. И вот разговорились... Да особо много-то и не говорили.

— А ты рази не знаешь? — удивился старик Ванин. — Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его... когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали да в МТС перевезли. Контора-то в МТС — это ж...

— А-а, ну, ну... верно же! — вспомнил и Дерябин. — Дом-то, правда, без меня ломали — я на курсах был...

— Ну, вот и — Николашкин.

— А я думаю: пошто Николашкин?

— Николашка... Его так-то — отец Николай, а народишко, он ить какой — все пересобачит: Николашка и Николашка. Так и переулок пошел Николашкин.

Дерябин задумался. Подумал и сказал непонятно и значительно:

— Люди из городов на конвертах пишут: «Переулок Николашкин», а Николашка — всего-навсего поп. — И посмотрел на старика Ванина.

— Какая разница, — сказал тот.

— Большая разница. — Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал — и почему переулок Николашкин, и что Николашка — поп, знал. Только хитрил: он что-то задумал.

Задумал же он вот что.

Вечером, поздно, сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать:

«Красно-Холмскому райисполкому.

Довожу до вашего сведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай (по-старому отец Николай), в народе его звали Николашка, как никакого авторитета не имел, но дом его стоял в этом переулке.

Когда попа изъяли как элемента, переулочек забыли переименовать, и наш переулочек в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду — Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам — стыдно, а особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «переулочек Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверно, сгнил где-нибудь, а переулочек, видите ли, — Николашкин. С какой стати! Нас в этом переулочке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулочек? Да из тех же восьми дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулочек. Он, переулочек-то, маленький! А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации.

Активист».

Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это. И принялся писать другое:

«В Красно-Холмский райисполком.

Мы, пионеры, которые проживаем в переулочке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз! — сказали мы между собой. Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны — мы вынуждены жить в переулочке Николашкином. Нам всем очень стыдно — мы же носим красные галстуки! Неужели в этом же переулочке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина: он ветеран труда, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулочек. Мы, пионеры, предлагаем переименовать наш переулочек, назвать — Дерябинский. Мы хотим брать пример с дяди Дерябина, как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулочке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди!»

Дерябин перечитал и этот документ — все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не «переулочек Николашкин», а так: «переулочек Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу». Это им будет приятно.

На другой день Дерябин позвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка.

— Выходит, что вы живете в поповском переулке, — сказал он напоследок. — Я вам советую вот чего... Кто по чистописанию хорошо идет?

Один выискался.

— Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишется. А я вам за это три скворешни сострою с крыльцами.

Ребятишки так и сделали: один переписал своей рукой документ, все трое подписались под ним.

Дерябин заклеил письма в два конверта, один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик.

Прошло с неделю, наверно...

В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень.

— Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок... Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться: как нам его назвать-то?

— А чего они там советуют? — спросил Дерябин в плохом предчувствии. — Как предлагают?

— Да никак — подумайте, мол, сами. Как нам его лучше?.. Может, Овражный?

— Еще чего! — возмутился Дерябин. Он погрузился и обозлился: — Лучше уж Кривой...

— Кривой? А что?.. Он, правда что, кривой. Так и назовем.

Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с «Кривым»-то, что надо — в честь кого-нибудь... А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал... И председатель уехал.

— Сменили... шило на мыло, — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. — Вот дураки-то!.. Назло буду писать — «Николашкин».

И так и не написал детям, что его переулок теперь — Кривой, и они по-прежнему шлют письма: «переулок Николашкин, дом № 1, Дерябину Афанасию Ильичу».

РЫЖИЙ

Давно-давно это было! Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была — вот что стоит в памяти, как будто это было вчера.

Ехал я по Чуйскому тракту из Онгудая домой, в Сrostки. В Онгуде я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера... Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12—13, потому что когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?

Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой... Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать... Тревожно на душе, нехорошо.

И вот ехал домой. Сердце петухом поет — славно! Я знал: ругать меня не за что (бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный и писал маме, и я это письмо вез), а скоро будет — из-за горы откроется — моя деревня.

Из Онгудая к Сrostкам — это ехать с гор, вниз, в предгорье, километров триста. Крестный в Онгуде посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал деньги — и я ехал себе. Путь-то вон какой!.. От одной езды сердце замирало от радости. А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе, я спал на просторных полатах, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу... Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал-слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал... Было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится — протяжно как-то, нараспев — и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день... Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде подни-

маюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них — голо, снег... Мне милее пашня, но не ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, — никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу.

Едем...

Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5 (их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали «Захар» или «Захарыч», они славно поработали). Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот, встречный, дует посередке почти... Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречный — нахаль-но посередке. Рыжий удивленно уставился вперед... Я от его взгляда и встревожился-то: я сперва не понял, что нам грозит опасность. А опасность летела навстречу нам... Рыжий сбавил скорость и неотступным, немигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот — перед самым носом у нас — свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск...

Я больше испугался этого треска, чем толчка, до сих пор помню этот треск: резкий, сухой, мгновенный... Как-то от него, от этого треска, толкнулось в сознании, что беда, может, смерть... Но тут же все пронеслось — ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины... И я тоже вылез. У нас — со стороны руля — отвортило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось — на прощание, с потягом, а для нас удар — встречный: угла как не бывало, верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку — тот себе катит как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину... Крикнул мне: «Садись!» Я мигом очутился в кабине... Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего так угостил нас. Вот мы летели-то!.. Рыжий опять неотступно, не мигая — вообще страшновато — смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво — я смотрел то на рыжего, то на машину впереди. Расстоя-

ние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова... Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать, тоже припечатать этому, кузовом же, я слышал, так делают шоферы: за нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему:

— Их двое там...

Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил... Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как: во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре — догнать. Его нетерпение и мне передалось, я тоже впелся в ручку дверцы и тоже весь напряжился — тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание: скорей догнать и шваркнуть.

Тот по-прежнему чухал серединой тракта... Мы повисли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз, глотнул... И гудел, и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо... Горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала — и гудел, и гудел.

Долго тот не давал нам дороги... Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль... И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной — близко, рукой можно достать — прыгал враждебный нам кузов... И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал... Я уже стал видеть лицо того нахала: молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке... Покосился на нас, несколько назад... Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал... Тот, в фуражке, посмотрел на нас, скорей так: через меня на рыжего... И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо: широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое... Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют — и только. Никак уж, наверно, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство.

Мы стали уже обходить ЗИС, этот, в кепке, уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню — я его, наверно, не видел: до того интересно было смотреть на скуластого.

Мы почти обогнали, ехали серединой... И тут рыжий сделал так: дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед... Опять этот ужасный треск... Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти... И мы стали вовсе: рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот, с висячим уже бортом, не остановился. Рыжий подождал-подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что... Он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борта.

Я же почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно. Я очень уважал рыжего.

С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубиной в душе... Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот — молчаливые, спокойные, настырные... Такого не враз спишь. И зубы ему не заговоришь — он свое сделает.

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ЯКОВЛЕВ

Приехал в отпуск в село Борис Яковлев... Ему — под сорок, но семьи в городе нету, была семья, но чего-то разладилось, теперь — никого. Вообще-то, догадывались, почему у него — ни семьи, никого: у Яковлева скверный характер. Еще по тем временам, когда он жил в селе и работал в колхозе, помнили: вечно он с каким-то насмешливым огоньком в глазах, вечно подоспеет с ехидным словом... Все присматривается к людям, но не идет с вопросом или просто с открытым словом, а все как-то — со стороны норовит, сбоку: сощурит глаза и смотрит, как будто поджидает, когда человек неосторожно или глупо скажет, тогда он подлетит, как ястреб, и клюнет. Он и походил на ястреба: легкий, поджарый, всегда настороженный и недобрый.

У него тут родня большая; мать с отцом еще живые... Собрались, гуляли. Гуляли Яковлевы всегда шумно, всегда с драками: то братаны сцепятся, то зять с тестем,

то кумовья — по старинке — засопят друг на друга. Это все знали; что-то было и на этот раз, но не так звонко — поустила, видно, и Яковлевы.

Сам Борис Яковлев крепок на вино: может выпить много, а не качнется, не раздерет сдуру рубаху на себе. Не всегда и поймешь, что он пьян: только когда приглядишься, видно — глаза потемнели, сузились, и в них точно вызов какой, точно он хочет сказать: «Ну?»

Был он и на этот раз такой.

В доме у него еще шумели, а он, нарядный, пошел к новому клубу: там собралась молодежь, даже и постарше тоже пришли — ждали: дело воскресное, из района должна приехать бригада художественной самодеятельности, а вместе с районными хотели выступить и местные — ну, ждали, может, интересно будет.

Яковлев подошел к клубу, пооглядывался... Закурил, сунул руки в карманы брюк и продолжал с усмешечкой разглядывать народ. Может, он ждал, что к нему радостно подойдут погодки его или кто постарше — догадуются с приездом поздравить; у Яковлева деньги на этот случай были в кармане: пошли бы выпили. Но что-то никто не подходил; Яковлев тискал в кулаке в кармане деньги и, похоже, злился и презирал всех. Наверно, он чувствовал, что торчит он тут весьма нелепо: один, чужой всем, стоит перекидывает из угла в угол рта папиросину и ждет чего-то, непонятно чего. Самодеятельность эту он глубоко имел в виду, он хотел показать всем, какой он — нарядный, даже шикарный, сколько (немало!) заколачивает в городе, может запросто угостить водкой... Еще он хотел бы рассказать, что имеет в городе — один! — однокомнатную квартиру в новом доме, что бригадира своего на стройке он тоже имеет в виду, сам себе хозяин (он сварщик), что тишина эта сельская ему как-то... не того, не очень — по ушам бьет, он привык к шуму и к высоте. Наверно, он хотел вскользь как-нибудь, между прочим, между стопками в чайной, хотел бы все это рассказать, это вообще-то понятно... Но никто не подходил. Погодков что-то не видно, постарше которые... Черт их знает, может, ждали, что он сам подойдет; некоторых Яковлев узнавал, но тоже не шел к ним. А чего бы не подойти-то? Нет, он лучше будет стоять, презирать всех, но не подойдет — это уж... такого мама родила. В его сторонку взглядывали, может, даже говорили о нем... Яковлев все это болезненно чувствовал, но не двигался с места. Сплюнул одну «казбечину», полез за другой. Он смотрел и

смотрел на людишек, особенно на молодых ребят и девушек... Сколько их расплодилось! Конечно, все образованные, начитанные, остроумные, а хоть бы у кого трояк лишний в кармане! Нет же ни шиша, а стоя-ат, разговоры ведут разные, баяют, сопляки, похохатывают... Яковлев жалел, что пришел сюда, лучше бы опять к своим горлопанам домой, но не мог уж теперь сдвинуться: слишком долго мозолил глаза тут всем. И он упорно стоял, ненавидел всех... и видом своим показывал, как ему смешно и дико видеть, что они собрались тут, как бараны, и ждут, когда придет самодеятельность. Вся радость — самодеятельность! Одни дураки ногами дрыгают, другие — радуются. «Ну и житуха! — вполне отчетливо, ясно, с брезгливостью думал Яковлев. — Всякой дешевизне рады... Как была деревня, так и осталась, чуть одеваться только стали получше. Да клуб отгрохали!.. Ну и клуб! — Яковлев и клуб новый оглядел с презрением. — Сарай длинный, в душу мать-то... Они тут тоже строят! Как же!.. Они тоже от жизни не отстают: клуб замастырили!»

Так стоял и точил злость Яковлев. И тут увидел, идут: его дружок детства Серега Коноплев с супругой. Идут под ручку, честь по чести...

«Ой, ой, — стал смотреть на них Яковлев, — пара гnedых. Как добрые!»

Сергей тоже увидел Яковлева и пошел к нему, улыбаясь издали. И супругу вел с собой; супругу Яковлев не знал, из другой деревни, наверно.

— Борис?.. — воскликнул Сергей; он был простодушный, мягкий человек, смолоду даже робкий, Яковлев частенько его, бывало, колачивал.

— Борис, Борис... — снисходительно сказал Яковлев, подавая руку давнему дружку и его жене, толстой женщине с серыми, несколько выпученными глазами.

— Это Галя, жена, — все улыбался Сергей. — А это друг детства... А я слышал, что приехал, а зайти... как-то все время...

— Зря церкву-то сломали, — сказал вдруг Яковлев ни с того ни с сего.

— Как это? — не понял Сергей.

— Некуда народишку приткнуться, смотрю... То бы хоть молились.

— Почему? — удивился Сергей. И Галя тоже с изумлением и интересом посмотрела на шикарного электро-

сварщика. — Вот... самодеятельность сегодня... — продолжал Сергей. — Поглядим.

— Чего там глядеть-то?

— Как же? Спляшут, споют. Ну, как жизнь?

Яковлева вконец обозлило, что этот унылый меринок стоит лыбиться... И его же еще и спрашивает: «Как жизнь?»

— А ваша как? — спросил он ехидно. — Под ручку, смотрю, ходите... Любовь, да?

Это уж вовсе было нетактично. Галя даже смутилась, огляделась кругом и отошла.

— Пойдем выпьем, чем тут муть-то смотреть, — предложил Яковлев, не сомневаясь нисколько, что Серега сразу и двинется за ним. Но Серега не двинулся.

— Я же не один, — сказал он.

— Ну, зови ее тоже...

— Куда?

— Ну, в чайную...

— Как в чайную? Пошли в клуб, а пришли в чайную? — Сергей все улыбался.

— Не пойдешь, что ли? — Яковлев все больше и больше злился на этого чухонца.

— Да нет уж... другой раз как-нибудь.

— Другого раза не будет.

— Нет, счас не пойду. Был бы один — другое дело, а так... нет.

— Ну пусть она смотрит, а мы... Да мы успеем, пока ваша самодеятельность приедет. Пойдем! — Яковлеву очень не хотелось сейчас отваливать отсюда одному, невмоготу. Но и стоять здесь тоже тяжело. — Пошли! По стакашку дернем... и пойдешь смотреть свою самодеятельность. А мне на нее... и на всю вашу житуху глядеть тошно.

Сергей уловил недоброе в голосе бывшего друга.

— Чего так? — спросил он.

— А тебе нравится эта жизнь? — Яковлев кивнул на клуб и на людей возле клуба.

— Жизнь... как жизнь, — сказал он. — А тебе что, кажется, скучно?

— Да не скучно, а... глаза не глядят, в душу мать-то, — накалялся Яковлев. — Стоя-ат... бараны и бараны, курва. И вся радость вот так вот стоять? — Яковлев прямо, ехидно и насмешливо посмотрел на Сергея: то есть он и его, Сергея, спрашивал — вся радость, что ли, в этом?

Сергей выправился с годами в хорошего мужика: крепкий, спокойный, добрый... Он не понимал, что происходит с Яковлевым, но помнил он этого ястреба: или здесь кто-нибудь поперек шерсти погладил — сказал что-нибудь не так, или дома подрались. Он и спросил прямо:

— Чего ты такой?.. Дома что-нибудь?

— Приехал отдохнуть!.. — Яковлев уж по своему адресу съехидничал. И сплюнул «казбечину». — Звали же на поезд «Дружбу» — нет, домой, видите ли, надо! А тут... как на кладбище: только еще за упокой не гнут. Неужели так и живут?

Сергей перестал улыбаться; эта ехидная остервенелость бывшего его дружка тоже стала ему поперек горла. Но он пока молчал.

— У ты дети-то есть? — спросил Яковлев.

— Есть.

— От этой? — Яковлев кивнул в сторону толстой, сероглазой жены Сергея.

— От этой...

— Вся радость, наверно, — допрашивал дальше Яковлев, — попытись с ней на коровьем реву, и все?

— Ну а там как?.. — Сергей, видно было, глубоко и горько обиделся, но еще терпел, еще не хотел показать это. — Лучше?

— Там-то?.. — Яковлев не сразу ответил. Зло и задумчиво сощурился, закурил новую, протянул коробку «Казбека» Сергею, но тот отказался. — Там своя вонь... но уж хоть — в нос ширяет. Хоть этой вот мертвечины нет. Пошли выпьем!

— Нет. — Сергей, в свою очередь, с усмешкой смотрел на Яковлева. Тот уловил эту усмешку, удивился.

— Чего ты? — спросил он.

— Ты все такой же, — сказал Сергей, откровенно и нехорошо улыбаясь. Он терял терпение. — Сам воняешь едешь по свету, а на других сваливаешь. Нигде не правится, да?

— А тебе нравится?

— Мне нравится.

— Ну и радуйся... со своей пучеглазой. Сколько уже настрогали?

— Сколько настрогали — все наши. Но если ты еще раз, падали кусок, так скажешь, я... могу измять твой дорогой костюм. — Глаза Сергея смотрели зло и серьезно.

Яковлев не то что встревожился, а как-то встрепенулся; ему враз интересно сделалось.

— О-о, — сказал с облегчением. — По-человечески хоть заговорил. А то — под ру-учку идут... Дурак, смотреть же стыдно. Кто счас под ручку ходит!

— Ходил и буду ходить. Ты мне, что ли, указчик?

— Вам укажешь!.. — Яковлев весело, снисходительно, но и с любопытством смотрел на Сергея. — На тракторе работаешь?

— Не твое поганое дело.

— Дурачок... я же с тобой беседую. Чего ты осердился-то? Бабу обидел? Их надо живьем закапывать, этих подруг жизни. Гляди!.. обиделся. Любишь, что ли?

С Яковлевым трудно говорить: как ты с ним ни заговори, он все равно будет сверху — вскрылит вверх и оттуда разговаривает... расспрашивает с каким-то особым гадким интересом именно то, что задело за большое собеседника.

— Люблю, — сказал Сергей. — А ты свою... что, закопал, что ли?

Яковлев искренне рассмеялся; он прямо ожил на глазах. Хлопнул Сергея по плечу и сказал радостно:

— Молоток! Не совсем тут отсырел!.. — Странная душа у Яковлева — витая какая-то: он, правда, возрадовался, что заговорили так... нервно, как по краешку пошли, он все бы и ходил вот так — по краешку. — Нет, не удалось закопать: их закон охраняет. А у тебя ничего объект. Где ты ее нашел-то? Глаза только... Что у ей с глазами-то? У ней не эта?.. болезнь такая с глазами есть... Чего она такая пучеглазая-то?

Сергей по-деревенски широко размахнулся — хотел в лоб угодить Яковлеву, но тот увернулся, успел, Сергей ударил его куда-то в плечо, не больно. Яковлев этого только и ждал: ногой сильно дал Сереге в живот, тот скорчился... Яковлев кулаком в голову спиб его вовсе с ног. И спокойно пошел было прочь от клуба... Его догнали. Он слышал, что догоняют, но не поворачивался до последнего мгновения, шел себе беспечно, даже «казбечину» во рту пожевывал... И вдруг побежал, но тут же чуть отклонился и дал первому, кто догонял, кулаком наотмашь. Первому он попал, но догоняло несколько, молодые... Хоть и умел Яковлев драться, его скоро спибли тоже с ног и несколько попинали, пока не подбежали пожилые мужики и не разняли.

Яковлев встал, сплюнул, оглядел всего себя — ничего

существенного, никаких особых повреждений. Отряхнулся. Он был доволен.

— Ну, вот... — сказал он, доставая «Казбек», — хоть делом занялись... — Яковлев насмешливо оглядел окружающих его мужиков и молодых парней. — А то стоят-ат ждут свою самодеятельность дурацкую.

— Иди отсюда, — посоветовали ему.

— Пойду, конечно... Что же мне, тоже самодеятельность, что ли, с вами стоять ждать? Кто выпить хочет? Парни...

Никто не изъявил желания пить с Яковлевым.

— Скучно живете, граждане, — сказал Яковлев, помолчав. Сказал всем, сказал довольно проникновенно, серьезно: — Топно глядеть на вас.

— Еще, что ли, дать?

— Надо было, — сказал кто-то из пожилых мужиков. — Зря разняли.

— Не в этом дело, — сказал Яковлев. — Скучно, — еще раз сказал он, сказал четко, внятно, остервенело. Сунул руки в карманы шикарных брюк, пожевал «казбечину»... И пошел.

Еще немного постояли, глядя вслед Яковлеву... Повспоминали, какой он тогда был — всегда был такой. Они все, Яковлевы, такие: вечно недовольные, вечно кулаки на кого-нибудь сучат...

Тут как раз приехала самодеятельность. И все пошли смотреть самодеятельность.

ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ

В нервной, шумливой семье Худяковых — происшествие: родился младенец по имени Антон. То-то было волнений, крика, когда их — роженицу и младенца — привезли домой... Радовались, конечно, но и шумели, и нервничали тут же — стыдились радоваться: у Антона нет отца. То есть он, конечно, есть, но пожелал остаться неизвестным. Семья Худяковых такая: отец Николай Иванович, сухой, пятидесятилетний, подвижный, как юноша, резкий... Шофер. Как разволнуется, начинает заикаться. Мать Лариса Сергеевна, обычно крикливая, но не злая. Сын их Костя, двадцатитрехлетний, слесарь, то-

же нервный, часто волнуется, но тогда не кричит и не говорит — мало говорит — старается найти слова сильные, точные, не сразу их находит и выразительно смотрит темно-серыми глазами на того, кому он хотел бы найти эти слова. И наконец, дочь Алевтина, двадцатилетняя, с припухлыми, чуть вывернутыми губами, хоть тоже шумливая, но добрая и доверчивая, как овца. Она-то и родила Антона. Из-за нее-то и нервничали. Казалось бы, чего уж теперь-то нервничать: знали же, ждали же... Нет, как привезли человечка, тут они все разнервничались — на то они и Худяковы, крикуны, особенно отец.

— Ну, х-орошо, ну, л-л-л... это... ладно, — кричал отец, — если он не хочет прийти, то х-оть скажи: кто он?!

Алевтина плакала, но не говорила, упорно не говорила... Николай Иванович из себя выходил, метался по комнате. Лариса Сергеевна — это странно, но никто как-то на это не обращал внимания, что это странно, — не кричала, а спокойно налаживала кровать, распоряжалась насчет пеленок, распахивала... Она, как видно, свое открыла раньше. Костя... У Кости, брата, было сложное чувство. Младенец взволновал его, обрадовал, но досада, стыд и злость на сестру губили радость. Он тоже хотел бы знать, кто же это такой ловкий, что и ребенка смастерил, и глаз казать не хочет?

— Подожди ты, не кричи, — сказал он отцу, — чего криком достигнешь?

— Достигали! — закричал и на него отец. — Вы все-го достигаете!.. Вон вы чего достигаете — в подолах приносить. Радуйтесь теперь!..

— Ну и... все. Чего кричать-то? Чего изменишь-то криком?

— Я хочу знать: кто?! — Отец резко крутнулся на месте, махнул рукой и выбежал из комнаты. На кухню. Он не мог совладать с отчаянием. — Как добрым, отдельную квартиру дали!.. — вовсе уже бессмысленно кричал он оттуда. — Нет, они начинают тут... Тьфу!

— Алька, — приступил к допросу Костя, приступил, как ему казалось, спокойно и умно, — скажи мне, я один буду знать: кто?

— Иди ты к черту! — закричала на него заплаканная Алька. — Не скажу! Не ваше дело.

— Не наше?! — закричал и Костя. И уставился на сестру, и смолк, в поисках сильного справедливого слова. — А чье же? Не наше?.. Зануды вы!.. Дуры! — Он тоже резко повернулся и ушел на кухню.

— Ну, что за дуры такие!.. — повторил он уже на кухне, при отце. И стал закуривать. — Убивать таких...

Отец, засунув руки в карманы брюк, стоял у окна, обиженно смотрел на улицу.

— Вырастили дочь, — сказал он. — Хоть беги теперь от позора... С кем она дружила-то? — опять повысил он голос. И повернулся к сыну. — Не знаешь?

— Откуда я знаю?

— «Откуда я знаю!» Черти... Засмеют теперь, людям только дай повод. Эх-х!..

Они долго молчали, курили, невольно прислушиваясь к возне там, в комнате. Маленький Антон молчал.

— Парень-то крепкий уродился, — сказал отец страдальческим голосом.

— Ну и пусть растет, — невольно поддался было Костя мирному, хоть и горькому настроению. — Что теперь сделаешь?

— Ну, нет! — взвился опять отец. И вскочил, и заходил по тесной кухне. — Это они... сильно легко жить собрались! Черта с два! Так не бывает. — Он помолчал, еще походил немного, остановился перед сыном. — Ты вот что: когда успокоимся, ты как-нибудь подъезжай к ней... Хитростью как-нибудь. Не может быть, чтобы нельзя узнать... Что, в чужой стране, что ли? Поумней как-нибудь... Не кричи, а поспокойней. То, се, мол, может, привет передать... Да не может быть, чтобы нельзя было узнать! Я его приведу, подлеца, и — носом в пеленки, как кота: вот теперь твое место здесь, здесь... Гады золотушные. Ишь, научились как!.. Прямо не жизнь, а малина. Ну, нет!..

— Да что нет-то? Что нет-то? — рассердился вдруг Костя на отца. — Что сделаешь-то?

— Что сделаю? Приведу и поселю здесь жить: вот тебе, друг ситный, твоя семья: жена и сын.

— А он пошлет тебя... И все. И ничего ты не сделаешь.

Отец строго уставился на сына... Но, видно, и сам тоже подумал: а что действительно тут сделаешь?

— Сде-е-лаем, — сказал он обещающе, но развивать эту мысль дальше не стал, — нечего развивать, вот и не стал. Сел, закурил опять. Курил и смотрел в пол безнадежно. Пальцы рук его чуть тряслись.

Косте стало жалко отца. Ничего он не сделает, подумал он. Что он может сделать? Покричит-покричит, а будет все, как есть. Но если пожилой отец ничего не мо-

жет сделать, тут же подумал Костя, то мне-то грех оставлять беззащитными сестру и племянника. Это уж... извините. И решил Костя: не надо кричать, не надо суесться, надо спокойно, железной рукой восстановить справедливость. Эти волосатики, правда что, собрались легко жить! (Почему-то он был уверен, что отец Антона — какой-нибудь из этих, каких он часто видел во дворе с гитарой.) Самого Костю как-то миновало это поветрие — трясти космами и до одури брэнчать на гитаре, он спокойно презирал обтянутых парней, сторонился и следил только, чтобы у него с ними не случилось драки: волосатики ходили стадом и не стыдились бить кучей одного.

Костя решил, что он все равно узнает, кто отец Антона. А там уж видно будет, что делать.

И Костя узнал.

Дня через три, когда все малость успокоились, он тихоньку перерыл сумочки сестры, карманы ее пальто и курточек — и нашел что искал: записную книжку. В книжке — номера телефонов. Костя стал внимательно изучать эти номера. Тут были телефоны подружек, рабочие телефоны (Алевтина работала на почте), телефоны каких-то тетей... Но того, что было нужно, не было. Тогда Костя набрал телефон первой попавшейся подружки Алевтины. Светы какой-то...

— Света? — спросил он вежливо.

— Да-а, -- пропел в ухо ему голосок. — Кто это?

— Света, это брат Алкин... Слушай сюда, у нас же это... прибавление...

Света молчала.

— Знаешь, да? — продолжал Костя игриво.

— Да, — сказал в ухо голосок. — Знаю.

— А чего же он не звонит? А?

— Кто, Игорь?

— Да, Игорь-то. Чего он?

— Но они же... — Света, видно как, спохватилась, помолчала и сказала: — Я не знаю.

— Что «не знаю»? Чего ты хотела сказать?

— Не знаю...

— А кто он, этот Игорь?

— Не знаю.

Все, теперь она не слезет со своего «не знаю». Ну, хватит и того, что успела сказать.

— Что же вы такие, Света? — спросил Костя как можно спокойнее. И сжал трубку, аж пальцы побелели.

— Какие? — удивилась Света.

— Да лахудры-то такие... Что, совсем, что ли, дуры полные?

Света положила трубку.

Игорек... Ну, держись, Игорек... Собака!

Костя походил возле телефона-автомата... Как умней повести дело? Надо же этого Игорька еще добыть!

«Э! — догадался Костя. — Да эти же и знают, с гитарами-то. Чего я?..»

И он подошел к одному, к тоскливому... Этот тоскливый был, видно, с похмелья по воскресному делу, сидел один на скамеечке под березой, устало и одинаково смотрел перед собой — ждал, что ли, кого.

— Что такой задумчивый? — спросил Костя, присаживаясь на скамейку.

Тоскливый повернулся к нему... Глаза круглые, неслучные, несколько усталые, но тотчас засветились любопытством и неким немим ожиданием.

— А чего? — спросил он.

«Да нормальные люди! — успел подумать Костя. — Напускают только на себя...»

У этого, тоскливого, даже и волосы-то не такие уж длинные, правда — усы...

— Ты этого... Игорька знаешь? — прямо спросил Костя. — С сеструхой-то который...

Тоскливый некоторое время с интересом смотрел на Костю — не то что изучал, но и не скрывал интереса. Усмехнулся.

— А тебе что?

Костя заволновался, но прищемил свое волнение зубами... Тоже смотрел на усатого, старался усмехнуться, но не знал: усмехается или нет? Очень уж он как-то сразу взволновался.

— Пошли выпьем? — сказал Костя. И суетливо сунулся в карман, чтобы этим жестом успокоить усатого — что не трепется, что деньги есть. Но деньги не стал показывать, ибо заметил, что усатый утратил интерес к нему: видно, как поторопился он с этой выпивкой.

«Ну а как, как? — в отчаянии соображал Костя. — Как же?»

— Прикупить, что ли, хочешь? — спросил усатый. И отвернулся. Но снова повернулся. — Зачем тебе Игорька-то? — спросил.

Тут Костя взмолился:

— Слушай... прости с этой выпивкой — сам не знаю, чего я... Прости. — Он даже тронул трясущейся рукой усатого по колену. — Я хочу спросить Игорька: будут они... сходиться-то?

Усатый опять смотрел на Костю, и опять глаза его круглые слабо осветились жизнью: опять ему стало интересно. Он усмехнулся.

— Не будут, — сказал он.

— Почему? — спросил Костя. Он хотел бы тоже усмехнуться, но не знал: получается у него усмешка или нет. — А зачем же тогда ребенка-то?..

— Это ты у сестры спроси, — молвил резонно усатый. И отвернулся. Интерес потух в его круглых глазах.

Мгновение Косте казалось, что он кинется на усатого, вцепится ему в горло... но он помолчал и спросил:

— Неужели ребенка-то?.. Хоть бы посмотрел. Что уж тут, съедят, что ли, вашего Игорька? Чего боитесь-то?

— Кто боится? — спросил усатый удивленно.

— Да вы боитесь. — Костя понял, что нечаянно угодил в слабое место усталой души усатого. — Чего же прячетесь, если не боитесь?

Усатый долго молча смотрел на Костю... И Костя смотрел на него, и ему удалось презрительно усмехнуться, он это почувствовал.

— Ну и поганцы же!.. — сказал он презрительно. — Чуть чего, так в кусты. Дженгльмены, мать вашу... Твари.

Усатый задумался... Скосил глаза куда-то мимо Кости и даже губу покусал в раздумье.

— Мгм, — сказал он. — Я могу дать адрес Игорька... Но вечером ты выйдешь и расскажешь, как вы там поговорили. Так есть?

— Есть, — поспешно согласился Костя. — Расскажу.

— Мичурина, двадцать семь, квартира восемнадцать. Но не забудь, вечером расскажешь.

...Костя летел на Мичурина и твердил в уме: «Двадцать семь, восемнадцать, двадцать семь, восемнадцать...» Почему-то взял страх, что забудет, а записать — ручки с собой нет. Ни о чем другом не думал, твердил и твердил эти цифры. Только когда пришел к дому двадцать семь и стоял уже перед дверью, на которой табличка — 18, тогда только перевел дух... И тут обнаружил, что очень волнуется, так волнуется, как никогда не волновался: даже сердце заболело. Нет, надо успокоиться, решил Костя,

а то... что же я такой сделаю там? Он походил перед дверью... Не успокоился, а, сам того не желая, не сознавая даже, нажал кнопку звонка.

Дверь открыла моложавая еще женщина, очень приятная на вид... Открыла и смотрела на Костю.

— Игорь дома? — спросил Костя спокойно. Он поразился в душе своему вдруг спокойствию. Только что его чуть не трясло от волнения.

— Нету... — Что-то такое было, наверно, в глазах Кости, что женщина не закрыла дверь, а смотрела на него вопросительно, даже встревоженно. — А вы... вам зачем он?

Костя пошел прямо на женщину... Она невольно посторонилась, и Костя прошел в квартиру. По коридору навстречу ему шел мужчина в спортивном костюме, лет так пятидесяти пяти, с брюшком, но с таким... аккуратным брюшком, упитанный, добродушный. Но хоть лицо его добродушное, в эту минуту оно тоже было несколько встревоженное. Он тоже вопросительно смотрел на Костю.

— Я к вашему Игорю, — сказал Костя.

— Но нет же его, — чуть раздраженно сказала сзади женщина.

— А где он? — Костя стал в коридоре между мужчиной и женщиной — отцом и матерью Игорька, как он понял. — Мне его срочно надо.

— А что такое? — спросил мужчина.

— Он скоро придет? — в свою очередь спросил Костя. Спросил почему-то у женщины.

— А что такое? — опять спросил мужчина.

Костя повернулся к мужчине и долго, внимательно смотрел ему в глаза. Тот не выдержал, шевельнул плечом, коротко — поверх Кости — глянул на жену, потом опять на Костю.

— В чем дело-то, вы можете объяснить? — потребовал он строго.

Костя стиснул зубы и смотрел на мужчину.

— У Игоря... у вашего, — заговорил он дрожащим от обиды, от горькой обиды и ярости голосом, — родился сын. Но Игорь ваш... не хочет даже... Игорь ваш прячется, как... — Костя не досказал, как кто, но он знал — чувствовал — он здесь сейчас скажет все: как на грех, стоял перед ним — сытый благополучный человек, квартира большая, шуба дорогая висит на вешалке, шляпа на вешалке, сверху...

— То-о есть? — как-то даже пропел мужчина. — Как это?

— Что, что, что?.. — несколько заполошно зачастила сзади женщина. — Что?

— У Игоря вашего родился сын. Но Игорь ваш... не на тех нарвался! — У Кости прыгали губы; все здесь — эти изумленные, сытые люди, квартира богатая — все предстало в его сознании как мир недобрый, враждебный, он весь стиснулся, скрутился в злой, крепкий комок. Он мог бы — готов был — дать ногой в аккуратный живот мужчине.

— Не на тех нарвался ваш Игорь! — повторил Костя. В этот миг ему бросилась в глаза медная ступка с пестиком, что стояла на тумбочке в коридоре, он отметил, что она стоит тут, это придало Косте уверенности. Он даже несколько успокоился.

— Ну-ка, пройдемте сюда, — сказал мужчина. И повернулся и ушел в дверь направо из коридора. — Идите сюда! — сказал он уже из комнаты громко.

Костя повернулся к женщине и сказал:

— Идите, чтобы вы тоже знали... — и показал рукой на дверь, куда ушел мужчина.

Женщина (она была так растеряна, что покорно повиновалась) пошла в комнату.

Когда она зашагнула за порог двери, Костя прошел мимо тумбочки, неслышно вынул пестик из ступки и сунул во внутренний карман пиджака; пестик был небольшой, аккуратный, тяжеленький. Он оттянул полу пиджака, но надо специально приглядываться, чтобы это заметить.

— Ну-ка, по порядку, — велел мужчина, когда Костя вошел в большую красивую комнату с рыбками на подоконнике. — Не волнуйтесь, не... Толком расскажите, в чем дело? Кто вы такой?

— Человек, — сказал Костя, опускаясь в мягкое кресло. С пестиком он себя чувствовал уверенно, как с наганом. — Ваш Игорек... Я еще раз вам говорю: ваш Игорек стал отцом, но хочет, как гад, ускользнуть в кусты. Я повторяю: у него этот номер не пройдет.

— Да кто вы такой-то?! — чуть не со слезами вскричала женщина; она поняла, что это правда: ее Игорек стал отцом, и она готова была зареветь от ужаса.

— погоди, — остановил ее муж. — Ну-ка, — терпеливо, но уже и недоброе стал он расспрашивать, — наш Игорь стал отцом... То есть у него родился ребенок? Так?

— Так. Антон.

— А кто мать... Антона?

— Моя сестра.

— Боже мой! — воскликнула опять миловидная женщина. И уставилась на Костю с мольбой и отчаянием. Косте показалось даже, что она увидела оттянутую полу его пиджака и вот-вот взмолится, чтобы их не убивали. — Да какой же он отец?!

— А кто твоя сестра? — продолжал допрашивать мужчина; он заметно сердился. И чем больше он сердился, тем опять спокойнее становился Костя, спокойнее и ожесточенней.

— Тоже человек, — сказал он, глядя в глаза мужчине.

— Я тебя дело спрашиваю, сопляк! — взорвался мужчина. — Чего ты!.. Пришел здесь, понимаешь!.. Чего ты ломаешься сидишь? Пришел — говори дело. Кто твоя сестра?

— Че-ло-век, — сказал Костя. Руки его ходуном ходили — охота было уже выхватить пестик, но он еще сдерживал себя.

— Молодой человек, — взмолилась мать, — да вы расскажите все, зачем же мы злимся-то? Расскажите спокойно.

— Я не знаю, почему ваш муж обзывать начал, — повернулся Костя к женщине. — За сопляка я еще... мы еще про это тоже поговорим. Моя сестра... ей двадцать лет, она работала... пока не забеременела... Теперь она туда, конечно, не пойдет. От позора. Работала на почте. Мы люди простые... Мы люди простые, — повторил с глубокой внутренней силой Костя, глядя на мужчину, — но Игорек ваш от нас не уйдет. Лично от меня не уйдет. Ясно?

— Ясно, — сказал мужчина. И встал. — Вот оттого, что ты, сопляк... я повторяю: сопляк, пришел и взял сразу такой тон, я с тобой говорить отказываюсь. Тоже ясно? Я буду говорить с твоей сестрой, с отцом, с матерью, я тебе приказываю — вон отсюда! — И показал рукой на дверь. Он был властный человек.

Костя встал... И вынул из кармана пестик. И сразу без слов пошел на мужчину. Вмиг лицо мужчины сделалось серым... Он попятился назад, к рыбкам... Нахмурился и смотрел, как зачарованный на медный пестик в руке Кости. Женщина не сразу поняла, зачем Костя встал и пошел... Зачем вынул из кармана пестик, она это

тоже как-то не поняла. Она поняла все, когда увидела лицо мужа... И закричала пронзительно, жутко. Костя оглянулся на нее... И тотчас полетел на пол от крепкого удара в челюсть. Мужчина прыгнул на него, заломил назад его правую руку и легко вырвал пестик.

— Вон ты какой!.. — сказал он, поднимаясь. — Вставай! Садись сюда.

Костя поднялся, сплюнул сукровицей на ковер... Посмотрел на мужчину. Глаза Кости горели безумием и отвагой.

— Все равно убью, — сказал он.

Мужчина толкнул его в кресло. Костя упал в кресло, ударился затылком об стенку. Но продолжал смотреть на мужчину.

— Убью... из ружья. Подкараулю и убью, — повторил он.

Мужчина с пестиком в руке сел напротив, заговорил разумно и спокойно:

— Хорошо, убьешь. За что?

— За то, что породили такого бессовестного... такую тварь бессовестную. Кто так делает? — Косте хотелось заплакать и кинуться на разумного мужчину. — Кто так делает?! — закричал он.

— Что делает? Как делает?

— Как ваш сын...

— А сестра твоя как делает? — жестко и справедливо спросил мужчина. — Она же совершеннолетняя.

— Она дура!

— Что значит «дура»? Дуру не возьмут работать на почту.

— Она жизни не знает... Много надо, чтобы их обмануть! Нет, — постучал Костя худым кулаком по своей острой коленке, — пока они не распишутся и не будут жить нормально... до тех пор я вам жизни не дам. Сам погибну, но вам тоже не жить. Сам все сделаю, сам! Сам буду судить!.. За подлость.

Мужчина внимательно и тяжело смотрел на него. Долго молчал.

— Не пугай ты меня, не пугай, — сказал Костя на это тяжкое молчание. — Не испугаешь. Убить — можешь... Дай вон пестиком по голове и в багажнике вывези куда-нибудь...

— Господи, да что же это такое-то! — тихо, с ужасом воскликнула опять женщина. — Да о чем вы говорите?!

— Мне жизнь не такая дорогая, как вашему красав-

цу... Но ему не жить, если он не сделает по-человечески! — Костя опять с силой ударил кулаком по колену. — Не жить! Я жить не буду, отец убьет вас: он знает, куда я пошел...

— Кто твой отец? — спросил мужчина.

— Человек. Чего тебе все надо: кто? Кто? Человек, кто! Пуза у него, правда, нет вот такого... — Костя посмотрел на аккуратный арбуз мужчины, обтянутый синим спортивным свитером.

— Сейчас ты оставишь свой адрес и уйдешь, — сказал мужчина. Встал и подошел к столу — записать адрес. — Говори.

— Я не уйду отсюда, пока не дождусь вашего Игорька... Потом мы пойдем вместе, я его суну носом в пеленки — он будет знать, где теперь его дом и семья.

— Да какой он семьянин! — не то с изумлением, не то невольно со смехом, с горьким, правда, смехом сказала мать. — Он только первый курс закончил... Ему еще четыре года учиться.

— Будет работать и учиться, — заметил на это Костя. — Ничего страшного.

— Давай адрес! — опять стал злиться отец. — Я приду говорить с твоим отцом. А ты человеческих слов, я вижу, не понимаешь.

— Ваш подонок зато понимает человеческие слова... Красивые, наверно, слова! Я не двинусь отсюда, пока его не дождусь.

— Да нету его, нету! — тоже громко и сердито воскликнула мать, оскорбленная за «подонка». — Что же, милицию, что ли, вызвать?

— Вызывайте.

— Но нет его! Нету в городе — в деревне он.

— Врете.

— Говори адрес!.. — заорал мужчина, багровея.

— Не ори, — посоветовал Костя. — А то живот лопнет...

Мужчина бросил ручку, бросил пестик, который еще держал в руке, быстро подошел к Косте, сгреб его за шиворот и повлек по коридору к входной двери. Но как ни крепок он был, мужчина, все же Костя был молодой и жилистый... Он сперва покорно пошел, повинувшись руке, а когда мужчина расслабился и уже без усилия вел Костю за шкурку, тот вдруг вывернулся, развернулся и со всей матушки-силы дал ногой мужчине в живот. Тот так и сел к стене на корточках... Женщина закричала, выле-

тела из коридора в какую-то еще комнату к телефону, как понял Костя, потому что услышал, как схватили трубку и крутнулся диск. Костя вернулся в красивую комнату с рыбками, взял пестик и вышел опять в коридор.

— Не надо! — хоть с трудом, но громко сказал мужчина. Костя думал, что он ему говорит, но мужчина смотрел мимо него и еще раз крикнул: — Ольга, не надо!

Женщина появилась в коридоре. Тоже закричала:

— Но это же бандитизм. Почему не надо?! Это же бандитизм!..

— Не надо, — решительно сказал мужчина. Он поднялся, держась за стенку, постоял, переживая боль в животе... Вздохнул и качнул головой. И скрипнул зубами. На Костю с пестиком не смотрел.

— Пойдем к отцу вместе, — сказал он после долгой паузы. — Дай одеться, Оля.

Костя жалел, что пнул мужчину — он сам не ждал, что так случится, — зато теперь хоть дело стало походить на дело: с отцом-то им легче будет захомутать этих жеребцов — Игорька с его папашей. Впрочем, чувство враждебности к отцу Игорька у Кости поослабло — оставалось одно нетерпеливое желание: довести справедливое дело до конца.

Когда мужчина надел костюм и появился в коридоре, у него каким-то образом куда-то упряталось брюшко; стоял солидный мужчина, решительный, крупный, крепкий.

— Пошли, — сказал он Косте. — Пестик-то оставь.

Костя положил пестик на стул перед самым выходом из квартиры.

— Где ваш дом? — спросил мужчина, когда стояли у лифта, ждали кабину.

— На Советской.

— Как туда ехать?

— Да тут три квартала...

Лифт подъехал... Вошли в кабину, закрылись, мужчина нажал кнопку — мягко поехали вниз. Стояли близко друг к другу, так близко, что Косте было неловко смотреть в глаза мужчине. А тот смотрел на него. Но Костя тоже старался не утратить самостоятельности и решительного настроения. Единственное, о чем он пожалел в эту минуту, — что он не такой же крупный и солидный, как этот, который смотрит на него несколько

сверху. Костя часто жалел, что он не крупный, не солидный.

— Сколько тебе лет? — спросил мужчина.

— Не в этом дело, — сказал Костя.

Тут лифт мягко остановился — точно сел на подушки — очень хороший лифт... Вышли, спустились несколько вниз по ступенькам и очутились на улице.

— А чего ты так ерепенишься-то? — спросил мужчину.

— А чего же мне на вас, молиться?

— Да не молиться, кто тебя заставляет молиться. Но так же тоже... умные-то люди не ведут себя.

— Ваш Игорек зато ведет себя... Комсомолец небось!

— Из всякого безвыходного положения всегда можно найти выход, запомни это.

— Что, деньги небось будете совать?

— Дурак, — сказал мужчина горько. — Психопат. И сестра твоя такая же?

— Что же вы умные... — Костя даже остановился от возмущения и от обиды. — Ишь, умные! — Костя сам теперь в упор смотрел на мужчину. — Умники... — Он стиснул зубы и клятвенно сказал: — Я вам раз и навсегда говорю: не сделаете по-человечески, я...

— Пошли, — коротко и тоже решительно сказал мужчина, повернулся и пошагал дальше. — От горшка два вершка, а сплошные угрозы. Сопляк.

Некоторое время шли молча.

— Что же это за семья будет, если мы их силой сведем? Вы об этом-то подумали? — спросил мужчина.

— А он думал?..

— Да что ты, как дятел, — «он, он»! А она?

— Она девка! А он — парень!

— Не ори... — Мужчина посмотрел по сторонам. — Чего ты орешь? Я вообще могу не ходить с тобой...

— Выломлю штaketину и погоню вперед... Если не пойдешь. — Вид у Кости был такой свирепый, что можно было не сомневаться — так и сделает: выломит штaketину и учинит на улице драку.

— Тьфу!.. Полудурок. Да неужели ты не можешь спокойно-то?

— Не могу. Не могу-у! Я как только погляжу на твою спокойную... на твое лицо, так у меня в голове все мутится: как ты-то можешь спокойно? Человечек же на свет родился... маленький... а вы, как... Да вы что!

— Все, не ори больше. Иди молча.

Дальше до самого дома шли молча.

Дверь открыл отец... Костя легонько подтолкнул сзади мужчину, вошел сам в квартиру, закрыл дверь и сказал:

— Дедушку привел нашего Антона.

— Здравствуйте, — серьезно, с достоинством сказал мужчина, дедушка Антона. — Я Свиридов, Павел Владимирович.

— Так, — сказал отец Кости. — А мы Худяковы. — И смотрел на Свиридова пристально, прямо, не мигая.

— Ну, приглашайте, — сказал Свиридов. — Показывайте внука.

Из кухни вышла мать Кости и смотрела на Свиридова изумленно и с интересом.

Вышла из комнатки, где теперь жил маленький Антон, мама его, Алевтина... И смотрела на крупного дядю с недоумением. Она не слышала слов брата, что тот привел «дедушку», поэтому не могла понять, почему так странно все стоят и молчат.

— Где же внук-то? — еще раз довольно бодро спросил Свиридов.

— Какой внук? — тихо спросила Алевтина.

— Мой внук...

— Это отец Игоря, — пояснил Костя.

— Какого Игоря?

— Твоего Игоря... Отца Антона.

— Во, псих-то, — сказала Алевтина. И ушла в комнату. — Чего ты самодеятельность-то развиваешь? — сказала она из комнаты. И опять появилась на пороге. — Какой Игорь?

— Ты не темни!.. — громко сказал Костя. Он растерялся, это было видно.

— Чего «не темни»?

— Он — отец Игоря, — уже не так уверенно сказал Костя, — а Игорь — отец Антона. Что ты?

— Да откуда ты взял? — спросила Алевтина. — Чего ты людей зря беспокоишь, дурак ты такой! Ну надо же!.. При чем тут Игорь-то?

— Погодите, погодите, — сказал Свиридов. — Давайте разберемся: вы были знакомы с моим сыном? С Игорем Свиридовым.

— Была знакома... Я знала его. Но дружил он не со мной, а с моей подругой, тоже на почте работала.

— Значит, это не его сын?

— Откуда?!

— А чей же он тогда сын?! — заорал Костя.

— Костя, — сказал отец. — Не ори. Ну, выяснили? Все, значит, в порядке... Извините, что зря побеспокоили.

— Да ну что!.. — сказал Свиридов по-доброму. — Дело разве...

— Да врет она! — опять закричал Костя. — Не хочет говорить: договорились с этим Игорем!

— Не ори, Костя! — тоже повысил голос отец. — Чего орать-то? Извините, — еще раз сказал он Свиридову. — Мы, конечно, переживаем тут, поэтому и...

— Нет, — обратился Свиридов к Алевтине, — может быть, правда, вы что-то скрываете? Может быть, Игорь...

— Да ни с какого боку! — сказала Алевтина. И даже засмеялась. И пошла в комнату. — Господи!.. — сказала она там сама себе. Она, как стала матерью, сразу как-то поумнела, осмелела, часто баловалась со своим Антоном и смеялась.

— Ну, что же... — Свиридов повернулся к Косте. — Я могу быть свободен?

Костя, миновав его, молча прошел на кухню. И заорал оттуда что было силы:

— Все равно дознаюсь! Доз-на-а-ю-усь!

— До свидания, — вежливо сказал Свиридов.

Отец молча кивнул.

Свиридов ушел.

— Не я буду, дознаюсь! — еще раз крикнул Костя срывающимся голосом. Он плакал. Он устал за этот день... Очень устал и изнервничался. — Други игрищ и забав наплись мне... Паразиты.

— Ладно, Костя, — мирно сказала мать. — Не переживай. На кой он черт нужен, такой отец... если и найдется! Что, сами, что ли, не прокормим? Прокормим.

— Никто так не делает, — возразил Костя, вытирая слезы. — Кто так делает!

— Ну, не делают!.. Сплошь и рядом. Садись поешь вон... а то бегаешь, как сыщик, с лица опал даже. Что ты-то переживаешь?

Костя присел к столу, склонился на руку и задумчиво смотрел в окно, во двор. Еще надо выходить вечером объясняться с этим... с усатым, думал он. Возьму нож и пойду — пусть сунутся.

— Не переживай, Костя, — сказала мать, ставя ему миску со щами. — Сами вырастим.

«Не нож, а гирьку какую-нибудь на ремешке, — решил Костя. — За нож самому попадет, а с гирькой... на гирьку они тоже не очень кинутся».

— Други игрищ и забав, — еще сказал он. Он где-то услышал эти слова, они ему понравились: в его сознании все косматые выстраивались под этой фразой, как под транспарантом, — в колонну, не в колонну даже, а в кучу, довольно нахальную и бессовестную.

«Нет, не гирьку, а — нож, — вернулся он к первому варианту. — Все страшней будет. На нож не полезут». Был у него такой складной охотничий нож, довольно внушительный и ловкий в руке — не сунутся. На том он и порешил и придвинул к себе тарелку со щами.

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК...

Вот как бывает... Вчера видел человека, обедал с ним по соседству, потом курили в курилке... У него большое сердце, ему тоже не надо бы курить, но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет курева: слушает, соглашается, что — да, не надо бы... И спокойно курит. Мы про это курево много толкуем в курилке — иронизируем.

— Не пей, не кури, — насмешливо говорит какой-нибудь закоренелый язвенник, — а чего же тогда остается?

Тут чуть не хором все:

— По одной доске ходи — на цыпочках!

— Смоли да к стенке станови.

— А если я вот с таких вот лет втянулся в эту гадость?! Куда я теперь без этого?

Наговоримся так, накуримся всласть, и пойдут разговоры в сторону от курева, в жизнь вообще: разные случаи вспоминаются, разные смешные истории... А иногда и не смешные. Один был — сухонький, голубоглазый, все покашливал... А покашливал очень нехорошо: мелко, часто — вроде прокашляется, а в горле все посвистывает, все что-то там мешает ему, и никак он не может вздохнуть глубоко и вольно. Когда он так покашливал, на него с сочувствием поглядывали, но старались, чтобы он не заметил этого сочувствия — он не нуждался в нем. Один

раз он отmaterил какого-то в полосатой шелковой пижаме. Тот вылетел с сострадательным поучением:

— Вам бы не надо курить-то...

— А чего мне надо? — спросил тот, глядя серьезно на полосатого.

— Ну, как?.. Не знаю, чего надо, но курить...

— Не знаешь, тогда не вякай, — просто сказал больной человек с синими глазами. — А то много вас — с советами... — И он еще сказал полосатому несколько разных слов — выругался, но ругался беззлобно, не грязно — получилось больше, что он всю жизнь свою целиком отmaterил — за все, и за то, что под конец пришлось еще сидеть и вот так «кафыкать» и терпеливо ждать. Но он же и понимал, что жизнь его, судьба, что ли, — это нечто отдельное от него, чем он управлять не может, поэтому злиться тут бессмысленно, и он не злился. Он рассказал, например:

— Пришел с войны, из госпиталя, тут — никого: мать померла в войну, так, брата убило, отец еще до войны помер. А домишко, какой был, сломали: какую-то площадку надо было оборудовать для обороны... под Москвой здесь... Так? А я на костылях — одна нога по земле волокется. Нанялся лед на реке рубить. Костыли вот так вот зажму под мышки, ногу эту неподвижную — назад, чтоб по ей топором не тяпнуть, упру костыли в ямки, наклонюсь — и долбаю, пока в глазах не потемнеет. А потом — сижа: костыли под зад, чтоб ко льду не примерзнуть — и тоже... А жил у сторожихи одной, у старушки. У ей у самой-то... с тамбур жилья, но уж... куда тут деваться. На полу спал, из двери — по полу — холод тянет. Маленько сосну с вечера, а часа в три просыпаюсь от холода, иду забор потихоньку тревожить: доски три оторву — и в камелек. А она, сторожиха-то — так: глянет выйдет и снова к себе. Один раз проснулся — ее нету. Я оделся и покостылял к забору... Только оторвал одну доску, слышу — бах! Аж щепки полетели от забора у меня над головой — дробью саданула... — Рассказывая это, синеглазый все покашливал, и это делало рассказ его жутким. А тут он, как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него сослепу, тут он засмеялся — хотел, чтоб это выглядело забавно и мы бы тоже посмеялись. Но — засмеялся и закашлялся и так, покашливая и посмеиваясь, досказал:

— Я кричу: Глебовна, ить я это! Ну, услышала голос, узнала... Чуток бы пониже взяла, аккурат бы в голову

угодила. Я, говорит, думала, лезет кто. А чего там брать! Эти... заводы-то демонтировали и свозили, и валили пока в кучу — железо...

— Ну да, у ней же инструкция!

— Конечно. Стрелять еще умела!..

— Она боевая была старуха, — продолжал синеглазый весело, довольный, что заинтересовал своим рассказом; он вовсе не жаловался. — Много мне порассказывала ночами, пока, бывало, у камелька-то сидим. А уж к весне мне общежитие дали — легче стало.

— Ну, и нога, наверно, стала подживать.

— Ногу я еще года полтора после этого... Главню, болеть не болит, а двигать ей не могу.

— Это многие тогда так, года по три с костылями ходили.

— Да...

Накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказывали, но сам, я не слышал, чтоб рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону, он меня притиснул в уголок и торопливо, неумело рассказал:

— Ворона достала сыр, так, села на ветку — и хочет уже его... это... клевать. Тут лиса: спой. А ворона ей: а ху-ху не хо-хо? Зажала сыр под крыло и говорит: теперь давай потолкуем. Тогда лиса...

Тут подошла его очередь звонить.

— Вам, — сказали ему.

Он скоренько сунул монетку в узенький ротик телефона-автомата и стал набирать номер. Он еще машинально улыбался, думая, наверно, о вороне, которая натянула нос хитрой лисе.

А потом я звонил... Я говорил, а краем глаза видел синеглазого: он ждал меня, чтобы досказать анекдот. Смотрел на меня и заранее опять улыбался своими невыразимо прекрасными, печальными глазами. Но тут его куда-то позвала сестра. Он ушел.

Этой же ночью он умер.

Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей... И почему-то сразу кольнуло в сердце: наверно, он. Выглянул из палаты в коридор — точно: стоит в коридоре такой телевизор, возле него люди в белых халатах, смотрят в телевизор, некоторые входят в палату, выходят, опять смотрят в телевизор. А там, в синем, как кусочек неба, квадрате прыгает светлая точка... Прыгает и оставляет за собой тусклый следок, кото-

рый тут же и гаснет. А точка-светлячок все прыгает, дрыгает... То высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит и следок за собой вытянет. Прыгала-прыгала эта точка и остановилась. Люди вошли в палату, где лежал... теперь уж труп; телевизор выключили. Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел — не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог — почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, — чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме ли, в душе ли: что же это такое было — жил человек... Этот и вовсе трудно жил. Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, чтобы мы жили, но тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар — вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: «А зачем все?» Вои уж научились видеть, как сердце останавливается... А зачем все, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать-то — не страшно.

КАК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КУРИНКОВ, ЮВЕЛИР, ПОЛУЧИЛ 15 СУТОК

Андрей Иванович — это такой попрыгунчик, резиновый человек, хороший ювелир, изобретатель... Правда, хороший ювелир и изобретатель, но он думает, что он единственный в своем роде ювелир и изобретатель, неповторимый, везде об этом трещит, но вечно ему чего-нибудь не хватает, чтобы сделать такое, чтобы все ахнули. То материала нет подходящего, то инструмент не тот. Чаще всего — материал не тот.

— Ты дай мне настоящий янтарь! — говорит он с вызовом и значительно. — Дай мне кусок настоящего янтара — я тебе сделаю.

Может, он и сделает, если получит в руки «кусок настоящего янтара», но он ужасно много говорит об этом, раздражает всех, и тогда кто-нибудь языкастый заявляет:

— Тебе, как тому танцору, — что-нибудь да мешает.

— Нет, ты дай мне кусок настоящего янтара! — вол-

нуется Андрей Иванович. И начинает всех разить знаниями; говорит он складно, и если бы не много, то, наверно, было бы даже интересно послушать его. Вся беда — много говорит. — Сидела мушка на веточке много миллионов лет назад, на нее капнула капля смолы, ее спшибло с веточки, дальше, на эту капельку упала другая... Ну, и так далее.

— Ты дай мне этот кусок, я уберу лишнее, сделаю тебе такую иголку к галстуку — все будут не на тебя смотреть, а на эту иголку с мушкой.

— У нас один карат бриллианта — это горошина со всеми накладными, со всеми налогами — тысяча рублей. Так? Но у нас — тридцать шесть характеристик бриллиантов, грубо говоря, тридцать шесть сортов. И вот ты дай мне...

Это он в пивной разглагольствует, и на это «ты дай мне» ему часто говорят: «На!»

Андрей Иванович очень не любит своего соседа по жилью, Трухалева Илью Георгиевича, закройщика ателье номер какого-то. Этот Илья Георгиевич откровенно называл Андрея Ивановича трепачом. Андрей Иванович на это выпячивал нижнюю челюсть, зло смотрел на закройщика, некоторое время молчал, потом начинал говорить:

— Чем отличается граненый бриллиант от бриллианта, который не побывал в руках мастера? Граненый играет. А тебя, когда делали, чуть-чуть только тронули — чтобы вес не потерять: ты дурак. Тяжелый, но дурак.

Опять, на беду свою, много, долго и одинаково — про бриллианты, гранения, игру... И дожидался, что Трухалев ему на все это кратко говорил:

— Трепач. Барахло, — и уходил.

И получалось, что это он говорил последние слова, слова тяжкие, обидные, а Андрей Иванович оставался со множеством точных, образных слов — не высказанных; он злился на малейшие шумы, звуки в квартире Трухалева, сладострастно, с ожесточением садил черенком половой щетки в потолок (Трухалев жил над ним). Трухалев на это стукнет пару раз, точно скажет: «трепач», «барахло» — и жизнь в его квартире идет так же, как и шла: ходят, постукивают, передвигают стулья.

За время, пока они жили так — друг над другом, — ювелир Куринков накопил на закройщика много зла и обиды. Тот отвечал тем же, кроме того, кажется, куда-то писал на ювелира, что он не дает соседям покоя: всем стучит в стены щеткой. Если им случалось вместе ехать

в лифте или зимой выколачивать ковры на снегу, они оскорбляли друг друга.

— Опять вас продернули, — начинал ювелир. — Сшили пиджак, а рукава — вот по этих пор. Не видал по телевизору?

— Мы такие специально для ювелиров шьем, чтобы бриллианты было видно. А нормальным людям мы шьем нормально.

— Но про ювелиров ни разу не было передачи, а про вас — то и дело.

— Делать-то нечего, вот и показывают. Если ты мне еще будешь стучать в пол, я спущусь и надену тебе мусорное ведро на голову. И буду тоже стучать по нему. Молотком.

— Попробуй. Я те алмазным резцом вырежу на лбу: «Дурак».

— От дурака слышу. Трепач. Барахло.

И закройщик уходил.

И вот как-то в воскресенье к ювелиру Куринкову заехал брат, военный. Брат ехал в отпуск на юг, по пути завернул на сутки к брату. Домашних Куринкова — жены и дочери-студентки — дома не было, братья взяли винца, посидели, повспоминали немного, потом брат сказал, что очень устал, и пошел соснуть. А ювелир остался один. Он задумался чего-то... Жизнь идет себе, неопределенно, с тоской думал он. Идет себе и идет. И в душе ювелира назревал какой-то тоже не вполне определенный протест, что жизнь — идет и идет. Тут, как на грех, над ним опять задвигали стульями, стали ходить... Ювелир вполне определенно обозлился опять на закройщика, вспомнил все его обидные слова... Взгляд его упал на военный мундир брата, мысль в голове вспыхнула и ясно осветлила картину: вот он, военный, входит к закройщику... Дальше он даже додумывать не стал — дальше как-то все было понятно. Почему-то он враз сообразил, что делать дальше.

Закройщик с женой собрались как раз ужинать, когда в дверь к ним резко, требовательно позвонили.

— Кто это? — удивился закройщик.

Жена пожала плечами:

— Телеграмма?..

— Ну, иди, — велел закройщик.

Хозяйка открыла дверь... В квартиру стремительно вошел ювелир Куринков в форме капитана.

— Именем уголовного кодекса, — сказал он. — Собирайтесь.

У закройщика и у его жены вытянулись лица... Они ошалели.

— А чего такое? — нерешительно спросил закройщик. — Как это?..

— Ста-ать! — заорал ювелир.

Закройщик встал...

— А чего такое-то? — опять спросил он, во все глаза глядя на... на кого? Кто это? Что это?

Ювелир меж тем прошелся по комнате, бегло оглядел ее всю... Четко развернулся, подошел к закройщику, пронзительно и трезво глядя ему прямо в глаза.

— Мне надоели ваши порохи, — сказал ювелир. — Что у вас за возня каждую ночь?

— Ты же ювелир, чего ты... — начал было закройщик.

— Молчать! — приказал ювелир. Закройщик потом рассказывал, что он потому так ошалел и растерялся, что ювелир очень все делал «натурально».

— Для ВАС я был ювелир... поэтому терпел все ваши порохи. И оскорбления — так надо было. Кстати, сколько вы на меня заявлений написали?

— Да я... это...

— Сколько?

— Два.

Ювелир посмеялся:

— Обои эти бумажки попали ко мне же — я сходил с ними в одно место. За каждое ваше заявление я получал благодарность — что хорошо притворяюсь. Ясно? Вы думали, с вами тут в бирюльки играют?

Ювелир стал опять раздражаться. Опять прошелся по комнате... Заглянул мимоходом в книжный шкаф.

— А чего я такое сделал? — вдруг осмелел закройщик. — Куда это собираться-то?

Ювелир остановился перед закройщиком, заложив руки за спину, качнулся несколько раз с носков на каблуки, с каблуков на носки, все это время в упор глядя на него, заговорил тихо, четко, значительно:

— Нам известно про всю вашу деятельность.

— Какову дея...

— Молчать! Сядьте! Сесть!

Закройщик сел.

— Нам все известно, даже чего вам неизвестно.

Ювелир тоже сел. Но тотчас встал и стал снова ходить

по комнате — ему, как видно, особенно нравилось ходить в форме. Он ходил долго. Он думал.

— С арестом я, кажется, подожду, — сказал он. — Вы знаете армянина, на углу тут сидит... чистильщик. Здоровый такой.

— Знаю, — сказал закройщик.

— Каждое утро будете подходить к нему и спрашивать: «У вас продается славянский шкаф из карельской березы?» Он будет ругаться и кричать — не обращайтесь внимания. Даже если полезет драться — терпите. Нам его надо расколоть.

— Я с такими делами не связываюсь, — решительно заявил закройщик. — Я не умею.

— Что значит «не умею»? Научим! Никто сперва не умеет — научим. Я терпел все ваши выходки — это, думаете, легко? — Расчет у ювелира, надо признать, был жестокий: вспыльчивый армянин показал бы такой «славянский шкаф», что закройщик всю жизнь потом помнил бы эту таинственную игру в разведчиков. — Спрашивать надо каждый день, но об этом ни-ко-му. Ясно?

Пока ювелир инструктировал закройщика, тому вдруг бросилось в глаза вот что: китель на ювелире явно не с его плеча. Профессиональный глаз портного не подвел.

— А попрошу документы! — сказал он. И встал.

— Молчать! — заорал ювелир и стукнул ладонью об стол.

— Нина, закрой дверь на ключ! — крикнул закройщик.

Ювелир хотел уйти со словами:

— Хорошо, мы потолкуем в другом месте. — И пошел было, но большой закройщик прыгнул на него, легко подмял под себя и заорал жене:

— Звони в милицию!

Маленький ювелир отчаянно боролся с закройщиком, но все напрасно.

...Ночь Андрей Иванович провел в вытрезвителе. Утром еще кое-как крепился, а когда их, человек двенадцать, повезли в закрытой машине в суд, сильно затосковал. Другие — хоть бы что, а он молчал. Особенно он боялся, что нарисуют его на доске «Не проходите мимо», напишут фамилию, имя... А у него дочь студентка. Хорошо ей будет смотреть на такого папашу?

Судили три женщины...

Кто был тут не первый раз, выходили из комнаты, где вершился суд, изумленные.

На вопрос: «Сколько вломили?» — только махали рукой:

— Под завязку.

— Что-то они сегодня... не в настроении, что ли, — сидели, толковали.

— Они в понедельник всегда так, — сказал один мрачный.

— Куришков! — вызвали.

— Эгей? — подскочил ювелир. — Иду!

Он вошел в большую комнату и, слегка поклонившись, вежливо сказал:

— Здравствуйте.

— Садитесь, — велели ему.

Куришков скромненько присел на краешек скамьи с высокой спинкой, устремил взор на судей — весь внимание.

— Вчера, восемнадцатого июня, вы, будучи в нетрезвом состоянии, надели не принадлежащую вам военную форму....

— Пошутил! — воскликнул ювелир. И хотел даже пошутиться, но у него вышло коротко и ненатурально. — Я вообще шутник большой. Бывает, соберемся у нас в мастерской — чего я только не выделяю! Я в ювелирной мастерской работаю. Я вот вижу у вас колечко... — Ювелир хотел встать и поближе посмотреть кольцо на руке одной из женщин.

— Сидеть, — сказал ему старшина.

— Господи, чего тут такого? — негромко сказал ювелир. — Просто смотрю: неважно сделано...

— Вы признаете факт шантажа и запугивания с вашей стороны?

— Только не шантаж! — вскочил ювелир и даже протянул руку к судье. — Только не... это... не надо разных слов. Шутка — да, юмореска...

— Вы угрожали Трухалеву Илье Георгиевичу арестом?

— Ну, шутка, шутка!.. — Ювелир прижал руку к сердцу: — Ну, Трухалев шуток не понимает, но вы-то!..

— Сядьте, — опять сказал ему старшина...

Ювелир сел... И вдруг ему стало противно, что он трусит, юлит и суетится. Он как-то сразу устал и успокоился.

— Угрожал, — сказал он спокойно.

— Вы сознаете, что это... неумно по крайней мере?

Что за мысль вам пришла — пойти арестовывать? Почему?

— Не знаю, — сказал ювелир. — Мне не нравится этот Трухалев. Вообще, чего тут много говорить? Давайте мне пятнадцать суток... и разойдемся, как в море корабли. — Ювелир смело посмотрел на старшину и даже подмигнул ему. Что на него такое нашло, непонятно. — Чего тут долго-то?

Женщина-судья серьезно смотрела на него.

— Только не надо, — сказал ювелир.

— Что «не надо»?

— Не надо меня пугать строгим взором. Прошу дать мне пятнадцать суток. Я все понимаю, всю карикюляцию.

— Почему вы решили, что именно пятнадцать?

— Вы же всем сегодня по пятнадцать даете.

Женщины тут же, не сходя с места, негромко посоветовались, и судья объявила:

— Пятнадцать суток.

— О'кей! — сказал ювелир. И вышел в коридор к другим.

— Сколько вломили? — спросили.

— Пятнадцать, — сказал ювелир.

В эту минуту ему было все равно, даже хорошо, что пятнадцать, а то перед другими было бы неудобно. Он сел в пестрый рядок тех, кто уже получил свои «сутки».

— В понедельник к им лучше не попадать, — опять сказал мрачный человек. Он тоже получил пятнадцать суток.

НОЧЬЮ В БОЙЛЕРНОЙ

Сам Иван Максимович несколько нескромно называет себя — сантехник, а вообще он дежурит в бойлерной. Через двое суток на третьи выпадает дежурить в ночь. И как раз ночные-то смены он очень любит.

Домина, под которым бойлерная, огромный, сколько там людей разных!.. И вот — ночь: магазины закрыты, а кто-то, допустим, поругался с женой, кто-то затосковал так, что хоть криком кричи... Да мало ли! Куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим в эти, в круглосуточные-то, где их рвут. А с ду-

пой куда? Где тебя послушают, посочувствуют? К дяде Ване, в бойлерную. Там у него уютно, тепло... Трубы, много труб, в трубах тихонько поет и потрескивает, как в печке. Огонек тусклый под потолком... Возле стены, в нише, удобный лежак, старенький тулуп раскинут, подушка.

В эту ночь Максимыч и не пробовал ложиться. Он сидел у самодельного крашеного столика и задумчиво постукивал пальцами в столешницу. Лицо у него тоже задумчивое... Лицо у него — доброе, смышленное, немного усталое, но бесконечно доброе, в глазах, в морщинках вокруг глаз — столько терпения, покоя, столько мудрости житейской, что — куда же и спускаться с больной-то душой? К нему и спускались.

Первым пришел крупный мужчина Пилипенко. Он был седовлас, сыт, колыхал запахом одеколона и дорогих сигарет. Но был он мрачен, встревожен... Ему было тяжело, грустно.

— Здорово, Максимыч, — сказал Пилипенко и сел на свободный хилый стул.

— Здорово, Николай Семеныч, — откликнулся Максимыч.

Некоторое время молчали.

— Душа? — спросил Максимыч.

Пилипенко очнулся от тяжких дум, вздохнул.

— Тут, брат... и душа, и тело, все вместе, — сказал он. — Есть что-нибудь?

— А как же. — Максимыч встал и пошел в угол куда-то. — Коньячку? — спросил оттуда. — Или водки?

— Давай коньячку, — сказал Пилипенко. И огляделся кругом. — Хорошо тут у тебя... В напарники возьмешь?

Максимыч тихо посмеялся.

— Чего смеешься?

— Да насчет напарника-то... Тут, Семеныч, оклад не тот.

— Нет больше окладов, — жестко сказал Пилипенко. — Конец окладам.

Максимыч от изумления даже остановился с коньяком в руках.

— Неужели разжаловали?

— Поперли, а не разжаловали.

— Как же это?

— Наливай, — махнул Пилипенко; ему было худо, так худо, что и говорить не хотелось.

Максимыч стал молча разливать коньяк по рюмкам;

он не лез с расспросами, когда человеку худо. Захочет — сам скажет.

— Уволили, — сказал Пилипенко. — Дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но.. Нет, ей-богу, мне у тебя нравится. Сколько ты получаешь? Хотя... чушь все это. Давай.

Они выпили по целой рюмке и заели лимончиком, который тоже случился у «сантехника» Максимыча.

— Одного не понимаю! — горестно воскликнул Пилипенко. — Не справляюсь — так и скажи! Скажи! Зачем же... предлог какой-то искать: скажи прямо, я пойму. Нет!.. — Пилипенко крепко стукнул большим кулаком себя по колену. — Надо обязательно предлог найти. — Он встал было, но тут же сел. Велел: — Налей еще по одной. — Когда он сел с маху, хиленький стул опасно треснул под ним; нет, этому человеку можно, конечно, прямо в глаза сказать: «Ты не справился» — в обморок не упадет. Странно, что такой огромный мужик — «не справился».

— Какой же они предлог нашли? — спросил Максимыч.

— Самый что ни на есть дурацкий: злоупотребляете служебной машиной.

— Жена куда-нибудь ездила? По базарам небось?

— Да нет, сам: вызвал в воскресенье и просто так проехал километров полтора по северной дороге — вздохнуть пару раз свежим воздухом. Вздохнул!..

— А шофер наябедничал, — догадался умный Максимыч.

— Ну да... расписал. Писака. А если мне сосредоточиться надо? Если мне в движении лучше думается?..

— Да сел бы вон на любую электричку, — простодушно сказал Максимыч, — и сосредотачивайся сколько влезет. Вы вот, начальство... тоже какие-то дурные бываете: нет, чтобы скромностью своей в нос людям тыкать: вот вам, глядите: большой человек, а со всеми маленькими здороваюсь. А где так и остановись, спроси: «Как дела?» Тебе эти его дела... сто лет снились, а ты все равно спроси. — Максимычу хотелось как-нибудь помочь большому Пилипенко, но он и досадовал на него, что тот не смог удержаться на добром месте — слетел. — Мало того, ты еще головой вот так вот покачай: так, так, мол. Но вы ведь... До вас не допрыгнешь! — вовсе с досадой закончил Максимыч. И налил еще по полной рюмке. — Давай. Не горюй особо-то...

Выпили.

— Да некогда же! — тоже с досадой сказал Пилипенко. — Головой-то кивать — некогда.

— Зато теперь будет время: попрут вот на пенсию...

— Ну, это еще бабка надвое сказала! — Пилипенко твердо посмотрел прямо перед собой. — Это еще... уравнение с двумя неизвестными.

— Все равно не умеете! — решительно сказал Максимыч. Коньячок зашумел в голове, и ему тоже захотелось быть твердым и крепким. — Не умеете начальствовать! Вот сделай меня самой маленькой какой-нибудь шишкой — и ты бы поглядел, какой бы я стал вежливый... «Ну, как, товарищи? — спросил он кого-то иным голосом, вежливым. — Как настроение? Смотрите мне — не вешать нос!» Я бы такие шуточки отпускал!.. Чего же не пошутить с людьми, если тебе лучше ихнева живется. А зазевался какой-нибудь там Пилипенко Николай Семеныч — плохо работает, сукин сын, курит больше, я его вот так вот пальцем — к себе: «Пилипе-е-нко, на минуточку. Пилипенко, как ты думаешь: подойдем мы с такими работниками к коммунизму или нет? М-м? Ты, наверно, думаешь, что — подойдем. А вот я, Пилипенко, думаю, что мы с такими работниками застрянем где-нибудь по дороге. Ну-ка, давай, голубчик, давай, давай!.. Бросай-ка курить — да за дело». Вот как надо. Спокойно, с улыбочкой... Вишь, я и голоса не повысил, и работу направил. А захотел я подышать свежим воздухом, я набрал в чемодан коньячку, икорки, балычков, сел на электричку, отъехал те же полтора ста верст, слез, углубился подальше в лесок — и дыши на здоровье.

— Скучно это, Максимыч. Вообще, не то ты говоришь.

— С коньячком не будет скучно. Зато ни одна собака пальцем не покажет.

— Не то, Максимыч, не то. Еще-то есть там? Не могу никак душу унять — болит!

— Заболит... — Максимыч налил еще по рюмке. — Как же ей не болеть.

— Не то, Максимыч, дорогой, не то. Ты рассуждаешь логично, но... в масштабах прораба, не больше.

— А ты в каких масштабах? Держи.

— Я? Я малость пошире.

— Пошире... А сидим вот тут вместе — в одинаковых масштабах. Поехали.

Когда выпили, Пилипенко вдруг встал и широко заходил по бойлерной.

— Ну не-ет, — сказал он ожесточенно, громко. — Так легко вам Николая Пилипенко не свалить. Это вы зря... Пилипенко еще постоит!

Максимыч в это время закурил дорогую сигарету из пачки Пилипенко, откинулся на стуле, заложил ногу на ногу и стал следить за взволнованным гостем. Ему хотелось как-нибудь успокоить его, но, вообще-то, ему стало очень хорошо.

— Украинцы — народ крепкий, — сказал он, желая сделать приятное Пилипенке. — Но ездить за сто пятьдесят километров воздухом дышать — это глупость несусветная. Ты больше бензину наглотался за триста-то верст, чем подышал там...

— Ничего-о! — все ходил и все больше возбуждался Пилипенко. — Вы еще вспомните Пилипенку, не раз вспомните. Вы еще придете к Пилипенке!.. Но Пилипенко больше к вам не пойдет.

— Нет, если позовут — чего не пойти. Только не надо больше за сто пятьдесят километров дышать ездить, а так... чего? Ты мужик с головой.

— Не пойду! — уперся Пилипенко. — Все. Хватит. У меня тоже всякого этого достаточно — и самолюбия, и...

— Да нет, Семеныч, зря ты...

— Не пой-ду! Вы плохо знаете Пилипенку. Вы думаете, это все — так, шуточки...

— Какие шуточки! При чем тут шуточки — надо идти.

— Не пойду!

— Что значит «не пойду»? — рассердился вдруг Максимыч. — Что тебя, в детсадик, что ли, уговаривают идти? Не пойдет он... Заставим!

Пилипенко остановился перед «сантехником» Максимычем, который сидел и спокойно покуривал «Кент».

— Гляди-ка, — засмеялся Пилипенко, — мы прямо отрепетировали с тобой сцену!.. Жалко, что ты не министр.

— Жалко, — согласился Максимыч. — Ты бы у меня первым делом заплатил за бензин, который спалил в воскресенье, во-вторых, я бы тебе такого нагоняя дал, что ты бы у меня за троих работал. Увольнять я бы тебя не стал. Тебя правда уволили-то?

Пилипенко не успел ответить, как в бойлерную вле-

тел некто в шляпе, в легоньком пальтишке, с чемоданом. Бледный.

— Максимыч! Ты сегодня? Слава богу, — говорил этот бледный с веселой злой дрожью в голосе. Увидев Пилипенко, он и ему тоже кивнул. — Здравствуйте, Максимыч!..

— Давай, давай, — сказал Максимыч. И налил бледному человеку в большой фужер. И налил также в две рюмки — себе и Пилипенке.

— Подождите, — сказал бледный, — у меня, кажется, шоколад есть. — Он нырнул в чемодан и извлек плитку шоколада. — Есть! Слава богу.

Пилипенко с некоторой иронией наблюдал за суетливым человеком.

— Катастрофа катастрофой, а шоколад не забыл? — сказал он.

Бледный посмотрел на него... Ничего не сказал. Подошел к столу, положил шоколад и взял свой фужер.

— Давайте, — сказал Максимыч.

Выпили... Помолчали. К шоколаду никто не притронулся.

— Ты что, обиделся, что ли? — спросил Пилипенко.

— Максимыч, — обратился бледный к «сантехнику», — пускай это постоит у тебя. — Он имел в виду чемодан. — А я пока пройду по набережной... Потом приду.

— Валяй пройдишь, — сказал Максимыч.

Бледный ушел, ни разу больше не поглядев на Пилипенку.

— Что он, обиделся, что ли? — опять спросил Пилипенко.

— Обиделся. Нехорошо ты с насмешкой-то... Он вообще обиженный человек.

— А что такое?

— Так...

— Что «так»?

— Ну так... Хороших людей часто обижают.

— Что за ерунда! Кто их обижает?

— Люди. Ты вот — взял обидел.

— Да ну уж!.. Пошутить нельзя, что ли? А какие люди-то?

— Есть.

— Мне чего-то его жалко стало. Я, может, зря с этим шоколадом, конечно... Но я же не хотел обидеть:

тоже, смотрю, переживает человек... Чего он такой? Какие люди-то?

— Всякие... Бессовестные в основном. Приходят и обижают. Не знаешь, как можно мужика обидеть?

— Рога, что ли, баба ставит?

— Рога... или как там, а только флиртует, зараза, с кем попало.

— Ах, это его жена! — такая... патлатая. Да?

— Да.

— Так что же он не уйдет от нее?

— Да вот, вишь, не может уйти. Не все же такие... Пилипенки. Ты не пропадешь, Семеныч, не горюй.

— Кто тебе сказал, что я пропаду?

— Не пропадешь, нет. А этот — все: окочурился.

— А чего не уходит-то?

— Не может. Уходит — раз в неделю вот так вот: счас улочки две даст, придет и здесь заночует. А утром — опять к ней. Любит.

— Тьфу! — зло сказал Пилипенко. — Кого там любить-то? Патлы крашенные?

— Это я не знаю. Мне его жалко. Так жалко бывает... — Максимыч затушил «Кент» в блюдечке, помолчал, покачал головой грустно. — А что сделаешь?

— Да послать ее надо подальше!.. — стоял на своем крейсер Пилипенко.

— Да иди ты! — рассердился Максимыч. — Тебе бы все — посылать!.. Тебя вот послали — тебе как? Послать легче всего. Да и то вон... не может. Ну — послал он, ну и что? Легко ему станет?

— Ну, это уж тоже не жизнь.

— Жизнь. Это и есть жизнь. Думаешь... — Вдруг Максимыч прислушался... И встал. И сказал: — Вот еще один такой же шлепает.

— Кто?

— Погоди. — Максимыч еще для верности послушал. — Да. С тросточкой.

— Кто такой?

— Пан профессор, это я его так прозвал. Тоже... с душой идет. Счас, если выпьет, с одной рюмки окосеет.

— Правда, что ли, профессор? — не поверил Пилипенко.

— Натуральный профессор, из седьмого подъезда. Мы с ним частенько беседуем. Он... этот, как там у них, ну, по русскому языку профессор...

— Филолог?

— Труды пишет. А сам как ребенок... Ты только не надо, Семеныч... не ломи сдуру: тут уж вовсе... горе одно. А человек золотой.

Вошел «пан профессор» с тросточкой. Он — седенький, старенький, не столько даже седенький, сколько старенький.

— Не могу больше, Максимыч!.. — сразу заговорил профессор жалобно. Увидел Пилипенку, ничуть не смутился, поздоровался и продолжал: — Не могу больше, дорогой мой. Пришел к тебе опять — больше некуда. — Он сел на лежак, склонил голову. — Вот штука — некуда.

Максимыч пошел в угол, достал еще бутылку коньяка, раскупорил на ходу, налил в три рюмки. Одну поднес профессору.

— На-ка, все маленько отмякнет.

Профессор машинально принял рюмку, посмотрел на нее.

— Выпей, выпей, — убежденно сказал Максимыч. — Легче станет. Вот шоколадом закусишь... Допекла?

— Допекла, — сказал профессор, принимая из рук Максимыча кусочек шоколада. — Да ведь сколько энергии! Сколько энергии!..

— Ну, давайте.

Профессор поперхнулся, но выпил всю рюмку и заел шоколадом. И вытер платочком глаза и рот.

— Днем ей позвонили из универмага: есть норковая шуба — три с половиной тысячи, — стал рассказывать профессор обоим, Максимычу и Пилипенке, — она звонит мне в университет...

— Ешь шоколад-то... и рассказывай.

— Спасибо.

— Ну, звонит?

— Звонит в университет... У-у, меня что-то в жар кинуло. Или здесь вообще жарко?

Максимыч без ехидства подмигнул Пилипенке и показал глазами на профессора: уже запьянел.

— Здесь жарковато, конечно. Ты не волнуйся, Аркадий Михалыч, спокойней. Ну, звонит эта телка в универмаг?..

— В университет. «Достань полторы тысячи». Две тысячи у нее есть...

— Так, это уже легче, — с легким накалом сказал Максимыч. — Хм!

— Но где я достану полторы тысячи? — удивленно

и беспомощно спросил профессор. — «У кого-нибудь из профессоров». У ко-го?

— Елкина мать-то! — взорвался терпеливый Максимыч. — «Достань полторы тыщи!» Это я могу сказать: «Достань мне... не знаю... жеребца племенного!»

— Зачем? — не понял профессор.

Пилипенко засмеялся.

— Да я так, к слову, — неохотно пояснил Максимыч. — Ну, ну?

— Ни у кого же из профессоров нет при себе таких денег, не может быть... И потом: идет ученый совет — что мне, со шляпой по кругу?..

Максимыч недобро посмеялся.

— Кричит в телефон: «Вообще она стоит четыре с половиной тысячи, это мне по знакомству, потому что шубу привезли из Дома моделей. Достань полторы тыщи!» Ну что делать? Что делать? Боялся домой ехать... Конечно — истерика. О господи! — Профессор обреченно уронил голову на грудь. — Что делать?..

— Ты, Михалыч, ты прости меня, но это тебе наказание, — сказал Максимыч. — На кой тебе, пожилому человеку, надо было жениться на ней? На тридцать лет моложе!.. Ну, умная ты голова, — это нормально?

— Не знаю... Нет, ненормально. Наказание, да, наказание. Я боялся одиночества...

— Мало тебе старух? — все не унимался в своем разгоне Максимыч. Но тут уж вмешался Пилипенко:

— Ну; это ты тоже — со старухами-то... Для чего она ему?

— Обед сготовит, подметет...

— «Подметет». Ерунду говоришь какую-то.

— А эта для чего ему? — не сдавался Максимыч.

— Но что теперь делать? Что делать? — в отчаянии повторял профессор. Вытер платком слезы. — Вся жизнь... труд всей жизни — самому смешны и нелепы: куда важней — норковая шубка. По крохам, по зернышку собирал знания, радовался, что открываю людям чистые целебные родники родной речи... И все, все поглотила норковая шубка. Любую рукопись отдам за норковую шубку! Но ведь никто же так скоро не заплатит. А завтра ее купит какой-нибудь спекулянт. Слушайте, вы, — обратился профессор к Пилипенке, — вы какой-то, кажется, начальник, за вами приезжает черная машина...

— Приезжала, — поправил Максимыч.

— Погоди, — строго остановил его Пилипенко. — Ну, так? Что вы хотели сказать?

— Я спрашиваю вас: почему у нас существует спекуляция?

— А почему у нас, — сразу без подготовки заговорил Пилипенко, — существуют университеты? Почему у нас существуют метро, театры, детсады, бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание?..

— Он про спекулянтов спрашивает! — удивился Максимыч. — Ты что?

— А я спрашиваю про университеты. Почему — одно мы видим, так сказать, крупным планом, а все другое... всего другого — как бы даже и нету.

— Да кто же говорит, что нету! Есть... Все есть. Но мне нужна норковая шубка. Дайте мне в долг полторы тысячи, я через месяц верну — у меня книга выходит.

— Если бы у меня даже были такие деньги, я бы их вам не дал, — жестоко сказал Пилипенко.

— Почему? — удивился профессор.

— Ваша жена прекрасно одета, я видел. Какого ей черта еще нужно?

— Она хочет норковую шубку...

— А больше она ничего не хочет? — взорвался Максимыч. — Дрын хороший она не хочет? По этой... по...

— Погоди, — остановил Пилипенко «сантехника». Пилипенко успокоился и даже отрезвел. — Профессор, что вы сказали: «Любую рукопись отдам за норковую шубу»?

— Любую! — вскричал пьяненький профессор в величайшем горе. — Самую древнюю рукопись!.. «Слово о полку Игореве», если бы имел, отдал бы, только бы не эта истерика, не этот визг. Все бы отдал! Только — наличными: завтра, до одиннадцати часов. Полбиблиотеки отдам — у меня уникальная библиотека. Хотите?

— Профессор, — с укоризной сказал Пилипенко.

— Душу запродам черту!.. — У профессора у самого, кажется, начиналась истерика. — Только бы не этот визг. О, господи!..

— Стоп! — сказал Максимыч. — Вы тут, конечно, все умные, а я — дурак, я не учился двадцать семь лет в...

— Кто тебе говорит, что ты...

— Ти-ха! — рывкнул добрый Максимыч. — Я лапоть...

— Я сам лапоть! — воскликнул профессор.

— Что вы, сдурели, что ли? — спросил Пилипенко. — В каком смысле — лапоть? В смысле происхождения, что ли? Тогда я тоже лапоть.

— Ти-ха! — всю разошелся Максимыч. — Вы — хромовые сапоги, а я — лапоть. Но я умею останавливать истерики. Я специалист по истерикам...

— Иди останови ее! — взмолился профессор. — Как ты это сделаешь? Она слышать ничего...

— Остановлю за две минуты.

— Как? — спросил и Пилипенко.

— Если бы ее кто-нибудь бы вразумил, — простонал профессор. — О-о, если бы кто-нибудь...

— Напиши мне некоторые культурные слова, — сказал Максимыч профессору, — я с их начну, чтобы она сразу дверь не закрыла. Как ее зовут? Надежда... как-то...

— Надежда Сергеевна.

— Семеныч, пиши на листе крупными буквами, — велел Максимыч Пилипенке. — А ты говори.

— Надежда Сергеевна, — стал диктовать профессор, а Пилипенко вырвал из блокнота лист и начал писать. — Надежда Сергеевна, — опять взмолился профессор, — заклиная тебя небом...

— Ну, ерунда какая-то, — перестал писать Пилипенко. — При чем тут небо?

— Пиши, пиши, — сказал Максимыч. — Чем глупей, тем лучше.

— Хорошо, я буду проще, — согласился профессор. — А то действительно... демонизм какой-то. Надежда Сергеевна, ну неужели какая-то норковая шуба...

— Вшивая норковая шуба, — подсказал Максимыч.

Пилипенко только рукой на него махнул — чтоб помолчал.

— Неужели какая-то... норковая шуба, — продолжал профессор, — способна заменить человеку...

— Я предлагаю так, — перебил Пилипенко. — Надежда Сергеевна! Мы пока не можем всех одеть в норковые шубы, но неужели вы не видите других достижений? Неужели вы...

— Плевать она хотела на всех! — раздраженно сказал профессор. — Ей, ей нужна норковая шуба. Что ей все? Всем она не нужна... Мне она не нужна.

— И мне не нужна — у меня вон тулуп есть, — сказал Максимыч.

Пилипенко посмотрел на них.

— Вы что, намекаете, что мне, что ли, она нужна? Мне она тоже не нужна.

С грехом пополам составили они «бумагу», и Максимыч пошел с ней к Надежде Сергеевне. Пошел... и не вернулся.

...В суде Максимыч досказал эту историю так:

— Мы составили бумагу... Там были хорошие слова. И я пошел... Я честно прочитал ей через дверь, что там было написано...

— Она не открыла вам?

— Нет, я через дверь читал.

— Ну, так?

— Она вызвала милиционера... Я продолжаю говорить — думаю, она слушает, — а милиционер уже сзади стоит.

— Почему же она вызвала милиционера? Вы же говорите, там были хорошие слова.

— Я от себя стал добавлять, — с неохотой пояснил «сантехник» Максимыч. — Мне жалко этого старичка: она его загодя в гроб загонит со своими шубками. Ну, добавил малость от себя...

— Оскорблять стали?

— Ну... как? Ну, говорил, что... Наверно, оскорблял.

— Вот гражданка Сахарова пишет в своем заявлении, что вы пригрозили ей, что если вы увидите ее в норковой шубе, то снимете с нее эту шубу, а ей взамен отдадите свой тулуп. Вы говорили так?

— Да куда мне ее? — попытался было уйти от ответа Максимыч. — Зачем?

— Но вы говорили так или нет?

— Говорил.

— Это же угроза.

— Ну... как?.. Угроза.

Максимыч получил десять суток.

ПРИВЕТ СИВОМУ!

Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился.

Была девушка... женщина, которая медленно, ласково называла его — Мишель. Очкарика слегка коробило, что

он — Мишель, он был русский умный человек, поэтому вся эта... весь этот звякающий чужой набор — «Мишель», «Базиль», «Андж» — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и «Мишеля», и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, — Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая... Хотя опять же — эта нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность... Не то что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат, грешным делом, подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной... Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность! Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. «Я постепенно открою ей простую и вечную истину: интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило — открою!» — думал кандидат.

Дальше — больше: Мишель все ходил и ходил к Кэт, изредка начинал говорить, что не вся же литература — «Аэропорт»! Кэт тихо, медленно смеялась, они ласкались... Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время — музыка и музыка, непрерывно, одинаково; что свет — где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова... Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы... Мы потом славно все наладим: она неглупа, она поймет, что не вся литература — «Аэропорт», да даже дело не в том: пусть «Аэропорт», но пусть рядом будут реальные измерения вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то сделано, такой сокровенный праздник души, не зная хоть иногда такого праздника — величайшая бедность. Конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт, конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обречем!

— Катя, — говорит Мишель, — что, если мы... у меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь. На Алтай. Возьмем рюкзаки — и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал...

— Найн, — нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась. — Но-о, Мишель.

А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно... ну, черт знает как двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила:

— Ну, хватит, Мишель, хватит...

«А здоровый я мужчина!» — думал про себя Мишель. Ему было хорошо.

Так продолжалось с месяц.

И как-то Мишель пришел опять к ней вечером. Пришел... и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости.

— Здравствуйте, — сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел: Кэт была в халатике, он сразу этого не заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, почему же еще при ком-то? Что это?

Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата.

— Знакомьтесь, — спокойно, медленно сказала Кэт. — Серж, я тебе говорила...

Серж кивнул.

Мишель продолжал нелепо стоять: он не знал, как ему быть. Потом он сел.

В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко-приторно: звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно... Он встал и подошел к Сержу.

— Михаил Александрович, — представился он. И протянул руку. «Может, это ее родственник?» — подумал он.

Серж снисходительно подал свою руку. И кивнул снисходительно... Кандидату вовсе стало нехорошо: какой родственник! Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно, это сидел наглый соперник. Кандидат опять сел.

— Кофе? — как ни в чем не бывало спросила Кэт; она была мила и спокойна. — Коньяк?

— Что вы предпочитаете? — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке; как-то умели они так говорить — вяло, медленно у них получалось.

«Как в лучших домах Лондона», — пришло на ум кандидату, он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал.

— Коньяк, пожалуй, — неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония; кандидат воспрянул духом; кажется, найден верный тон, единственно возможный. — А вы?

— Да, пожалуй, — медленно сказал бугай, не услышав чужой иронии. Кэт услышала иронию и внимательно посмотрела на Мишеля... непонятно усмехнулась.

— Серж, в холодильнике, — сказала она.

Серж встал и медленно пошел на кухню.

— В чем дело? — спросил кандидат, когда Серж вышел.

Сердце его так забилося, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла.

— Что? — Кэт стряхнула пепел с сигареты «Кент» в пепельницу. — О чем ты?

— Кто это?

— Знакомый...

— Как знакомый?

— Близко.

— Но... Не понимаю! — загорячился кандидат. — Что значит «близко»?

Кэт медленно засмеялась... В эту минуту кандидату захотелось подойти и вlepить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой.

— Я нашел там виски, — сказал он. — Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?

— Там же, внизу.

Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню.

— В чем дело? — совсем зло спросил кандидат. — Кто это?

— Мой старый знакомый, я же сказала. Друг, если угодно. А что?

— Не понимаю... — Кандидат опять потерялся, и бы-

ло очень больно. — У нас, кажется, были не те отношения...

— Тебе было плохо со мной?

— Но я считал, что... Не понимаю! Ничего не понимаю!

— Ты считал, что ты единственный и неповторимый?

— Значит, между нами все? — очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость.

— Почему? — спросила Кэт. — Ты можешь придти...

— По графику, что ли?

— Не надо хамить, — устало и медленно сказала Кэт.

«Не уйду! — решил кандидат. — Что будет, то и будь. Я вам покажу... Сан-Франциско!»

Вошел Серж с содовой. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь.

— Вам коньяк или виски? — спросил он вежливо и снисходительно; он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином.

«Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином тут был я? — изумлялся кандидат. — Это ж надо так войти в роль... сверхсовременных людей. Или это уж скотство какое-то».

— Мне бы водки, — сказал кандидат; он с отчаяния пошел на рискованный шаг: решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим «джентльменам» всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки — в этом был некий вызов, и это его устраивало. — Есть в этом доме водка?

— Есть? — спросил Серж хозяйку. При этом не скрыл снисходительной усмешки.

— Нет, — кратко сказала Кэт.

— Ну, тогда виски, — сказал кандидат. — С содовой. — Он тоже пристроился играть «джентльмена», и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным.

— Как съездили? — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно. — Интересно было?

— Было недурно.
— Кто был?
— Были Алка с Владиком, Радик... Еще двое, ты их не знаешь.

— Радик один был?

— Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж...

— Почему Радик был один?

— Ты же знаешь Радика! Настроение — побыть одному. Вообще недурно было. — Говоря это, Серж налил в три хрустальные рюмки; себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять.

Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крикнул.

Кэт и Серж продолжали беседовать.

— Что делали? — спросила Кэт.

— Ну, сама знаешь... В пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати, — оживился Серж, — потом, знаешь, кто приехал? Сивый!

— Да?

— Подкатывает мотор, смотрим — вылезает Сивый. В пылице!.. Выволакивает из багажника ящик шампанского... «Закуска — ваша!» — орет.

— Сивый один был? — спросил кандидат.

На него удивленно посмотрели.

— Сивый был один, — сказал Серж, несколько озадаченный.

— Что это он? — удивился кандидат Мишель. — Сдурел, что ли, один ездит.

— Вы знаете Сивого? — заинтересовался Серж.

— Ну, мерин такой... сероватый, срыжá.

— Не надо хамить, Мишель, — медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт.

Серж пристально посмотрел на Мишеля.

— Еще, что ли, врежем? — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше, набухал полную. — Ну, со знакомством? — подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему... К нему не присоединились, Мишель выпил один. — Кхух!.. —

выдохнул он. — Обожаю виски. У вас «Кент»? Позвольте?..

Серж пододвинул ему пачку.

— Не фонтан сигареты, да? — сказал Мишель, неумело закуривая, — он не курил.

— У вас есть что-нибудь лучше? — спросил Серж.

— «Марлборо», дома оставил, — изо всех сил медленно и лениво сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться. — На электрооргане. Вышел уже и хватился: где же у меня «Марлборо»-то? Потом вспомнил: играл на электрооргане и там, наверно, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну. У вас есть электроорган? — спросил он Сержа.

— Нет, у меня есть балалайка.

— Фи-и... и вы на ней играете?

— Да, я на ней играю.

— И как на это смотрит Сивый?

— Сивый... Слушает и плачет.

— И Радик плачет? Что же вы такое играете, что они плачут?

— «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

— Прекрасная мелодия... Чего же тут плакать? Хотя... понятно: кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо? Как Сивый на этот счет думает?

Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля.

Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата... Не знал, как все это понимать.

Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало очень весело, просто смешно.

— Ну-с, как Сивый думает о проблеме кадров? — опять спросил он Сержа.

— Сивый? — переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка. — Сивый думает, что за...

— Серж! — сказала Кэт.

— А призы Сивый берет? — продолжал расспрашивать кандидат.

— Берет. Хотите, я вам покажу парочку его призов?

— А когда же он думает? — не унимался кандидат. — Во время рысисных испытаний?

Серж требовательно посмотрел на Кэт: он больше не мог терпеть.

— Мишель, не надо хамить, — нормально, не лениво сказала Кэт.

— А кто хамит? — удивился Мишель. — Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал.

— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал однажды, он как заржет!..

— Ну, хватит, — решительно сказал Серж. И встал. — Сейчас ты у меня заржешь... — И схватил кандидата короткой сильной рукой, и поволок к выходу.

— Серж, не очень там, — сказала Кэт.

Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами... Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел — вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но — странно — не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам... И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.

«Как же ты жесток!.. — с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил. — Как ты гадок».

— Еще? — спросил Серж.

— Давай, — сказал кандидат.

Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа; потом она исчезла... Послышались удаляющиеся шаги.

— Привет Сивому! — сказал кандидат.

Шаги остановились... С полминуты, наверно, лестница молчала в пустоте, потом открылась дверь и закрылась; щелкнул замок.

Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ошупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство: и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной, — ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница, было опасно, был бред, а теперь — скорей отсюда и не оглядываться.

«О-о! — подумал о себе кандидат Михаил Александрович. — Ну как, Мишель?»

ЧУЖИЕ

Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.

Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее.

«Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром Вторым, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.

— Не посоветуешь ли ты, — спрашивал Александр Второй военного министра Милютина, — как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?

Милютин отвечал:

— Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур. Тогда великого князя из училища и не вызвать.

Такого-то ученого моряка император Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом — главою и хозяином русского флота.

Постройка броненосцев и портов, золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставлявшие ему любовниц.

Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимою. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестокими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие ни много, ни мало — двадцать лет с лишком.

Ни один подряд по морскому ведомству не проходил

без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул (я бы тут сказал — не хапнул. — *В. Ш.*) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево: почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил:

— Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо дать госпоже Балетта. А что же останется на нашу-то долю — чинам морского министерства?

Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме.

Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч рублей, — последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает.

Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь — только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея, — с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал восвояси, не солоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.

— Видите ли, — сказал японец, — несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.

— Тогда зачем же вы покупаете мою?

— Просто затем, чтобы ее не было у русских.

Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула «Пет-

ропавловск» и утопила экипаж его вместе с Макаровым — единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле?

В последние десять лет жизни Алексеем вертела, как пешкою, Балетта. Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтенбергская, урожденная Скобелева (сестра знаменитого «белого генерала»). К этой чины морского ведомства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, чего его красавица хотела.

Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас — старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство: «Цесаревич» *впервые* стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем: брони на броненосцах — металлические лишь чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею:

— Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое да хоть брони-то строил бы настоящие!

После гибели «Петропавловска» Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешанною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсинными корками, афишами, чем попало. Кричали:

— Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это — наши крейсера и броненосцы! Подайте сюда! Это — наш флот!

Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж, должно быть, на память о русском народе, который они с Алексеем ограбили.

Цусима докончила Алексея. Никогда с тех пор, как

свет стоит, ни один флот не испытывал более глупого и жалкого поражения. Тысячи русских людей пошли на дно, вместе с калошами-судами и пушками, которые не достреливали до неприятеля. Несколько часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах. Все сразу сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!

После отставки своей Алексей перекочевал за границу, со всеми накраденными богатствами своими, под бочок к своей Балетте. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от случайной простуды».

Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:

— Бабы, коров! Бабы, коров!

Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!

Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит — подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок норовит задом накинуть — лягнуть, нужна споровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.

Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь... Придут с неводом целой оравой, наорут, пошумят, в три-четыре тони огребут ведро рыбы, и — довольные — в деревню: там будут жарить и выпивать.

Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босяком в воде. До того достоиншь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:

— Перекур, Васька.

Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло — у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали, но что он — моряк, что был в плену у японцев — это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная... Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилице, усмехнулся, показал, мне на нее, на свою руку, глазами.

— Трясется. Дохлая... Думал, мне износу не будет. Ох, и здоровый же был! Парнем гонял плоты... От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля... умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А нуйминские — поперек горла, што я к ей... ну, проведуа ея. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни, на дураков, ходил, и все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его канатами — и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился на ей, но вскорости на службу забрили. А мужики чего злятся? Што вот чужой какой-то повадился... Она всем глянулась, но все — женатые, а вот все одно — не ходи. Но не на того попали. Раз как-то причалялись, напарник мой — к бабке одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я — к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их... Двое мне навстречу: «Куда?» Я их сгреб обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, — штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к им ишо подбежали, а сделать ничо не могут... Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то

длинная — они не могут меня достать. Камнями начали... Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали — с камнями-то: кто же так делат! И так уж человек двенадцать на одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел... Тут какая-то бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили — плот унесло. А внизу — пороги, его там растреплет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил жердь — и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал — верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо — боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь, и знать не будешь, так я уж берегом старался. От бежал!.. Никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот — слава те господи! А тут вскорости и пороги; там двоим-то — еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул... Управился. Но бежал я тада!.. — Дядя Емельян усмехнулся и качнул головой. — Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не сумеь, мол. Захочешь — сумеешь.

— А потом чего не женился?

— Когда?

— Ну, со службы-то пришел...

— Да где! Тада служили-то по сколь!.. Я раньше время пришел, с пленом-то с этим, и то... лет уж тридцать пять было — ждять, что ли, она будет? Эх, и умная была! Вырастешь — бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только — повыхваляться, а потом... — Дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел «козьей ножкой». — Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить.

Бабку Емельянику я помнил: добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня:

— Иди-ка суда-то!

Я подошел.

— Ваша курица нанесла — вишь, сколь! — Показывает в подоле с десяток яиц. — Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. С пяток матри (матери) отдай, а пяток, — бабка оглянулась кругом и тихо до-сказала, — этим отнеси, на сашу (на шоссе).

На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца,

молоко в бутылках... Какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:

— Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать».

— Я помню бабу, — сказал я.

— Ниче... хорошая была баба. Заговоры знала.

И дядя Емельян рассказал такую историю.

— Сосватали мы ее — с братом старшим ездили, с Егором, она — вон талицкая (это через речку), — привезли... Ну, свальба (свадьба)... Гуляем. А мне только пинжак новый сшили, хороший пинжак, бобриковый... Как раз к свальбе и сшили-то, Егорка же и дал деньжонка, я-то как сокол пришел. И у меня прямо со свальбы этот пинжак-то сперли. Меня аж горе взяло. А моя говорит: «Погоди-ка, не кручинься пока: не вернут ли». Где, думаю, вернут! Народу столько перебыло... Но знаю, што — не из нашенских кто-то, а из талицких, наверно: наш-то куда с им денется? А шили-то тада на дому прямо: приходил портняжка с машинкой, кроил тут же и шил. Два дня, помню, шил: тут же и питался, и спал. Моя чо делат: взяла лоскут от шитья — лоскутов-то много осталось — обернула его берестой и вмазала глиной в устье печки, как раз, где дым в чувал загибает, самый густой идет. Я не понял сперва: «Чего, мол, ты?» — «А вот, говорит, его теперь каждое утро корезить будет, вора-то. Как затопим печку, так его начнет корезить, как ту бересту». И чо ты думаешь? Через три дня приходит из Талицы мужичонка, какая-то родня ее, бабе-то моей... С мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам — бух, на коленки передо мной. «Прости, говорит, грех попутал: я пинжак-то унес. Поглянулся». Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином, теперь — четверть, а раньше звали — гусиха. Вот, вишь... «Не могу, говорит, жить — измаялся».

— Побил его? — спросил я.

— Да ну!.. Сам пришел... Зачем же? Выпили эту его гусиху, да я ишо одну достал, и ту выпили. Не одни, знамо дело: я Егора позвал с бабой, ишо мужики подошли — чуть не новая свальба!.. Я рад без ума — пинжак-то добрый. Годов десять его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тада-то не старуха была, а вот... знала. Царство ей небесное.

Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Трех на этой войне убило, а эти в город уехали. Доживал дядя

Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали... Он лежал на печке, не стонал, только говорил:

— Спаси вас бог... Зачтется.

Как-то утром пришли — он мертвый.

Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, — обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить, — поразмыслить-то сперва и хотелось, — а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой — на Катунь, с удочкой. Твержу себе, что ведь — дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле — и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос... А что, если бы они где-нибудь ТАМ — встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русских души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие — на веки вечные. Велика матушка-Русь!

ПОВЕСТИ

для театра

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Повесть-сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Жили они по соседству и все спорили. Пессимист говорил: «Все в жизни плохо, пошло, неинтересно». Оптимисту, наоборот, все чрезвычайно нравилось. «Жизнь — это сплошное устремление вперед, это как бы стометровка, — любил говорить он. И добавлял: — Я, может быть, говорю общеизвестные истины, но в том-то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни, — она переполняет меня всего, и мне остается только петь». И он часто пел. А Пессимист нехорошо как-то смеялся: «Ка-ка-ка!» — «под Мефистофеля».

— Вы, такие, не знаете, что такое жизнь! — громко кричал Оптимист. — И мы вас, таких, предупреждаем!..

— Нет, это вы не знаете, что такое жизнь! — тоже кричал Пессимист. — А мы знаем. Наша тоска оправданна!

— Ты не прав, Алик!

— Ка-ка-ка! — горько смеялся Алик, Пессимист.

Вот раз спорили они, спорили, чуть не подрались, но опять ни до чего не договорились. Тогда Оптимист говорит:

— Я знаю одного волшебного человека. Пойдем к нему, он нас рассудит.

— Я знаю, зачем вы пришли ко мне, — сказал Волшебный человек. — Я помогу вам. Но прежде вы мне — каждый — покажете жизнь такой, какой вы ее видите. Тогда я смогу разрешить ваш спор.

— Я согласен! — звонко воскликнул Оптимист.

— С удовольствием, — сказал Пессимист. — Я вам ее покажу. О, я вам ее покажу!

— Видите этот дом? — спросил Волшебный человек, поморщившись на такую чрезвычайную уверенность Пессимиста.

— Видим!

— Там живет девушка. Вечером ее придут сватать. Я хочу, чтобы каждый из вас показал это событие в ее жизни так, как он видит. Заделаем? — И Волшебный человек негромко засмеялся.

Сказано — сделано. Вечером все трое пришли к дому девушки и сели напротив, на лавочке. Волшебный человек посмотрел на часы.

— Пора. Кто первый?

— Я! — сказал Пессимист. Ему очень уж не терпелось.

Волшебный человек дал Пессимисту волшебную веточку и велел:

— Махни этой веточкой и скажи:

«Распояшьте, распахните,
Не стесняйтесь, покажитесь,

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, имярек, вижу»:

Пессимист взял веточку, взмахнул ею и сказал:

— Распояшьте, распахните,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Алик, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском расколосась. И видно стало: грязная комната, семейство Невесты — сама Невеста, ее Мать, Отец и Дедушка сидят за столом, ужинают.

Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала:

— Ну и жрать ты здоров, папаша!

Дед сморщился, переспросил:

— А?

— Кушаешь, говорю, много, куда к черту!

Старик обиделся, отодвинул тарелку.

За него вступился сын, Отец Невесты:

— Объял он тебя? — крикнул он на жену.

— А что я такое сказала? — в свою очередь обиделась Мать Невесты. — Пусть ест. Надо только меру знать.

Невеста крикнула на ухо Деду:

— Рубай, дедушка!

Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать.

В это время по улице, направляясь в дом Невесты, прошла группа людей — семейство Жениха: сам Жених, его Мать, Отец. И с ними еще кто-то — непонятно кто.

— А ту комнату я все равно перегорожу, и мы будем там жить! — кричал Жених.

— А шишок под носок хочешь? — спросил Отец.

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А где же он жить-то будет? — спросила мужа Мать Жениха. — Интересный ты тоже какой-то.

— Пусть где хочет, там и живет, — заявил Отец. — Когда я женился, мне отец тоже так сказал: «Как хошь, так и живи».

— Суд разберется, — значительно сказал Жених.

— Суд разберется, — согласился Отец.

Группа вошла в подъезд.

А в комнате между тем Мать Невесты рассказывала:

— Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне: «Мне, — говорит, — кто-то керосину в суп подлил». А сама на меня смотрит. Я говорю: «Если ты, — говорю, — думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься — не из таких. Нас, — говорю, — девять человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю, одного...»

— Мамаша, а я видела, — сказала Невеста.

Дед тихонько засмеялся.

— Чего ты видела? — строго спросила Мать.

— Как ты керосин подливала.

Дед опять тихонько засмеялся. И все тихонько засмеялись. Мать Невесты тоже хихикнула.

— Я ей хотела туда мочалку положить, но пожалела мочалку, — призналась она.

В дверь постучали.

— Кого там еще черт несет, — проворчал Отец и пошел открывать.

В комнату вошел Жених со своим семейством. Поздоровались:

— Привет!

— Здравствуйте!

— Приятного аппетита!

— Здравствуйте.

Только двое промолчали: Дед и Непонятно кто. Непонятно кто стал осматриваться в комнате.

— Может, ужинать с нами? — спросила Мать Невесты.

— Благодарственны, — сказал Отец Жениха. — Мы по делу к вам.

— По какому такому делу? — спросил Отец Невесты, будто не понимая, в чем, собственно, это дело.

Отец Жениха с неудовольствием посмотрел на сына, вышел на середину комнаты и сказал:

— Ну вот, значит: у вас, мы слышали, товар залежался, а у нас купец вот дурью мучается... Впрочем, надо их окрутить, и дело с концом. Как вы насчет жилплощади?

— Это вы не туда попали! — отрезала Мать Невесты.

— Как? — Отец Жениха посмотрел на сына; тот сделал ему знак рукой: «Туда. Она просто поломаться хочет». — Нет, мы туда попали. Мы «не туда» никогда не попадаем.

— Может, и туда, но товар у нас не залежался, — пояснила обиженным тоном Мать Невесты. — У нас в роду этого не было...

Тут не выдержала Невеста.

— Мама, ну чего ты? Прямо-то, как эта... Это же обряд такой, — сказала она.

— А ты молчи! — прикрикнула на нее Мать. — Прижми хвост и помалкивай. Без тебя как-нибудь разберемся.

— Вы свататься, что ли, пришли? — нетерпеливо спросил Отец Невесты.

— Свататься.

— Так и говорите, а то крутят тут...

— А то ты не понимаешь! — ехидно сказал Отец Жениха.

Непонятно кто не обращал никакого внимания на сватовство. Он осмотрелся, подошел к старику, спросил:

— Шифонер не сами делали?

Дед не расслышал.

— А?

— Шифонер, говорю, не сами делали?

Дед посмотрел на шифоньер.

— Нет. Какого лешего я его сам буду делать?

— А чего эт ты к шифонеру приглядываешься? — спросил Отец Невесты, подозрительно глядя на незнакомого человека. Тот в это время внимательно разглядывал тумбочку. На вопрос не ответил.

Жених все время стоял у двери. Когда Мать Невесты сказала дочери: «Прижми хвост и помалкивай!» — он уставился на нее немигающими строгими глазами. Потом не вытерпел и сказал:

— Я дико извиняюсь, но вы, мамаша, тоже неправильно выражаетесь. Вы, например, сказали: «Прижми хвост». Я не согласен.

Мать Невесты приятно изумилась.

— Скажите, какой заступник выискался! Она еще пока моя дочь — как хочу, так и говорю с ней. Вот когда она будет твоя жена, тогда можешь мне затыкать рот.

Жених не почувствовал в словах будущей тещи доброго отношения к себе, глупо уперся.

— А я не согласен! Надо тоже выбирать выражения. Я вам тоже могу сказать: «Закройте поддувало». Вы тоже будете не согласны.

Мать Жениха и Отец Жениха засмеялись. Зато Мать Невесты и Отец Невесты нехорошо посерьезнели.

— Нет, почему, — сказал Отец Невесты, — я просто за такие слова в лоб дам разок, и все.

Жених снисходительно улыбнулся, а Невеста хихикала.

— Папаша, — сказала она радостно, — он же перво-разрядник по боксу. У него же удар — двести пятьдесят кило.

Отец Невесты прикусил язык.

— А тумбочки тоже не сами делали? — спросил Непонятно кто Деда.

— А?

— Тумбочки, говорю...

Дед посмотрел на тумбочки.

— Нет.

— Ну ладно, — сказал Отец Жениха, — это все пустые разговоры. Как у вас с жилплощадью? Только не тяните kota за хвост.

Тут неожиданно взорвался Дед.

— Это безобразие! — воскликнул он. — При чем тут жилплощадь, если они любят друг друга?

Все удивились.

— Ты что, чокнулся? — спросил Отец Невесты. — Или сорвался с одного места?

— Проснулся, — ядовито заметила Мать Невесты. — Чего ты лезешь не в свое дело? Твое место знаешь где?.. Сказать?

— Я правильно говорю. Сперва надо невесту спросить: согласна она или нет. Ты согласна, внучка, за этого дурака?

Жених опять снисходительно улыбнулся. Все, однако, посмотрели в сторону Невесты.

В этот момент как на грех вошла Соседка, стареющая дева. Зыркнула глазами туда-сюда и моментально сообразила, что здесь происходит.

— О, у вас гости? — сказала она, улыбаясь. — Извините, пожалуйста, я только хотела утюга попросить. Катя, — к Невесте, — дай мне, пожалуйста, утюга.

Катя решила сыграть на Соседку, решила воздвигнуть на кухне небольшой нерукотворный памятник себе: решила убить Соседку.

— Я еще не знаю, — сказала она потупясь. — Я еще подумаю. Вообще-то, мне еще рано замуж.

Все опешили. Повисла неловкая пауза.

— Да? — спросил Жених. — Может, нам лучше разойтись как в море корабли? Чтобы без трепа?..

Опять пауза. Момент тяжелый, противный.

— Катя, — заговорила Соседка. — Я насчет утюга... Извините, пожалуйста.

Никто на нее не обращал внимания. Кате и подавно было не до утюга. Дед поднялся, нашел утюг, подал Соседке. Та вышла. Непонятно кто остановил Деда и заговорил:

— Интересно, а этажерку...

— Пошел к черту! — разозлился старик. — Я не столяр! Я машинистом был — ту-ту!.. Понял?

— Что вы кричите? Я же не глухой, как некоторые тут...

— Нет, я хочу понять — в каком смысле надо понимать: «Мне еще рано замуж»? — спросил Жених.

— Да в таком самом... — Невеста поняла, что ужасно сглупила, растерялась.

— В каком «в таком самом»?

— Да в таком самом. И нечего ко мне приставать. — Она чуть не плакала от отчаяния.

— Я все понял, — сказал Жених. — Пойдемте, родители.

— Посмешили людей и пошли? Так только комики делают, — сказала Мать Невесты.

— Я, может, пошутила, — попробовала выйти из положения Невеста. — Я, может, просто так сказала.

— Ничего себе шуточки! — воскликнул Жених. — Я тоже могу сказать: «Мне еще рано жениться, я еще не нагулялся». Интересно, понравится тебе это? Не понравится, я больше чем уверен.

— Она не хотела так сказать, — сказала Мать Невесты.

— А как же она хотела сказать?! Я же не дурак, как намекает ваш глухарь, я же понимаю, как она сказала.

— Она — девушка и должна проявлять скромность, — встрял в неприятный разговор Отец Невесты. — Мало ли, что она согласна! Она должна говорить, что не согласна.

— Я только сказала: я подумаю.

— Знаете!.. — взревел Жених. — Знаем мы эти шуточки! Сегодня — подумаю, а завтра — хаханьки с соседом. Знаем мы это. У меня один друг тоже женился: она ему на другой же день изменила.

— Ну и мы тоже кое-что знаем! — оживилась Невеста. — У одной моей подружки тоже муж сказал, что едет в командировку, а сам жил с нашей общей знакомой. Она их застукала. Так он набрался нахальства и говорит: «А мы, — говорит, — ничего, мы, — говорит, — письмо турецкому султану пишем...»

— Тоже — комик, — заметила Мать Невесты.

— А у меня товарищ был, — вспомнил Отец Невесты, — так что он выкинул: застукал тоже жену с хахалем и скинул его с четырнадцатого этажа.

— Разбился? — поинтересовался Непонятно кто.

— Хахаль-то? Конечно. С четырнадцатого этажа... Попробуй.

— А я это иду вчера по улице, — заговорил Отец Жениха, — гляжу: муж колотит жену со всех сил. А у самого кулак — с детскую головку. Я ему говорю: «Что ж ты делаешь? Ты же можешь ей ребра сломать». А он мне отвечает: «Чем, — говорит, — меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Доцент какой-нибудь...

— У вас санузел объединенный? — спросил Непонятно кто у Отца Невесты.

— Объединенный, — ответил тот.

— Это плохо, — сказал Непонятно кто.

— Кому как. — Отец Невесты опять подозрительно посмотрел на незнакомца. — В тесноте, да не в обиде, говорят.

— А соседи как? Ничего?

— Ничего. Тимошка Соколов только буйнит часто. Вот тут, через стенку, живет. С топором бегаёт, стекла бьёт иногда... А вчера, например, явился домой в состоянии зеленого алкоголя. А семья, ну, то есть, родные и знакомые, смотрели телевизор. Ну, он тоже стал смотреть. Посмотрел немного и говорит: «Таких плотников не бывает!» Его попросили привести себя в порядок. А он свое: «Таких плотников не бывает! Я — говорит, — сам плотник — знаю! Это вранье все». Снял сапог с левой ноги и произвел удар по телевизору.

— Сколько дали? — спросил Непонятно кто.

— Пятнадцать суток. Я сам и отвел его в отделение. Критик ты, — говорю, — а не плотник.

— Какой телевизор? — спросил Непонятно кто.

— Обыкновенный телевизор.

— Они разные бывают.

— У них «Рекорд» был, — сказала Невеста.

— Самый плохой. А вот у вас, я смотрю, никакого телевизора нету.

— Телевизор — это одно беспокойство, — упрямо сказал Жених. — У одного моего друга тоже телевизор был... Смотрели как-то с соседями постановку про любовь. Свет, конечно, выключен. Ну, один сосед начал щупать жену друга. Они, значит, так сидели: она впереди, жена-то, а муж с соседями сзади. Ну, он начал ее поглаживать. Она говорит: «Это ты, Вася?» — мужа-то Васей звать. А Вася — ни сном, ни духом. «Чего?» — говорит. «Ничего», — это она-то. «Я, — говорит, — думала, это ты».

— Ай-яй, — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — с восхищением заметил Отец Невесты.

— А по мне вот хоть он есть, этот телевизор, хоть его нет — все равно, — сказала Невеста. — Я больше люблю в окно смотреть.

— Баловство одно от этих телевизоров, — согласилась Мать Невесты.

— Нет, иногда можно посмотреть, почему, — сказал Жених. — Совсем не смотреть телевизор — это тоже отсталость. Но зачем свет выключать?

— Да, это уж так, — поддакнула Мать Невесты. — Свет выключут — тут уж, конечно...

— Да, тут уж только держись, это точно, — подкинул Отец Невесты.

— При свете-то, конечно, можно посмотреть, — поправилась Невеста, — я в этом смысле и сказала. Я в этом смысле ничего не имею против. У одной моей подружки тоже телевизор есть... Она, как видит меня, всегда говорит: «Почему ты никогда на телевизор не приходишь?» Я говорю: «Нет, смотрите уж сами». Она говорит: «Почему? Хоть, — говорит, — посмеемся». — «Нет, — говорю, — смотрите уж сами». А потому что я знаю, что они, когда смотрят телевизор, свет всегда выключают.

— «Посмеемся!»! — возмутилась Мать Невесты. — «Приходи, хоть посмеемся!» Начнут все смеяться, так ты и не заметишь, как тебя общупают всю. И я всегда своей дочери говорила: «Никогда не смейся, доченька!» Она иной раз: «Мам, я в кино схожу». — «А чего, — говорю, — ты там не видела? Чего? Опять смеяться будете?»

— Нет, иногда можно посмеяться, почему. Если комедия какая-нибудь — пожалуйста, смейся. Для того и на афишах пишут: «Комедия». — Жених потихоньку наглед. — Я сам люблю комедии...

— В здоровом теле — здоровый дух, — согласился Отец Невесты. Чем больше наглед Жених, тем активнее заискивали перед ним Невеста, Отец Невесты, Мать: как ни крути, а замуж надо.

— А при чем тут тело? — строго спросил Жених.

— Я в том смысле, что я тоже кино уважаю.

— Надо же выбирать выражения.

— Это правильно, конечно.

— Вообще-то, кино — это разврат, — сказал Жених. — Ты же берешь билет, ты же не знаешь, кто рядом с тобой сидеть будет. Бывает так, что сядет какая-нибудь фифочка... От нее духами и всякими... Тут не то что на экран, тут всякие мысли в голову лезут, хе-хе...

Все громко засмеялись.

В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой скромный Гражданин с газетой в руках.

— Что случилось, соседка? — миролюбиво спросил Отец Невесты.

— Нельзя ли потише, товарищи?

— У нас, видишь ли, ЧП — дочку замуж выдаем.

— Я понимаю, но все-таки... пожалуйста, а?

— Ладно.

Скромный Гражданин вышел.

— Кто это? — спросил Непонятно кто.

— Да бухгалтеришка один... Вредный, зараза! Мы тут на днях клопов морили керосином, ну, конечно, открыли дверь, чтобы запах в коридор выходил. Так он нарочно завязал голову полотенцем и ходит с полотенцем. «Голова, — говорит, — болит от вашего керосину».

— «От вашего керосину...» А сам, наверно, с похмелья мучился, — сердито сказала Мать Невесты.

— Закладывает? — спросил Непонятно кто.

— Да говорит, что у него желудок вырезан. А сам, наверно, пьет потихоньку. Кто нынче не пьет?

— Я сам на днях клюкнул с дружками в кафе — еле до дому добрался, — весело сказал Отец Невесты. — Спасибо, ребята-дружинники помогли.

— Если не буяните, почему не выпить? — вставила свое слово Мать Жениха. — Бывают буйные.

— Нет, он у нас спокойный, — не без одобрения сказала Мать Невесты.

Отец Невесты был явно польщен этим замечанием жены и стал хвастать:

— Я сразу — спать. Других тянет шататься где-ни-то, а я сразу домой — спать.

— Папа у нас, как напьется, так берет песенник и поет все песни подряд. И все на один мотив, — сказала Невеста, с любовью глядя на отца.

Довольный Отец засмеялся.

— Ну, ты уж скажешь, дочка.

— А что, неправда? Мама его ругает матом, а он себе поет.

— Хе-хе-хе... Нет, я действительно не понимаю таких: напьется — и вот начинает строить из себя! Правильно, что начали бороться с такими. Напился? — иди домой! И никто никогда тебе слова не скажет. Наоборот, будут в пример ставить.

— Если не буяните, то почему же, — опять сказала Мать Жениха и посмотрела на своего мужа.

— У меня отец-покойничек, царство ему небесное, де-душка Катин, — вспомнила Мать Невесты, — такой был. Душевный человек! Уж так пил, господи-батюшка!.. Один две поллитры усживал. Но чтобы он кому-нибудь лишнее слово сказал или ругнулся на улице — никогда! Придет, бывало, — еле на ногах стоит, а сам все улыбает-

ся. «Вот и я», — говорит. Любили его все. Так от запоя и помер, сердешный.

— А я вот никогда не помню, что со мной бывает, — сказал Отец Жениха. — Проснешься утром и думаешь «Что же вчерась было?»

— Это опасно, — авторитетно сказал Отец Невесты. — Так можно подзалететь. У нас на днях судили одного...

— А с моим другом тоже на днях история была, — заговорил Жених. — Пошел он с женой в гости к нашим общим знакомым, выпили тоже, завели радиолу, пошли танцевать. А он, друг-то, замечает, что у его жены что-то глаза блестят. Ну, притворился пьяным. Потом — раз на кухню: а там целует его жену наш общий знакомый. Свет, конечно, выключен.

— Ай-яй! — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — воскликнул Отец Невесты.

— А он что? — спросил Непонятно кто. — Выкинул его?

— Кто?

— Муж-то?

— Он им ничего не сказал.

— !!!

— А когда они ушли из кухни, он взял им холодильник испортил и выпустил попугая из клетки. Совсем — в форточку.

— Ловко!

— Я вот не понимаю женщин, которые танцевать любят, — заговорила Невеста. — Что хорошего? Кружатся, кружатся — смотреть противно.

— Нет, иногда можно потанцевать, почему. Но вообще-то — это разврат, я по себе погонюсь: пойдешь с какой-нибудь фифочкой, а от нее духами всякими... Хе-хе...

Все опять громко засмеялись.

В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой человек с газетой.

— Товарищи, нельзя ли потише?

— Знаете что!.. — взорвалась Мать Невесты. — Идите лучше похмелитесь! Ходят тут алкоголики всякие!

Гражданин вытаращил на нее глаза.

— Вы что, спятили?

На Гражданина двинулся Отец Невесты.

— Как ты сказал? Я что-то не расслышал. Ну-ка, повтори еще...

Жених остановил его и вежливо сказал скромному Гражданину:

— Товарищ, я вас сейчас изуродую. Вот сюда достану разок... Оп!.. — Он сделал выпад, пугая Гражданина.

Гражданин выбежал из комнаты. Все опять засмеялись.

— Вот так и надо с ними, — сказала Мать Невесты.

— До чего обнаглел народ! — возмущился Отец Невесты. — Это ж — не пройдешь по улице, чтобы тебе чего-нибудь не отдавили. Мне на днях все руки отдавили.

Непонятно кто вопрошительно уставился на Отца Невесты.

— А я как-то иду по улице, — заговорил Отец Жениха, — ко мне подходят двое. «Давай, — говорят, — на троих?» Я говорю: «У меня денег нету». Так один мне сунул вот сюда кулаком и говорит: «Зазнался, сука».

— В таких случаях надо сразу вот сюда бить, — сказал Жених. Подошел к отцу, показал — под ложечку. — Вот так — р-раз!..

— Ой!

— У нас недавно случай был: приходим с другом в парк...

— Одну минуточку, я перебью, — сказал Непонятно кто. — Я не понял, как это вам руки отдавили?

Отец Невесты оглушительно захохотал. И все, кто был в комнате, оглушительно захохотали и посмотрели на Непонятно кого, как на дурачка.

— А вот как! — воскликнул Отец Невесты, встал на четвереньки и пошел по комнате. — Идите ко мне.

Непонятно кто стоял на месте.

— Ну иди, иди, — подтолкнул его Жених.

Непонятно кто пошел к Отцу Невесты.

— Вот я иду домой, — стал объяснять Отец Невесты, стоя на четвереньках. — Так? А ты — прохожий... Иди мимо меня. Иди!

— Зачем?

— Да иди, не бойся!

Непонятно кто пошел мимо него.

— Идешь, да? — спросил Отец Невесты.

— Иду.

— Теперь наступай мне на руку... Ну, наступай!

— А-а! — понял наконец Непонятно кто.

Все опять засмеялись. Отец Невесты встал, отряхнул колени.

— Вот так и отдавливают руки, молодой человек, — сказал он, снисходительно улыбаясь.

— Ну, приходите вы, значит, с другом в парк? — напомнила Невеста Жениху, заранее улыбаясь.

— Ну, приходим мы, значит, в парк, друг и говорит мне: «Тут, — говорит, — один тип есть, он у меня девушку отбил. Пойдем, — говорит, — потолкуем с ним, как желтьмены». Я ему как дал вот сюда, он двадцать семь минут в нокауте был.

— Ловко!

— Я только не поняла, кто в нокауте лежал: ваш друг или тот тип? — спросила Мать Невесты.

— Да тот тип, конечно, — воскликнула Невеста. — Мама скажет тоже...

— Тип, — подтвердил Жених. — Я ему в печень дал.

— Одну минуточку, я перебыю: сколько у вас квартплата выходит? — спросил Непонятно кто.

— Пять с копейками, — ответил Отец Невесты.

— Продолжайте.

Но тут заговорил Отец Жениха.

— Ну, а как мы решим наше дело-то? — спросил он всех.

— Нет, я же ясно сказал: ничего не выйдет, — сказал Жених. — Мы разойдемся, как в море корабли.

Минуты три все молчали, смотрели на Жениха.

— Я не люблю зря трепаться, — пояснил тот. — Я же сказал давеча: «Знаем мы эти штучки».

Дед тихонько засмеялся.

— Пошляк! — громко сказала Невеста и заплакала.

Отец Невесты, тоже чуть не плача от обиды и оскорбления, пошел снимать ружье.

— Ты боксер, да? Ты боксер? — Снял ружье, взвел курок. — А я вас тогда дуэлетом...

Первой, взвизгнув, бросилась из комнаты Мать Жениха, за ней — Отец Жениха. Потом выскочил Жених. Непонятно кто остался и, не обращая внимания на суматоху, стал мерить шагами комнату — считал метраж.

— А тебе чего тут надо?! — заорал Отец Невесты. — Ты кто такой?

— Я квартирант ихний, Лизунов Евгений Елизарович, — спокойно пояснил Непонятно кто. — Как вы насчет того, если мы поженимся с вашей дочкой?

Невеста неприлично разинула рот. Мать Невесты ущипнула себя за руку. Отец Невесты зачем-то посмотрел в дуло ружья и повесил ружье на стенку.

— Черт его знает, — сказал он. — Я что-то ничего не понимаю...

— Что ты не понимаешь?! — накинулась на него супруга. — Что тут непонятного, скажи, пожалуйста? Совсем уж одурел?..

Лизунов засмеялся.

— Это, знаете, бывает. По-научному — первая стадия.

— Закрой рот, — негромко сказала мать дочери. Потом обратилась с улыбкой к Лизунову: — Тонко же вы подъехали!.. Просто даже удивительно!

Лизунов снял пиджак, аккуратноенько повесил его на спинку стула, стал закатывать рукава.

— Жизнь, мамаша, сложная штука. Простите, ванночку можно принять? И мне бы махровое полотенце и детскую шампунь. Перхоть, знаете...

— Можно. Пойдемте, я покажу, — захлопотала Мать Невесты. — А ты, Катюша, собери пока на стол. А ты, отец, сбегай в магазин...

Лизунов пошел и запел.

— Не брани меня, родная...

Тут Волшебный человек взял у Пессимиста волшебную веточку и взмахнул ею. Стена дома сомкнулась.

— Ты не прав, Алик! — воскликнул Оптимист и стал взволнованно ходить возле скамейки. — И откуда в тебе это?! Откуда?

— Ка-ка-ка!.. — засмеялся Пессимист.

Волшебный человек между тем перевел свои волшебные часы назад на два часа и отдал веточку Оптимисту.

— Теперь ты. Время вернулось назад на два часа — событие то же: придут сватать Невесту. Покажи, как ты это видишь.

Оптимист махнул веточкой и сказал:

— Распояштесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи нам людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Эдуард, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском расколосась.

Все так же, как мы уже видели, и все тем не менее не так. Люди те же, и вместе с тем совсем другие. И в комнате все как будто так же, да не так...

— Ну и любите вы покушать, папаша! — весело сказала Мать Невесты на ухо Деду.

— А?

— Аппетит, говорю, у вас отличный!

— Не жалуясь, не жалуясь. Бывало, в империалистическую на спор барана съедал. Зато и силенка была! Посажу, бывало, трех неприятелей на штык — и через себя.

— Вы бы писали об этом, дедушка, — сказала Невеста. — У вас такая богатая жизнь.

— А я и пишу, внучка. Пишу книгу. Называться будет: «Руки вверх, неприятели!» Если хочешь, почитаю после ужина.

— С удовольствием послушаю, — согласилась Невеста.

— Кушайте, папаша, кушайте, — угощала его Мать Невесты. — Потом нам всем почитаете. Мы все с удовольствием слушаем.

По улице, направляясь в дом, проходит семейство Жениха и с ними еще кто-то. — Непонятно кто.

— Ну, рояль, холодильник, телевизор — это все забирайте, — говорил Отец Жениха. — Вы — молодые, вам это нужно.

— Спасибо, отец! — с чувством сказал Жених. — Но я предпочитаю приобрести все на свои заработанные деньги.

Отец Жениха улыбнулся хорошей улыбкой.

— Понимаю — гордость! Вот таким я и хотел видеть своего сына.

Мать отвела сына в сторонку и сказала негромко:

— Отец хочет вам подержанную «Победу» купить на свои сбережения.

— «Победу»?!

— Тш!.. Только ни слова об этом. Он хочет сделать сюрприз.

Сын догнал Отца, обнял его и поцеловал в щеку.

— Что еще такое? — спросил Отец с мужской, доброй суровостью. — За что?

— За все, папа!

Мать Жениха и Непонятно кто идут сзади.

— Какой у вас замечательный сын! — сказал Непонятно кто.

Мать было всплакнула, но тут же вытерла слезы. Улыбнулась.

Вошли в подъезд.

А в комнате Мать Невесты рассказывала:

— Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной.

— Что такое? — спросил муж. — Почему?

— Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой, а я говорю — моя.

— Мама, но вы же вчера оставались с ней, — сказала дочь. — Марья Николаевна права.

— Да, но девочка ко мне привыкла, — стала оправдываться Мать. — Кроме того, мы с девочкой не дочитали повесть «Жилин и Костылин».

— Какая повесть! — сказал Дед. — Умел закручивать граф Толстой. А? Мастер, мастер. Биография только... того, а так — мастер.

— Мастер, — согласился Отец Невесты. — И что удивительно — все предельно просто и лапидарно!

— В том-то и штука. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» хочу тоже изложить события предельно простым языком. Но трудное это дело! Ох, трудное! Я понимаю Толстого с его «Не могу молчать!». Иной раз такое волнение охватит, думаешь: лучше бы я ему в морду дал, отрицательному герою какому-нибудь, хочется, извиняюсь, матом крыть, а приходится писать, что называется, кор-рэктно. Тьфу!.. слово-то какое-то...

— Когда вы думаете закончить книгу, дедушка? — спросила Невеста.

— Думаю, что через пять лет закончу. Это будет мой скромный подарок грядущим поколениям.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вошло семейство Жениха.

Жених: — Добрый вечер!

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Добрый вечер! Приятного аппетита!

Непонятно кто: — Здравствуйте, товарищи!

Невеста: — Здравствуйте!

Отец Невесты: — Вечер добрый!

Мать Невесты: — Добро пожаловать.

Дед: — К нашему шалашу!

— Извините, что в такой поздний час, — заговорил

Отец Жениха. — Но дело, как говорят, не терпит отлагательств.

— Пожалуйста! — воскликнул Отец Невесты. — Какие могут быть разговоры? Присаживайтесь с нами.

— Спасибо за приглашение; мы только что отужинали — и сразу сюда.

Жених и Невеста переглядываются. Невеста покраснела. Дед с этакой стариковской хитрецей наблюдает за молодыми.

— Так по какому же такому делу пожаловали, товарищи? — спросил Отец Невесты: он действительно не понимает, в чем дело.

— Пожаловали мы по весьма, так сказать, щекотливому делу, — заговорил Отец Жениха, заметно волнуясь. — Молодые люди — ваша дочь и мой сын, — оказывается, любят друг друга.

Отец Невесты очень удивился, а Мать Невесты не удивилась, но она тоже была заметно взволнована. А Дед улыбался хорошей стариковской улыбкой — хитрой и доброй. Невеста опустила глаза долу.

— Я со своей стороны серьезно и обстоятельно беседовал с сыном, — продолжал Отец Жениха. — Думаю, что к браку он готов.

Отец Невесты, заметно волнуясь, ходил по комнате.

— Ах, стрекоза!.. А я-то, старый дурак, живу и ничегошеньки не знаю! Я-то думаю, что она у нас все еще девчонка, а она вон что!.. Почему ты мне не сказала, что у тебя есть молодой человек и что вы хотите пожениться? Почему? Неужели я консерватор какой-нибудь?

— Папуля, мне было как-то стыдно об этом говорить. Я просто не знаю... Я знала, что вы не консерватор, и все равно... Мне и сейчас ужасно стыдно, товарищи... Просто не знаю. — Невеста тоже заметно взволнована.

— Как же так, дочка? Я удивлен, я тебе честно говорю: я удивлен. Не сказать отцу...

— Ну что ты к ней пристал, Микола, — вступился за внучку Дед. — Молодость диктует свои законы, которые нам не всегда дано понять. Ты тоже в свое время не сказал мне...

— Тогда было другое время, отец.

— Я бы хотела только обратить внимание молодых людей на тот факт, что женитьба — это очень и очень ответственный шаг, дети мои, — сказала Мать Невесты. — Я не против того, чтобы вы поженились. Я знала о том, что вы дружите... Мне обо всем рассказывали соседи и

ваши учителя. Но вы не представляете, дети мои, насколько это серьезный и ответственный шаг. — Она всплакнула.

— Успокойся, мать, — сказал Отец Невесты. — Жизнь есть жизнь: молодое растет, старое старится. А давно ли, кажется, мы с тобой стояли на перроне вокзала... Я уезжал тогда на Крайний Север... Ах, время, время! — Отец смахнул скупую слезу.

— Да, да... И мы тоже стояли когда-то на перроне вокзала. — Отец Жениха тоже смахнул скупую слезу.

Непонятно кто подошел к Деду и спросил:

— Я слышал, вы книжку пишете, дедушка?

— Пишу, молодой человек, пишу.

— «Воспоминания пожилого человека»?

— Ась?

— Я говорю, называться будет: «Воспоминания пожилого человека»?

— Плохо вы о нас думаете, молодой человек! — обиделся Дед. — Какие же мы пожилые?! Разве годы могут старить человека?

Непонятно кто смутился.

— Нет, я не в том смысле сказал... Я понимаю, что годы тут ни при чем.

— То-то! Я в свои семьдесят девять лет моложе много восемнадцатилетнего. А почему? Да потому, что не отстаю от жизни. А вот некоторые... Ну-ка, молодые люди!.. — (Это к отцам.) — Чего захлюпали? Выше голову! Грянем, братцы, удалу-ую!..

Все громко засмеялись.

Стук в дверь.

— Войдите, — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой Гражданин с энциклопедией в руках.

— Добрый вечер, товарищи!

Отец Невесты: — Здорово, сосед!

Мать Невесты: — Здравствуйте, Семен Кузьмич!

Дед: — К нашему шалашу, Кузьмич!

Невеста: — Здравствуйте, дядя Семен.

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Здравствуйте!

Жених: — Здравствуйте!

Непонятно кто: — Здравствуйте!

— А я слышу: у вас какое-то торжество, дай, думаю, зайду, — сказал Гражданин.

— А вот они, виновники торжества! — сказал Отец

Невесты и показал на Жениха и Невесту. — Моя дочь выходит замуж.

— Да что вы говорите! — изумился Гражданин. — Катюша, милая!.. Поздравляю тебя, дитя мое, поздравляю! — Подошел, поцеловал Невесту в лоб. — А где же?.. Ага, вот он! — Он строго, но вместе с тем любовно посмотрел на Жениха. — Ничего, ничего... хорош! А? Арсений Назарыч?.. Как находишь?

— Мне — лишь бы не отставал от жизни, — сказал Дед.

— Нет, хорош, хорош... Поздравляю, молодой человек, от души поздравляю! Вы, можно сказать, открыли клад.

— Э-э, что — клад, Семен Кузьмич, — упрекнул Гражданина Дед. — Что в наше время клад?

— Я просто к слову, Арсений Назарыч. Нет, хорош... А ведь я Катюшу-то вот с каких лет знаю, когда она еще под стол пешком ходила, хе-хе-хе... Ах, где мои семнадцать лет!

— А вот этого я не люблю, Семен Кузьмич, — опять осадил его Дед. — Что это за вздохи?

— Я так, Арсений Назарыч, к слову. Нет, хорош! Так молодые люди... одну минуточку. — Семен Кузьмич вышел с таинственным видом.

— Неисправимый человек! — усмехнулся Отец Невесты. — Сейчас что-нибудь принесет в подарок, уж я его знаю.

— Когда я еще была маленькой, — заговорила Невеста, — дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: «Учтите, вы там будете». И плакал.

— Он у нас, как Циолковский, — вставил Отец Невесты. — Тоже, кстати, все чертит чего-то. Спросишь: «Чего ты изобретаешь-то все?» Он махнет рукой и скажет: «Так... мысли распирают».

— Но сдает последнее время, сдает, — заметил Дед. Вошел Семен Кузьмич с телевизором в руках.

— Прошу принять от меня этот скромный подарок, молодые люди.

— Что вы, дядя Семен! — воскликнула Невеста.

— Что вы, Семен... э-э... Семен Кузьмич! — тоже воскликнул Жених.

— Прошу, прошу... И без церемоний — я этого не люблю. Иначе обижусь. Берите, мне тяжело держать.

Жених принял телевизор.

— Спасибо.

— На здоровье. Мне он на старости лет...

Дед погрозил Семену Кузьмичу пальцем.

— Кузьми-ич!..

— Молчу. Эх, грянем, братцы, удалу-ую!..

Дед подхватил:

— Эх, на поми-ин ее души!

Все громко засмеялись.

Семен Кузьмич посмотрел на часы.

— Хорошо с вами, дорогие мои, но дело есть дело: судим одного прохвоста товарищеским судом. Представляете, выкинул номер: обиделся, что его покритиковали на жилактиве за некультурное поведение в лифте, пришел домой, включил везде свет — днем!.. Включил уют, электроплитку и сидит.

— Позор! — сурово сказал дед. — Выселить в необжитые районы.

— Мало того: он начал петь! Соседи, естественно, возмутились: попросили прекратить. И знаете, что он ответил: «Я, говорит, не знал, что в доме такая звукопроницаемость».

— А вот это уже нахальство, — сказал Отец Невесты. — Он не знал, что в доме такая звукопроницаемость! Наивный ребенок!

— В наше время многие под наив работают, — сказал Непонятно кто. — У нас в институте один парень тоже... «Я, — говорит, — не знаю, почему Ремарк — это плохо...»

— Пропесочить разок хорошенько — узнает, — посоветовал Дед.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вбежала соседка, подруга Невесты.

— Боже мой!.. Катя!..

— Зина!..

Они обнялись.

— Катя!..

— Зина!..

— Катька!..

— Зинка!..

Семен Кузьмич засмеялся, махнул рукой и вышел.

— Ну, теперь разговорам конца не будет, — притворно рассердился Дед и повернулся к Непонятно кому. — А вы что, тоже пишете, молодой человек?

— Да.

— О чем, если не секрет?

— Вещь называется «Три товарища» — в пику Ремарку. Действуют три друга: Димка, Толик и Боб. Они сперва заблуждаются, потом находят себя. А потом я буду писать еще одну вещь — в пику Хемингуэю.

— Одобряю, — похвалил Дед. — Благословляю, так сказать. Нам надо раскладывать, надо бичевать, надо перетряхивать!.. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» перетряхиваю все на свете. Надо, надо.

— Итак, молодые люди, — заговорил Отец Невесты, — вы будете жить самостоятельно. Как вы себе это представляете? Я хочу спросить прежде всего вас, молодой человек.

Жених вышел на середину комнаты и заговорил, заметно волнуясь:

— Мне легко отвечать на этот вопрос, потому что я недавно отвечал на вопросы анкеты одной молодежной газеты — «Ваше мнение о семье и браке». Я подробно остановился там на духовном облике современной молодой семьи, на ее, так сказать, идейной подоплеке. Я высказал там одну, на мой взгляд, интересную мысль: современная молодая семья не может существовать без взаимопонимания и дружбы.

— Так, — Отец Невесты кивнул головой.

— Далее, я указывал, что современная молодая семья не мыслится без взаимного уважения и доверия.

— Правильно.

— Вот эти четыре компонента, как три кита, составляют, на мой взгляд, основу основ современной молодой семьи.

— Так.

Жених вошел в раж.

— Я глубоко убежден, — говорил он звенящим голосом, — что, если даже только один из этих четырех компонентов перестанет соответствовать нормам современного общежития, молодая семья распадется. Я глубоко убежден также, что бракоразводный процесс в нашем законодательстве очень уж усложнен. Я могу навлечь на себя немилость леваков, могу показаться излишне тенденциозным, но я говорил и говорить буду, что объявлять в газетах о расторжении брака — это... альковное кощунство!

Все внимательно слушают расходившегося Жениха.

— Вы юрист? — спросил Отец Невесты.

— Я, так сказать, антиюрист. — Жених улыбнулся

своей шутке. — Я филолог. Но дело тут, как вы сами понимаете, не в профессии. Меня глубоко волнует человеческая сторона этого вопроса. В самом деле, вы пришли с работы, приняли ванну, поужинали и ложитесь на диван. У вас отличное настроение. Вы берете газету и начинаете ее просматривать. Все хорошо. И вдруг: «Марья Иванна Загогулькина...»

Все громко засмеялись.

— «...возбуждает дело о расторжении брака с Загогулькиным».

Все опять громко засмеялись.

— Смешно? — спросил Жених. — Нет, грустно!!! Ты лежишь, тебе тепло, у тебя отличное настроение, а где-то плачет в пепел семейного счастья эта самая Загогулькина Марья Иванна...

Никто не смеется.

— Где-то пропадает хороший человек Загогулькин. Пропадает только потому, что вовремя недосмотрели, не проявили заботу! — В глазах Жениха горячие огоньки справедливого гнева. — Как же ты можешь лежать на диване, как ты можешь чувствовать себя хорошо, если где-то произошла драма! Нет, встань, найди этого самого Загогулькина, поговори с ним, узнай в чем дело, а потом уж ложись. А до этого не смей лежать!!! Я кончил.

— Так их, молодой человек! — вскричал Дед. — И не бойтесь быть излишне тенденциозным! Слово-то какое-то тоже...

— Но ты впал в противоречие, Андж, — заметила Невеста.

— В какое?

— Если бы не было объявлений в газете, ты бы не узнал о драме.

— Ага! Ну-ка, ну-ка. — Дед от удовольствия потер ладони. — Люблю всякие пикники.

Жених снисходительно и с любовью посмотрел на Невесту.

— Я впал в противоречие только потому, что тебе этого хочется.

— Но если бы не было объявления в газете, ты не узнал бы о драме и у тебя было бы хорошее настроение, — стояла на своем Невеста. У нее тоже загорелся в глазах огонек.

— Значит, по-твоему, не будь газеты, я бы не знал жизни? — спросил Жених.

Все с интересом наблюдают за молодыми, хорошо улыбаются.

— Я не утверждаю, что, не читая газеты, ты бы не знал жизни — для этого существует кино, радио, телевидение. Я только хочу сказать, что ты бы не узнал о конкретной драме Загогулькина.

— Да я этого Загогулькина за два квартала узнаю! — воскликнул Жених. — Идет человек с грустными глазами — стоп! В чем дело, товарищ? Ну-ка, выкладывай, не стесняйся — что там у вас случилось? И неважно, будет это Загогулькин или кто еще.

— Ты узнаешь, а другой не узнает. Нельзя всех мерить на свой аршин. Я знаю сколько угодно молодых людей, которые со спокойной совестью пройдут мимо Загогулькина.

— Во-от! — воскликнул Жених и показал пальцем на Невесту. — Вот мы и договорились!.. Вот с кем надо бороться — с равнодушными! Именно об этом я и хотел сказать, когда заговорил о бракоразводном процессе.

— Это все правильно, молодой человек, — сказал Дед. — Мне нравится ваша горячность, с какой вы отстаиваете свои убеждения. На мой взгляд, это несколько запальчиво, но с годами это уйдет. Вы станете спокойнее, и вам легче будет находить те единственно верные слова, которые проложат вам путь к счастливой жизни. Я хочу спросить о другом: как вы себе представляете другую сторону семейной жизни — материальную, так сказать?

Жених поморщился.

— Как-то не хочется об этом сегодня...

— Нет, уж вы скажите, — настаивал Дед. — Я понимаю, мой вопрос несколько коробит вас, но мы, люди пожилые, знаем, что над этим вопросом многие ломали головы.

— Ну, во-первых, у нас будет две комнаты, два телевизора... Кроме того — я открываю чужую тайну... — Жених радостно засмеялся и посмотрел в сторону своего отца. — Но я очень рад и потому скажу: папа покупает мне подержанную «Победу».

В комнате воцарилась зловещая тишина. Все презрительно и гневно смотрят на Жениха. Он медленно, с ужасом постигает, как низко он пал со своей ничтожной, глупой, неуместной радостью.

— Вон, — негромко сказал Дед.

— Так вот вы какой, оказывается, — тоже негромко сказал Отец Невесты. — Вас в этом мире волнует только

«Победа»? Можете считать, что сегодня вы не победили. Я присоединяюсь к требованию моего отца — вон! И думаю, моя дочь тоже к нам присоединится.

— Я присоединяюсь, папа. Я... я не знала, какой он на самом деле... — Невеста заплакала. — Когда мы с ним говорили о семейной жизни, он говорил только о четырех компонентах. Он даже не заикался о «Победе». Он казался мне благородным, с превосходной подоплекой, а оказывается... оказывается, он вынашивал мысль о собственной «Победе»! Ничтожество! О, как я обманулась!

— Я сам только сегодня узнал, — выкнул было Жених.

— Не смейте! — Дед стукнул костылем в пол. — Не смейте ничего говорить! Если вы радуетесь по поводу того, что у вас будет своя «Победа», то радуйтесь еще больше, что вы в моем доме и я не могу вас отлупить вот этим костылем, потому что я благородный человек! Можете идти в ресторан!

— Я потрясен, товарищи! — заговорил бледный Отец Жениха. — Мне трудно сейчас говорить... Я не узнаю своего сына... Я что-то просмотрел в нем в свое время — это несомненно. Я что-то главное не увидел в нем. Я действительно хотел купить ему «Победу». Но я никогда не думал, что вместе с «Победой» в нем подымет голову тот маленький собственник, которого он так искусно скрывал в себе. Я сам всю жизнь вот этими руками разливал газировку (показал руки), мне подчас было не до сына, я передоверил его воспитание бабушке — и вот результат.

Мать Жениха тоже заплакала.

— Андрюша, сынок... Сколько раз я тебе говорила: не водись с этими молодыми людьми, это плохая компания. Ты мне что говорил? «Мама, это хорошие люди, хоть они и артисты. Но это не вина их, а беда». Ты говорил...

Отец Жениха: — О-о!

Отец Невесты: — Все понятно.

Мать Невесты: — Ая-яй!

Дед: — Ну, конечно!

Невеста: — Да-а!

Непонятно кто: — Да-а!

— А вместе с тем я знала, — продолжала мать Жениха, — что один из этих молодых людей развелся с женой, у другого — выговор по общественной линии за

грубость с начальством... И сколько бы он ни говорил, что это несправедливый выговор, я не верила. Несправедливых выговоров не бывает...

Жених стоял белый, как бумага. Он посмотрел на Непонятно кого.

— Толик, скажи им, что это неплохие люди... Скажи хоть что-нибудь!

— Я не хочу с тобой говорить! — отрезал Толик. — Я больше тебе не друг. Ты только что говорил о борьбе с равнодушными — ты лгал! Ты не только не узнаешь Загогулькина, ты наедешь на него собственной «Победой». Ты раздавишь его! Подумай о том, что с тобой случилось сегодня, пойми, пока не поздно, что ты стоишь над пропастью во ржи! Ты говорил, что не надо объявлять расторгнутые браки в газетах, ты опять лгал: их давно не объявляют. Ты изолгался!

— Люди узнаются на крутых поворотах, — сурово сказал Дед. — Я не случайно заговорил о материальной, так сказать, стороне дела. Когда он говорил о четырех компонентах, в его словах чувствовалась какая-то неуверенность, он все время что-то недоговаривал. Меня не проведешь, молодой человек! Я раскусывал экземпляры посложнее, и мне жаль вашего отца и вашу мать: не велика радость иметь такого сына.

— Я осознал, товарищи, — жалко залепетал Жених. — Мне ужасно стыдно. Мне... я... Мне так трудно сейчас... — Он сморщился, сдерживая невольные слезы. Махнул рукой и быстро вышел не попрощавшись.

— Ничего, у него есть еще время стать настоящим человеком, — все так же сурово сказал Дед. — Помогите ему, не оставляйте сегодня его одного.

— Какой ужас! — простонал Отец Жениха. — Какой ужас!.. До свиданья!

— Вот до чего доводит дурная компания, — сказала Мать Жениха. — До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

— Всего хорошего, — сказал Дед. — Последите сегодня за ним. Уберите из его комнаты все ножи, вилки — вообще, колющие предметы. Но особенно чернила — не допускайте, чтобы он писал упадочнические стихи.

Мать Жениха и Отец Жениха ушли. Тут на середину комнаты вышел Непонятно кто (Толик).

— Николай Арсеньевич, и вы, Анна Иванна, и вы, Арсений Назарыч... — Голос Толика слегка дрожал. —

Одним словом, я прошу руки вашей дочери и внучки. Извините за дерзость.

Мать Невесты: — Как?

Отец Невесты: — Как?

Дед: — Как?

— Я давно люблю Катю. Но я знал, что она дружит с этим... Я не хотел мешать их счастью.

— Это бла-ародно, молодой человек!

— Я на последнем курсе филологического факультета — изучаю язык древних арабов. Защищаю диплом и еду на Крайний Север. Многим это может показаться странным — зачем, мол? Я убежден, что мое знание древнеарабского языка пригодится в суровой тундре.

— Ничего в этом странного нет! — воскликнул Дед. — Это бла-ародно.

— А пока я живу в общежитии, гол как сокол, за душой — ни копейки. Все — в будущем. Если вас это смущает, скажите сразу — я напишу на вас фельетон.

— Что вы! — воскликнул Отец Невесты. — Кого это может смущать?

— Но учтите, дети мои, семейная жизнь, да еще в условиях тундры... — Мать Невесты опять всплакнула.

— Bravo, молодой человек! — опять воскликнул Дед. — Я когда-то так же начинал.

— Толик!.. Толька... — Невеста бросилась к Толику. — Я всегда за тебя голосовала!..

Волшебный человек взял веточку у Оптимиста, махнул ею — стена дома сомкнулась.

— Я затрудняюсь, молодые люди, — сказал он. — Вот что: у меня есть заместитель по оргвопросам, я попрошу его побеседовать с вами, он дока в этих делах. Потом мы решим. — И Волшебный человек исчез.

А Пессимист и Оптимист опять заспорили.

— Ты кретин, — сказал Пессимист.

— Нет, это ты кретин, — ответил Оптимист.

— Ты — восторженный конь!

— Подовок!

— Сейчас я тебя буду бить!

Тут они стали драться. Прибежали люди, разняли их. Пришел милиционер.

— В чем дело, граждане?

Оптимист показал на Пессимиста.

— Вот этот тип искажил картину жизни!

— Нет, это ты искажил!

— Нет, ты!

— Нет, ты!

Милиционер видит, что так они ни до чего не договорятся, хотел их взять с собой, но тут подскочил Некто, хромой и бойкий, и сказал, что он разберется.

Пришли в какое-то помещение.

Пессимист струсил, Оптимист — тоже: им не понравилось помещение.

— Посидите здесь пока, никуда не уходите, — сказал Некто, а сам ушел.

— Давай заключим пока мир, — предложил Пессимист.

— Давай, — согласился Оптимист.

— Что делать?

— Не знаю.

— Эх, ту бы волшебную веточку сюда! — вздохнул Пессимист.

— У меня есть один листочек от нее, — сказал Оптимист. — Когда старик дал мне веточку, я незаметно сорвал один.

— Давай его сюда! — взревел Пессимист.

— Ишь ты какой!

— Давай так: кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок, — предложил Пессимист. — Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай?

— Давай, — согласился Оптимист. Он был великодушный малый.

Первого вызвали Пессимиста. Оптимист незаметно сунул ему листок от волшебной веточки.

Едва только Пессимист ступил на порог кабинета, как в кабинете все помрачнело и Некто в один миг из доброго, расторопного превратился в какого-то свирепого Малюту Скуратова, нервного и внимательного.

— Говори, подонок, что случилось?! — рывкнул он. — Только не путай тут.

— Я высказывал свои взгляды на жизнь. Я убежден... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды...

— Короче! Воруешь?

— Я бы попросил...

— Я тебе сейчас попрошу! — Некто встал, подошел

- к Пессимисту и начал его обыскивать. — Где нож?
— Нету.
— Где нож, я тебя спрашиваю?!
— Нету.
Некто дал Пессимисту в челюсть.
— Где нож?
Пессимист заплакал.
— Я не ворую, я принадлежу к философской группе...
Некто внимательно посмотрел на Пессимиста, сел, приготовился писать.
— Чем занимается группа? В каком районе действует? Кто вожак? Отвечать быстро и точно.
— Я — мыслитель.
— В чем заключаются твои обязанности?
— Я думаю. Я как бы разрезаю действительность и вскрываю...
— Где нож?
— Я мысленно разрезаю!
Некто ткнул Пессимиста в живот.
— Где нож?
Пессимист опять заплакал.
— У меня нет ножа. Я головой разрезаю...
Некто стоит в недоумении.
— Ты не темни здесь! Ты меня путаешь!
— Честное слово! Я головой разрезаю, извилинами...
Некто сел, начал писать.
— Говори дальше. Все говори.
— Я считаю, что самый верный и быстрый способ познания жизни — это заставить ее врасплох, неожиданно... Это мой метод. Я бросаюсь на нее прыжкообразно и срываю всяческие покрывала...
Некто достал из ящика стола наган, положил рядом с собой.
— Дальше.
— Меня уже ничем не удивить. В жизни действуют одни подлецы и мошенники. Хороших людей нет. Их выдумывают писатели, чтобы заработать хорошие деньги. Честных людей тоже нет. Все воруют, лгут и оскорбляют друг друга...
Некто встал, подошел к Пессимисту и... пожал ему руку.
— Спасибо. Наконец-то я встретил настоящего человека. Извини, я принял тебя за вора. Говори дальше, я буду записывать каждое слово и вечерами читать.
— Самое мое любимое занятие — смотреть в чужие

окна. И что же я там вижу?! Я вижу там одни свинцовые мерзости.

— Свинцовых мерзостей не бывает, — поправил Некто. — Бывают — пьяные. В нашем волшебном мире, например, много пьют.

— Кстати, что это за волшебный мир? Что вы там делаете? — поинтересовался Пессимист.

— Мы хотим жизнь превратить в сказку!

— Да?

— Да!

— Хотел бы я знать, как вы это болото превратите в сказку. Бульдозерами, что ли? Засыплете?

— Это не ваше собачье дело! — почему-то вдруг обозлился Некто. — Ваше дело...

Но тут Пессимист показал волшебный листик.

— Вы забываетесь...

— Да, да... Извините, увлекся. Так на чем мы остановились?

— Что жизнь — болото.

— Болото. Кстати, вы не хотели бы пойти поучиться на волшебника?

— Зачем это? — удивился Пессимист.

— Видите ли, в той сказке, которую мы хотим создать, предполагаются... как бы это выразиться... представители темных сил, что ли.

— Баба Яга, Змей Горыныч?..

— Что-то вроде этого, только без той гадкой сущности, какую привыкли нести эти твари. Так вот, для подготовки этих персонажей...

— Нет, — твердо сказал Пессимист. — Я буду продолжать копать в грязи, я буду выдумывать все новые и новые комбинации отчаяния и грусти. Я никогда не поверю ни в какое светлое будущее...

Некто перестал записывать.

— Я это не пишу. Дальше.

— Хорошо. Но я буду смеяться над теми, кто поверит в светлое будущее. Вот так: «Ка-ка-ка!»

— Прелесть! Умница! Оскар!

— Какой Оскар?

— Ну, вот... в тюрьме-то, в Рэдингской, забыл фамилию...

— Вы бросьте, слушайте! — прикрикнул опять Пессимист.

— Я уже заткнулся.

— Нам и так-то несладко, а вы еще с намеками тут...

— Какие намеки? Бросьте вы тоже...

— Не надо. Не надо! Не надо!! — Пессимист стал нервничать и подергиваться. — Не надо!! А то я дам в лоб мраморной пепельницей...

— Довольно, — сказал Некто. — Спасибо. Я слушал ваши слова, как музыку. Это что-то невероятное!.. Пишите книгу, молодой человек, пишите стихи, делайте что-нибудь, черт вас возьми, но не зарывайте ваш талант. Подождите в коридоре, мы потом еще поговорим.

Пессимист вышел из кабинета.

— Ну что? — спросил его Оптимист.

— Ажур. Мы поняли друг друга: я ему наговорил...

— Давай листик.

— На. Только не потеряй его. Смело гни свою линию: листик работает.

В кабинет вызвали Оптимиста. И едва только он вошел туда, как все вокруг посветлело. Некто преобразился. Это уже не Малюта Скуратов, и это не бойкий, нервный зам — это спокойный пронизательный добряк, веселый и жизнерадостный.

— Садитесь, молодой человек, — вежливо предложил он. — Курите.

— Спасибо.

— Так что у вас там случилось?

— Я волнуюсь и не умею говорить, но я скажу. Я все скажу! — загорячился Оптимист.

— Скажите, скажите. — Некто добродушно улыбался.

— Я не только скажу, я просто не позволю, чтобы всякие нытики глумились над жизнью. Ведь жизнь — это... это как бы стометровка!

— Почему же стометровка? — возразил Некто. — Я бы сказал: жизнь — это рысистые испытания. Или лучше: бег с препятствиями. Препятствия, в смысле — трудности, еще имеются, молодой человек. Незначительные, конечно, пустяковые, но имеются. И так?..

— А меня лично жизнь зовет, и я устремляюсь. И я лично не понимаю, о каких трудностях вы говорите!..

— Ну, ну... я пошутил просто. Какой горячий молодой человек! Уж и пошутить нельзя!

— Нельзя! Нельзя так шутить, вы понимаете?!

— Ну а если, скажем, молодой человек или девушка едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, что их там, кроме всего прочего, ждут и трудности?

— Ни в коем случае! — воскликнул Оптимист. — Мы делаем великую глупость, когда предупреждаем об этом. Вот потому-то и видишь иной раз: человек едет в необжитый район, а задумчив. Почему, спрашивается? О чем задумался? Что ты оставил здесь, что давало бы тебе основания задумываться? Квартиру с удобствами? Родных и друзей?.. А там тебя ждет палатка! Там тебя ждут бураны, медведи, волки!.. Спрашивается: что же лучше? Что лучше: удобная квартира или палатка с медведем?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Конечно, палатка с медведем лучше. Но ведь едут-то они туда строить дома с удобными квартирами. Это тоже нельзя забывать. Значит, медведь не вечен? — Некто поднял кверху палец, хитро прищурился.

— Медведь, к сожалению, не вечен, — согласился Оптимист. — Но это не должно нас смущать: кончатся трудности — мы их выдумаем!

— Это вы точно сказали. Это не в бровь, а в глаз.

— Я всегда говорю в глаз, хотя и не умею говорить и всегда волнуюсь. Да, так о чем мы? Ага, о юноше, который едет в необжитый район и сидит в вагоне задумчив.

— Нет, мы заговорили о медведе. И я хотел спросить вас в связи с этим: вот, скажем, вышли вы утром из палатки, а в десяти шагах стоит медведь. Бурый обыкновенный медведь, средних размеров. Ваши действия?

Оптимист немного подумал.

— Песня! — воскликнул он. — Я запеваю бодрую песню и иду от палатки. Медведь слушает и идет за мной. Таким образом я увожу его от палатки, в которой спят мои товарищи, и они никогда не узнают, какая опасность подстерегала их в то утро. Я иду по тайге и пою. Медведь идет за мной. Я устаю идти, устаю петь, но я иду и пою. Потом я ползу и пою. Потом я перестаю ползти и петь. Медведь подходит ко мне, и я вижу в его звериных глазах восторг и удивление...

— Так, правильно. Еще один вопрос: вы идете с товарищем по тайге. Вы заблудились. У вас на исходе продукты. Вы все делите пополам и продолжаете идти...

— Стоп! — воскликнул Оптимист. — Во-первых, я не стану делить продукты пополам — я отдам товарищу все.

— Я знал, что вы так скажете. Поэтому еще один вопрос: а если ваш товарищ поступит точно так же?

— Тогда мы бросаем пищу и идем дальше.
— Правильно. Вас не поймаешь.
— Как-нибудь!
— Последний вопрос: вы выходите из тайги?
— Не-сом-нен-но!
— Вы готовы к трудностям, молодой человек!
— Потрогайте. — Оптимист дал потрогать свои бицепсы. Некто потрогал.

— Да, вы готовы к трудностям. В этом я еще и еще раз убеждаюсь.

— Я готов ко всяким трудностям.

— Значит, вы едете в Сибирь?

— Я повторяю: я готов ко всяким трудностям и лишениям, но у нас их нету. Палатка с медведем — это, сами понимаете, не трудность. Значит?..

Некто не догадывается, что — «значит».

Оптимист улыбнулся.

— Ну?.. Я готов к трудностям, но их нет, — значит?..
Логика, логика!

— Не могу догадаться. — Некто смутился.

Оптимист терпеливо объясняет:

— К трудностям я готов. Так? Но трудностей нет. Палатка, бураны и медведи не трудности. Значит?..

— Честное слово, не могу...

— Значит, я не еду в Сибирь! — громко и весело сказал Оптимист.

Оба искренне смеются.

— Bravo, молодой человек! Двадцать копеек с меня. А в волшебники к нам не хотите пойти работать? У нас есть кое-какие трудности.

— Ваши трудности — это тоже не трудности, — сказал Оптимист. — Я их, кстати, не знаю и не хочу знать. Жизнь идет вперед. И как поезд идет мимо небольшого полустанка, не останавливаясь на нем, так жизнь грохочет мимо ваших, например, трудностей, не обращая на них внимания. Значит?..

Некто опять в затруднении.

Оптимист решил объяснить предметно.

— Вот полустанок — то есть ваши трудности. — Положил на стол коробок спичек. — Так? Вот — жизнь... — Хотел взять наган, но Некто смущенно убрал его. Оптимист взял протокол, свернул его в трубку. — Вот — жизнь, которая стремительно проносится мимо. — Показал. — Теперь: я занимаюсь вашими трудностями... —

Ткнул в коробок пальцем. — А жизнь — смотрите! — грохочет мимо. Значит? Логика?..

— Не понимаю. — Некто опять в затруднении.

— Значит, я не иду к вам работать!

Опять весело рассмеялись.

— Ловко вы меня, — сказал Некто.

— Если я пойду к вам работать, значит, я останусь на полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу все время устремляться вперед. И я устремляюсь.

— Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию, — сказал Некто.

— Не угадать.

— Угадаю!

— Ни за что!

Некто пристально посмотрел на Оптимиста.

— Летчик.

Оптимист покачал головой.

— Вы слишком буквально поняли устремление вперед. Летчик — это механическое устремление.

— Геолог!

— Геолог — это устремление вглубь, а не вперед.

— Преподаватель истории!

— Ну-ну, это совсем не то. История — это...

— Нет, нет, это действительно не то. Сейчас, сейчас...

Оптимист улыбается, ждет.

— Ну?..

— Сейчас, сейчас... Поэт?

— Близко, но не то.

— Черт возьми! Сейчас, сейчас... Сутенер! То есть...

Тьфу, черт... не то хотел сказать, извините, пожалуйста. — Некто покраснел.

— Ничего, — великодушно сказал Оптимист.

— Я хотел сказать — связист!

— Не то.

— Тогда не знаю. Пас.

— Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию определить невозможно.

— Почему?

— Потому что у меня нет никакой профессии.

Некто так и покатился.

— Ну ловко же вы меня!.. Ха-ха-ха!.. А что вы делаете?

— Ничего, в том-то и дело.

— Как?

— Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по улице.

— Но вы же сказали, что вы все время устремляетесь вперед!

— Да, я лежу и устремляюсь. Понимаете?

— ???

— Ну, лежу и одновременно устремляюсь вперед! Неужели вы себе не можете представить такого? Это после эйнштейновской-то теории?!

— Как-то трудно, знаете... Не могу, знаете, ощутить этого явления.

— Душой! Сердцем! Помыслами устремляюсь!

— А-а, вот теперь понял...

В этот момент окна кабинета сами собой распахнулись, ворвался с улицы вихрь, выхватил из рук Оптимиста волшебный листик и унес в окно.

— Так вы, значит, нигде не работаете? — строго спросил Некто. Он сделался пожилым, усталым.

— Нет.

— И не желаете работать?

— Работать — значит не устремляться вперед. Верно? Значит?..

— Попросите другого сюда, — распорядился Некто.

Но дверь сама открылась, и вошли Волшебный человек и Пессимист. Пессимист сразу зарычал на Оптимиста:

— Сороконожка!.. Где волшебный лист?! Сейчас я тебя буду бить...

Волшебный человек остановил его твердой рукой.

— Спокойно.

— Вы видели подонков, которые никуда не устремляются?! — вскричал Оптимист. — Вот один из них. Позвольте ваш наган, на минутку: я его кокну.

— Спокойно! — опять сказал Волшебный человек. — Сядьте. Лист у меня, больше вы его не получите.

— Но он же исказил картину жизни!

— Нет, это ты ее исказил!

— Спокойно! — еще раз сказал Волшебный человек. — А то я превращу вас в баранов, и мы с замом наделаем с вас пашлыков. — Волшебному человеку самому понравилась эта шутка, и он засмеялся: — Гы-гы-гы...

Пессимист и Оптимист не засмеялись.

Волшебный человек скрестил руки и долго ходил по кабинету. Он думал.

— Вы оба исказили картину жизни, — сказал он. —

Вы оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы... — Он опять погрузился в свои думы.

— В чем смысл? — спросил Оптимист. — А то я волнуясь.

— Смысл в том, чтобы... Замапчивая идея, черт возьми! — Волшебный человек опять погрузился в думы.

— У вас туалет где? — негромко спросил его Оптимист.

— В коридор и налево. Побыстрее там, я сейчас буду изрекать смысл — нечто новое.

— Бойтесь, что убегу? Принципиально не пойду. Я лучше здесь...

— В чем смысл? — нетерпеливо спросил Пессимист.

— Смысл в том, — торжественно заговорил Волшебный человек, — чтобы соединить обе эти точки зрения и в результате напряженного философского акта породить — третью! А? Заделаем?

— Как? — спросили все.

— Так. Я перевожу свои волшебные часы... Есть. Свадьба идет. Семейство Невесты такое, каким его видит наш Оптимист. Семейство Жениха — как видит Пессимист.

— Ура! — вскричали Пессимист и Оптимист. Взялись за руки и стали танцевать.

В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего!

— Вперед, шалунишки! — скомандовал Волшебный человек. — Все идемте. Мы увидим сейчас нечто новое.

А в это время в доме Невесты творилось что-то невероятное.

Дед читал Непонятно кому свою книгу:

— ...Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на паранет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. «Получай!» — сказал я и ее тоже шарахнул. «Гук! Гук! Гук!» — разнеслось по всем комнатам.

— Сколько метров? — спросил Непонятно кто.

— Где?

— Квартира?

— Не знаю.

— А чего же пишешь? Тумбочки лучше делай.

В другом углу Жених учил Отца Невесты боксу. Обмотал кулак полотенцем и показывал приемы.

— Крюк! — закричал разгоряченный Жених. — Опп!

Отец Невесты отлетел к стенке.

Отец Жениха повел его опять к окну.

— Удар, а?..

— Отличный удар. Вот я помню, когда уезжал на Крайний Север...

— погоди ты со своим Севером! Становись.

— Вы полегче его, — сказала Мать Невесты. — А то сотрясение будет.

— Какое сотрясение! — воскликнул Отец Невесты. — Надо — значит, надо!

— Он мне один раз как засветил, — вспомнил Отец Жениха, — я неделю на кварц ходил. Ну-ка, сынок, как ты мне тогда?.. Ну-ка, ему тоже так!

— Прямой правой? — спросил важный Жених.

— Я не видел. У меня тогда искры из глаз посыпались.

Все засмеялись.

— Как образно! — сказала Невеста. — «Искры посыпались...» Какой все-таки русский язык!..

— Это — правой в лоб, снизу, — вспомнил Жених. — Это делается так... Нагни голову!

Отец Невесты послушно нагнул голову.

— Есть.

— Ниже.

— Есть.

— Следите за моей правой ногой... Вот что она делает... Удар пойдет оттуда.

Все замерли и следили за правой ногой Жениха. Он прыгал.

— Опп! — сказал Жених, и Отец Невесты полетел в угол.

— Все, нокаут, — сказал Жених.

Действительно, Отец Невесты не поднимался. Его стали приводить в чувство.

— Ты увлекся, Андж, — сказала Невеста.

— Если бы я увлекся, здесь бы давно уже никого не было. Мы один раз пошли с дружкой к одним знакомым... А дружок с женой был. А там один фэраер был.

Ну, мы их застучали¹ в туалете. Вот там я увлекся! Начали ффраера в унитаз толкать, он не лезет...

— Принципиально не лезет или просто не может? — спросила Мать Невесты.

— Не хочет!

— А вы?

— Мы сняли с него костюм и пустили в одной шляпе. Он в два часа ночи голый когти рвал.

— Это же неэтично, Андж.

— Э? — спросил Жених.

— Неэтично...

— Зато — голый! И скорость приличная.

— Я понимаю твое увлечение скоростью, Андж, но согласишься: голый человек в два часа ночи... Ты можешь возразить: а как же Высокое Возрождение?..

— Они не успели, — сказал Жених.

— То есть?

— Мы пришли раньше.

— Я говорю о Возрождении.

— Я тоже. Они не успели. Мы пришли раньше.

— При чем тут вы?

Жених посмотрел на Невесту как на дуру. Показал пальцем на лоб.

— У тебя что, замкнуло?

— Андж!!!

В это время в комнату вошли Волшебный человек, Оптимист, Пессимист и Некто. На них никто не обратил внимания.

Дед и Непонятно кто о чем-то спорили в своем углу. Невеста тоже что-то горячо доказывала. Жених возражал. Мать Жениха и Отец Жениха тоже заспорили с Матерью Невесты и Отцом Невесты.

— Он меня хотел изуродовать! — кричал Отец Невесты. — Это членовредительство!

— Членовредительство бывает не такое! — возражал Отец Жениха. — Он куда тебя шарахнул? По башке?..

— Я бы попросила!.. — тоже горячо заговорила Мать Невесты. — Я бы попросила выбирать выражения!

— Да?! — спросила Мать Жениха. — А мне кажется, что тут кое-кому надо закрыть поддувало! А то — сквозняк!

Отец Жениха взял Отца Невесты за грудки.

— А я тебе говорю: голова — это что?

— А что же это такое, по-вашему?

— Голова-то?

— Ну.

— Голова — это орган. А членовредительство — это...
Пойдем к двери, я тебе покажу членовредительство!

— Не пойду!

— Пойдешь!..

Страсти разгорались.

Все говорили сразу, ничего нельзя было разобрать.

И в этот момент раздался громкий протяжный возглас:

— Полундра!.. — Это Дед вскочил с места и забегал по комнате. — Где моя сабля?! Я его сейчас развалю на две половинки! У меня еще полно пороха в пороховницах!..

Непонятно кто бегал за Дедом и повторял:

— Сундук! Сундук!

— Атас! — вскричал Жених и стал снимать пиджак.

Отец Жениха тащил Отца Невесты к двери.

— Иде-ем! Счас узнаешь, что такое членовредительство! Счас я тебе объясню...

— Полундра-а! — кричал Дед.

Тут не выдержал Волшебный человек и решил вмешаться.

— В чем дело, дедушка? Почему вы так раздухарились?

— Он на меня говорит: «Сундук»!

— Слушай, — обратился Волшебный человек к Непонятно кому. — Почему ты на него говоришь «Сундук»?

— Потому что он не хочет делать тумбочки, — сурово сказал Непонятно кто.

— Я пишу книгу!

— Он пишет книгу...

Тут подошел Пессимист и засмеялся «под Мефистофеля»:

— Ка-ка-ка!

— Что, что тут смешного? — встрял Оптимист. — Продолжайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков.

— В том-то и дело! Поэтому-то я и хочу развалить его на две половинки!

Тут к ним подошли Отец Жениха и Отец Невесты.

— У нас спор, — сказал Отец Невесты. — Что такое голова?

— Голова? — удивился Волшебный человек. — Голова — это... — он подумал, — это чердак. Я выражаюсь образно. Вот дедушка меня поймет.

— Я в своей книге «Руки вверх, неприятели!» называю голову — кумпол.

— А вот у нас тоже был случай, — подошел Жених. — Идем мы раз с другом к нашей общей знакомой, к нам подходят двое. Я как дал одному...

— В каком районе? — спросил его Некто.

— Запутать хочешь, да? — насторожился Жених. — Не на того нарвался.

— При чем тут сразу — «запутать»? — вмешался Волшебный человек. — Он просто поинтересовался...

— А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой разговариваю.

— Сынок, дай им всем снизу вверх под сорок пять градусов, — посоветовал Отец Жениху.

— Что-то я не вижу тут ничего нового, — сказал Пессимист.

Волшебный человек нахмурился.

— Молодой человек, разве можно так выражаться?

— Они вообще расхамились тут, — сказал Отец Невесты. — Дочка, дай ружье.

— Руки! — закричал Дед.

— Кто сказал — «руки»? — озверел Жених. — Кто? Вот этот нафталин? Внимание, сейчас будет — правой снизу в челюсть! Следите за ногами. — Он запрыгал перед Дедом.

— Сейчас он его изуродует, — радостно сказал Отец Жениха.

Все остановились возле Жениха и Деда и ждали.

— Следите за ногами, — предупредил Жених, — удар начнется оттуда.

Дед растерянно ждет.

— Он же убьет его! — сказала Мать Невесты.

— Не убьет, у нас бокс любительский, — заметил Оптимист. — Но челюсть может вылететь.

— Сынок, — заговорила Мать Жениха, — лучше левой в печень, чтобы он сразу загнулся.

— Правильно, — согласился Непонятно кто, — метр-раж будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать.

— Нет, лучше по голове...

— По голове не надо, — предупредил Дед. — Я не допишу книгу.

— Следите за ногами! — опять крикнул Жених.

— Сейчас он его...

— Дедушка, сколько вам было лет? — спросил Оптимист. — Я завтра статью о вас буду писать.

— Семьдесят восемь.

— Кошмар! Давно надо было...

— Что давно?

— Давно надо было полное собрание написать. На чем вы остановились в вашей книге?

— Как я попал в плен и измордовал неприятельского генерала.

Жених перестал прыгать.

Все тоже удивились.

— В плену?

— Конечно. Он у меня двое суток пятый угол искал. Причем, что удивительно: он мне нарисовал карту земного шара и говорит: «Все, я больше ничего не знаю». Но этот номер ему не прошел...

— Следите за моими ногами! — вскричал опять Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Дочка, дай ружье!

— Держись, дедушка!

Все кричат, ничего не разобрать.

Дед громко запел:

— А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!

— Слушайте, прекратите это! — потребовал Некто у Волшебного человека. — Тут ничего невиданного нет.

Волшебный человек посмотрел на руку... — часов нет.

— Кто свистнул мои волшебные часы?!

— Следите за ногами!.. — орал Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Снизу вверх под сорок пять! Снизу вверх под сорок пять!

— Гоп со смыком — это буду я! Ха-ха!..

— Папаша, стреляй! Огонь, папа!

— Кто свистнул часы?!

«А я еду, а я еду за туманами,
за туманом и за запахом тайги!»

— Кто взял часы? Какая сволочь?

В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!

Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего! —

пели Оптимист и Пессимист.

— Огонь, папа!

Некто и Волшебный человек пытаются навести порядок, но не могут. Пошли в ход подушки, стулья.

— Снизу вверх под сорок пять!

В это время вошел Сосед.

Взял за воротник Волшебного человека, подвел к двери и дал ему пинка под зад.

Потом взял Пессимиста и выпроводил его таким же образом. И Оптимиста также. И Некто пошел следом.

Все замолчали. И смотрят друг на друга с недоумением.

— Теперь давайте так, как это бывает на самом деле — с точки зрения нормальных людей.

* * *

— Проходите, товарищи, — сказал Отец Невесты, — садитесь, пожалуйста. Чем обязаны?

Гости (семейство Жениха) расселись где кому удобно.

— Дело такое, — заговорил Отец Жениха, — пришли мы, как говорится, по весьма щекотливому делу: сватать вашу дочь. И решили целым семейством сразу: заодно и познакомимся. Не возражаете?

— Да ведь тут... как тут возразишь? — Отец Невесты засмеялся (нормально). — Кое-кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж... просим к столу. Мы, правда, не готовились, но как-нибудь выйдем из положения.

— Прошу, дорогие гости, прошу, — сказала Мать Невесты.

— Э-э! — воскликнул Дед. — Так я еще и на свадьбе погуляю!

Все засмеялись и стали садиться за стол.

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ

Сатирическая повесть для театра

Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин, и жила-была жена его, Вера Сергеевна... Впрочем, почему — жили, они и теперь живут, а это и есть рассказ про их жизнь: какая случилась с ними и с их друзьями непредвиденная печальная история. Обоим им под сорок, конкретные, жилистые люди; у Аристарха Петровича интеллигентная плешь, маленькие, сведенные к носу глаза, он большой демагог, не лишен честолюбия. Вера Сергеевна — тоже демагог, но нет того мастерства, изящества, как у Аристарха Петровича, она из рабочей семьи, но тоже очень честолюбива и обидчива. Он и она — из торговой сети, он даже что-то вроде заведующего, что ли, она — продавщица ювелирного магазина «Сапфир». Была у них трехкомнатная квартира. Все было бы хорошо, но... Про это «но» много уже рассуждали — да: НО...

Аристархушка крепко пил.

И пил, собака, изобретательно.

Вечер, который незаметно превращается в ночь

Аристарх назвал гостей пять человек, заставили письменный стол шампанским, коньяками, икрой в баночках... В комнате у Аристарха накурено и шумно — что-то такое, кажется, обмывали, может быть, автомобильные покрышки, потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки, пять штук.

Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа, обозлилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и смотрела телевизор, нарочно запустив его на полную

громкость, чтобы хоть как-то мешать этим идиотам, которые шумели в комнате Аристарха.

Гости шумели.

— Ты ль меня, я ль тебя любить буду!.. — пел один, вовсе лысый; и все одно: «ты ль меня, я ль тебя...»

— Ну, полетели?! Вы, полетели?! — приставал ко всем курносый человек в очках и смеялся, и махал руками, как птица, и все звал: — Ну, полетели?!

— Рано, рано, — говорил Аристарх. — Тут еще полно всяких мошек.

Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знакомую игру, в перелетных птиц, что ли, но еще не все наклюкались. А один — с большим брюхом — не знал, что это такое — «полетели». И тоже приставал ко всем:

— А куда полетели-то? А? Куда это лететь-то?

— На Кудыкину гору!

— Куда, куда?

— Туда!..

— Да он же не знает, чего ты озверел-то? — остановил Аристарх одного чернявого, который обозлился на этого, с брюхом.

— Ну, полетели же! — стонал курносый.

— Ну, полетели, — сказал Аристарх.

Присели на дорожку, налили по чарочке...

— Прощай, родина, — грустно сказал Аристарх. —

Березки милые...

Курносый всерьез заплакал и замотал головой.

— Полянки... Простор...

Чернявый дал кулаком по столу.

— Не распускать нюни!..

— Инстинкт, — сказал один пожилой с простым лицом.

— Выпили на дорожку! — пригласил Аристарх.

Все выпили... Аристарх первый поднялся из-за стола, пошел открыл дверь комнаты, вернулся и стал наизготовке посреди комнаты.

— Я — вожак, — сказал он.

За «вожаком» выстроились остальные пятеро...

И они «полетели»... Они замахали руками, закурлыкали и мелкими шажками потянулись за «вожаком». Сделали прощальный круг по комнате, «вылетели» в коридор, пролетели, курлыкая, через комнату Веры Сергеевны и очутились в третьей комнате, где был тоже стол и холодильник.

Они сели, печальные, за стол... А Аристарх доставал из холодильника коньяк.

— Далеко теперь наши березки, — сказал курносый; он уже опять готов был плакать.

— А я люблю избу! — громко и враждебно сказал человек с простым лицом. — Я вырос на полатах, и они у меня до сих пор — вот где! — Он стукнул себя в грудь. — Обыкновенную русскую избу! И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками...

— А коньячок-то любишь — похолодней, — вставил чернявый.

— Он в погребке будет холодный.

— В погребке он будет плесенью отдавать, — сказал брюхатый. — Ты попробуй поставь на недельку в погреб — потом выпей: плесенью будет отдавать.

— Сам ты плесень! — свирепел человек с простым лицом. — Свесил на коленки... По какому месяцу?

— Только... знаешь... не надо, — обиделся брюхатый.

— Не надо? Не надо и вякать, про чего не знаешь!

— Хватит вам, — хотел утихомирить их Аристарх. — Это вечная тема...

— Вот в деревне-то у тебя не было бы такого брюха! Ты бы там не жрал на ночь бифштексы кровавые, боров, а утром не валялся бы до двенадцати...

— Ты!.. Жлоб! — прикрикнул брюхатый. — Ты грузишь тару — грузи дальше, а язык не распускай, а то на него наступить можно!

— Да хватит вам! — встрял опять Аристарх.

— Деревню он любит!.. — тоже очень обозлился брюхатый. — Чего ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу?..

— У меня ее нету.

— А-а... трепачи. Писатель есть один — все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец! Я... — брюхатый ударил себя в пухлую грудь. — Я в коммунальной тогда жил, а он — в такой же — один...

— Как один? — не понял чернявый.

— Ну, с семьей!.. Но я — в коммунальной и никуда не призывал...

— Ему за это деньги хорошие платят, что призывает, — вставил курносый.

— Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай — покажи пример!

А то — понаехало тут... не пройдешь. В автобусе не проедешь...

— Брюхо надо нормальное иметь, тогда и проедешь, — сказал человек с простым лицом. — А то отрастили тут... на самом деле не проедешь. По какому месяцу, я тебя спрашиваю?

— Грузите бочки апельсинами! — огрызнулся брюхатый. — Избу он любит... Полати он любит... А дулю с маслом любишь? Ну, и катись отсюда!

— Вот: я занимаюсь погрузкой, — показал свой кулак человек с простым лицом, — поэтому он у меня тренированный: разок двину, так у тя сразу выкидыш будет.

— Ну!.. — громко огорчился Аристарх, — прилетели в жаркие страны и давай тут... Мы же в жарких странах!

Все засмеялись.

— С прие... это — с прилетом! — воскликнул чернявый.

(Мы уж теперь так и будем называть их: чернявый — это Чернявый, брюхатый — Брюхатый, курносый — Курносый, лысый, который все песенки поет, — это Лысый, а человек с простым лицом будет, для краткости, — Простой человек.)

— С приехалом! — поддержали Чернявого.

— С прилетелом! — сострил Аристарх.

— А мне здесь не нравится, — заявил Лысый. — Вообще мне вся эта история с журавлями... не того... не очень. Давайте споем?

— Выпить же надо, — сказал Простой человек.

— Да, елочки!..

— Коньяк стоит, а мы...

— С прилетелом! — еще раз громко сострил Аристарх. Выпили.

— Споем? — предложил опять Лысый. И запел:

Из-за острова на стрежень,
На просто-ор речной волны-ы...

Его поддержали Чернявый и Курносый.

Эх, выплыва-ют расписны-ые
Стеньки Ра-азина-а челны...

Но песня не сладилась — не вышла.

— Поехали обратно! — предложил Брюхатый. — Мне здесь тоже не нравится.

— Полетели?! — выкрикнул радостно Курносый. — К березкам!

— Я больше не полечу, — наотрез отказался Брюхатый. — Я поеду поездом.

— Идея! — закричал Лысый. — Едем поездом. Прихватим с собой на дорожку; будем на станциях выходить...

— Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть, — предложил Простой человек. — Я раз из Воронежа ехал...

— Нет, нет!.. — кричал Лысый. — Нет, мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно с собой взять...

— Не надо! — Лысый воодушевился и сильно кричал. — Не надо! Зачем? Мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно сразу... Слушай суда! — закричал тоже Простой человек. — Мы — сяди, поклати чемоданы — и в вагон-ресторан...

— Да иди ты со своим вагон-рестораном! — оборвал его Брюхатый. — Дай сказать человеку. Когда это ты в вагон-ресторане сидел?

— Я не сидел! — гордо сказал Простой человек. — Я там ночевал!

— Мы нормально сядем в поезд, — продолжал Лысый, — выпьем на дорожку...

— Ты только один в вагон-ресторанах сидишь, да? — Простого человека задело за живое, что Брюхатый ему не верит.

— Так, дальше? — слушал Брюхатый Лысого. — Выпили на дорожку?..

— Выпили на дорожку, малость проехали — у нас пересадка!

— Где пересадка?

— А вон в этой комнате, — показал Лысый на комнату, где сидела Вера Сергеевна. — Мы ее сейчас развеселим!

— По вагона-ам! — скомандовал Брюхатый. — Берите с собой на дорожку, а то пять минут осталось!

— А на посошок-то? Э-э!.. — напомнил Чернявый.

— Давайте быстрее! Быстрее, быстрее. — Брюхатый посмотрел на часы. — Четыре минуты осталось.

Тут все оживились, засмеялись, задвигались... Стали скоренько разливать коньяк по рюмкам.

— Скорей, скорей, — суетился Брюхатый. — А то опоздаем.

— Успеет. Он не точно отходит...

— На ходу запрыгнем.

— Ты-то запрыгнешь, а некоторые... могут родить на рельсах. — Это Простой человек все кусал Брюхатого. Тот снисходительно посмотрел на него.

— Я предлагаю вот этого... жлоба не брать с собой, — сказал он. — Он напьется, и нас из-за него в милицию заберут.

— Ничего! — кричал Лысый. — Дернули!

Выпили.

И «побежали на поезд». На этот раз в голове строя стал Брюхатый и запыхтел, и даже ногой подстукивал...

— Пх-х, пх-х, пх-х... Ну, сели?

— Сели.

— Ту-ту-у!.. — тонко и выразительно «загудел» Брюхатый и медленно стронулся с места. И «поехали»...

«Выехали» в комнату Веры Сергеевны... Брюхатый стал «замедлять ход» и опять тонко, с какой-то даже тоской «прогудел»:

— Ту-ту-у!..

Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на «поезд».

— Пересадка! — объявил Брюхатый.

«Пассажиры» вышли из вагонов... Расселись кто где смог: кто на тахту присел, кто на кресло... Простой человек сел на полу прямо.

— Много народу на вокзале, — сказал он.

— Вы давно сидите, гражданка? — любезно обратился Аристарх к Вере Сергеевне.

— Нет, я недавно. А вот вам... не знаю, сколько сидеть придется, — как-то значительно сказала Вера Сергеевна.

«Пассажиры» переглянулись.

— То есть? — не понял Аристарх.

— Я эти... путешествия с выпивками пресеку раз и навсегда, — опять зло и непонятно сказала Вера Сергеевна. — Вы у меня подудите... Подудите у меня, паразиты.

— Что, контролеры пришли? — испуганно спросил Простой человек с пола. — А у нас билеты-то есть?

Брюхатый засмеялся и хлопнул одобрителем по плечу Простого человека.

— Да это так — пугают, — сказал Чернявый. — Гражданочка, а вы что, билет не можете достать?

Вера Сергеевна больше не смотрела на «пассажиров», а смотрела телевизор.

— Ну а почему же сразу — «паразиты»? — оскорбился Аристарх.

— А кто же вы? — повернулась Вера Сергеевна. И зло смотрела на мужа. — Ну — спекулянты, если не паразиты: еще хуже.

— Гражданочка, — опять заговорил Чернявый весело, — вы нас с кем-то спутали: мы обыкновенные пассажиры... Едем на свои денежки.

— Вот и проезжайте. А потом вас повезут бесплатно.

— Куда это? — тоже зло спросил Аристарх. — Куда это нас бесплатно повезут?.. — Он двинулся было к жене, но его остановил Брюхатый.

— Стоп, Аристархушка! — сказал он разумно. — Никаких скандалов на перроне... Нам действительно пора ехать. По вагонам! — опять скомандовал он.

И все опять со смехом построились в затылок друг другу, Брюхатый опять «загудел» — и «поехали» в комнату Аристарха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за столом.

— Хотя нормально посидим в ресторане, — пожаловался Лысый. — А то все — в дороге и в дороге... Все всухомятку, как попало...

— Что будем заказывать? — обратился ко всем Чернявый.

— Лично я, — сказал Простой человек, — выпил бы простой водочки. А?

Брюхатый интеллигентно скосоротился на это.

— Пусть пьет водку. А нам, пожалуйста, шампанского...

— И коньячку, — подсказал Курносый. — На меня шампанское, как пиво, работает: я то и дело бегаю.

— Итак, — подвел Аристарх, перебросив полотенце с одной руки на другую, — коньяк, шампанское... Водки, извините, не держим.

— Ну, как же так — не держите?! — возмутился Брюхатый. — А если человек на полатах вырос?.. Что ему, ваш коньяк пить?

— Ерша ему! — подсказал Курносый.

А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, достала бумагу, ручку... И села писать.

И дальше, — если вообразить, что это на сцене, — можно услышать, что она пишет. Причем уже слабо слышно, как там «сидят в ресторане» наши «пассажиры», а отчетливо слышен голос Веры Сергеевны:

«Уважаемый товарищ прокурор!

В то время, когда наши люди занимаются производительностью труда, есть отдельные элементы, которые

только хотят есть и пить. И занимаются этим каждый день. Вы меня спросите: на какие деньги? Я вам отвечу: они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса, меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а потом по всей ночи курлыкают или изображают из себя пассажиров...»

«Пассажиры» в это время танцевали летку-енку.

«Вот сейчас, когда я пишу Вам это заявление, они танцуют летку-енку. А в коридоре лежат крышки для «Волги» в количестве пять штук. Вы думаете, где они их взяли? Они их сымпровизировали. Так что я думаю, что при вашей помощи они станцуют более ответственный танец и поедут пассажирами на казенный счет, я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли, только понял мой муж Аристарх, но он думает, что я только пугаю. А у меня уже всякое терпение мое лопнуло: мы перестали уважать друг друга, потому что, как мне кажется, он импровизирует не только с крышками, но и с чужими женщинами...»

Утро

Утром Аристархушка проснулся с большой головой... Потянулся к стулу, где был всегда заготовлен стакан с водой. Стакан стоял на месте, а под стаканом — бумага. Аристарх взял бумагу и прочитал:

— Копия...

И побежал глазами по бумаге... И, даже еще не дочитав всего, вскочил и побежал в комнату жены.

Вера Сергеевна, одетая, слышав его шаги, направилась к выходу... И тут ее перехватил Аристарх.

— Ты что? — спросил он.

— Что? — спросила Вера Сергеевна. Она стояла с сумочкой и сумочку держала у груди.

— Ты куда?

— Туда...

— Куда это туда? — спросил Аристарх зло, сквозь зубы: — Куда это туда?

— Ударить хочешь? — спросила Вера Сергеевна спокойно. — Ударь — получишь лишних три года.

— Вера... — Аристарх растерялся. — Сядь... Давай сядем поговорим. В чем дело?

Вера стояла в шубке, а Аристарх в нижнем белье... Аристарх был жалок рядом с каракулевой шубкой.

— Давай сядем, — суетился Аристарх. — Сядь же ты!.. Скотина.

— Пусти!

— Вера!.. Прости — ну, вылетело. Сядь, я прошу.

— От этого ничего не изменится. — Вера Сергеевна села на диван, на краешек.

— В чем дело? — спросил Аристарх. Подставил стул к двери и сел тоже. — Что случилось?

— Мне надоело! — закричала Вера Сергеевна. — Мне надоела ваша пьяная самодеятельность! Я тебе не служанка!..

— При чем тут служанка? Ну, повеселились... Что, пошутить нельзя?

— С кем ты позавчера шутил? У тебя весь пиджак был в пудре! С кем?!

— Да мало ли... в автобусе прислонился...

— В автобусе?! А вот эту записку ты тоже в автобусе нашел? — Вера Сергеевна достала из сумочки записку и прочитала: — «Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот офис — и мирно, полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?..»

— Это деловое письмо! — вскричал Аристарх. — Дай сюда!

— Да? Шиш! — Вера Сергеевна спрятала записку в сумочку. — Развратник. Спекулянт. Я те покажу — голубь!

— Да это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой...

— Однокурсник? А почему же подпись — «Соня»?

— Псевдоним! Мы его в институте так дразнили.

— А почему «твоя Соня»?

Аристарх опять растерялся... И от растерянности больше обозлился.

— Плебейка, — сказал он зло и тихо. — Что, я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди шутят, то шутят — до конца. Если он подписался «Соня», то он последовательно написал «твоя». Твоя — это значит твой.

— Твой Соня?

— Что, врезать, что ли? Врежу...

— Попробуй. Так тебе — лет восемь дадут, а так — одиннадцать.

— Ну, чумичка!.. — занервничал Аристарх. — В чем дело-то? Чего ты взбесилась-то?

— Я все там написала.

- Так. И куда ты сейчас?
- К прокурору.
- Сегодня воскресенье.
- Я в почтовый ящик брошу.

Аристарх побледнел... И долго стоял над Верой Сергеевной.

- Я — спекулянт? — спросил он дрожащим голосом.
- Спекулянт, — сказала Вера Сергеевна.
- Я ворую у государства деньги?
- Воруешь у государства деньги.
- Снимай все с себя! — приказал Аристарх. — Снимай, снимай!.. Это все куплено на ворованные деньги. — Аристарх стал снимать с жены шубку, дорогой костюм. — Это все воровано — чего ты напаялила? Снимай!

— Пожалуйста! На!.. На, воруга!..

— Все снимай! Твоего тут ничего нету!

— Что я, голая к прокурору пойду?

— Голая! — Аристарх изловчился, вырвал у Веры Сергеевны сумочку, заглянул — там ли заявление: заявление было там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изнутри на ключ и ушел с сумочкой и с шубой в свою комнату. И сел к телефону. Дрожащим пальцем набрал номер. — Але? Семеныч? — И Аристарх заговорил негромко и торопливо: — Слушай, срочно ко мне... Да нет! Моя швабра накатала на нас телегу и собралась к прокурору... — Аристарх долго молчал, слушал. — Иди ты к черту! — сказал он. — Созвонись со всеми... давайте как-нибудь все... прощения, что ли, попросим. Уговорим ее как-нибудь. Мне эта Сонька еще подлянку кинула: записку в карман подсунула, я даже не знал... А я знаю? Из-за Вальки, наверно. Давайте. Срочно.

Аристарх бросил трубку, минутку посидел, подумал, оделся, выпил фужер шампанского и пошел с шубой жены и с ее костюмом к ней в комнату.

Вера Сергеевна лежала в нижнем белье на диване.

— Одевайся, Вера, — сказал он миролюбиво. — Давай спокойно поговорим обо всем.

Вера Сергеевна стала надевать костюм, а Аристарх заходил по комнате, как преподаватель вуза.

— Во-первых, — начал он, — ты думаешь, государство наше такое глупое?

— Я об этом не писала. Нечего мне тут...

— Я тебе прочитаю курс экономики! — воскликнул Аристарх. — Чтоб ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается эконо-

микой, прекрасно знают, что — воруют. Больше того, какой-то процент, кажется, пятнадцать процентов государственного бюджета отводится специально — под воровство. Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей. Но так как у нас — равенство, то мне официально не могут платить зарплату в три раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою энергию? За мою инициативу? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть — я умею работать! Какое же мне за это вознаграждение? Никакого. Все знают, что я — украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл, — это и есть мои премиальные. Поняла? Это — мое, это мне дают по негласному экономическому закону...

— А сколько тебе дадут по гласному закону?

— Дура!.. — сорвался на крик Аристарх. — Ты думаешь, меня посадят? Ни-ког-да! Посадят — это, значит, я там буду канавы рыть? Но у меня же — голова, и твой прокурор это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью, моя голова здесь нужна, я здесь нужен, а не канавы рыть. Вот они — покрышки лежат, — показал Аристарх в коридор. — Пять штук. Лежат? Лежат — ты можешь подойти и пощупать их: они есть. — Аристарх остановил свой вузовский ход и торжественно поднял руку. — Но их нету! Их нигде нету, их не сделали на заводе. Их не существует. А они — лежат, пять штук, друг на друге. Это и называется: экономический феномен. Попробуй... без специальной подготовки, без головы!.. Попробуй это сделать. Да как только прокурор обнаружит, например, эти покрышки, которых никто никогда не делал, он сразу поймет, с кем он имеет дело. И ты останешься с носом. Ну, разумеется, тебя поблагодарят, наговорят слов... А мне, я так думаю, предложат какое-нибудь повышение, пошлют куда-нибудь. Ведь не хватает же умных людей-то, не хватает. Где их набраться-то? Ну, окончил он свой вузишко, ну — с дипломом... А что дальше? А дальше ничего: еле-еле будет на восемьдесят процентов тянуть. А то я не знаю таких! Так что ты... поторопилась с этим своим заявлением, Верунчик. — Аристарх подсел к жене. — У нас вчера была самодеятельность... Согласен, самодеятельность, но это от избытка... я не знаю — чувств, что ли, ну расшалились... Может же художник... артист какой-нибудь там... в бассейне в бане кильку ловить и закусывать, ну а почему

мы журавлей не можем изобразить? Нет, там, видите ли, понятно, а тут... Да, самодеятельность, но у тебя с этим заявлением — это, прости меня, безграмотность, это на уровне дворничихи. Мне даже стыдно, что ты моя жена.

Вот этого Аристарху не следовало говорить. Он уж и понял это, но поздно.

— Прекрасно, — сказала Вера Сергеевна, — иди к своей Сонечке, она твою голову ценит, а мне дай сюда ключ. Дай ключ! Я сделаю свое дело... Твою голову оценит прокурор. И не пудри мне мозги своими... своей экономикой: будешь канавы рыть как миленький. Шалунишка... Энергичный? Там энергичные тоже требуются. Канавы тоже надо энергично рыть.

Аристарх свирепо уставился на супругу.

— Лахудра, — сказал он весьма грязно, не по-вузовски. — Раздевайся! Этого костюма тоже не шили на фабрике — чего ты его напялила? И шубу не смей трогать: этих баранов, — показал он на каракулевую шубу, — никогда не было на свете. Чумичка в каракуле!.. Не пойдет. Я ей мозги пудрю!.. Да я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная прослойка людей и должна жить... с выдумкой, более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, эта чумичка предлагает мне рыть канавы! Сэн-кью! — Аристарх забрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату.

Два часа спустя

Все вчерашние «пассажиры» собрались у Аристарха. Нет только Простого человека — его не позвали.

Аристарх ходил в волнении по комнате, несколько театральнo заламывал руки и повторял:

— Как, как эту дуру образумить? Как?

— Как ты с ней говорил-то? — спросил озабоченно Брюхатый.

— Всяко!.. Даже развивал мысль, что нация... должна иметь своих представителей... людей с повышенной энергией, надо же возбуждать фантазию всех органов государства, иначе будет застой...

— Аристофан, мать твою!.. — заругался Брюхатый. — Мысли он развивал! Оскорблял, нет?

— А что, молиться на нее, на дуру?

— На карачках!.. Вот так вот ползать будешь! —

воскликнул Брюхатый. И с досады даже показал, как ползают. — Вот так будешь, а не мысли развивать. Мысли он развивал! Пока ты их будешь развивать, мы уже будем... — Брюхатый сложил пальцы решеткой. — Я тебя вижу, ты меня — нет. Пойду сам...

Брюхатый одернул пиджак, сделал губы трубочкой, подумал... И пошел.

Постучал интеллигентно казанком в дверь комнаты Веры Сергеевны и сладким голосом сказал:

— Вера Сергеевна!.. Можно ваше одиночество нарушить?

— Ну? — откликнулась Вера Сергеевна; она по-прежнему лежала на диване, но не в костюме, а в платье.

— Здравствуйте, Вера Сергеевна! — приветствовал ее, появляясь в дверях, Брюхатый. Он улыбался.

— Здравствуйте, — с неким вызовом сказала Вера Сергеевна.

— Позвольте присесть?

— Что, опять куда-нибудь едете? Пересадка?

Брюхатый снисходительно посмеялся и махнул жирной рукой.

— Ну, уж... вы прямо в обиду! Хотел как раз попросить извинения за вчерашнее. Сильно шумели?

— Шумели-то, это бы еще ничего...

— А что такое? — встревожился Брюхатый. — Выражался кто-нибудь?

— И это бы ничего... Это я слышала.

— Ну а что же мы такое вчера сделали?

— Да вы не только вчера, вы давно этим занимаетесь.

— Чем?

— Воруете. Спекулируете.

Брюхатый долго, скорбно, но в то же время как-то мудро молчал, глядя в пол. Потом поднял голову.

— Эх, Вера Сергеевна, Вера Сергеевна... Посадить хотите?

— Хочу посадить.

— А я уж сидел! — почему-то весело сказал Брюхатый. — Сидел. Четыре года и восемь месяцев.

— Ну, еще разок посидите.

— А хотите, расскажу, как это было?.. Нет, я не про подробности дела, а про... судьбу, так сказать, человеческую. Случай-то у нас, если можно так выразиться, аналогичный: жена посадила. Не то что прямо пошла и заявила, а... когда надо было... как бы это вам... В общем,

когда надо было сказать «нет», она сказала «да». — Брюхатый обрел отеческий, снисходительный, ласковый даже тон в голосе. Смотрел на Веру Сергеевну, как на дочь. — А прожили мы с ней — ни много ни мало — четырнадцать годков. И когда я уходил, я ей внима-тельно по-смотрел в глаза, внимательно, внимательно. И говорю: «Прощай, Клава. Не скучай, — говорю, — тут без меня... Даст бог, увидимся когда-нибудь, ну, а если уж не приведет бог, то, — говорю, — не поминай лихом. У меня, — говорю, — зла на тебя нету, прости и ты меня, если был когда виноватый перед тобой, невнимательный там, сгрубил когда... Я, — говорю, — старался всегда сделать для тебя что-нибудь полезное, ну, может, не всегда умел». Так я ей сказал. Она, значит, в слезы... А у меня вот тут вот закаменело — смотрю на нее... Ну, в общем, отсидел я свои годки — не досидел даже, вел себя примерно — вышел. Вышел — и к своей Клаве. «Здравствуй, — говорю, — Клава! Вот — дал бог, свиделись». И так это улыбаюсь — изображаю радость. Она, значит, тоже обрадовалась, опять в слезы... И — было на шею мне. Я говорю: «Стоп, Клавдия Михайловна: семафор закрыт. Проезда нету. Извините, — говорю, — Клавдия Михайловна, дальше нам не по пути: разъезд». Она — туда-сюда — мол, я иначе не могла... Все! — Брюхатый это «все» сказал очень жестко. И прямо посмотрел на Веру Сергеевну. — Все, милая!

— К чему это вы? — спросила Вера Сергеевна.

— А просто!.. Случай-то — аналогичный. Но это не конец! Конец тут тоже немаловажную роль играет. Я ей все отдаю... Все отдал! Квартиру, тряпки — все! А за четырнадцать-то лет мы же нажили кое-чего — все отдал! Бери! У тебя будет квартира, туфли, платья... А у меня — голова. Он вот тут перед вами хвастался, что у него — голова, — показал Брюхатый на комнату Аристарха, — а не надо этим хвастаться, не надо. Есть она — есть, нет ее — ничего не сделаешь. Это ведь тоже, как деньги: или они есть, или их нету. Верно? Все бери! А со мной все мое богатство — тут! — Брюхатый ударил себя кулаком в лоб. — Хвастать не буду, но... прожить сумею. И что мы имеем на сегодняшний день? Она: выскочила замуж, разошлась; тот у ней половину площади оттяпал — он для того и расписывался... Тряпочки-шляпочки потихоньку в комиссионку ушли — ша! Как у нас там говорили: кругом пешнадцать. Я: имею трехкомнатную квартиру, — Брюхатый стал загибать пальцы, — дачу,

«Волгу», гараж... У меня жена, Валентина, на семнадцать лет моложе меня. Но я опять же не хвастаюсь, но таковы, как говорится, факты. От них никуда не денешься.

— Вы пугаете, что ли, меня?

— Да господь с вами! Пугаю... Просто рассказываю про... некоторые эпизоды своей жизни. Теперь спросите меня: что я потерял за эти четыре года и восемь месяцев? Что? А ничего. Даже не похудел. А особенно, когда вышел, прямо в дверь не стал пролезать. Счас веду переговоры насчет института питания — надо маленько сбросить, а то даже неудобно. А что потеряла моя Клавдия Михайловна? Все. Год назад встретил — с авоськой из магазина кондехаает... А я на «Волге» еду. Думаю, подвезти, что ли? Даже остановился... Подвезу, думаю. Скажу: «Клавдия Михайловна, позвольте, я вас до дома подвезу, я только не знаю, где вы теперь живете». Хотел так сострить, но душа не повернулась. Сто метров не подвезу! Она, видите ли, «иначе не могла», а я тоже не могу: плепай дальше со своей авоськой.

— Слушайте, не надо, — попросила Вера Сергеевна. — Не надо: я же знаю, к чему вы это все. Не надо, умоляю.

Брюхатый встал.

— Да я ведь... что же... я ведь так: эпизоды. Смотрите, вам виднее. Конечно, порыв к прокурору — это красиво, руку будут жать, соседи скажут: «Какая молодец!» Но в душе подумают, — поверьте моему слову, я жизнь повидал, — в душе подумают: «Вот дура-то!» Вы вот телевизор любите смотреть: вот пусть вам там про жизнь расскажут, пусть расскажут... Смотрите, конечно, телевизор, книжки поучительные читайте, но мои слова тоже не забудьте. Так, на всякий случай... —

Брюхатый вышел. Он сам растрогался от своих слов.

В комнате Аристарха его молча ждали «пассажиры».

— Ну!.. — Брюхатый погрозил пальцем Аристарху. — Если она все же посадит нас... — он замолчал и слезливо заморгал глазами. И даже головой закрутил, и показал на себя, и воскликнул сквозь слезы: — Куда я такой поеду? Я в воронок не влезу! Не мог с женой уладить!.. Купил бы ей... не знаю, чертика с рогами, — забавляйся. Нет, он ей про государственные органы!.. Подожди, ты с имя еще будешь иметь дело, будешь. Она вон на смерть стоит, слюной исходит — посадить охота.

«Пассажиры» подавленно молчали.

Вдруг Курносый снялся с места и пошел к Вере Сергеевне.

— Вы, я вижу, оба умники! В гробу я вас видал с вашими теориями!.. С вашим опытом.

Он открыл дверь в комнату Веры Сергеевны и тут же, в дверях, опустил на четвереньки... И пошел так к дивану, где лежала Вера Сергеевна с книжкой.

— Пусть они как хотят, а я вот так буду. Не вставайте, умоляю вас, — сказал Курносый, — так и лежите: я буду так разговаривать.

— В чем дело?! — Вера Сергеевна все же чуть пристала.

— Я человек тоже энергичный, как треплется ваш муж, — быстро заговорил Курносый, не поднимаясь, — но я не такой упорный долдон, как они: я прошу пощады. Не говорите!.. Дайте я скажу, потом — казните или милуйте. Я тоже замешан в этой... в этих... Но у меня двое маленьких детей, мать с отцом престарелые... Они не вынесут. Жена тоже не вынесет. Вы сразу уложите пятерых. Я, может быть, не такой энергичный, как эти... про себя информируют везде, но я очень конкретный, Вера Сергеевна. И я немножко внимательней их... Я же вижу, Вера Сергеевна: вы скучаете. Не надо, не надо говорить! — Курносый вскочил с четверенек, побежал, закрыл дверь, подбежал и стал опять на колени перед диваном. — Но вы же — красивая! Как вы можете скучать? Это нельзя. Теперь слушайте меня внимательно: я не знаю, чего там у них было, у Аристарха с Сонькой, но он какие-то движения делал... По-моему, она тоже хотела его обаять. Но я не ручаюсь: дошло у них до этого или нет. Не знаю. Но я знаю, что он движения делал... в ресторане несколько раз сидели. Я знаю, что он вас сегодня оскорблял. Вера Сергеевна!.. — Курносый приложил умоляюще руку к сердцу. — Только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво... то есть это, я хочу сказать, что я конкретный и деловой человек, и всякие деловые тайны умирают вместе со мной: давайте наставим ему рога. Не говорите, не надо — дайте я все скажу! Чего тут удивляться-то? Чего глаза-то делать? Это жизнь, Вера Сергеевна, жизнь. За Соньку, за его оскорбления!.. Как он может оскорблять?! Он спекулянт-то не крупный, он — так: середнячишка, щипач. Как он может оскорблять? Вместо того чтобы... Нет, у меня в голове не укладывается! Давайте наставим ему рога. Хотите, я сам этим займусь, хотите... Только не надо, не говорите: дайте я все

скажу. Поймите меня: говорю это, спасая свою шкуру. Мне это сто лет не надо, я коньяк больше люблю, но... Вера Сергеевна, сидеть, сидеть неохота! Хотите, сам займусь, а если не подхожу, у меня есть один артист знакомый. Красавец! Под два метра ростом, нос, как у Потемкина... Ну, все, все при нем, я, мужчина, люблюсь на него. Он даже своим режиссерам рога ставит. А ему гараж позарез нужен: я договорюсь с ним. Вера Сергеевна, можно же так жизнь украсить!... И на него, — Курносый показал на комнату Аристарха, — на него-то злости не будет! Это уже проверено. Мир будет в доме, у кого хотите спросите. Вот спросите у своих подружек, которые рога мужьям наставляют: ведь позавидовать можно, как они живут. Моя мне тоже, по-моему, ставит, потому что ласковая со мной... Я человек откровенный, я вам все говорю. Не обижайтесь на меня, а поймите: мне сильно сидеть неохота. Хотите, я вам завтра фотографию этого артиста покажу?.. Глаз не оторвете! Ну, Потемкин и Потемкин, собака! Он сам рассказывал, но, по-моему, малость врет: к нам одну шпионку заслали, а ее надо было расколоть — ну, то есть, разузнать у нее побольше, так, говорит, его подослали, он познакомился и... доложил начальству, что задание выполнил. А? Ведь жизнь совсем другая будет!..

— Вон! — вскричала Вера Сергеевна, как графиня. — Вон откуда!.. Сволочи! Совсем уж?..

— Да ну, что совсем? Что совсем?.. — бормотал Курносый, поднимаясь. — Что совсем-то? Чего тут кричать-то? Я дело предлагаю, верняк же предлагаю... Вы подумайте, а мне только намекните...

— Во-он! — пуще прежнего заблужила Вера Сергеевна.

— Ну-у... орать будем, да? Что за люди!.. — Курносый пошел из комнаты. Подошел к двери, вдруг резко обернулся и, грозя Вере Сергеевне пальцем, громко, зло и уверенно сказал: — Но сидеть я не буду! Понятно? Пусть Аристарх сидит, если хочется, а я сидеть не буду.

— Будешь, — сказала Вера Сергеевна. — Еще как будешь-то.

Курносый с этим боевым, невесть откуда слетевшим на него настроением вошел в комнату, где сидели все «пассажиры». И им тоже всем погрозил пальцем и сказал твердо и зло:

— Сидеть я все равно не буду, учтите! Вы можете садиться, а я не хочу. Поняли?!

— Ты что, с гвоздя сорвался? — спросил Аристарх. — Чего ты?

— Ничего! Пить надо меньше! — закричал Курносый на Аристарха. — Тогда жена будет любить... и сажать не будет. Импортанто!.. Садись тут... по милости всяких... Не буду сидеть! Не буду сидеть!

— Это уже психоз начинается, — сказал Лысый. — Неужели с одной бабенкой ничего сделать не можете?

— Она нас из-за Соньки вон его всех закатает! — все нервничал Курносый. — Нашел с кем — с Сонькой...

— В том-то и дело, что — не нашел! — тоже стал нервничать Аристарх. — Она мне со злости записку в карман сунула, чтобы эта нашла.

— Ну, так и объясни ей, — сказал Лысый. — Я, мол, не хотел флиртовать, она обозлилась...

— Так она и поверила!

— Ну а что же делать-то?! — теперь уж и Лысый закричал. — Что, так и поведут всех туда, как телят?

— Почему крыши-то до сих пор здесь?! — закричал Чернявый на всех, но особенно на Аристарха.

— А куда их теперь?! — закричал и Аристарх на всех, но особенно на Чернявого. — Сейчас прикажешь выносить?

— Вчера надо было!

— Вчера!.. Вчера мы в жаркие страны улетали, — горько съязвил Аристарх.

«Пассажиры» явно нервничали... И не знали, что делать.

Вера Сергеевна, пристроив на коленях книгу, делала вид, что читает. Она была довольна, она догадывалась, что вчерашние нахальные «пассажиры» сейчас боятся и нервничают.

— Так, — сказал Лысый, — если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к ней... с уголовным кодексом. Посмотрим, что там за крепость. Где ее тряпки? — спросил он Аристарха.

— Зачем? — не понял тот.

— Дай-ка сюда... — он взял шубку Веры Сергеевны, костюм и пошел к ней в комнату.

— С вашего позволения! — явился он вполне офици-

ально, с шубой и костюмом на руке. — Позвольте присесть?

— Разрешаю — садитесь, — со скрытым значением сказала Вера Сергеевна, полулежа на диване.

Лысый разгадал скрытое значение в этом ее «садитесь». Он внимательно и серьезно посмотрел на женщину, помолчал... И сказал:

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина, — сказал он вполне бесцветным голосом.

— Как это? — не поняла Вера Сергеевна.

— Вы с уголовным кодексом знакомы? — в свою очередь, спросил Лысый.

— Приблизительно... А вы что, юрист?

— Я не юрист, но с уголовным кодексом знаком, — неопределенно сказал Лысый. А дальше он спросил вполне определенно: — Это ваши вещи?

— Мои.

— Вы их купили?

— Мне их... купил муж.

— Сколько ваш муж получает?

— Какое ваше дело?

— Это не ответ. — Лысый отлично «вел дело»: спокойно, точно, корректно. — Сколько эта шуба стоит?

— Какое ваше дело?!

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина, — еще раз отчетливо сказал Лысый. — Вы прекрасно знали, что эти вещи — не по карману вашему мужу: он их «сымпровизировал», как вы пишете прокурору. Почему же вы про покрывашки пишете, а про шубу, про костюм... — Лысый мельком оглядел довольно богато обставленную комнату, — а про все остальное не пишете. Здесь все ворованное. — Лысый сделал широкий жест рукой по комнате. — И вы это прекрасно знаете. Вы пользовались ворованным... И молчали. За это по статье...

— Здесь все мое! — вскричала Вера Сергеевна гневно, но и встревоженно.

— Ваша зарплата? — вежливо осведомился Лысый.

— Не ваше дело.

— Сто десять рублей, нам это прекрасно известно. Прикиньте на глаз стоимость всего этого хрусталя, этого гарнитура, этих ковров...

— Вы меня не пугаете!

— А я вас не пугаю. Это вы нас пугаете прокурором. А я просто вношу ясность: сидеть будем вместе. Не в од-

ной колонии, разумеется, но в одно время. Причем учтите: из всей этой гоп-компании мне корячиться меньше всех, я не с перепугу влетел к вам, а зашел, жалея вас: вы еще молодая.

Вера Сергеевна что-то такое соображала... И соображала.

— Все это, — сказала она и тоже повела рукой по комнате, — мое: мне папа с мамой дали деньги. Пусть Аристарх докажет, что это он купил...

— Лапочка, — сказал Лысый почти нежно, — тут и доказывать нечего: вот эту «Рамону» (гарнитур югославский) доставал ему я: я потерял на этом триста целковых, но зато он мне достал четыре дубленки: мне, жене, дочери и зятю — по нормальной цене.

— А чего же вы говорите, что вам меньше всех корячиться? Наберем! — весело сказала Вера Сергеевна. — Всем наберем помаленьку! А вы думаете, Аристарх будет доказывать, что это он все покупал? Да вы все в рот воды наберете. Вам за покрышки-то, дай бог, поровну разделить на каждого. Пришел тут... на испуг брать. Вы вон сперва за них получите! — Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали покрышки. — Там их — пять штук: за каждую — пять лет: пятью пять — двадцать пять. Двадцать пять лет на всех. Что, мало?

Эта «арифметика» явно расстроила Лысого, хоть он изо всех сил не показывал этого.

— Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько получают ваши папа с мамой?

— Мои папа с мамой всю жизнь работали... а я у них — единственная дочь.

— Неубедительно, — сказал Лысый. Но и у него это вышло тоже неубедительно. Он проиграл «процесс», это было совершенно очевидно. Но он не сдавал тона. — Аристарх, — продолжал он снисходительно, — конечно, не захочет говорить, что все это купил он, да... Но ведь там-то, — показал Лысый пальцем вверх, — тоже не дураки сидят: скажет! Там умеют... И папаша ваш, если он потомственный рабочий, — что он, врать станет? Да он на первом же допросе... гражданскую войну вспомнит, вспомнит, как он с белогвардейцами сражался. Не надо, не надо, гражданка Кузькина, строить иллюзий. Возьмите это... — Лысый встал и положил на валик дивана шубу и костюм. — Поносите пока.

И Лысый вышел.

А в комнате, где «пассажиры», о чем-то оживленно договаривались. На Лысого посмотрели... но тут же и утратили всякую надежду. Не очень-то, видно, и надеялись.

— Чего вы тут?

— Инсценируем сейчас ее убийство, — сказал Курносый, хихикнув. — Надо такого ей страху нагнать!.. Так ее, дуру, напугать, чтобы она... на диван сделала.

Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу.

— Как это? — не мог понять Лысый.

— Сделаем вид, что мы ее сейчас укокошим. Изрубим на куски, а вечером — по одному — всю вынесем в хозяйственных сумках.

— А он чего пишет?

— Полное ее отречение: «Ничего не видела, ничего не знаю». А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир башка. Надо только все на полном серьезе! — предупредил Курносый. — Лично я зашиб бы ее без всякой инсценировки, — добавил он, помолчав.

— Все, — сказал Аристарх, поднимаясь. — Пошли. Вооружайтесь чем-нибудь пострашней... Все делаем, как на самом деле.

— Все на полном серьезе!

— А заорет? — спросил Лысый.

— Ори. Кругом никого нету, все на сдаче норм ГТО, она это знает, — сказал Аристарх.

Стали вооружаться: Курносый взял большой кухонный нож, Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник...

— Я, как Юсупов, — сообщил он в связи с этим. — Они Распутина подсвечником добивали.

Аристарх взял топорик, которым рубят мясо, а Чернявый взял... подушку.

— А это-то зачем? — спросил Брюхатый.

— А я ей вроде рот буду затыкать.

— А-а.

А Лысый не взял ничего. Он пояснил так:

— А я буду бегать вокруг вас и умолять: «Братцы, может, не надо? Братцы, может, она одумается?»

Все это одобрили.

— Это хорошо.

— Правильно... А то все явимся, как в этой... мультипульты такой есть...

— Никакой оперетты! — еще раз предупредил Аристарх. — Она ж тоже... не совсем дура.

— Во, комедию отломаем! -- воскликнул Курносый и опять хихикнул.

— А ее инфаркт не хватит раньше времени? — вдруг спросил всех Брюхатый.

Все на мгновение замерли...

— А?

— Инфаркт?

— Инфаркт... Нормальный инфаркт миокарда. Или — инсульт.

— Да ну!.. — сказал Лысый. — Она из рабочей семьи, у нее отец на гражданской...

— Как, Аристарх?

— А черт ее!.. Не знаю.

— Ну а если хватит? Ну и что? — спросил Курносый. И посмотрел на Аристарха. — Ну, допустим, хватит?

— Пошли, — сказал Аристарх жестко. — Она всех нас переживет... Какой там инфаркт!

И они вошли в комнату Веры Сергеевны.

Вера Сергеевна вскочила с дивана и попятилась к окну...

— Вера... — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх. — У нас положение безвыходное... Ты не догадываешься, зачем мы пришли?

Веру Сергеевну стали потихоньку окружать.

— Другого выхода у нас нет, Вера...

— Братцы, может, не надо? Может, она одумается? — засуетился Лысый.

— Вера... — Аристарх медленно приближался к супруге — в одной руке топорик, в другой — «отречение».

Вера Сергеевна побледнела... И все пятилась к окну.

— Да ничего она не одумается! — воскликнул Курносый. — Давайте кончать.

— У тебя два выбора: или подписываешь на наших глазах вот это вот — что ты ничего не видела и не знаешь, не собиралась к прокурору... Или мы тебя...

— Давайте кончать! Чего тут тянуть?

— Я закричу, — еле слышно пролепетала Вера Сергеевна.

— А подушечка-то! — вылетел вперед Чернявый.

— Ты же знаешь, что кругом никого нет... Все на сдаче ГТО.

— А сумки-то заготовили? — спросил Брюхатый. — Разрезать-то мы ее разрежем, а в чем выносить-то?

— Да есть сумки — полно. Помельче только разрезать... и по одному все вынесем.

— Все уже предусмотрели! — сердито обернулся на всех Аристарх. — Вы выносите по одному, а я останусь — завою тут все. Чего тут базарить-то?

— Главное, внутренности вынести, а остальное-то...

— Внутренности! А руки, ноги?.. Куда ноги, например, денешь? Они ни в какую сумку не полезут.

— Перерубим! Я ж те говорю: помельче изрубить.

— Вы же интеллигентные люди, — негромко сказала Вера Сергеевна. — Все в шляпах... в галстуках...

— Вывеска! — воскликнул Чернявый.

— Интеллигентные!.. — Брюхатый колыхнул животом от смеха. — Я в лагере трех человек задушил... вот этими вот руками...

— Мы, значит, жестокие? — спросил Аристарх. — А ты? Ты не жестокая? — столько людей сразу посадить собралась. Подписывай!

Как-то не заметили, что, пятясь, Вера Сергеевна подошла к самому окну, которое очень легко открывалось... Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и сказала заполошно:

— Если кто только двинется, я прыгаю! Тут только два этажа: сломаю ноги, но все расскажу. Только двиньтесь!

Все так и замерли.

Первым пришел в себя Аристарх. Он засмеялся искусственно.

— Мы же шутим, Верунчик!.. Неужели ты поверила?

— Немедленно все убирайтесь отсюда! — Вера Сергеевна обрела уже спокойный и злой голос. — Шутники.

— Нет, вы... Нет, она правда поверит, что мы...

— Убирайтесь!

— Да шутим же мы! — воскликнул в отчаянии Брюхатый. И бросил подсвечник. — Какие мы убийцы! Нас самих сейчас...

— Убирайтесь!

— Нет, она в самом деле может подумать!..

— Да думай она! — взорвался Курносый. — Что хочет, то и пускай думает! — И тоже бросил нож. И первым пошел к выходу. В дверях остановился, обернулся, как он давеча сделал, точно так же погрозил пальцем всем и сказал остервенело: — Но сидеть я все равно не буду! Ясно?! Сидеть я там не буду! Вот пусть они вот все... они вот, они — пусть сидят, а я не буду!

Никто ему на это ничего не сказал.

Он вышел... И за ним все тоже вышли.

И собрались опять в комнате Аристарха. Долго молчали.

— Интересно, — заговорил Чернявый, обращаясь к Курносому, — как это ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а ты не будешь?

— Не буду! — повторил Курносый.

— А у ты что, сиделки, что ли, нету? — ядовито спросил его Брюхатый. — Она у тебя на месте: будешь сидеть, как все.

— Он там ходить будет, — подал голос Лысый.

Аристарх сидел, обхватив голову руками, и тихо покачивался.

— Не буду сидеть! — опять тупо повторил Курносый. — Вы все как хотите, а я — не буду!

— Все будем сидеть, — сказал Аристарх, не поднимая головы.

Опять некоторое время молчали.

— Конечно, — заговорил опять Курносый, — если бы ты был человек как человек, мы, может быть, и не сидели бы.

Аристарх поднял голову.

— А кто же я?

— Бабник! Шлюха в штанах!.. Да хоть бы умел, господи! А то... не выходит же ничего, нет, туда же, куда добрые люди: давай любовницу! Даже Соньку, и ту... тьфу! Рогоносец. С этой Сонькой...

— А ты подхалим, — сказал Аристарх первое, что выскочило из его оскорбленной души. — Ты перед начальством на полусогнутых ходишь.

— У меня пятеро на шее! — Курносый крепко хлопнул ладонью себя по загривку. — Пятеро!.. Ты вон с одной телкой справиться не можешь, а у меня их — пятеро. Мне не до любовниц!

— Зато тебе — до коньяка, — вставил Брюхатый.

— А ты вообще заткнись! — развернулся к нему Курносый. — Тебе-то даже полезно посидеть: может, похудеешь маленько. В институт питания собрался!.. Вот тебе и будет институт питания. — И Курносый нервно засмеялся.

Брюхатый навел на него строгий взгляд.

— Шавка, — сказал он. Помолчал и еще сказал: — Моська.

— А ты слон, да? — вступился за Курносого Чернявый. — Это не тебя по улицам водили?

— Меня, — сказал Брюхатый. — А это не тебе я нечаянно на туфель наступил... двадцать седьмого июня тыща девятьсот семьдесят третьего года: на профсоюзном собрании? Что-то ты тогда был... зеленатовый, а сейчас, гляди-ка, кукарекает. Выговор-то кому тогда всучили?

— А кто всучил-то? Кто?

— Я, в том числе.

— Да ты сам первый лодырь! Прохиндей. Выговор он всучил!.. У меня первый раз недосмотр случился.

— Минуточку, минуточку, — прервал Брюхатый, — как это ты выразился — «прохиндей»? Я одиннадцать лет после суда без единого взыскания проработал! А ты мне, обезьяна, будешь еще вякать тут! Сам в выговорах весь, как... Ни одного же собрания не обходится, чтобы тебя...

— Хватит! — взревел Аристарх. — У меня вон, — показал он на стол, — семь почетных грамот лежат!.. Я и то молчу.

— А чего ты можешь сказать? — спросил его Лысый. — Там — семь почетных грамот, а там, — в сторону коридора, — пять покрывшек. Я думаю, покрывшки — потяжелше, перевесят. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я.

— Ой! — изумились.

— Смотрите на этого ангела!

— Прямо невеста... в свадебной марле.

— Шариков только не хватает.

— И ленточек разноцветных...

— Да! — гордо сказал Лысый. — У меня две общественные нагрузки, а у вас... У кого хоть одна общественная нагрузка?

Все промолчали.

— А-а, нечего говорить-то. Вы думаете, это на суде не учтется? Все учтется.

— Да, я думаю, все учтется, — сказал Аристарх. — Я думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом — тоже учтется.

Лысый подрожал в гневе и обиде губами.

— Ворюга, — сказал он. — Плюс идейный ворюга: с экономической базой. Ты знаешь, сколько тебе за эту базу накинут? Вот сколько нам всем дадут, столько тебе — отдельно — за базу.

— База — для дураков, — струсил Аристарх. — Я — нормальный спекулянт, чего ты тут?

— А-а!.. Очко-то не железное?

— Но ты тоже — не ерепенься тут, кудрявый!..

В это время в дверь позвонили.

Все оторопели на миг... Брюхатый даже за сердце взялся.

Еще резко, длинно позвонили.

— По одному... с вещами, — тихо сказал Чернявый.

— Иди, — кивнул Брюхатый Аристарху.

— Может, это макулатуру собирают... пионеры, — тихо сказал бледный Аристарх. — Подождем.

Опять звонок.

— А я нож-то там бросил! — вскричал Курносый. — Подождите, я нож-то хоть уберу, а то же!..

— Топорик мой...

— А?

— Топорик, топорик, — невнятно повторил Аристарх. И показывал пальцем на комнату Веры Сергеевны. — Топорик...

— Чего топорик?

— Топорик мой тоже возьми, а то нам попытку к изнасило... ой, это... к убийству, к убийству...

— Тьфу!.. — заругался Курносый. И побежал за ножом и за топориком.

— Мама, роди меня обратно: рубля государственного не возьму, — сказал Брюхатый.

— Не будет она тебя больше рожать, — зло и тихо сказал Чернявый. — Она и за этот-то раз раскаивается, наверно.

Курносый принес нож и топорик... И засуетился с ними. И зачем-то их оглядел еще.

— Ты что? — одними губами спросил Аристарх.

— Где они лежали-то?

— Вон...

Опять звонок, на этот раз вовсе длинный, никакой не «пионерский».

— Какая макулатура! — тихо воскликнул Лысый. — Иди.

Аристарх поднялся... И медленно, тяжело — как если бы он шел уже по этапу — пошел к двери.

— Кто? — спросил он тихо, обреченно.

Из-за двери что-то ответили...

Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего:

— Какого черта ходишь тут?! Звони-ит!..

Вошедшим был Простой человек. Он держал ящик с коньяком и улыбался.

— А я думал, нет никого! — Он не обратил никакого внимания на ругань Аристарха, он держал в руках ящик с коньяком и улыбался. — Куда, думаю, они подевались? Договаривались же вчера. Вот он!

И Простой человек пошел с тяжелым ящиком к столу. — Ну, ребятки, седня нам... до Владивостока хватит. На него молча смотрели.

Только Брюхатый сказал:

— Идиот... Василий блаженный. На полатах вырос.

— А чего вы такие? — только теперь заметил Простой человек. — А? Что вы сидите-то, как вроде вас золотарь облил?

— Хочешь в свою Сибирь? В деревню? — спросил Брюхатый.

— Хочу, — сказал Простой человек. — Нынче поеду: у меня в сентябре отпуск...

— А в долгосрочный отпуск поедешь?

— Стоп! — воскликнул Чернявый. — Идея! Вот идея так идея. — И он вскочил и обнадеживающе посмотрел на всех... — Кажется, мы спасены!

— Как? — спросили все в один голос.

— Ждите меня! — велел Чернявый и куда-то убежал — вовсе, из квартиры.

Вечер, который не успел превратиться в ночь

«Пассажиры» ждали. Сидели молча и ждали. Стоял коньяк на столе, но никто к нему не притрагивался... Нет, одна бутылка была распочата: похоже, это Простой человек пригубил. Но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы, слабо слышалась какая-то значительная кинематографическая музыка: Вера Сергеевна опять смотрела телевизор.

Долго-долго сидели и ждали.

Наконец Простой человек не выдержал и встал...

— Пойду еще раз, — сказал он. — Хлопну для смелости — и пойду.

Он выпил коньяку... Все — от нечего делать — внимательно глядели, как он наливал, как подержал рюмку в руке, тоже глядя на нее, и как выпил. Простой человек выпил и пошел к Вере Сергеевне.

— Я еще раз, — сказал он, входя. — Сергеевна, голубушка... ведь все это — опишут, — сказал он, показывая рукой на гарнитур, диван, ковры... — Все-все. Одни обои останутся.

— Пусть, — сказала Вера Сергеевна. — Зато преступники будут наказаны.

— Преступников не надо наказывать...

— А что же их надо — награждать?

— И награждать не надо. На них не надо обращать внимания. В крайнем случае, надо с имя находить общий язык.

— Спасибо за науку. А они будут продолжать воровать?

— Они так и так будут продолжать! Потом: ну какие же они преступники! Вот эти-то?.. Господи!.. Это сморчки! Они вон уже перепугались сидят... с них капает. Ведь на них глядеть жалко. Вы зайдите, гляньте — ведь это готовое Ваганьково. Там только надписи осталось сделать: был такой-то, грел руки возле гарнитуров. Пожалейте вы их, ей-богу! Ну, припугнули — и хватит. Хоть Аристарха своєю пожалейте: ведь он со страху... мужиком года полтора не будет.

— Ну, что вы — он любовниц заводит! — воскликнула Вера Сергеевна с дрожью в голосе. — У него есть Соня.

— Сонька?! — удивился Простой человек. И хлопнул себя руками по штанам. — Господи, боже мой. Ну нашла же ты к кому приревновать. Да с Сонькой вся база... Я! Я!.. — постучал себя в грудь Простой человек, — я один, может, только и не вокшался: потому что я тоже больше коньяк уважаю. Не коньяк даже, а простую водку. Сонька!..

— Тем более! — мстительно воскликнула Вера Сергеевна. И встала от телевизора и нервно прошлась по комнате. — Тем более!.. Скотина он такая. Мне его нисколько не жалко! Из всей этой бригады, — показала она на комнату Аристарха, — мне ни-ко-го не жалко. Вас только жалко.

— Да меня-то!.. — махнул рукой Простой человек. — Я и там грузчиком буду. Это им переквалификацию надо проходить, а мне-то... Коньячка вот только не будет, вот жалко. Ну, отдохну от него, наберусь сил — тоже полезно. Да мне много и не дадут — от силы два года: за компанию. Мне их жалко, Сергеевна: у них, у всех, по-

честь, детишки. Вот этого толстого!.. — почему-то вдруг обозлился Простой человек. — Вот этого бы я посадил, не моргнув глазом. Ох, эт-то журавь, скажу тебе! Это самый главный воротила. Но его же отдельно не посадишь. Сажать, так уж всех.

— Вот все и будут сидеть.

— Оно, конечно... так. Знамо, что... А куда денешься? — будем сидеть.

И Простой человек вышел.

Когда он вошел в комнату, где сидели «пассажиры», на него посмотрели без всякой надежды, обреченно.

Простой человек присел к столу... И засмотрелся на бутылки с коньяком. И вдруг всплакнул.

На него удивленно посмотрели.

— Прощайте... драгоценные мои, — говорил Простой человек, глядя на бутылки. — Красавицы мои. Как я буду без вас?.. Одно страдание будет, тоска зеленая... Любимые мои. Тяжело мне с вами расставаться, ох, тяжело...

— Поплачь, поплачь, говорят, легче становится, — сказал Брюхатый.

— А я и плачу. Плачу и стою. Сердце кровью плачет, когда на них смотрю. Но канавы рыть с тобой в одной бригаде я не буду! — Простой человек сердито посмотрел на Брюхатого. — Я твою норму там не буду выполнять. Я за тебя... Недоедать из-за тебя не буду!

— Чего это ты решил, что я там канавы рыть буду? — спросил Брюхатый.

— А что же ты там будешь делать?

— Библиотекарем пойду... Или санитаром.

Все засмеялись: это был нехороший смех, нездоровый смех, болезненный смех, если можно так сказать про смех.

— Налей-ка и мне, — подошел к столу Курносый.

Простой человек налил две рюмочки... Одну пододвинул Курносому. Они чокнулись.

— За счастливую дорогу, — сказал Простой человек.

И тут вдруг сорвался «с гвоздя» Аристарх. Он вскочил, затопал ногами и закричал:

— Хватит паясничать! Хватит паясничать!.. Комеди франсез развели тут! Вон все отсюда! Вон! Скоты!.. Говядина!

Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно посмотрел на Аристарха.

— Слушай, — сказал он, — я умею останавливать истерики: я перворазрядник по боксу. Я хоть давно не в форме, но все равно... такую-то экономическую гниду я сделаю.

Аристархушка сел так же резко, как вскочил, обхватил опять руками голову и тихо стал покачиваться.

Простой человек промокнул губы уголком дорогой скатерти и опять пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла какая-то дельная мысль в голову.

— Сергеевна, — сказал он, — а на кого квартира записана?

— Как?.. — не то что не поняла, а скорей растерялась Вера Сергеевна. — Как «на кого»?

— Кто ответственный квартиросъемщик?

— Он...

— Он. — Простой человек выразительно смотрел на Веру Сергеевну.

— А что? — спросила та.

— А ты куда? — спросил, в свою очередь, Простой человек.

— Как куда? Никуда.

— Она кооперативная?

— Да.

— С конфискацией имущества! Он же не к Марье Ивановне в карман залез, он государству в карман залез...

— Ну? И что?

— С конфискацией всего имущества, — повторил Простой человек, даже с каким-то удовлетворением повторил. — У их теория одна: с конфискацией всего имущества.

— А я куда же?

— Я вот и зашел спросить: а ты куда?

— Нет такого закона! — слабо запротестовала Вера Сергеевна.

Простой человек присел на дорогое зеленое кресло.

— Коломийцева посадили — с конфискацией, — стал он загибать пальцы, — Коренева Илью Семеныча — веселый человек был! — с конфискацией... Он, к тому же, анекдоты любил...

— При чем тут Коренев какой-то? А я что, на улицу, что ли?

Простой человек помолчал...

— Угол снимать где-нибудь.

— Здравствуйте!

— Прощайте, — жестко сказал Простой человек — откуда и нашел в себе такую жестокость, он был добрый человек — и отбыл к «пассажирам».

— Слюнтяи, — сказал он всем. И прямо прошел к столу. — Интелефу занюханые. — Налил себе большой фужер коньяка и выпил один. — Энергичные люди!.. Это я... — стукнул он себя в грудь, — я энергичный! Соображать надо! Жить надо уметь! От меня три жены ушло, и ни одна, — он подчеркнул это, — ни одна не делает волны насчет алиментов! А потому что — что с меня возьмешь? С меня взять-то нечего. Я за свой труд беру в основном коньяком, а они не хотят коньяком. Не положено, они это прекрасно знают. Они каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вяжу, а сделать ничего не могут. Их мужья все изозлились... иззавидовались, а сделать ничего не могут. А вы — энергичные... Вот энергия-то! Боксер, садись, врежем. Не вепай свой курносый нос — он у тебя все равно кверху торчит. Вот ты еще более-менее, энергичный. А эти все... Тара для... сказал бы для чего, но у меня настроение улучшилось.

Раздался звонок в дверь.

Все опять замерли.

— Открывайте! — велел Простой человек. — Памятники...

Но никто не стронулся с места.

Простой человек сам пошел открывать. И на ходу изобразил, что вроде и в самом деле меж памятников идет: приостанавливался и разглядывал.

— Люблю по кладбищу ходить. Думаешь: а кто были эти люди? — рассуждал сам с собой Простой человек. Он остановился перед Брюхатым. — Вот этот, наверно, плохой был...

— Проходи, — негромко сказал Брюхатый, — а то я встану из гроба и задушу тебя.

— Да, этот был плохой, — повторил Простой человек. — Вор был, наверно.

Он подошел к двери, открыл... и воскликнул:

— Соня!..

Стояли: Соня и Чернявый. Соня всех внимательно разглядывала, а Чернявый улыбался значительно.

Никто ничего не понимал... Особенно Аристарх: он встал было, но сел снова, опять встал и опять сел — не мог встать от растерянности. Понимал что-то такое один Чернявый. Он помог снять Соне дорогую шубку... И, похоже, не собирался проходить с гостьей к «памятникам», а легонько — интеллигентно — подталкивал ее в комнату Веры Сергеевны.

И вошли.

Вера Сергеевна тоже растерялась... Встала с дивана и смотрела на женщину Сою.

А там, в комнате Аристарха, по-прежнему все сидели неподвижно. Только Простой человек, пробираясь опять меж «памятников» к столу, сказал:

— Счас там будет третья империалистическая. — Он тихо засмеялся, набулькал из бутылки в рюмочку и качнул головой. — Ключья полетят...

А в комнате, где Вера Сергеевна, пришли в движение.

— Это — Соня, — представил Чернявый гостью хозяйке. — Моя любовница.

— Ну, — засмуцалась Соня. — Прямо сразу уж... Зачем так?

— Соня, мы договорились: все начистоту. Раз тут недоразумение, мы должны...

— У вас же семья, — сказала с удивлением Вера Сергеевна. — Как же вы говорите — любовница...

— Да! — гордо сказал Чернявый. — Я — из казаков... — И он энергично показал — не то лихо дернул поводья скакуна, не то... шут его знает, что-то такое показал энергичное руками, — густых, так сказать, кровей! Все даже удивляются. Ну, говорят, Сучков, ты даешь! Вы знаете, сколько я плачú алиментов? — Чернявый навис вопросом над Верой Сергеевной и сам заранее выпучил глаза. — Семьдесят пять процентов! Вы думаете, — горячо продолжал он, — если я связался с этими государственными ворюгами, то это от веселой жизни? Нет! Если я добуду рубль на стороне, то он хоть весь мой. С законного рубля мне только положено двадцать пять копеек. А у меня — четверо детей.

— Четверо детей!..

— Это — со мной, при мне. А так их у меня... по-моему, одиннадцать. Вместе с этими, которые со мной.

— Но как же... еще любовница? — все не могла прийти в себя Вера Сергеевна.

— А что я, хуже других? Вы думаете, этот Брюхатый, например, любовницу не имеет? Имеет. Я только не знаю, что он с ней делает, но имеет. А Лысый этот?.. С чего это он, скажите, пожалуйста, полысел в сорок три года? Думал много? Над чертежами ночью склонялся? Нет, не над чертежами... Только уж не над чертежами. Да все имеют любовниц! Вы простите, вы замужняя женщина, но откройте глаза-то, откройте: ведь это же позор считается, кто не имеет любовницы. Ведь это только один Аристарх ваш... Ведь над ним весь отдел смеется! Я уж не знаю, что у вас за любовь такая... не знаю. Значит, она есть еще на земле? Я не знаю... с этим Аристархом... Он мне все представления о жизни перевернул. Любовь, что ли, у вас такая? — прямо спросил Чернявый Веру Сергеевну. — Даже интересно, честное слово.

— Слушайте, — заговорила Вера Сергеевна неуверенно, — а как же записка?.. Ваша записка, я ее нашла в кармане...

— Ва-аша записка, в несколько строчек, — пропел беспечный Чернявый. — Она вам все расскажет про записку. Соня, только всю правду. Влюбилась, дурочка, в вашего Аристарха и... решила вас поссорить. Я когда сегодня узнал об этом, у меня глаза на лоб полезли. «Поедем, — говорю, — немедленно поедем к Вере Сергеевне, и ты ей все расскажешь». Все, Соня!.. Я выйду, чтоб не мешать вам... — Уходя, Чернявый ласково, но и строго погрозил Соне. — Все, решительно все. Про нас подробности можешь тоже не скрывать — я лишен предрассудков. — Он чуть подумал. — И, по-моему, совести тоже.

«Пассажиры» никак не могли понять, что такое творит Чернявый. И когда он вошел, все вопросительно на него смотрели и ждали.

Чернявый в изнеможении опустился в кресло, прикрыл глаза, долго сидел так, вольно раскинув руки и ноги.

— Дядя Вася, налей мне граненый стакан коньяку, — сказал он устало и капризно.

— Зачем же стакан? — с уважением сказал Простой человек. — Тут есть всякое хрустальное дерьмо...

— Нет, я хочу только из граненого стакана. Я сегодня спас... — Чернявый открыл глаза, огляделся, — от тюрьмы... много-много людей. Поэтому я хочу пить только из граненого — по-казацки. Я вас всех вывел из окружения! — возгласил он, принимая стакан из рук Простого человека. Отпил, передохнул и сказал всем строго: — Соньке — книжный шкаф «Россарио», мне — золотой перстень с эмблемой: казак скачет на коне.

А в комнате Веры Сергеевны в это время две женщины беседовали. Соня что-то рассказывала Вере Сергеевне, что-то показывала руками... Вера Сергеевна то изумлялась, то удивлялась, то ужасалась, то жалостливо смотрела на Соню. По всему видно, что они поняли друг друга, помирились и даже, кажется, готовы дружить, как иногда дружат порядочная женщина и величайшая распутница. Об этом много писали.

А в комнате, где «пассажиры», хотели понять, что, вообще, происходит? То есть, о чем-то уже догадывались, но — подробности, подробности.

— Как ты ее уговорил? — пытал Брюхатый Чернявого.

— Книжный шкаф «Россарио»...

— Для чего он ей?

— Не знаю... Сошлись на книжном шкафу.

— Как «сошлись»? — не понял Простой человек. — Неудобно же...

— Нет, все в порядке, что ли?! — закричал в нетерпении Лысый.

— Да, — сказал Чернявый.

— Ур-ра-а! — закричали Курносый и Простой человек.

— Едем седня до Владивостока! — заявил Простой человек.

Аристархушка в волнении ходил по комнате.

— А что она ей говорит? — спросил он.

— Они говорят на иностранном языке, — сказал Курносый в сильнейшем раздражении на Аристарха. — Импортанто де ла кругом и околе. — Он подошел к Чернявому и крепко пожал ему руку. — Как мужчина мужчине, — сказал он уважительно и скупо.

Чернявый махнул рукой...

— Я тоже... перехватил там: наговорил на себя, что я чуть не Тарас Бульба. Еще немного — и Тарас Бульба. По-моему, она меня теперь бояться будет.

— Кто, Сонька?

— Кстати... если Сонька сейчас войдет в роль и начнет приставать ко мне, ты...

Но тут вошли Соня и Вера Сергеевна.

— На колени! — скомандовала Соня Аристарху. — На колени перед Верой Сергеевной.

— Зачем? — спросил Аристарх.

— На колени!! — потребовали все, еще не разобравшись, зачем надо на колени.

— Оказывается, ты оскорблял ее! — продолжала с возмущением Соня. — Ты ей тут, оказывается, наговорил гадостей и грубостей! На колени!

— На колени!!! — опять закричали все. А Курносый даже двинулся к Аристарху.

— Импортанто!.. — с угрозой сказал он, — ты знаешь, что такое нокдаун? Я не говорю уже о нокауте, я говорю о небольшом нокдауне... На колени!

Аристархушка стал на колени...

— Проси прощения у Веры Сергеевны, — велела Соня.

— Проси прощения у Веры Сергеевны! — закричали все в один голос.

Аристарх замешкался было... Но тут ему разумно посоветовал Простой человек:

— Давай, Аристархушка... да, благословясь, поедем во Владивосток.

— Вера, — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — прости. Клянусь: ни одной больше покрывки, ни одного колеса...

— Не об этом речь! — прервал его Брюхатый. — Говори по существу дела! Что значит ни одного колеса! Что ты, на лыжах собрался ездить?

— Но о чем тогда говорить-то?! — взбунтовался Аристарх на коленях.

Но тут уж возмутились все.

— Ах, он не знает о чем говори-ить! Ах ты, бедняжечка... Первоклашка.

— Тебя мама еще за ручку водит, да?

— Нет, он все же хочет получить небольшой нокдаун.

— Да не нокдаун, а нормально — по сусалам! — громко возмутился и Простой человек. — Поедем во Владивосток! Поезд же отходит, вы что?

— Вера, — опять дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — клянусь, после этого случая буду каждый день проверять карманы...

— Опять!.. Ему говорят стриженный, он — бритый, — вконец вышел из терпения Брюхатый. Но тут же взял себя в руки и уже продолжал говорить с Аристархом, как с полным, но безвредным дураком, не злостным дураком: — Зачем ты будешь проверять карманы?

— Не разговаривай со мной, как с идиотиком...

— Нет, зачем ты будешь проверять каждый день карманы?

— Чтобы там записок не было...

— А жить так, чтобы в твоей жизни вообще никаких записок не было — так будешь жить?

— Что я, просил ее, чтобы она мне писала?! — опять было загорячился Аристарх и показал на Сою. И хотел даже встать с колен, и уж было встал, но тут встрепенулась Сося.

— На колени! — закричала она. — А что это, женщину надо обязательно просить, чтобы она писала? — спросила она надменно. — А сама женщина не имеет права написать записку? Может у нас женщина пошутить?

Вот это понравилось всем. С этим «может ли у нас женщина пошутить?» она попала в самую точку. На Аристарха опять все навалились.

— Домостроевщину развел! — воскликнул Лысый.

— Нет, этот человек просит нокаута! — тоже воскликнул Курносый. — Не хочет он нокадауна, никак не хочет! Ему больше нравится нокаут! Ведь достану в печень — до утра будут считать.

— Нет, ты ответь... Ти-ха! — рявкнул Брюхатый на всех. — Ты ответь на вопрос, который тебе, подлецу, поставили: может у нас женщина пошутить?

— Может. — Аристарху надоело стоять на коленях, и он стал со всем соглашаться.

— Значит, что надо теперь сказать?

— Что? — искренне не понял Аристарх.

Брюхатый изумился; за ним некоторые тоже изумились, но так, для вида: никто, кроме Брюхатого, не понял, что надо теперь сказать Аристарху.

— Ты должен сказать, — вылез с поучением Простой человек, — ребята, мол, забудем все — и поедем во Владивосток.

— Прекрати со своим Владивостоком! — прикрикнул на него Лысый. — По-моему, ты и так уже где-то... под Хабаровском. Тут серьезное дело.

— Что ты должен сказать? — пытал Брюхатый Аристарха.

— Что?! Что?! Что?! — С Аристархом, кажется, началась истерика. — Не понимаю!.. — Он стукнул двумя кулаками себя в грудь, и в голосе его послышались слезы. — Не понимаю: что я должен сказать?!

Брюхатый пожалел его.

— Ты должен сказать: Верунчик, я тебя люблю. И не формально сказать, а с чувством, как ты говорил... сколько лет назад? — повернулся Брюхатый к Вере Сергеевне.

— Что говорил? — не поняла Вера Сергеевна.

— Когда он вам первый раз сказал: Верунчик, я тебя люблю? Сколько лет назад это было?

— Это было... девять лет назад, — сказала Вера Сергеевна. — Но он не так говорил... — Вера Сергеевна, вообще-то, была довольна — и этим стоянием Аристарха на коленях, и тем, что все его очень ругают. — Он сказал: «Хочешь, я сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?»

— Трепло! — возмутились все.

— Про экономическую базу он ничего не говорил?

— Хвастунишка.

— Я не так говорил! — заспорил Аристарх на коленях.

— А как?

— Я сказал: «Хочешь, я МОГУ сделать тебя самой богатой женщиной микрорайона?» Еще я сказал: «Только не носи синтетическое белье».

— Почему это? — спросила Соня.

— Искры летят, — пояснил Аристарх.

— Да? — удивилась Соня. — Не замечала.

— Ну, так, — поднялся Брюхатый. — Я думаю, что он все осознал... Осознал, Аристарх?

— Осознал.

— Поднимайся, — велел Брюхатый. — Вера Сергеевна, идите сюда... Идите, идите. Я предлагаю такую детскую игру. Кто видел, как мирятся детишки?

Никто не видел. То есть, наверно, видели, но не знали, куда клонит Брюхатый.

— Они берутся вот так... — Брюхатый взял руку Аристарха и руку Веры Сергеевны, сцепил их мизинцы. — Теперь повторяйте за мной... Вот так вот махайте

и повторяйте. Повторяйте: мирись, мирись — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Все засмеялись остроумной выдумке Брюхатого, даже зааплодировали. Все были рады.

— Давайте, давайте!.. — требовали от Аристарха и Веры Сергеевны.

— Мирись, мирись, — стали вместе говорить Аристарх и Вера Сергеевна, — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Опять зааплодировали... Вера Сергеевна была счастлива; Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, поздравляли с примирением... Сделался вокруг них хоровод, пошли, взявшись за руки, и запели:

Как на Верипых менинах,
Испекли мы каравай:
Вот тако-ой вышины!
Вот тако-ой ширины!..

Опять засмеялись, опять зааплодировали себе. Все были счастливы.

— Черт его знает!.. — воскликнул растроганный Брюхатый. — Жить да радоваться!.. Нет, мы начинаем себе же сложности находить.

— Именно: можно же красиво жить! — подхватил Курносый.

— Да... со вкусом! Ведь один раз живем-то! — тоже с чувством сказал Лысый. — Вы вдумайтесь: один раз! И все, и больше нас ни-ког-да не будет.

— Поехали во Владивосток! — опять призвал Простой человек. Но на всех слетела какая-то тихая, задумчивая минута, всем как-то было не до Владивостока.

— Иной раз думаешь: люди, в чем дело? — продолжал глубоко и даже с грустинкой Брюхатый. — В чем дело, люди?

— Дело в том, что — уважения побольше друг к другу, — подхватил его мысль Лысый. — Уважения!

— Я бы сказал — и любви, — сказал Чернявый. Он даже встал. — Любовь — это... Все можно достать! — воскликнул он. — Все! А любовь не достанешь, если ее вот тут вот нету.

— Это ты, брат, верно, — похвалил Брюхатый. — Это ты, — в десятку.

— Суетимся, суетимся много, — вздохнул Лысый. — Сказано же: «Не суетись». Нет, мы суетимся...

— Не потопаешь — не полопаешь, — вставил и свое

раздумчивое слово Простой человек. — Попробуй не поуетись.

— Заговорила матушка-деревня! — горестно и насмешливо сказал Брюхатый. — А ведь на полатах-то не суетились! — вдруг решил поймать он Простого человека на слове.

— Почему это на полатах не суетились? — не понял Простой человек. — И на полатах суетились, и на печке, и в банях... А чего ты ко мне с полатами-то привязался? Если хочешь, то я на покосе родился. Но полáти я любил, потому что там можно сверху наблюдать.

— И чего ты оттуда наблюдал, интересно?

— Все... Жизнь. Мы там сказки рассказывали друг дружке... Нас одиннадцать человек росло.

— А нас — двое, — вспомнила и Соня, — но я была младшая. Это хуже всего — младшей сестрой быть: все платья, все туфли, все зубки я за Зинкой донашивала. А сейчас — все наоборот! — Она сама рассмеялась такому нелепому обороту в жизни. — Я ей говорю: а помнишь, Зин, как я за тобой все донашивала? Она говорит: не говори. А вот нечего, говорю!.. Заладила тогда: учиться, учиться! Дырки всем на боку провертела со своей учебкой! Выучилась?.. Ну, давай теперь, гордись передо мной: ты же учена! А я вот — неучена. Я — продавщица, нормальная продавщица!.. А давай, говорю, пройдем с тобой — для эксперимента — по улице: я надену все свое на себя, а ты свое на себя... Давай, говорю, пройдем? Не хочет.

Все засмеялись.

— Нет, мы едем во Владивосток или не едем?! — на исходе всякого терпения закричал Простой человек. — Во-от вспоминать пустились... Чего мы сидим-то?

— Это мы — перед дальней дорогой, — молвил Курносый, улыбаясь.

— Хватит вам со своим Владивостоком! — сказала Вера Сергеевна, тоже по-доброму улыбаясь. — Давайте... сядем все за столом, как нормальные люди... Представляете, — обратилась она к Соне, — выдумали какую-то странную игру: то в жаркие страны летают в качестве журавлей, то ездят куда-то...

Соня махнула рукой.

— Делать нечего!

— Энергия! — воскликнул Чернявый. — Не зря же про нас говорят: энергичные люди.

— Ну-ка, энергичные люди, — стала распоряжаться Вера Сергеевна, — приложите свою энергию к делу: раздвиньте пока стол. Соня, а мы пойдем на кухню — вы мне поможете салат готовить...

И пошло тут веселое, хорошее оживление, когда вроде и делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины умело раздвинули стол, закурили... Аристарх включил дорогой магнитофон «Сони».

— У тебя «Сони»? — спросил Брюхатый со знанием дела.

— Да.

— Прекрасная вещь. У меня тоже... Шестьсот рублей.

Курносый чему-то вдруг весело рассмеялся... Да так искренне, так неудержимо долго смеялся, что все стали смотреть на него с тревогой.

— Ты чего? — спросил Брюхатый.

Курносый хохотал и показывал пальцем на Чернявого, хотел что-то сказать и не мог сказать от смеха.

— Чеканулся, что ли? — спросил Чернявый вполне тревожно.

— Со...ня, — продохнул наконец от смеха Курносый. — У вас «Сони», а у этого — Соня...

— Смех смехом, — серьезно заговорил Чернявый, — но если кто из вас трепанет где-нибудь, что она моя любовница... Слушайте, я серьезно говорю! Не вздумайте пошутить где-нибудь! А то... их же выручил, понимаешь... Мне тогда — загодя с седьмого этажа прыгать.

— С седьмого — это высоко, — согласился Лысый. — Но со второго я прыгал. Причем не муж даже, не муж — брат застукал... Не понимаю, чего она так перепугалась! Глаза вот такие: убьет, говорит! Я маханул... Хорошо, на цветочную клумбу угодил.

— А я раз... — хотел было тоже вспомнить Брюхатый, но вошли Вера Сергеевна и Соня. Внесли всякие закуски.

— Пожалуйста, к столу! — пригласила Вера Сергеевна.

И стали садиться к столу. На душе у всех было мирно и хорошо.

— Уверяю вас: можно же прекрасно жить! — еще раз сказал Брюхатый с чувством тихой благодарности к жизни. — Мирно, спокойно...

— Главное, не суетиться перед клиентом, — согласился с ним Лысый. — Скажите, чего нет? — спросил он, приглашая всех тоже, как Брюхатый, к тихому восторгу

перед жизнью, но был конкретней: он показывал на богатый стол. — Чего не хватает?

— Так-то бы жил! — сказал Простой человек. — Таксисты только хамят: не хотят везти, и все! Каждый день у меня с имя стычка.

— Хамства много, это верно, — согласился Курносый. — Но я заранее тройк показываю. Ты сразу тройк показывай, и все, и повезет.

— Хорошо, если он есть. А если его нету?

— Тогда — кулак, — сострил Брюхатый. — И скажи: «Я на покосе родился!» — сразу повезет.

Засмеялись.

— Повезет он... — проворчал Простой человек.

За разговорами сели к столу.

— Ой, я забыла эту... открывалку-то... — вспомнила Вера Сергеевна, — Сонечка, не в службу, а в дружбу: у меня в ящичке лежит... в «Рамоне» в левом ящичке, в нижнем... такая — с ручкой, как у...

— Найду, — сказала Соня. И пошла за открывалкой.

Пока она ходила, тут опять наладились было на мирный, хороший разговор.

— Я как-то товарища своего школьного встретил... — вспомнил Брюхатый. — Ну — «Где? Как?». Оказывается — шишка. Ну, выпили, закусили... Потом эта «шишка» спрашивает: «Слушай, — говорит, — ты не можешь мне женские сапоги «на платформе» достать? За горло, — говорит, — взяли...» — «И все? — говорю. — Вся проблема?» А сам думаю: эх...

Но тут случилось нечто, что и назвать-то... как-то... не поймешь, как и назвать: шутка? Но уж больно тупая. Соня!..

В то время как Брюхатый говорил: «А сам думаю: эх...», вошла в комнату преподобная Сонечка... с пистолетом в руках: наставила на всех и говорит:

— Руки вверх! Я — из обэхэеса!

Да так спокойно, уверенно, так СТРАШНО это сказала, что за столом обмерли. Все застыли, кто как сидел... И тут Соня расхохоталась! Вот уж она посмеялась, дура, — до слез прямо досмеялась. Смеялась и показывала... открывалку, которая была похожа на пистолет — вылитый пистолет!

За столом не знали: то ли сердиться на эту дуру, то ли уж махнуть рукой... Но признались, что перепугались насмерть.

— Сонька!.. — с укором сказал Брюхатый, — у меня же сердце, дура ты такая, дура... Ведь так — парализует, и все. И будешь: одна половинка жить будет, а другая рядом лежать, по соседству.

— А у меня — холод: вот отсюда вот пошел, от затылка, — признался Лысый, — и по спине, по спине — куда-то в копчик уперся: чувствую — примерз к стулу! Ну, надо же так додуматься! Ну, Соня!..

Отходили от испуга; даже уж с некоторым весельем продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, когда Соня наставила «пистолет».

— А я думаю: пока тут сейчас всех будут обыскивать да личности проверять, я незаметно успею сунуть одну бутылку в штанину, — поделился своими мыслями Простой человек. — Глянь, у меня штаны-то: туда полприлавка влезет. Пока, думаю, будем ехать в воронке — там же темно! — я ее из горлышка... Мы бы ее с боксером вот раздавили бы.

— Нет, тут уж не до бутылочки было бы, — признался Курносый. — У меня в глазах темно сделалось. Вот понимаю же: все же на месте, никуда же никто не успел... А — никого не вижу! Туда смотрю (в зрительный зал) — никого не вижу, сюда смотрю — никого!.. Одну Соню с этой открывалкой вижу, и все. Ну, Соня!.. Ну, шуточки у тебя!..

— А я думаю так: прикинусь сейчас невменяемым!.. — поделился мыслями и Чернявый. — С ума сошел. Сошел с ума — тронулся!.. А таких не судят.

— Так тебе и поверили! — сказал Простой человек, разливая коньяк по рюмкам.

— Это — как держать себя.

— Да как ни держи!.. Пару раз промежду глаз...

— А я, — сказал Аристарх, — я вот что подумал. — И все замолкли и смотрели на Аристарха: интересно было, что он подумал. — Я подумал — все: и Соня, и моя жена, обе — оттуда... из обхээса.

— Ну!.. — изумилась Вера Сергеевна. — Девять лет живем, а он...

Все засмеялись такой, в самом деле, нелепости. Заговорили все сразу:

— Аристарх, ты уж...

— А что? А что?.. А знаете, случай был...

— Да ну, случай! Случаи в кино бывают, в театре...

— Нет, Аристарх, в самом деле?

— Клянусь! Ну, думаю, это мне — пятнадцать лет!..

— Да нам бы всем!.. Мы же ее «убивать» ходили! Нам бы за одну эту комедию...

— Едем во Владивосток! — громко объявил Простой человек. — Присели!.. Присели! Помолчали перед дальней дорожкой...

Все замолчали.

В это время позвонили в дверь.

— Это соседка ко мне — за выкройками, — сказала Вера Сергеевна. И пошла открывать.

Открыла дверь... И попятилась назад.

Вошли трое, показали книжечки.

— Милиция, — сказал один. — Просьба всем оставаться на местах и предъявить документы.

Один из трех, в милицейской форме (двое были в штатском), прошел несколько в коридор и увидел покрывки.

— Вот они! — сказал он. — Даже не спрятали.

За столом сидели тихо, неподвижно.

Только Простой человек, повернувшись к зрительному залу, негромко, с искренним интересом спросил:

— А кто же тогда, граждане?.. А? Кто капнул-то?

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ

*Сказка про Ивана-дурака, как он ходил
за тридевять земель набираться ума-разума*

Как-то в одной библиотеке, вечером, часов этак в шесть, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарьша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок — ждали. Библиотекарьша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись.

— Да нет, — говорила библиотекарьша, — я думаю, это пшено. Он же козел... Пойдем лучше потопчемся. А? Нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владуку... Я знаю, что он баран, но у него «Грюндик» — посидим... Тюлень тоже придет, потом этот будет... филин-то... Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время! Ну, ну... слушаю...

— Ничего не понимаю, — тихо сказал некто в цилиндре — не то Онегин, не то Чацкий — своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся.

— В зоопарк собираются.

— Почему все козлы-то?

— Ну... видно, ирония. Хорошенькая. А?

Господин в цилиндре поморщился.

— Вульгаритэ.

— Вам все француженок подавай, — с неодобрением сказал Обломов. — А мне глянется. С ножками — это они неплохо придумали. А?

— Очень уж... того... — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. — Очень уж коротко. Зачем так?

Обломов тихо засмеялся.

— А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри.

— Да мне что, в сущности?.. — смутился чеховский персонаж. — Пожалуйста. Почему только с ног начали?

— Что? — не понял Обломов.

— Возродиться-то.

— А откуда же возрождаются? — спросил довольный Обломов. — С ног, братец, и начинают.

— Вы не меняетесь, — со скрытым презрением заметил пришибленный.

Обломов опять тихо засмеялся.

— Том!.. Том!.. Слушай сюда! — кричала в трубку библиотекарша. — Слушай сюда!.. Он же козел! У кого машина? У него? Нет, серьезно? — Библиотекарша надолго умолкла — слушала. — А каких наук? — спросила она тихо. — Да? Тогда я сама козел...

Библиотекарша очень расстроилась... Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок.

Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями...

— В темпе, в темпе! — покрикивал некто канцелярского облика, лысый. — Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И — короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?

— Позвольте? — Это спрашивала Бедная Лиза.

— Давай, Лиза, — сказал лысый.

— Я сама тоже из крестьян, — начала Бедная Лиза, — вы все знаете, какая я бедная...

— Знаем, знаем! — зашумели все. — Давай короче!

— Мне стыдно, — горячо продолжала Бедная Лиза, — что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?

— Выгнать! — крикнули с места.

— Тихо! — строго сказал лысый конторский. — Что ты предлагаешь, Лиза?

— Пускай достанет справку, что он умный, — сказала Лиза.

Тут все одобрительно зашумели.

— Правильно!

— Пускай достанет! Или пускай убирается!..

— Какие вы, однако, прыткие, — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке — не мог встать. — Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать...

— У Мудреца. — Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу. — Илья, я тебе слова не давал!

— А я тебя не спрашивал. И спрашивать не собираюсь. Закрой хлебало, а то враз заставлю чернила пить. И промокашкой закусывать. Крыса конторская.

— Ну, начинается!.. — недовольно сказал Обломов. — Илья, тебе бы только лаяться. А чем плохое предложение: пускай достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть. От него портянками пахнет... Да и никому, я думаю, не...

— Цыть! — громыхнул Илья. — Неловко ему. А палицей по башке хошь? Достану!

Тут какой-то, явно лишний, заметил:

— Междоусобица.

— А? — не понял конторский.

— Междоусобица, — сказал Лишний. — Пропадем.

— Кто пропадет? — Илья тоже не видел опасности, о какой говорил Лишний. — Сиди тут, гусарчик! А то достану тоже разок...

— Требую удовлетворения! — вскочил Лишний.

— Да сядь! — сказал конторский. — Какое удовлетворение?

— Требую удовлетворения: этот сидень карачаровский меня оскорбил.

— Сядь, — сказал и Обломов. — Чего с Иваном-то делать?

Все задумались.

Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде ухо.

— Думайте, думайте, — сказал он. — Умники наплись... Докторá.

— Не груби, Иван, — сказал конторский. — О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь возьмешь?

— Где?

— У Мудреца... Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь...

— А я не склоняюсь! — бухнул опять Илья. — Склоняется он. Ну и склоняйся сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали — справку... Кто это со справкой высочил? Лизка? Ты чего, девка?

— А ничего! — воскликнула Бедная Лиза. — Если ты сидишь, то и все должны сидеть?! Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация! Я присоединяюсь к

требованию ведущего: надо что-то делать. — И она еще раз сказала звонко и убедительно: — Надо что-то делать!

Все задумались.

А Илья нахмурился.

— Какая-то сидячая агитация, — проворчал он. — Выдумывают чего ни попадя. Какая агитация?

— Да такая самая!.. — вскинулся на него Обломов. — Сидячая, тебе сказали. «Кака-ая». Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять: что делать-то?

— И все же я требую удовлетворения! — вспомнил свою обиду Лишний. — Я вызываю этого горлопана (к Илье) на дуэль.

— Сядь! — крикнул конторский на Лишнего. — Дело делать или дуэлями заниматься?! Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сколько... Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.

Тут все заволновались, зашумели одобрительно.

— Я бы вообще запретил эти дуэли! — крикнул бледный Ленский.

— Трус, — сказал ему Онегин.

— Кто трус?

— Ты трус.

— А ты — лодырь. Шулер. Развратник. Циник...

— А пошли на Волгу! — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. — Сарынь на кичку!

— Сядь! — обозлился конторский. — А то я те покажу «сарынь». Задвину за шкаф вон — поорешь там. Еще раз спрашиваю: что будем делать?

— Иди ко мне, атаман, — позвал Илья казака. — Чего-то скажу.

— Предупреждаю, — сказал конторский, — если затеете какую-нибудь свару... вам головы не сносить. То же мне, понимаешь... самородки.

— Сказать ничего нельзя! — горько возмутился Илья. — Чего вы?.. Собаки какие-то, истинный бог: как ни скажешь — все не так.

— Только не делайте, пожалуйста, вид, — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, — что только вы одни из народа. Мы тоже — народ.

— Счас они будут рубахи на груди рвать, — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича. — Рукава будут жевать...

— Да зачем же мне рукава жевать? — искренне спро-

сил казачий атаман. — Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну.

— Все — междоусобица, — грустно сказал Лишний. — Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем.

— Айда на Волгу! — крикнул опять атаман. — Хоть погуляем.

— Сиди, — сердито сказал Обломов. — Гуляка... Все бы гулять, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять.

— А-а-а, — вдруг зловеще-тихо протянул атаман, — вот кохо я искал-то всю жизнь. Вот кохо мне надоть-то... — и потащил из ножен саблю. — Вот кому я счас кровя-то пушу...

Все повскакали с мест...

Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном... Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:

— О-о, забегали?! Забегали, черти драповые?! Забегали?

Обломов загородился от казака стулом и кричал ему надрываясь:

— Да ты спроси историков литературы! Ты спроси!.. Я же хороший был! Я только лодырь беспросветный... Но я же безвредный!

— А вот похлядим, — говорил казак, — похлядим, какой ты хороший: хороших моя сабля не секеть.

Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и конторский отскочил.

— Бей, казаче! — гаркнул Илья. — Цеди кровь поганую!

И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:

— Закрыто на учет!

И все замерли... Опомнились. Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.

— Азия, — тихо и горько сказал конторский. — Разве можно тут что-нибудь сделать! Спасибо, Акакий. Мне как-то и в голову не пришло — закрыть на учет.

— Илья, у тя вина нету? — спросил казак Муромца.

— Откуда? — откликнулся тот. — Я же не пью.

— Тяжко на душе, — молвил казак. — Маяться буду...

— А нечего тут... размахался, понимаешь, — сказал конторский. — Продолжим, Лиза, ты чего-то хотела сказать...

— Я предлагаю отправить Ивана-дурака к Мудрецу за справкой, — сказала Лиза звонко и убежденно. — Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай... я не знаю, пускай убирается от нас.

— Куда же ему? — спросил Илья грустно.

— Пускай идет в букинистический! — жестко отрезала Лиза.

— О-о, не крутенько ли? — усомнился кто-то.

— Не крутенько, — тоже жестко сказал конторский. — Нисколько. Только так. Иван...

— Аиньки! — откликнулся Иван. И встал.

— Иди.

Иван посмотрел на Илью.

Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе — все, видно, искал вино.

— Иди, Ванька, — тихо сказал Илья. — Ничего не сделаешь. Надо идти. Вишь, какие они все... ученые. Иди и помни: в огне тебе не гореть, в воде не тонуть... За остальное не ручаюсь.

— Хошь мою саблю? — предложил казак Ивану.

— Зачем она мне? — откликнулся тот.

— Иван, — заговорил Илья, — иди смело — я буду про тебя думать. Где тебя пристегнет беда... Где тебя задумают погубить, я крикну: «Ванька, смотри!»

— Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? — спросил казак.

— Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос услышишь.

Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном... Подтянул потуже армячишко и пошел к двери.

— Не поминайте лихом, если где пропаду, — сказал с порога.

— Придешь со справкой, Иван, — взволнованно сказала Лиза, — я за тебя замуж выйду.

— На кой ты мне черт нужна, — грубо сказал Иван. — Я лучше царевну какую-нибудь стрену...

— Не надо, Иван, — махнул рукой Илья, — не связывайся. Все они... не лучше этой вот. — Показал на Ли-

зу. — На кой ляд тебе эта справка? Чего ты заегозила-то? Куда вот парню... на ночь глядя! А и даст ли он ее, справку-то, ваш Мудрец? Тоже небось сидит там...

— Без справки нельзя, дядя Илья, — решительно сказала Лиза. — А тебе, Иван, я припомню, что ты откасался от меня. Ох, я те припомню!

— Иди, еди, Иван, — сказал конторский. — Время позднее — тебе успеть надо.

— Прощайте, — сказал Иван. И вышел.

И пошел он куда глаза глядят.

Темно было... Шел он, шел — пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился.

— Бедная моя головушка, — сказал, — пропадешь ты. Где этот Мудрец? Хоть бы помог кто.

Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван, пошел дальше.

Шел-шел, видит — огонек светится. Подходит ближе — стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.

— Есть тут кто-нибудь?! — крикнул Иван.

Вышла на крыльцо баба Яга... Посмотрела на Ивана, спрашивает:

— Кто ты такой? И куда идешь?

— Иван-дурак, иду к Мудрецу за справкой, — ответил Иван. — А где его найти, не знаю.

— Зачем тебе справка-то?

— Тоже не знаю... Послали.

— А-а... — молвила баба Яга. — Ну, заходи, заходи... Отдохни с дороги. Есть небось хочешь?

— Да не отказался бы...

— Заходи.

Зашел Иван в избушку.

Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати...

— Кто с тобой еще живет? — спросил Иван.

— Дочь, Иван, — заговорила Яга, — а ты как дурак-то — совсем, что ли, дурак?

— Как это? — не понял Иван.

— Ну, полный дурак или это тебя сгоряча так окрестили? Бывает, досада возьмет — крикнешь: у, дурак! Я вот на дочь иной раз как заору: у, дура такая! А какая же она дура? Она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история; привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только... бесхитростный. А?

— Не пойму, ты куда клонишь-то?

— Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: «Ох, и талантливый парень!» Или ты полностью поверил, что ты — дурак?

— Ничего я не поверил! — сердито сказал Иван. — Как это я про себя поверю, что я — дурак?

— А я тебе чего говорю? Вот люди, а?.. Ты строительством когда-нибудь занимался?

— Ну как?.. С отцом, с братьями теремки рубили... А тебе зачем?

— Понимаешь, хочу котэджик себе построить... Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?

— Мне же справку надо добывать...

— Да зачем она тебе? — воскликнула баба Яга. — Постройшь котэджик... его увидют — ко мне гости всякие приезжают — увидют — сразу: кто делал? Кто делал — Иван делал... Чуешь? Слава пойдет по всему лесу.

— А как же справка? — опять спросил Иван. — Меня же назад без справки-то не пустют.

— Ну и что?

— Как же? Куда же я?

— Истопником будешь при котэджике... Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале... Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали — куда? — пошли к Ивану: истории разные слушать. А ты им ври побольше... Разные случаи рассказывай. Я тебе заботиться буду. Я буду тебя звать — Иванушка...

— Карга старая, — сказал Иван. — Ишь ты, какой невод завела!.. Иванушкой она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть? А ху-ху не хо-хо, бабуленька?

— А-а, — зловеще протянула баба Яга, — теперь я поняла, с кем я имею дело: симулянт, проходимец... тип. Мы таких знаешь что делаем — зажариваем. Ну-ка, кто там?! — И Яга трижды хлопнула в ладошки. — Стража! Взять этого дурака, связать — мы его будем немножко жарить.

Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку.

— Последний раз спрашиваю, — еще попыталась баба Яга, — будешь котэджик строить?

— Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван. — Чучело огородное... У тебя в носу растут волосы.

— В печь его! — заорала Яга. И затопала ногами. — Мерзавец! Хам!..

— От хамки слышу! — тоже заорал Иван. — Ехидна! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет!.. Дармоедка!

— В огонь! — вовсе зашлась Яга. — В ого-онь!!

Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь.

— Ох, брил я тебя на завалинке! — запел Иван. — Подарила ты мене чулки-валенки!.. Оп — тёрдар-пупия! Мне в огне не гореть, карга! Так что я иду смело!

Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.

— Дочка едет! — обрадовалась баба Яга и выглянула в окно. — У-у, да с женихом вместе! То-то будет им чем поужинать.

Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.

— Змей Горыныч едет, Змей Горыныч едет! — кричали они. — Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!

Вошла в избушку дочка бабы Яги, тоже сильно страшная, с усами.

— Фу-фу-фу, — сказала она. — Русским духом пахнет. Кто тут?

— Ужин, — сказала баба Яга. И засмеялась хрипло: — Ха-ха-ха!..

— Чего ты? — рассердилась дочка. — Ржет, как эта... Я спрашиваю: кто тут?

— Ивана жарим.

— Да ну! — приятно изумилась дочка. — Ах, какой сюрприз!

— Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво — не хочет строить котэджик, паразит.

Дочка заглянула в печку... А оттуда — не то плач, не то хохот.

— Ой, не могу-у!.. — стонал Иван. — Не от огня помру — от смеха!..

— Чего это? — зло спросила дочка бабы Яги. И Яга тоже подошла к печке. — Чего он?

— Хохочет?

— Чего ты, эй?

— Ой, помру от смеха! — орал Иван. — Ой, не выживу я!..

— Вот идиот-то, — сказала дочка. — Чего ты?

— Да усы-то!.. Усы-то... Ой, господи, ну бывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты же замуж выходишь...

— Как все... А чего? — не поняла дочка. Не поняла, по встревожилась.

— Да усы-то!

— Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чувю.

— Да тебе-то не мешают... А мужу-то? Когда замуж-то выйдешь...

— А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж? — вовсе встревожилась дочка.

— Да как же? Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает: «Черт-те что: солдат не солдат, и баба не баба». И разлюбит. Да нешто можно бабе с усами! Ну, эти ведьмы!.. Ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с усатой. А то еще возьмет да голову откусит со зла, знаю я этих Горынычей.

Баба Яга и дочка призадумались.

— Ну-ка, вылазь, — велела дочь.

Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.

— Хорошо погрелся...

— А чего ты нам советуешь? — спросила баба Яга. — С усами-то.

— Чего, чего... Свести надо усы, если хотите семейную жизнь наладить.

— Да как свести-то, как?

— Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете.

— Не кинем, Ванюшка, — заговорила ласково дочь бабы Яги. — Отпустим тебя на все четыре стороны, скажи только, как от усов избавиться.

Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря-сантехники.

— Это не просто, — заговорил он, — это надо состав делать...

— Ну и делай!

— Делай, делай... А когда же я к Мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться...

— Давай так, — заволновалась баба Яга, — слушай сюда! Давай так: ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у Мудреца.

Иван призадумался.

— Быстрей! — заторопила усатая дочь. — А то Горыныч войдет.

Тут и Иван заволновался.

— Слушайте, он же войдет, так?..

— Ну?

— Войдет и с ходу сожрет меня.

— Он может, — сказала дочь. — Чего бы такое придумать?

— Я скажу, что ты мой племянник, — нашла баба Яга. — Понял?

— Давайте, — понял Иван. — Теперь — так: мой состав-то не сразу действует.

— Как это? — насторожилась дочь.

— Мы его сейчас наведем и наложим на лицо маску... Так? Я лечу на метле к Мудрецу, ты пока лежишь с маской...

— А обманет? — заподозрила дочь. — Мам?

— Пусть только попробует, — сказала баба Яга, — пусть только надует: навернется с поднебесья — мокрое место останется.

— Ну, елки зеленые-то!.. — опять заволновался Иван, похоже, он и хотел надуть. — Ну что за народ! В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что! Им дело говорят, понимаешь, — нет, они начинают тут... Вы меня уважаете, нет?

— При чем тут «уважаете»? Ты говори толком...

— Нет, не могу, — продолжал Иван тараторить. — Не могу, честное слово! Сердце лопнет. Ну, что за народ! Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу!.. А детишки народятся? Потянется сынок или дочка ручонкой: «Мама, а что это у тебя?» А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить: «Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами!» Легко будет ребенку? Легко будет слушать такие слова? Ни у кого нету мамки с усами, а у него — с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить, он зальется слезами и пойдет домой... к усатой мамке...

— Хватит! — закричала дочь бабы Яги. — Наводи свой состав. Что тебе надо?

— Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины — мы накладываем на лицо такую маску...

— На все лицо? Как же я дышать-то буду?

— Ну что за народ! — опять горько затараторил Иван. — Ну ничего невозможно...

— Ладно! — рывкнула дочь. — Спросить ничего нельзя!..

— Нельзя! — тоже рывкнул Иван. — Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать! Повторяю: навоз,

глина, помет. Маска будет с дыркой — будешь дышать. Все.

— Слышали? — сказала Яга стражникам. — Одна нога здесь, другая в сарае! Арш!

Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.

А в это самое время в окно просунулись три головы Змея Горыныча... Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:

— Кто это?

— Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка, — сказала Яга. — Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.

— Здравствуйте, дядя Горыныч! — поздоровался Иван. — Ну, как дела?

Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.

— Да ну что, елки зеленые? Что? Ну — племянник, ты же слышал! Пришел к тете Ежке. В гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать! А семью собираемся заводить: всех детишек пожрем, да? Папа, называется!..

Головы Горыныча посоветовались между собой.

— По-моему, он хамит, — сказала одна.

Вторая подумала и сказала:

— Дурак, а нервный.

А третья выразилась и вовсе кратко:

— Лангет, — сказала она.

— Я счас такой лангет покажу!.. — взорвался от страха Иван. — Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля? — Иван вскочил с лавки и забегал по избушке — изображал, что ищет волшебную саблю. — Я счас такое устрою!.. Головы надоело носить?! — Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него — жутко было смотреть на эти три спокойные головы. — Такое счас устрою!..

— Он просто расхамился, — опять сказала первая голова.

— Нервничает, — заметила вторая. — Бойтся.

А третья не успела ничего сказать: Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.

— Шпана, — сказал Иван. — Я тебя сам съем.

Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.

— Ванька, смотри! — сказал Илья.

— Да что «Ванька», что «Ванька!» — воскликнул Иван. — Чего ванькать-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя... великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! — Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько. — Жри, — сказал он, отвлекаясь от дудочки. — Жрать будешь? Жри. Гад. Потом поцелуй свою усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте с имя. Он меня, видите ли, пугать будет!.. Хрен тебе! — И Ванька опять засвистел в свою дудочку.

— Горыныч, — сказала дочь, — плюнь — не обращай внимания. Не обижайся.

— Но он же хамит, — возразила первая голова. — Как он разговаривает!

— Он с отчаяния. Он не ведает, что творит.

— Я все ведаю, — встрел Иван, перестав дудеть. — Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш... для будущего батальона...

— Ванюшка, — заговорила баба Яга кротко, — не хами, племяш. Зачем ты так?

— Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать! Вращай, когда у тебя батальон усатых будет — тогда вращай. А счас нечего.

— Нет, ну он же всю хамит! — чуть не плача сказала первая голова. — Ну как же?..

— Заплачь, заплачь, — жестко сказал Иван. — А мы посмеемся. В усы.

— Хватит тянуть, — сказала вторая голова.

— Да, хватит тянуть, — поддакнул Иван. — Чего тянуть-то? Хватит тянуть.

— О-о! — изумилась третья голова. — Ничего себе!

— Ага! — опять дурашливо поддакнул Иван. — Во даешь Ванька! Споем? — И Ванька запел:

Эх, брил я тебя
На завалинке,
Подарила ты мне
Чулки-валенки...

— Горыныч, хóром! — Оп — ти-ирдарпупия! — допел Ванька.

И стало тихо. И долго было тихо.

— А романсы умеешь? — спросил Горыныч.

— Какие романсы?

— Старинные.

— Сколько угодно... Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хошь. Завалю романсами. Например:

Хаз-булат удалой,
Бедна сакля твоя-а,
Золотою казной
Я осыплю тебя-а!..

— А? Романс?! — Ванька почувял некую перемену в Горыныче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке... — Ух ты... свирепый. Свирепунчик ты мой.

— Не ерничай, — сказал Горыныч. — А то откушу руку.

Ванька отдернул руку.

— Ну, ну, ну, — молвил он мирно, — кто же так с мастером разговаривает? Возьму вот и не буду петь.

— Будешь, — сказала голова Горыныча, которую Иван приглубил. — Я тебе возьму и голову откушу.

Две другие головы громко засмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся.

— Тогда-то уж я и вовсе не спою — нечем: чем же я петь-то буду?

— Филе, — сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова.

— А тебе бы все жрать! — обозлился на нее Иван. — Все бы ей жрать!.. Живоглотка какая-то.

— Ванюшка, не фордыбачь, — сказала баба Яга. — Пой.

— Пой, — сказала и дочь. — Разговорился. Есть слух — пой.

— Пой, — велела первая голова. — И вы тоже пойте.

— Кто? — не поняла баба Яга. — Мы?

— Вы. Пойте.

— Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь; ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. — С мужиком петь... ты меня извини, но...

— Три, четыре, — спокойно сказал Горыныч. — Начали.

Дам коня, дам седло, —

запел Иван. Баба Яга с дочкой подхватили:

Дам винтовку свою-у,
А за это за все
Ты отдай мне жену-у.

Ты уж стар, ты уж се-ед,
Ей с тобой не житье:
С молодых юных ле-ет
Ты погубишь ее-о-о.

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились: как всякий деспот, он был слезлив.

— Дальше, — тихо сказал он.

Под чинарой густой, —
пел дальше Иван, —

Мы сидели вдвое-ом;
Месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

И Иван с чувством повторил еще раз, один:

Эх, месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

— Как ты живешь, Иван? — спросил растроганный Горыныч.

— В каком смысле? — не понял тот.

— Изба хорошая?

— А-а. Я счас в библиотеке живу, вместе со всеми.

— Хочешь отдельную избу?

— Нет. Зачем она мне?

— Дальше.

Она мне отдала-ась, —

повел дальше Иван, —

До последнего дня-а...

— Это не надо, — сказал Горыныч. — Пропусти.

— Как же? — не понял Иван.

— Пропусти.

— Горыныч, так нельзя, — заулыбался Иван, — из песни слова не выкинешь.

Горыныч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта нехорошая тишина.

— Но ведь без этого же нет песни! — занервничал Иван. — Ну? Песни-то нету!

— Есть песня, — сказал Горыныч.

— Да как же есть? Как же есть-то?!

— Есть песня. Даже лучше — лаконичнее.

— Ну, ты смотри, что они делают! — Иван даже хлопнул в изумлении себя по ляжкам. — Что хотят, то и делают! Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни!.. Не буду петь лаконичнее. Все.

— Ванюшка, — сказала баба Яга, — не супротивничай.

— Пошла ты!.. — вконец обозлился Иван. — Сами пойте. А я не буду. В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе. А эти три тыквы... я их тоже буду немножко жарить...

— Господи, сколько надо терпения, — вздохнула первая голова Горыныча. — Сколько надо сил потратить, нервов... пока их научишь. Ни воспитания, ни образования...

— Насчет «немножко жарить» — это он хорошо сказал, — молвила вторая голова. — А?

— На какие усы ты все время намекаешь? — спросила Ивана третья голова. — Весь вечер сегодня слышу: усы, усы... У кого усы?

А па-арень улыбается
В пшеничные усы, —

шутливо спела первая голова. — Как там дальше про Хаз-булата?

— Она мне отдалась, — отчетливо сказал Иван.

Опять сделалось тихо.

— Это грубо, Иван, — сказала первая голова. — Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь... как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, Бедная Лиза... прекрасная девушка, я отца ее знал... Она — невеста твоя?

— Кто? Лизка? Еще чего!

— Как же? Она тебя ждет.

— Пусть ждет — не дождется.

— Мда-а... Фрукт, — сказала третья голова. А голова, которая все время к жратве клонилась, возразила:

— Нет, не фрукт, — сказала она серьезно. — Какой же фрукт? Уж во всяком случае — лангет. Возможно, даже шашлык.

— Как там дальше-то? — вспомнила первая голова. — С Хаз-булатом-то?

— Он его убил, — покорно сказал Иван.

— Кого?

— Хаз-булата.

— Кто убил?

— М-м... — Иван мучительно сморщился. — Молодой любовник убил Хаз-булата. Заканчивается песня так: «Голова старика покати́лась на луг».

- Это тоже не надо. Это жестокость, — сказала голова.
- А как надо?
- Голова подумала.
- Они помирились. Он ему отдал коня, седло — и они пошли домой. На какой полке ты там сидишь, в библиотеке-то?
- На самой верхней... Рядом с Ильей и донским атаманом.
- О-о! — удивились все в один голос.
- Понятно, — сказала самая умная голова Горыныча, первая. — От этих дураков только и наберешься... А зачем ты к Мудрецу идешь?
- За справкой.
- За какой справкой?
- Что я умный.
- Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба Яга и дочь тоже подхихикнули.
- А плясать умеешь? — спросила умная голова.
- Умею, — ответил Иван. — Но не буду.
- Он, по-моему, и котэджики умеет рубить, — встряла баба Яга. — Я подняла эту тему.
- Ти-хо! — рявкнули все три головы Горыныча. — Мы никому больше слова не давали!
- Батюшки мои, — шепотом сказала баба Яга. — Сказать ничего нельзя.
- Нельзя! — тоже рявкнула дочь. И тоже на бабу Ягу. — Базар какой-то!
- Спляши, Ваня, — тихо и ласково сказала самая умная голова.
- Не буду плясать, — уперся Иван.
- Голова подумала.
- Ты идешь за справкой... — сказала она. — Так?
- Ну. За справкой.
- В справке будет написано: «Дана Ивану... в том, что он — умный». Верно? И — печать.
- Ну.
- А ты не дойдешь. — Умная голова спокойно смотрела на Ивана. — Справки не будет.
- Как это не дойду? Если я пошел — я дойду.
- Не. — Голова все смотрела на Ивана. — Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь.
- Иван постоял в тягостном раздумье... Поднял руку и печально возгласил:
- Сени!

— Три, четыре, — сказала голова. — Пошли.
Баба Яга и дочь запели:

Ох, вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Они пели и прихлопывали в ладоши.

Сени новые-преновые,
Решетчатые...

Иван двинулся по кругу, пристукивая лапоточками... А руки его висели вдоль тела: он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.

— А почему соколом не смотришь? — спросила голова.

— Я смотрю, — ответил Иван.

— Ты в пол смотришь.

— Сокол же может задуматься?

— О чем?

— Как дальше жить... Как соколят вырастить. Пожалей ты меня, Горыныч, — взмолился Иван. — Ну, сколько уж? Хватит...

— А-а, — сказала умная голова. — Вот теперь ты поуменел. Теперь иди за справкой. А то начал тут... строить из себя. Шмакодявки. Свистуны. Чего ты начал строить из себя?

Иван молчал.

— Становись лицом к двери, — велел Горыныч.

Иван стал лицом к двери.

— По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука.

— Со звуком — это ты лишку хватил, Горыныч, — возразил Иван. — Я не сумею так.

— Как сумеешь. Приготовились... Три, четыре!

Иван вылетел из избушки.

Три головы Горыныча, дочь и баба Яга засмеялись.

— Иди сюда, — позвал Горыныч невесту, — я тебя ласкать буду.

А Иван шел опять темным лесом... И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лесину и закручинился.

— В душу как вроде удобрение свалили, — грустно сказал он. — Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка...

Сзади подошел медведь и тоже присел на лесину.

— Чего такой печальный, мужичок? — спросил медведь.

— Да как же!.. — сказал Иван. — И страху натерпелся, и напелся, и наплясался... И уж так-то теперь на душе тяжело, так нехорошо — ложись и помирай.

— Где это ты так?

— А в гостях... Черт занес. У бабы Яги.

— Нашел к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?

— Да зашел по пути...

— А куда идешь-то?

— К Мудрецу.

— Во-он куда! — удивился медведь. — Далек.

— Не знаешь ли, как к нему идти?

— Нет. Слышать слышал про такого, а как идти — не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся... Иду вот тоже, а куда иду — не знаю.

— Прогнали, что ль?

— Да и прогнать не прогнали, и... Сам уйдешь. Эт-то вот — недалеко — монастырь, ну, жили себе... И я возле питался — там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их напугало! Обложили весь монастырь — их вовнутрь-то не пускают, — с утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают.

— А чего хотят-то?

— Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то, бабенок всяких ряженных подпускают, вино наливают — сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу — завязывай глаза и беги. Страсть что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился... — медведь достал пачку сигарет и закурил. — Нет житья никакого... Подумал, подумал — нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж...

— Это скверно.

— Уж куда как скверно! Медведицу избил... льва в лесу искал... Стыд головушке! Нет, думаю, надо уходить. Вот — иду.

— Не знают ли они про Мудреца? — спросил Иван.

— Кто? Черти? Чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь. Пропадешь, парень.

— Да ну... чего, поди?

— Пропадешь. Попробуй, конечно, но... гляди. Злые они.

— Я сам злой сейчас... Хуже черта. Вот же как он меня исковеркал!.. Всего изломал.

— Кто?

— Змей Горыныч.

— Бил, что ли?

— Да и не бил, а... хуже битья. И пел перед ним, и плясал... тьфу! Лучше бы уж избил.

— Унизил?

— Унизил. Да как унизил!.. Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их. А?

— Брось, — сказал медведь, — не связывайся. Он такой, этот Горыныч... Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде достанут.

Они посидели молча, медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.

— Прощай.

— Прощай, — откликнулся Иван. И тоже поднялся.

— Аккуратней с чертями-то, — еще раз посоветовал медведь. — Эти похуже Горыныча будут... Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну, и охальное же племя! На ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их — захомутали.

— Ничего, — сказал Иван. — Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то Мудреца искать... леший-то навязался на мою голову. А время — до третьих петухов только.

— Ну, поспешай, коли так. Прощай.

— Прощай.

И они разошлись.

Из темноты еще медведь крикнул:

— Вон, слышь, музыка?

— Где?

— Да послушай!.. «Очи черные» играют.

— Слышу.

— Вот иди на музыку — они. Вишь, наяривают! О господи! — вздохнул медведь. — Вот чесотка-то мировая! Ну, чесотка... Не хотят жить на болоте, никак не хотят, хотят в кельях.

А были — ворота и высокий забор. На воротах написано:

«Чертям вход воспрещен».

В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом.

Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты... Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски — выпивали. А четверо — три музыканта с гитарами и девица — стояли прямо перед стражником: девица красиво пела «Очи черные». Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах... Однако стражник спокойно смотрел на нее — почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.

— Хлеб да соль! — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.

Его оглядели с ног до головы... И отвернулись.

— Что же с собой не приглашаете? — жестко спросил Иван.

Его опять оглядели.

— А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами.

— Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Стать!

Черти изумились... Смотрели на Ивана.

— Я кому сказал?! — Иван дал ногой по бутылкам. — Стать!!!

Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего роста, в очках.

— В чем дело, дружок? — заговорил он, беря Ивана под руку. — Чего мы шумим? М-м? У нас где-нибудь бобо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?

— Надо справку, — зло сказал Иван.

К ним еще подошли черти... Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.

— Продолжайте, — крикнул изящный музыкантам и девице. — Ваня, какую справку надо? О чем?

— Что я — умный.

Черти переглянулись... Быстро и непонятно переговорили между собой.

— Шизо, — сказал один. — Или авантюрист.

— Не похоже, — возразил другой. — Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо?

— Одну.

— А какую справку, Ваня? Они разные бывают... Бывает — характеристика, аттестат... Есть о наличии, есть об отсутствии, есть «в том, что», есть «так как», есть «ввиду того, что», а есть «вместе с тем, что» — разные, понимаешь? Какую именно, тебе сказали, принести?

— Что я умный.

— Не понимаю... Диплом, что ли?

— Справку.

— Но их сотни, справок! Есть «в связи с тем, что», есть «несмотря на то, что», есть...

— Понесу ведь по кочкам, — сказал Иван с угрозой. — Тошно будет. Или спою «Отче наш».

— Спокойно, Ваня, спокойно, — занервничал изящный черт. — Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять — какую? Мы тебе сделаем...

— Мне липовая справка не нужна, — твердо сказал Иван, — мне нужна такая, какие выдает Мудрец.

Тут черти загалдели все разом.

— Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец.

— О-о!..

— Липовая его не устраивает... Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико!

— Какой митрополит! — он нам споет «Отче наш». А «сухой бы я корочкой питалась» ты нам споешь?

— Ша, черти! Ша... Я хочу знать: как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?

Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон. И все галдели и размахивали руками.

— Он опрокинул коньяк!..

— Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж?

— Кубок «Большого орла» ему!

— Тумаков ему! Тумаков!..

Дело могло обернуться плохо; Ивана теснили.

— Ша, черти! Ша! — крикнул Иван. И поднял руку. — Ша, черти! Есть предложение!..

— Ша, братцы, — сказал изящный черт. — Есть предложение. Выслушаем предложение.

Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривая в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же.

Перед стражником по-прежнему «несли вахту» девица и музыканты: девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина!». Она пела и пританцовывала.

— Я не очень уверен, — сказал изящный черт. — Но... А?

— Это надо проверить, — заговорили и другие. — Это не лишено смысла.

— Да, это надо проверить. Это не лишено смысла.

— Мы это проверим, — сказал изящный черт своему помощнику. — Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что Мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть.

— Но без обмана! — сказал Иван. — Если Мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками... беру вашего черта...

— Ша, Иван, — сказал изящный черт. — Не надо лишних слов. Все будет о'кей. Маэстро, что нужно? — спросил он своего помощника.

— Анкетные данные стражника, — сказал тот. — Где родился, кто родители... И еще одна консультация Ивана.

— Картотека, — кратко сказал изящный.

Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал.

Прибежали с данными. Один доложил:

— Из Сибири. Родители — крестьяне.

Изящный черт, Иван и маэстро посовещались на коротке.

— Да? — спросил изящный.

— Как штык, — ответил Иван. — Чтоб мне сдохнуть!

— Маэстро?..

— Через... две с половиной минуты, — ответил маэстро, поглядев на часы.

— Приступайте, — сказал изящный.

Маэстро и с ним шестеро чертей — три мужского пола и три женского — сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались... Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роят в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином — в любви, в сострадании.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачью он лодку берет,
Унылую песню заводит —
О родине что-то поет.

Ах, как они пели!.. Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копые к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами; он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.

Бродяга Байкал переехал —
Навстречу родимая мать.
Ой, здравствуй, ой, здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой и брат?

Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.

— М-мх... — сказал он.

А в пустые ворота пошли черти.

А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни — звала на простор, на вольную волю.

А черти шли и шли в пустые ворота.

Стражнику поднесли огромную чару... Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал:

— М-мх...

Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт.
А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит.

Стражник дал кулаком по колену, поднял голову — лицо в слезах.

А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит, —

сказал он страдальческим голосом: — Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Дай «Камаринскую»!.. Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!

— Нельзя, мужичок, нельзя, — сказал лукавый маэстро. — Ты напьешься и все забудешь.

— Кто?! — заорал стражник. И лапнул маэстро за грудки. — Кто тут меня учить будет?! Ты, козел? Да я тебя... в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!..

— Что они так обожают кочки? — удивился изящный черт. — Один собирался нести по кочкам, другой... Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? — спросил он стражника.

— Цыть! — сказал стражник. — «Камаринскую»!

— «Камаринскую», — велел изящный музыкантам.

— Вина! — рявкнул стражник.

— Вина, — покорно вторил изящный.

— Может, не надо? — заспорил притворяшка маэстро. — Ему же плохо будет.

— Нет, надо! — повысил голос изящный черт. — Ему будет хорошо!

— Друг!.. — заревел стражник. — Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!..

— Иду! — откликнулся изящный черт. — Счас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут!..

Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника; особенно изумил его изящный черт.

— Ты-то чего раздухарился, эй? — спросил он его.

— Цыть! — рявкнул изящный черт. — А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...

— Что, что? — угрожающе переспросил Иван. И поднялся. — Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка повтори.

— Ты на кого это тут хвост поднимаешь? — тоже угрожающе спросил верзила-стражник Ивана. — На моего друга?! Я из тебя лангет сделаю!

— Опять лангет, — сказал Иван, останавливаясь. — Вот дела-то!

— «Камаринскую»! — раскапризничался изящный черт. — Иван нам спляшет. «Камаринскую»! Ваня, давай!

— Пошел к дьяволу! — обозлился Иван. — Сам давай... с другом, вон.

— Тогда я не посылаю с тобой черта, — сказал изящный черт. И внимательно, и злобно посмотрел на Ивана. — Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никогда не попадешь.

— Ах ты харя ты, некрещеная! — задохнулся от возмущения Иван. — Да как же это? Да нешто так можно? Где же стыд-то у тебя? Мы же договорились. Я же такой грех на душу взял — научил вас, как за ворота пройти.

— Последний раз спрашиваю: будешь плясать?

— О, проклятие!.. — застонал Иван. — Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?

— «Камаринскую»! — велел изящный черт. — «Пошехонские страдания».

Музыканты-черты заиграли «Камаринскую». И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал.

— Эх, справочка!.. — воскликнул он зло и горько. — Дорого же ты мне достается! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого!..

И вот — канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия так канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную Мудреца.

— Минуточку, — сказал черт, когда вошли в приемную. — Посиди тут... Я скоро. — И куда-то убежал.

Иван огляделся.

В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только та — другого цвета и зовут Милка. А ту — Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам.

— Ой, ну это ж пшено! — говорила она в одну трубку и улыбалась. — Помнишь, у Моргуновых: она напялила на себя желтое блестящее платье, копну сена, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?

И тут же — в другую, строго:

— Его нету. Не зна... А вы не интонируйте, не интонируйте, я вам пятый раз говорю: его нету. Не знаю.

— Во сколько ты там был? В одиннадцать? Один к одному? Интересно... Она была одна? Она кадрилась к тебе?

— Слушайте, я же ска... А вы не интонируйте, не интонируйте. Не знаю.

Иван вспомнил: их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку:

— А бугор когда будет в яме? — Он вдруг что-то разлился на эту Милку.

Милка мельком глянула на него.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Я спрашиваю: когда бу...

— По какому вопросу?

— Нужна справка, что...

— Понедельник, среда, девять тире одиннадцать.

— Мне... — Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов.

Милка опять отстучала:

— Понедельник, среда, с девяти до одиннадцати. Тупой?

— Это пшено, — сказал Иван. И встал и вольно прошелся по приемной. — Я бы даже сказал — компот. Как говорит наша Галка: «собачья радость на двух», «смесь козла с «Грюндиком». Я спрашиваю глобально: ты невеста? И сам отвечаю: невеста. Один к одному. — Иван все больше накалялся. — Но у тебя же — посмотри на себя — у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Ты вот спроси у меня — я вечный жених — спроси: появилась у меня охота жениться? Ну-ка спроси.

— Появилась охота?

— Нет, — твердо сказал Иван.

Милка засмеялась и захлопала в ладоши.

— Ой, а еще? — попросила она. — Еще что-нибудь. Ну, пожалуйста.

Иван не понял, что «еще»?

— Еще покажите что-нибудь.

— А-а, — догадался Иван, — ты решила, что я — шут гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас... глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..

Милка опять громко засмеялась.

— Ой, как интересно! А еще, а?

— Худо будет! — закричал Иван. — Ой, худо будет!.. Лучше вы меня не гневите, не гневите лучше!..

Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу.

— Тю, тю, тю. — испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. — Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать?.. А-я-я-я-яй! Отойти никуда нельзя. Предисловий начитался. — пояснил он девице «выступление» Ивана. — Сиди тихо, сейчас нас примут. Сейчас они придут... Я там договорился: нас примут в первую очередь.

Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький — сам Мудрец, как повял Иван.

— Чушь, чушь, чушь, — быстро сказал он на ходу. — Василиса никогда на Дону не была.

Черт почтительно склонил голову.

— Проходите, — сказал Мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь. И исчез в кабинете.

— Пошли, — подтолкнул черт Ивана. — Не вздумай только вылететь со своими предисловиями... Поддакивай, и все.

Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал.

— Откуда?! Откуда они это взяли?! — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху. — Откуда?!

— Чего ты расстроился, батя? — спросил Иван участливо.

Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.

— Ну? — спросил он сурово и непонятно. — Облапошили Ивана?

— Почему вы так сразу ставите вопрос?.. — уверливо заговорил черт. — Мы, собственно, давно хотели...

— Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?

— Разрушение примитива, — твердо сказал черт.

Мудрец погрозил ему пальцем.

— Озоруете! А теоретически не готовы.

— Нет, ну серьезно... — заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. — Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят!

— Что им, в полупендриках ваших ходить?

— Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положи руку на сердце: неужели не ясно, что

они безнадежно отстали? Вы скажете — мода. А я скажу: да, мода! Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.

— Тут, очевидно, следует говорить не о моде, — говорил старик важно и взволнованно, — а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали...

— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами. — Конечно, о возможном положительном влиянии...

— Всякое явление, — продолжал старик, — заключается в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается: моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию — все явление подпрыгивает и продвигается вперед; если раздражитель попал на тормозную — все явление, что называется, съезживается и отползает в глубь себя. — Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. — Обычно этого не понимают...

— Почему, это же так понятно, — сказал черт.

— Я все время твержу, — продолжал Мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит «да», другая говорит «нет».

— Я видел явление о трех головах... — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.

— Ударим одну голову, услышим — «да», ударим другую, услышим — «нет». — Старик Мудрец стремительно вскинул руки, нацелился пальцем в черта. — Какую ударили вы?

— Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь ответил черт.

Старик опустил руку.

— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», — крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!.. — Старик опять погрозил пальцем черту. — Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу!

Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу... Задом открыл дверь и так, с подкупающей улыбкой на мордочке, исчез.

Иван же как стоял, так упал на колени перед Мудрецом.

— Батя, — взмолился он, — ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь...

— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань, — велел Мудрец.

Иван встал.

— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.

— Я подсказал, чтобы они спели родную песню стражника... Они там мельтешили перед ним — он держался пока, а я говорю: «Вы родную его запойте, родную его...» Они и запели...

— Какую же они запели?

— «По диким степям Забайкалья».

Старик засмеялся.

— Ах, шельмы! — воскликнул он. — И хорошо запели?

— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.

— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.

— Ну, как умею?.. Так...

— А плясать?

— А зачем? — насторожился Иван.

— Ну-ка... — заволновался старичок, — вот чего! Подем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю — боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.

Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.

— Сообщают: вулкан «Дзидра» готов к извержению, — доложила она.

— Ага! — воскликнул старичок и пробежал по кабинету. — Что? Толчки?

— Толчки. Температура в кратере... Гул.

— Пойдем от аналогии с беременной женщиной, — подстегнул свои мысли старичок. — Толчки... Есть толчки? Есть. Температура в кратере... Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул... — Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку. — А что такое гул?

Милка не знала.

— Что такое гул? — Старичок нацелился в Ивана.

— Гул?.. — Иван засмеялся. — Это смотря какой

гул... Допустим, гул сделает Илья Муромец — это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это...

— Вульгартеория, — прервал старичок Ивана. — Гул — это сотрясение воздуха.

— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван. — Стекла дребезжат!

— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк. — Гул — это не только механическое сотрясение, это также... утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять...

— Ухо-то не может воспринять, а... — не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор.

— Ну что тебя — распушить?

— Не надо, — попросил Иван, — больше не буду.

— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается. — Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу. — Так и запишите.

Секретарша Милка так и записала. И ушла.

— Устаю, Ваня, дружок, — продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался. — Так устаю, что иногда кажется: все!.. больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз... — Старичок тонко, блудливо засмеялся. — Захочется иной раз пощипать... травки пощипать, ягодки... черт-те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение... восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая... царевна Несмеяна, вот мы сейчас и нагрянем к ней.

Опять вошла секретарша Милка.

— Сиаковский кот Типшка прыгнул с восьмого этажа.

— Разбился?

— Разбился.

Старичок подумал...

— Запишите, — велел он. — Кот Тимофеем не утерпел.

— Все? — спросила секретарша.

— Все. Какая по счету резолюция на сегодня?

— Семьсот сорок восьмая.

— Перекур.

Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.

— К царевне, дружок! — воскликнул освобожденный Мудрец. — Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех... А?

— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.

— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?

— Я не про тот грех... Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.

Старичок значительно подумал.

— Чертей-то?.. Да, — сказал он непонятно. — Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А кот-то... а? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!

Несмеяна тихо зверела от скуки.

Сперва она лежала просто так... Лежала, лежала и взвыла.

— Повешусь! — заявила она.

Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.

— Повешу-усь! — закричала Несмеяна. — Не могу больше!

Молодые люди выключили транзисторы.

— Ну, пусть, — сказал один. — А что?

— Принеси веревку, — попросили его.

Этот, которого попросили, полежал, полежал... Сел.

— А потом — стремянку? — сказал он. — А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.

— Не надо, — сказали. — Пусть вешается, — может, интересно будет.

Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.

— Люструними пока, — посоветовали.

— Сам снимай! — огрызнулся парень.

Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались... Дело появилось.

— Веревку-то надо намылить.

— Да, веревку намыливают... Где мыло?

Пошли искать мыло.

— Есть мыло?

— Хозяйственное... Ничего?

— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?

— Сколько в тебе, Алка? — Алка — это и есть Несмеяна. — Сколько вешишь?

— Восемьдесят.

— Выдержит. Намыливай.

Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку... Слезли со стремянки...

— Давай, Алка.

Алка-Несмеяна вяло поднялась... Зевнула и полезла на стремянку. Влезла...

— Скажи последнее слово, — попросил кто-то.

— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные.

— Не надо, Алка, не говори.

— Этого только не хватает!

— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.

— Ни петь, ни говорить я не собираюсь, — сказала Алка.

— Умница! Давай.

Алка надела на шею петлю... постояла.

— Стремянку потом ногой толкни.

Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла:

— Тоже скучно-о!.. — не то пропела она, не то заплакала. — Не смешно-о!

С ней согласились.

— Действительно.

— Ничего нового: было-перебыло.

— К тому же — патология.

— Натурализм.

И тут-то вошли Мудрец с Иваном.

— Вот, изволь, — бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки, — дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!.. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?

— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать, — капризно сказала Несмеяна со стремянки.

— А я и придумал! — воскликнул старичок весело. — Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех... Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди... А то мы... слишком уж остроумные, интеллектуальные... а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?

— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.

— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! —

не без пафоса сказал старичок. — К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?

— Да мне как-то неловко: они нагишом все... — сказал Иван. — Пусть хоть оденутся, что ли.

Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.

— Ваня, это... ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку!

Принесли балалайку.

Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил... Вышел за дверь... И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой.

Эх, милка моя,
Шевелилка моя:
Сама ходит, шевелит...

— О-о! — застонали молодые и Несмеяна, — не надо! Ну, пожалуйста... Не надо, Ваня.

— Так, — сказал старичок. — На языке офеней это называется — не прохонжé. Двинем резерв. Перепляс!.. Ваня, пли!

— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван. — Что я тебе — Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно.

— А справка? — зловеще спросил старичок. — А? Справка-то... Ее ведь надо заработать.

— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?

— А как же! Мы же договорились.

— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то... Ну стыдно же, ну.

— Не мучай человека, — сказала Несмеяна старичку.

— Давай справку, — стал нервничать Иван. — И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.

Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей «царевне», так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.

— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением. — Какую справку?

— Здравствуй! — воскликнул Иван. — Я же говорил...

— Я забыл, повтори.

— Что я умный.

— А! — «вспомнил» старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже. — Тебе нужна справка, что ты умный. Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?

— У тебя же есть печать...

— Да печать-то есть... Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса. ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обес-судь.

— Давай, — с неохотой сказал Иван. — Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.

— Предисловия пишут... Знаешь, кто предисловия пишет?

— Это что, первый вопрос?

— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так... Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? — Старичок искоса лукаво поглядел на свою «царевну» и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. — Ну?.. Что же сказал Адам?

— Не смешно, — сказала Несмеяна. — Тупо. Плоско.

— Самодеятельность какая-то, — сказали и другие.

— Идиотизм. Что он сказал? «Сам сотворил, сам и живи с ней!»

Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.

— Очень близко!.. Очень!

— Мог бы и поостроумнее сказать.

— Минуточку!.. Минуточку!.. — суетился старичок. — Самое интересное, как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?

— А можно, я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван. — Потом...

— Нет, сначала ответь: что сказал...

— Нет, пусть он спросит, — закапризничала Несмеяна. — Спроси, Ваня.

— Да что он может спросить? Почему куль овса на базаре?

— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ва-ня!

— Ну-у, это уже ребячество, — огорчился старичок. — Хорошо, спроси, Ваня.

— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? — Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.

— То есть? — опешил тот.

— Нет, нет, не «то есть», а — почему? — заинтересовалась Несмеяна. — И почему ты это скрывал?

— Это уже любопытно, — заинтересовались и другие. — Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..

— Так вот вся мудрость-то откуда!

— Ой, как интересно-о!

— Покажите, пожалуйста... Ну, пожалуйста!..

Молодые люди стали окружать старичка.

— Ну-ну, ну, — испугался старичок, — зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?

Старичка окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца намерились раздеть без всяких шуток.

— И скрывать, действительно, такое преимущество... Зачем же?

— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!

— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. — Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они... Иван, скажи, что ты пошутил!

— По-моему, я уже нащупал!.. Рубашка мешает, — вовсю шуровал один здоровенный парень. — У него тут еще майка... Нет, теплое белье! Синтетическое. Лечебное. Подержите-ка рубашку...

С Мудреца сняли пиджак, брюки... Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.

— Это безобразие! — кричал он. — Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!..

Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.

— А это?.. Разве не отклонение?

— Руки прочь! — завопил старичок. — Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Крепины! Лежебоки...

В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.

— Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?

— Да какое ребро?! Ой, ха-ха-ха!.. Да где? Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же... ха-ха-ха!.. Это же... ха-ха-а!..

— Дайте ему сказать.

— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением... Ха-ха-ха!.. О-о-о!.. — И тут старичок пукнул, так это по-старчески, негромко — дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съезжился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как! — взახлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане... И нашел. Печать. И взял ее.

— Вы пока тут занимайтесь, — сказал он, — а мне пора отправляться.

— Зачем же ты всю-то... печать-то? — жалко спросил Мудрец. — Давай, я тебе справку выдам.

— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд. — Иван пошел к двери. — Прощайте.

— Это вероломство, Иван, — сказал Мудрец. — Насилие.

— Ничего подобного. — Иван тоже стал в позу. — Насилие — это когда по зубам бьют.

— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой. — Наложу ведь — запляшете!

— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых. — Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна, — наложи! Колыхни атмосферу!

— Решение! — торжественно объявил Мудрец. — Данный юмор данного коллектива дураков — объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.

И грянула вдруг дивная стремительная музыка...
И хор. Хор, похоже, поет и движется — приплясывают.

ПЕСЕНКА ЧЕРТЕЙ

Аллилуя — вот,
Три-четыре — вот,
Шуры-муры.
Шуры-муры.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!
Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ —
Политуру.
Политуру.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Наше — вам
С кистенем;
Под забором,
Под плетнем —
Покультируем.
Покультируем.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э-э!.. То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся.

Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь; над лесом, близко, висела луна.

На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти шли процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг.

Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами... но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а все же — в такт. Да и сам Иван — постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил.

Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре — видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора... И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое бывшее место.

— Ну-ка, брысь! — сказал он черту. — Ты как здесь?..

Черт-стражник снисходительно улыбался.

— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!

— Эт-то што такое?! — изумился монах. — По какому такому праву? Как ты здесь оказался?

— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!

Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.

— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут... Не положено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.

— Ах ты харя! — заругался монах. — Ах ты аборт козлийный!.. Ну ладно, ладно... Дай, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу вместо инструкции!

— И выражаться не положено, — строго заметил черт. — А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться, сколько влезет. Обзывать он будет! Я те пообзываюсь!.. Иди отсюда, пока я те... Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!

— Агафангел! — позвали монаха. — Отойди... А то наживешь беды. Отойди от греха.

Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роят в горах,
Бродяга, судьбу проклиная...

Черт-стражник захихикал ему в спину.

— Агафангел... — сказал он, смеясь. — И назовут же! Уж скорей — Агавинус. Или просто — Вермут.

— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали?

— Выгнали, — вздохнул один, седобородый. — Да как выгнали! — пиночьями, вот как выгнали. Взашей попросили.

— Беда, беда, — тихо молвил другой. — Вот уж беда так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.

— Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть.

— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то? Надо же что-то делать!

— Молодой ты, — урезонили его. — Потому и шу-

мишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая!

— Это нам за грехи наши.

— За грехи, за грехи... Надо терпеть.

— Будем терпеть.

Иван с силой, зло стукнул кулаком себе по колену. И сказал горько:

— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый!.. Я подкузьмил вам. На мне грех.

— Ну, ну, ну, — стали его успокаивать. — Чего ты? Эка, как тебя ограбастало. Чего ты?

— Эх-а!.. — сокрушался Иван. И даже заплакал. — Сколько же я на душу взял... За один-то поход! Как же мне тяжело!..

— Ну, ну... Не казись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милоч.

— Да ну!.. Все терпеть да терпеть! Только и умеем — терпеть.

— Што же делать-то? Ничего теперь не сделаешь.

Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем.

— Мужички, — сказал он, — есть халтура! Кто хочет заработать?

— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи. — Чего надо-то?

— У вас там портреты висят... в несколько рядов...

— Иконы.

— А?

— Святые наши, какие портреты.

— Их надо переписать: они устарели.

Монахи опешили.

— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.

— Нас.

Теперь уж все смолкли. И долго молчали.

— Гром небесный, — сказал старик монах. — Вот она, кара-то.

— Ну? — торопил изящный черт. — Есть мастера? Заплатим прилично... Все равно ведь без дела сидите.

— Бей их! — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило... И кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.

— Какие вы все же... грубые, — сказал им изящный черт из-за частокола. — Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас... Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся.

И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка... И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику — черти били на площади массовую четку.

Иван взялся за голову и пошел прочь.

Шел он по лесу, а его все преследовала, догоняла, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал — так горько было на душе, так мерзко.

Сел он на ту же поваленную лесину, на какой сидел прошлый раз. Сел и задумался.

Сзади подошел медведь и тоже присел.

— Ну, сходил? — спросил он.

— Сходил, — откликнулся Иван. — Лучше бы не ходил...

— Что? Не дали справку?

Иван только рукой махнул, не стал говорить — больно было говорить.

Медведь прислушался к далекой музыке... И все понял без слов.

— Эти... — сказал он. — Все пляшут?

— Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то.

— Ох, мать честная! — изумился медведь. — Прошли?

— Прошли.

— Ну, все, — сказал медведь обреченно, — надо уходить. Я так и знал, что пройдут.

Они помолчали.

— Слушай, — заговорил медведь, — ты там ближе к городу... какие условия в цирке?

— Вроде ничего... Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.

— Как насчет питания, интересно... Сколькиразовое?

— Шут его знает. Хочешь в цирк?

— Ну а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?

— Да... — вздохнул Иван. — Дела.

— Сильно безобразничают? — спросил медведь, закуривая. — Эти-то.

— А что же... смотреть, что ли, будут?

— Это уж... не для того старались. Погарцуют теперь.

Тьфу, в душу мать-то совсем!.. — Медведь закашлялся. Долго, с храпом, кашлял. — Еще откажут вот... в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие, как тряпки, стали. Бывало, пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался... кхо, кхо, кхох... с версту пробежал и язык высунул. А там небось тяжести надо подымать.

— Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван.

— Зачем? — не понял медведь.

— Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает...

— Да какой интерес-то?

— Это уж я не знаю.

Медведь задумался. Долго молчал.

— Ну и ну, — сказал.

— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван.

— Где!.. — горько, с отчаянием воскликнул Михайло Иванович. — Разогнал. Напился, начал буйнить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю. — Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва!.. Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!

— Зачем же, монастырь-то?

— Они же там!..

— Нет, Михайло Иванович, не надо. Да ты и не попадешь туда.

Михайло Иванович сел и трясущимися лапами стал закуривать.

— Ты не пьешь? — спросил.

— Нет.

— Зря, — зло сказал Михайло Иванович. — Легче становится. Хошь, научу?

— Нет, — решительно сказал Иван. — Я пробовал — она горькая.

— Кто?

— Водка-то.

Михайло Иванович оглушительно захохотал... И хлопнул Ивана по плечу.

— Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?

— Нет. — Иван поднялся с лесины. — Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.

— Прощай, — сказал медведь.

И они разошлись в разные стороны.

И пришел Иван к избушке бабы Яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал — зовут:

— Иванушка, а Иванушка!.. Что ж мимо-то?

Оглянулся Иван — никого.

— Да здесь я, — опять голос, — в сортире!

Видит Иван сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то оттуда, из сортира.

— Кто там? — спросил Иван.

— Да я это, дочка бабы Яги... усатая-то, помнишь?

— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?

— Выручи меня отсюда, Иванушка... Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми и открой. Потом расскажу все.

Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь бабы Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плевать.

— Вот как нынче с невестами-то!.. Ну, змей!.. Я тебе этого не прощу, я тебе устрою...

— Это Горыныч тебя туда законопатил?

— Горыныч... Тьфу, змей! Ладно, ладно... чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад..

— За что он тебя? — спросил Иван.

— Спроси у него!.. Воспитывает. Полковника из себя изображает — на гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи! Дубина такая. — Дочка бабы Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана. — Слушай, — сказала она, — хочешь стать моим любовником? А?

Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту: усатая-то она усатая, по остальное-то все при ней, и даже больше — и грудь, и все такое. Да и усы-то... это ведь... что значит усы? — темная полоска на губе, какие это, в сущности, усы, это не усы, а так — признак.

— Я что-то не понял... — замаялся Иван. — Как-то это до меня... не совсем... не того...

— Ванька, смотри! — раздался вдруг голос Ильи Муромца. — Смотри, Ванька!

— Начинается! — поморщился Иван. — Заванькал.

— Что начинается? — не поняла невеста; она не могла слышать голос Ильи: не положено. — Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовницы.

— Да нет... — сказал Иван, — зачем? Я в том смысле, что... значит, это... дело-то такое...

— Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да — так да, нет — нет, чего тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову.

— А баба Яга-то?..

— Она в гости улетела. А Горыныч на войне.

— Пошли, — решил Иван. — У меня полчаса есть еще. Побалуемся.

Вошли они в избушку...

Иван скинул лапоточки и вольготно прилег пока на кровать.

— Устал, — сказал он. — Ох, и устал же! Где только не был! И какого я только сраму не повидал и не перенес...

— Это тебе не на печке сидеть. Что лучше: салат или яишенку?

— Давай чего-нибудь: на скорую руку... Время-то — к свету.

— Успеешь. Лучше мы яишенку, с дороги-то — посытней. — Дочь бабы Яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку.

— Пусть пока разогревается... Ну-ка поцелуй меня — как ты умеешь? — И дочь бабы Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться. — О-о, да ты не умеешь ничего!.. А лапти снял!

— Кто не умеет? — взвился Иван соколом. — Я не умею? Да я тут сейчас так размахнусь, что ты... Держи руку! Руку держи!.. Да мою руку-то, мою — держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи!.. Держишь?

— Держу! Ну?

— Отпуска-ай, — заорал Иван.

— погоди, сковородка перекалилась, наверно, — сказала дочь бабы Яги. — Ты смотри, какой ты! А ребеночка сделаешь мне?

— Чего же не сделать? — всюду раздухарился Иван. — Хоть двух. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь возни да возни... знаешь сколько!

— Я уже пеленать умею, — похвасталась дочь бабы Яги. — Хошь, покажу? Сейчас яишенку поставлю... и покажу.

Иван засмеялся.

— Ну, ну... — сказал.

— Сейчас увидишь. — Дочь бабы Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану. — Ложись.

— Зачем я-то?

— Я тебя спеленаю. Ложись.

Иван лег... И дочь бабы Яги стала пеленать его в простыни.

— Холесенький мой, — приговаривала она, — малень-

кий мой... Сынуленька мой. Ну-ка улыбнись мамочке. Ну-ка, как мы умеем улыбаться?.. Ну-ка?

— У-а-а, у-а-а, — поплакал Иван. — Жратеньки хоч-у, жратеньки хоч-у!..

Дочь бабы Яги засмеялась.

— А-а, жратеньки захотели? Жратеньки захотел наш сынуленька... Ну, вот... мы и спеленали нашего маленького. Счас мы ему жратеньки дадим... все дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке!

Иван улыбнулся «мамочке».

— Во-от. — Дочь бабы Яги опять пошла в куть.

Когда она ушла, в окно, с улицы, — прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча. И замерли, глядя на спеленатого Ивана... И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.

— Утютюсенки, — ласково сказал Горыныч. — Маленький... Что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись... Ну-ка?

— Мне не смешно, — сказал Иван.

— А-а, мы, наверно, того?.. Да, маленький?

— По-моему, да, — признался Иван.

— Мамочка! — позвал Горыныч. — Иди, сыночек обкакался.

Дочь бабы Яги уронила на пол сковородку с яищенкой... Остолбенела. Молчала.

— Ну, что же вы?.. Чего же не радуется? Папочка пришел, а вы грустные. — Горыныч улыбался всеми тремя головами. — Не любите папочку? Не любят, наверно, папочку, не любят... Презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка... с косточками! — Горыныч перестал улыбаться. — С усами! С какашками! Страсти разыгрались?! — загремел он хором. — Похоть свою чесать вздумали?! Игры затеяли?! Представления?.. Я проглочу весь этот балаган за один раз!..

— Горыныч, — почти безнадежно сказал Иван, — а ведь у меня при себе печать... Я вместо справки целую печать добыл. Эт-то ведь... того... штука! Так что ты не ори тут. Не ори! — Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе. — Чего ты разорался? Делать нечего? Схаваает он... Он, видите ли, жратеньки нас будет! Вон она, печать-то, — глянь! Вон, в штанах. Глянь, если не веришь! Припечатаю на три лба, будешь тогда...

Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы

огонь, опалил Ивана. Иван смолк... Только еще сказал тихо:

— Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака.

Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени.

— Возлюбленный мой, — заговорила она, — только пойми меня правильно: я же тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю: прилетит Горыныч, а у меня для него что-то есть вкусенькое... тепленькое, в простынках.

— Вот твари-то! — изумился Иван. — Сожрут и скажут: так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу!.. Жри, прорва! Жри, не тяни время! Проклинаю вас!..

И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки.

— Доигрался, сукин сын?! — закричал он на Ивана. — Доигрался?! Спеленали!

Горыныч весь встrepенулся, вскинул головы...

— Эт-то что еще такое? — зашипел он.

— Пошли на полянку, — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. — Там будет способней биться. — Он опять посмотрел на Ивана... Укоризненно сморщился. — Прямо подарок в кулечке. Как же ты так?

— Оплошал, атаман... — Ивану совестно было глядеть на донца. — Маху дал... выручи, ради Христа.

— Не горюй, — молвил казак. — Не таким оглоедам кровь пускали, а этому-то... Я ему враз их смахну, все три. Пошли. Как тебя? Горыныч? Пошли цапнемся? Ну и уродина!..

— Какой у меня завтрак сегодня! — воскликнул Горыныч. — Из трех блюд. Пошли.

И они пошли биться.

Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала.

Иван и дочь бабы Яги ждали.

— А чего это он про три блюда сказал? — спросила дочь бабы Яги. — Он что, не поверил мне?

Иван молчал. Слушал звуки битвы.

— Не поверил, — решила дочь бабы Яги. — Тогда он и меня сожрет: я как десерт пойду.

Иван молчал.

Женщина тоже некоторое время молчала.

— А казак-то!.. — льстиво воскликнула она. — Храбрый какой. Как думаешь, кто одолеет?

Иван молчал.

— Я за казака, — продолжала женщина. — А ты за кого?

— О-о, — застонал Иван. — Помру. От разрыва сердца.

— Что, плохо? — участливо спросила женщина. — Давай я распеленаю тебя. — И она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась. — Нет, подождем пока... Черт их знает, как там у них? Подождем.

— Убей меня! — взмолился Иван. — Проткни ножом... Не вынесу я этой муки.

— Подождем, подождем, — трезво молвила женщина. — Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться.

В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь бабы Яги замерли в ожидании...

Вошел, пошатываясь, атаман.

— Здоровый бугай, — сказал он. — Насилу одолел... А где эта... А-а, вот она, краля! Ну, чего будем делать? Вслед за дружкой отправить тебя, гадину?

— Тю, тю, тю, — замахала руками дочь бабы Яги. — О, мне эти казаки! — сразу за горло брать. Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!

— А то я не знаю вас! — Атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине. — Что же тут было?

— Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой охальник, такой охальник!.. Заласкаю, говорит, тебя до умопомраченья. И приплод, мол, оставлю: назло Горынычу. Такой боевитый, такой боевитый — так и обжигает!.. — И дочь бабы Яги нескромно захихикала: — Прямо огонек!

Атаман удивленно посмотрел на Ивана.

— Иван...

— Слушай ее больше! — воскликнул Иван горько. — И правда бы, убить тебя, да греха на душу брать неохота — и так уж там... невпроворот всякого. Хоть счас бы не крутилась!

— Но какой он ни боевитый, — продолжала женщина, словно не слыша Ивана, — а все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала.

— А что, тебе так глянутся боевитые? — игриво спросил атаман. И поправил ус.

— Брось! — сказал Иван. — Пропадем. Не слушай ее, змею.

— Да ну, зачем пропадать... Мы ее в плен возьмем.

— Пойдем, атаман: у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут.

— Ты иди, — велел атаман, — а я тебя догоню. Мы тут маленько...

— Нет, — твердо сказал Иван. — С места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?

— Мх-х, — огорчился казак. — Ну ладно. Ладно... Не будем огорчать Муромца. До другого разочка, краля! Ишь ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь... усы на усы! — Атаман громко засмеялся. — Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье — он буду-то почуял. А ведь он остерегал тебя, чего не послушал?

— Да вот... вишь, мы какие боевитые... Не послушал. Иван с атаманом ушли.

А дочка бабы Яги долго сидела на лавочке, думала.

— Ну, и кто же я теперь? — спросила она сама себя... И сама же себе ответила: — Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.

В библиотеке Ивана и донца встретили шумно и радостно.

— Слава богу, живы-здоровы.

— Ну, Иван, напужал ты нас! Вот как напужал!..

— Ванюша! — позвала Бедная Лиза. — А, Ванюша!

— погоди, девка, не егози, — остановил ее Илья, — дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл справку?

— Целую печать добыл — вот она. — И Иван отдал печать.

Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак... Передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья; он тоже долго вертел в огромных пальцах печать... Потом спросил всех:

— Ну, так... А чего с ней делать?

Этого никто не знал.

— И зачем было посылать человека в такую даль? — еще спросил Илья.

И этого тоже теперь никто не знал. Только Бедная Лиза, передовая Бедная Лиза хотела выскочить с ответом:

— Как это ты говоришь, дядя Илья...

— Как я говорю? — жестко перебил ее Муромец. — Я говорю: зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот — печать... Что дальше?

Этого и Бедная Лиза не знала.

— Садись, Ванька, на место и сиди, — велел Илья. — А то скоро петухи грянут.

— Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван. — Не рассиживаться бы нам!..

— А чего же? — удивился Илья. — Ну, спляши тогда. Чего взвился-то? — Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. — Эка... какой пришел.

— Какой? — все не унимался Иван. — Такой и пришел — кругом виноватый. Посиди тут!..

— Вот и посиди и подумай, — спокойно молвил Илья.

— А пошли на Волгу! — вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. — Чего сидеть?! Сарынь!!

Но не успел он крикнуть свою «сарынь», раздался трубный глас петуха: то ударили третьи.

Все вскочили на свои полки и замерли.

— Шапка-то! — вскрикнул атаман. — Шапку оставил на полу.

— Тихо! — приказал Илья. — Не трогаться! Потом подберем... Счас нельзя.

В это время скрежетнул ключ в дверном замке... Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.

— Шапка какая-то... — увидела она. И подняла шапку. — Что за шапка?.. Чудная какая-то. — Она посмотрела на полки с книгами. — Чья же это?

Персонажи сидели тихо, не двигались... И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка.

Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться.

Тут и сказке нашей конец.

Будет, может быть, другая ночь... Может быть, тут что-то еще произойдет... Но это будет уже другая сказка. А этой — конец.

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...*

Повесть для театра

Рано-рано утром, во тьме, кто-то отчаянно закричал:
— Где я?! Э-эй!.. Есть тут кто-нибудь?! Где я?..

И во тьме же, рядом, заговорили недовольные голоса, сразу несколько.

— На том свете. Чего орешь-то?

— Где я? Где мы?..

— На том свете. Чего орешь-то?

— Ну чего зря пугать человека! Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге... вот он — болтается, чувю. Интересно, какой я по счету?

— А где мы? Чего зубоскалите-то? Где я, спрашиваю?!

— Не ори, а то я подумаю сдуру, что ты моя жена, и полезу целоваться; она всегда орет с утра. Она орет, а я ей — раз — поцелуйчик: на, только не вопи.

— Ну и как? — поинтересовался хриплый басок. — Помогает?

— Слабо...

— Если б ты ей четвертным рот залепил, она бы замолкла.

— Четвертного у меня с утра... Я за четвертной-то сам зареву, не хуже слона... А ты мне лепи четвертные.

— Где мы находимся, я вас спрашиваю?! — опять закричал тот, истеричный.

Тут вспыхнул свет... И видно стало, что это — вырезвитель. И лежат в кроватках под простынями восемь голубчиков... Смотрят друг на друга — век не виделись.

Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина.

* Повесть осталась незавершенной.

— Чего кричите? — спросил он. — Кто кричал?

— Я, — сказал человек довольно интеллигентного вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и тогда только встал. И подошел к старшине... — У меня к вам вопрос: скажите, пожалуйста, где я нахожусь? — Он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья. — Я что-то не могу понять — что это здесь?

— Санаторий «Светлые горы».

— Что за шуточки! — повысил голос интеллигент. — Я вас серьезно спрашиваю.

— Ложись, — показал старшина, — и жди команды. Серьезно он спрашивает... Это тебя сейчас будут серьезно спрашивать.

Интеллигент струсил.

— Простите... Вы в каком звании, я без очков не вижу? Где-то потерял очки, знаете...

— Генерал-майор.

Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину.

— Я вас не понимаю, — сказал он. — Вы всегда с утра остриете?

— Чтoб тишина была, — велел старшина. И пошел к двери.

— Товарищ старшина!.. — вежливо позвал его здоровенный детина, сосед очкарика по кровати. — У вас закурить не будет?

— Не будет, — жестко сказал старшина. И вышел. И закрыл дверь на ключ.

— Опять по пятницам, — зашел детина, качая голос; он был, наверно, урка, — пойдут х-свидания-а, и слезы горькие моей... Ложись, очкарь. Что ты волну поднял? Мы находимся в медвытрезвителе... какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?

— Районе!.. — сказал мрачный человек. — Я город-то не знаю.

Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате.

— Слушай, ты мне действуешь на нервы, — зло сказал урка, — сядь.

— Что значит действую на нервы? Что значит сядь?

— Значит, не мельтеши. А то я гляжу на тебя — и мне всякие покойники в бапку лезут.

— Но что я мог такого сделать? — все не унимался

очкарик. И все ходил и ходил, как маятник. — Почему меня... не домой, а куда-то... черт его знает куда? Что они, озверели?

— Ты понял! — воскликнул урка. — Убил человека и еще ходит удивляется!.. Во, тип-то.

Очкарик остановился... и даже рот у него открылся сам собой.

— Как это? Вы что?..

— Что?

— Человека?..

— Нет, шимпанзе. Что ты дурачка-то из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом ваяяй ваньку, а перед нами нечего.

— Да-а, милоч, — сочувственно протянул маленький сухонький человечек, — вляпают тебе... Но ты напирай, что — неумышленно. А то... это... как бы того... не это...

— Он же выпимши был, — заспорил с сухоньким некто курносый, с женским голосом. — Чего ты намекаешь тут — «того», «не того»?.. Человек был выпимши. Вишь, он даже не помнит, как попал сюда.

— Теперь это не считается, — приподнялся на локте сухонький; видно, любитель был поспорить. — Теперь, что был выпимши, что не был — один черт.

— Наоборот! — воскликнул урка. — Отягчающее мешок обстоятельство. За что ты его под трамвай-то толкнул?

Очкарик стоял белый, как простыня... И вертел головой то туда, то сюда, где говорили.

— Вы что? — сказал он трагическим голосом, тихо.

— Что?

— Какого человека?

— Это тебе лучше знать. Шли, спорили про какие-то уравнения... — стал рассказывать урка. — Как раз ехал трамвай, этот — чух его под трамвай!.. Тело — пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось!.. Седой такой лежал... он головой к тротуару упал, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется...

— Ты видел, что ли? — спросил сухонький.

— Я видел!.. — повторил по-одесски урка. — А почему я здесь? А потому, что я сзади шел. А когда стали свидетелей собирать, я заартачился... нагрубил милиционеру...

— Тьфу!.. Из-за какого-то уравнения — человека под трамвай! — искренне и глубоко возмущился человек

с женским голосом; он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно-нервный. — Что уж в том уравниении? Сели на лавочку и решили...

— Совсем одичал народ, — негромко, сам себе, промолвил мрачный. — Убить — запросто.

Парень крестьянского облика не принимал участия в этом страшном разговоре, лежал смотрел в потолок... Вдруг он сел и с ужасом сказал:

— А не убил ли и я кого?

И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно — через силу — засмеялись.

— Ты откуда будешь-то? — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стреляный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался.

— Из Окладихи, — сказал парень. — Тракторист.

— Ого! — удивились. — Куда тебя занесло.

— Что, тоже кого-нибудь убил?

— Нет, он, наверно, теще всыпал, — предположил электрик. — Или соседа поджег.

— У меня теща хорошая, — сказал парень.

— Ну, соседа поджег.

Парень мучительно вспоминал:

— Неужели Мишке чего?.. Я, вообще-то, сулил ее свиные глаза выбить: повадилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту... крестовину у нас такую надевают свинёшкам на шею, забыл, как называется, — чтоб они в дырки в городье не пролезали... Надень, ты, говорю, ей эту штуку, житья же нет от твоей свины! Он мне: «Сам надевай». — «Тогда, — говорю, — я ей глаза выбью, она будет по кругу ходить — и в свой же огород придет».

— Это ты точно рассчитал, — похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста, он даже стал показывать пальцем на простыне схему движения свины. — Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород... Так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет такой круг — от так от пойдет — пойдет — пойдет — и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она — в твоём огороде.

— Да она-то!.. — воскликнул тракторист. — Пусть как хочет, так и думает, зараза, меня не волнует. Главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же выпишу глаз?

— Ну, особо-то не переживай: за глаз больше семи суток не дадут.

— Или заставят стеклянный вставить, — хихикнул сухонький.

Остолбеневший очкарик сдвинулся наконец с места и подсел было к урке.

— Слушайте, вы что...

— Не садись ко мне! — закричал урка испуганно. — Я тебя не знаю! Первый раз вижу!..

Очкарик вскочил, как ошпаренный... И беспомощно посмотрел на всех.

Некоторое время все молчали.

— У ты семья-то есть? — спросил его электрик.

— А? Семья? — потерянно переспросил интеллигент. — Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?

На него горестно и серьезно смотрели.

— Ну что, что-о?! — чуть не заплакал очкарик. — Что смотрите-то?!

— Молодой еще...

— Может, и хорошо, что молодой: не такой старый выйдет.

— Так-то оно так... если, конечно, не... это... не того... — Это разговаривали между собой электрик и сухонький. — Могут ведь и... того... Как посмотрят.

— Да, это уж какое примут решение.

— Из-за какого-то уравнения!..

— Да расстреляют, — открыто ляпнул нервный с женским голосом. — Чего тут гадать-то? Ученого же толкнул...

— А? — машинально спросил очкарик.

— Кого толкнул под трамвай-то? Ученого?

Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками.

— Откройте! Откройте, пожалуйста!.. Я хочу спросить!

Дверь скоро открылась... Заглянул старшина.

— Что такое?

— Что я вчера сделал? Я не помню... Что я сделал? Почему они про какое-то...

Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи на ключ, сказал:

— Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать.

— Товарищи, — взмолился очкарик, обращаясь ко всем, к урке в частности, — да вы что? Не мог я чело-века под трамвай...

— Крепись, — сказал ему мрачный человек.

— Вот хуже нет этих!.. — с некоторой даже безразличностью сказал урка. — Чего теперь психовать-то? Сделал — сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы, пацла, действовать. Ляжь — и жди.

— Ученого толкнул или нет? — все хотел понять нервный.

— Ну а как же? Раз об уравнениях шли спорили... Это Иван вон: ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал! — Электрику очень нравился расчет тракториста. — Это же надо так рассчитать. Вот те и Ванька!..

— Вспомнил! — сказал тракторист. И сел. — Никакой свиньи не было: я выехал трактором на асфальт.

— Ну? И что? — не понял электрик.

— Что... Не положено, что. Я вижу: приближаются на коляске... А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал — угол срезать...

— Ничего не понимаю: какой угол?

— Чтоб сократить маленько. Если от Игренева на Окладиху идти проселком — это семь километров, а если маленько асфальта прихватить...

— Ну, ну?

— Ну, думаю, все равно они ее сейчас найдут... Пока они приближались, я ее всю осадил.

— Бутылку?

— Ну.

Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили.

— Всю бутылку?

— Всю.

— С какой же скоростью они ехали? — опять живо заинтересовался электрик. — На коляске-то.

— Ты спроси, с какой скоростью он пил? Не верю, — заявил сухонький. — Что, насос, что ли?

— А далеко ты их увидел? — поинтересовался и урка.

— За километр примерно. Оглянулся — догоняют...

— Можно успеть, — авторитетно сказал урка. — Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали. Надо только бутылку вот так вот раскрутить...

Тут в комнату вошла — ее впустил старшина — тетя Нюра с ведром и тряпкой.

— Всем лежать, — приказала тетя Нюра. — Курева не просить, в магазин не провоцировать — не положено.

— Здравствуй, тетя Нюра, — ласково сказал электрик. — Доброе утречко! Чего это ты спозаранку не в настроении?

— О, опять тут? — не очень удивилась тетя Нюра.

— Тут, тут... Как поется: де-евушки, где вы? Тута, тута!..

— И я тут, тетя Нюр, — хихикнул сухонький. — Не узнаешь?

Тетя Нюра пригляделась... И узнала.

— Опять жена привела?

Сухонький на это почему-то обиделся.

— Что значит, жена? Что я, телок, что ли, бессловесный, что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревочке? — Сухонький помолчал и сказал не без гордости: — Меня привезли.

Тетя Нюра оглянулась на дверь... И скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе.

— По одному — у окошка вон, чтоб запаху не было... В порядке живой очереди.

Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Нюры сигаретку, спички и пошел к окну курить.

— Я за тобой, — застолбил сухонький.

Но тут встал урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету.

— После меня будете, — сказал он.

— Ты чего тут? — возмутилась добрая тетя Нюра. — Ну-ка отдай сейчас же! А то огрею вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый?.. Иди в цирк гири поднимать, а обижать не смей!

— Спокойно, тетя Нюра, — сказал урка, затягиваясь сигаретой. — Не поднимай волны.

— Отдай, — кратко сказал мрачный человек, дядя решительный и еще более здоровый, чем урка.

Урка значительно посмотрел на мрачного... И отдал сигаретку электрику. И лег.

— Там будешь свои порядки устанавливать, — еще сказал мрачный, — а здесь... пока рано.

Урка опять значительно посмотрел на мрачного. Всем стало как-то не по себе.

— Ну, ладно, — сказал сухонький урке, — так и быть — будешь за ним, а я за тобой.

— Чего это? — уперся мрачный. — Будешь, как занял, я за тобой, а за мной... Ты куришь? — повернулся он к нервному, с тонким голосом.

— Нет, — откликнулся тот. — Бросил. У меня язва луковицы двенадцатиперстной кишки.

— А ты? Кандидат?

— Я? — очнулся очкарик. — Нет.

— А я бы курнул, — с тоской молвил Иван-тракторист.

— Ты за мной, — сказал ему мрачный. — А ты, — мрачный небрежно глянул на урку, — за Иваном.

Урка лежал, закинув руки за голову... Свирепо смотрел в потолок.

— Сколько у тебя, тетя Нюр? — спросил электрик.

— По одной всем хватит. Пускай дым-то повыше... а то мне опять на вид поставют. Жалеешь вас...

Электрик вчастую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого, по летнему времени, были открыты.

— Давай, — сказал он сухонькому. А сам лег опять в кровать.

Теперь сухонький пристроился к окну, и с удовольствием пошел затягиваться, и даже затараторил — от удовольствия же.

— Как ты говоришь: луковица двенадцатиперстной кишки? — поинтересовался он.

— Да, — откликнулся нервный. — Ниша.

— Ниша?

— Ниша.

Сухонький покачал головой... Но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие.

— Ну язык выдумали! Я как-то был в поликлинике, читаю на дверях: «Исследование моторной функции желудка». Совсем зарапортавались: мотор в желудке исследуют...

— Ты не болтай, а кури, — посоветовал мрачный. — Легко, думаешь, лежать смотреть на тебя?

Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой... Ничего, казалось, не видел и не слышал.

— Подними-ка ноги-то, — попросила его тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать.

Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней.

— Тетя Нюра... Анна... как вас по отчеству?

— Анна Никитишна.

— Анна Никитишна, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули?

— Под трамвай? — удивилась тетя Нюра. — Да кого же это? Когда?

— Вчера вечером. — Очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности. — В районе Садовой... Было там какое-нибудь движение?

— Движение там всегда есть...

— Я имею в виду — народ сбегался?

— Да брось ты, чудак! — пожалел его мрачный. — Разыграли тебя. Вон лежит... соловей-разбойник с кондитерской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо, самого не толкнули...

Очкарик опустил ноги и встал... И долго, и внимательно — очень долго, очень внимательно — смотрел на урку.

— Что, очкарь? — повеселел тот. — Перетрухал? Хох, гнида!..

— Сейчас подойду и дам пощечину, — сказал очкарик дрожащим от обиды голосом.

Урка изумленно выпучил на него глаза... Смотрел некоторое время. Потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно — очень медленно — пошел к очкарику.

— Я вас прошу, синьор духарь, дайте мне пощечину. Умоляю... надо же держать слово. А то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну?.. Мы же с вами джелтмены, вы сказали слово, надо же держать слово.

— Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо?

— Вот мое лицо, вот... — урка показал пальцем вокруг своего лица. — Вот эта вот окружность — это моя личность, в такую луну нельзя промахнуться. Ну? Я же тебя оскорбил... Разыграл, как дуру, ты же кандидат...

Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя «джелтменами».

— Могу еще оскорбить: вонючка ученая. Гнида. Как еще?..

— Достаточно, — молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно — то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему, — произнес фразу: — От имени всех очкариков! — И залепил урке отчетливую пощечину.

— Вот как! -- удивилась даже тетя Нюра; по простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина. — Ты што это, эй!

— Мх-х, хорошо, — как-то даже сладострастно сквозь

стиснутые зубы пропел урка. — Еще раз... Умоляю, с другой стороны.

— Нет, этого вполне достаточно, — снисходительно сказал очкарик; странно, неужели он так и не почувствовал опасности, или эта театральность так въелась в человека? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но урка поймал его за простыню и подтянул к себе.

— Ну, гнидушка-а, ну умоляю — еще раз, с другой стороны. Ох, как я сейчас буду метелить! — Урка зажмурился и покачал головой. — Как же я буду метелить, мама родимая!.. Умоляю, кинь еще одну — для напряжения, чтобы я о так от, о так — проразорвал сразу...

Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием, решительно оторвал урку от очкарика.

— Дальше будешь иметь дело со мной, — сказал он урке.

Урка опять значительно и долго — в который уже раз он пускал свой взгляд в дело! — посмотрел на мрачного... Тот спокойно — тому, кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрят так значительно, — выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и — не то простонал, не то взмолился злорадно своему жестокому богу — поклонился:

— Ох, как же я буду метелить! Как я буду метелить!..

— Благодарю вас, — сказал очкарик мрачному. — Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом: я когда-то занимался боксом. Но без очков я плохо вижу.

Мрачный промолчал на это. А урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе:

— Только бы дожить до светлых дней.

Сухонький между тем докурил свою сигарету; с кровати поднялся мрачный; тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему.

— Чего тут не поделили-то? — спросила она серьезного сильного человека, мрачного.

— Да так... с похмелья, — сказал тот.

— Ох, как же я буду метелить! — воскликнул опять урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал. На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше.

— Любопытная вещь, — заговорил очкарик, — до определенного момента все отчетливо помню, дальше — полный провал: ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить.

— Не-ет, — авторитетно заговорил электрик, — тут так: пока ты свою меру не взял, ты помнишь, дальше — взял меру, но в душе думаешь: мало, надо еще — все, пошел перебор. Дальше — рога в землю, и память автоматически отключается.

— Ни-че-го подобного, — тоже авторитетно и взволнованно возразил сухонький. — А как же бывает: домой пришел, а как пришел — не помнишь.

— Ну и что?

— Ну, по-твоему, я же не должен до дому дойти. А я дошел.

— Это значит, тебя развезло уже дома...

— Да где дома, где дома! — больше загорячился сухонький. — Я же утром-то вижу, какой я пришел.

— Все зависит от нервной системы, — встрял в спор нервный. — У кого какая нервная система. Сколько ты можешь выпить? — спросил он электрика.

— Ну, это смотря как выпить. Я могу, допустим...

— До сшибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?

Электрик подумал:

— Бутылку белой и бутылку чернил.

— Смотря каких...

— Три семерки.

— Так. А я с двух стаканов под стол лезу — потому что нервы.

— А вот я... Слушай сюда! Вот я, — затараторил сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь, — несмотря, что у меня такая комплекция, засосу полторы бутылки белой и не лягу.

— Ты?

— Я.

— Карлик с оглоблей, — непонятно сказал мрачный. И сам себе посмеялся.

— Мы, бывает, соберемся на трех, — продолжал сухонький, — по пять рваных на рыло — это получается...

Тут скрежетнул ключ в двери — раз, другой... Мрачный бросил сигарету в окно и в два свободных прыжка очутился возле своей койки. И лег. Дверь открылась, во-

шел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем.

— Однако курили? — остановился старшина.

— Откуда! — воскликнул сухонький. — Где мы возьмем-то?

Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру... Тетя Нюра старательно мыла пол. Домыла последнюю половицу и вышла.

— Поговорите вот... с товарищем, — сказал старшина. — Да не врите: это для статистики надо. — И старшина ушел.

— Товарищи, — подчеркнуто миролюбиво заговорил длинный с портфелем, — я не корреспондент, не из газеты... Я — социолог. Что я вас спрошу и что вы ответите — это никуда не пойдет, никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, я в том числе, исследует... мы исследуем вопрос происхождения... ну, пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого — на один-единственный вопрос, который я вам задам, — надо ответить... надо сказать всю правду. Вопрос такой: как вы здесь оказались? Еще раз повторяю: ваши ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут, в том смысле, что никак вам не повредят. Начнем? — Ближе всех к нему оказался нервный. — Вот вы, например... Как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста.

Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у урки, взгляд.

— А попрошу документы, — сказал он сухо.

Никто не ждал такого оборота. Притихли.

— Зачем? — спросил социолог.

— Рассказывай ему... А кто вы такой?

— Да я же вам только что объяснил.

— Документы.

— Ну, слушайте... уж поверьте, если бы я не имел права спрашивать вас, наверно, меня бы сюда не пустили.

— Документы.

— Да нет у меня никаких документов, то есть, наверно, есть, какие-то... нет, дома.

В комнате откровенно засмеялись такому наиву...

Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел.

— А голову, извиняюсь, вы не того... не это... Она не дома у вас?

— Ну, дела!..

Социолог встал.

— Хорошо, — сказал он, — я попрошу начальника отделения, он объяснит вам... Не обманываю же я вас! Зачем мне это надо?

— Да, да, — согласился нервный, — зачем вам это надо? Вы наденьте форму и спрашивайте.

— Да нет, товарищи!.. Да действительно же я ученый! Ну, как вам?.. Хорошо, сейчас начальник скажет то же самое.

Социолог пошел к двери, постучал... Старшина открыл дверь и выпустил его.

— Понял?! — воскликнул нервный хвастливо. — Какую штуку удумали, а? Во, деятели...

— Да нет, друзья, — сказал очкарик, — это действительно ученый. Вы думаете, переодетый следователь? Нет.

Тут с койки рывком вскочил урка и мягко прошелся меж кроватей.

— Колонулся мальчик! — Урка радостно засмеялся. — Ученый... Я бы не хотел с таким ученым за одной партой сидеть, умоляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под партой. Ну, Петя, ну, подрулил!..

— Да чуть это! — воскликнул очкарик. — Никакой он не следователь. Я знаю эти группы социологов...

— И его знаешь? — спросил нервный.

— Его не знаю, но знаю, чем они занимаются. Занимаются изучением серьезнейших вопросов.

— В вырезителях?

— И в вырезителях. А где же еще ему расскажут, почему человек напился, какие причины побудили...

— А если их нету, причин-то? — закипятился нервный. — Чего их искать, если их нету?

— Причины всегда есть. Просто они не всегда ясны нам самим...

— Ну, это уж тоже... лишь бы с портфелями бегать — ученых из себя изображать, — недовольно сказал мрачный. — Чего вот мне рассказать? Нечего. Напился, и все.

— Что же, без всякой причины? — поинтересовался очкарик.

— Без всякой причины.

— Но какая-то же должна быть причина...

— Да никакой причины. Взял две бутылки водки и выпил.

— И часто вы так?

— Раз в месяц напьюсь обязательно.

— Но почему? Тоска, что ли, какая?

— Никакой тоски, — убежденно сказал мрачный. — Напьюсь, и все.

Очкарик был в затруднении.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я сам не понимаю, — искренне сказал мрачный. — Не хочу понимать.

— Ну, может, ты фронт вспомнил, боевых товарищей, — подсказал сухонький; все как-то обнаружили вдруг, что, казалось бы, пустой разговор имеет некий скрытый смысл.

— Никаких товарищей... Вообще не люблю войну вспоминать.

— А что вы читали до этого момента? Или смотрели по телевизору?

— До какого момента?

— Как пойти в магазин.

— Ничего не смотрел. Я люблю «В мире животных» смотреть, но она вечером бывает...

— Вы кто по профессии? — стал невольно входить в подробности очкарик.

— Крановщик.

— Может, тебе с высоты грустно на людей смотреть? — опять выскочил с подсказкой сухонький.

— Да ну!.. — мрачному надоело отвечать. — С высоты... Это тогда все летчики давно уже должны с круга спиться: там высота-то вон какая.

— А что ты думаешь? Ты знаешь... — кинулся было спорить электрик, но открылась дверь — вошли социолог и начальник отделения. Старшина тоже вошел и стал сзади них.

— Здравствуйте! — громко приветствовал всех начальник.

С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но почти все.

— Кто тут самый бдительный? — начальник посмотрел на социолога. — Кто требовал документы?

— Да нет, тут не в том дело, кто... Вы просто объясните.

— А чего тут объяснять-то? Спрашивайте, и все. — Начальник сел на стул. — А я посижу пока.

— Лучше бы вы объяснили...
— Вы спрашивайте, спрашивайте.
— Итак, — обратился социолог к нервному, — что же с вами вчера случилось?
— Это ученый разговор? — уточнил нервный.
— Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расскажите...
— Я погожу пока, — сказал нервный.
— То есть? — не понял социолог.
— Я малость подзабыл... Я пока сосредоточусь.
— Что значит «пока сосредоточусь»? — заговорил было начальник. — Что значит...

Но социолог тут же запротестовал.

— Товарищ начальник... Я боюсь, мы так не поговорим.

— Почему? — удивился начальник.

— Не поговорим. Это надо иначе.

— Да у нас же тут есть духари! — воскликнул урка. — Вон у нас... духарь номер один — ничего не боится. — Урка показал на мрачного.

Мрачный внимательно посмотрел на урку... Опустив голову, подумал... И согласился.

— Я расскажу, если надо. Мне один черт. — Он сел на койке, посмотрел на социолога. — Про вчерашний случай?

— Да именно: как было с вами вчера.

— Жена у меня, — сразу начал мрачный, — как бы это вам сказать... вечно у ней какие-то гости, мужики какие-то подозрительные, бабенки... Они мне надоели.

— А говоришь, причины нету, — сказал нервный.

— Это не причина, это тянется уже лет семь, — возразил мрачный. — И напился я вчера не из-за этого. Но они мне тоже сильно надоели.

— Жена где работает? — спросил социолог, поспевая писать в блокнот.

— Кассиршей в магазине. Не надо меня перебивать, я сам все расскажу. Радости мне тут... от этого рассказа — не шибко. Я не знаю, чего они делают: я прихожу, они уходят. Я ее много раз предупреждал, она не вникает. Вчера прихожу — опять два мужика сидят и какая-то женщина. Коньяк на столе... Я их выкинул из квартиры. Один в трусах был. Жена где-то спряталась: все перерыл — нету. Может, раньше вышла куда, черт ее знает, не нашел. Все перерыл — нету. Я лег спать. Только заснул, пришла милиция...

Тут начальник милиции почему-то засмеялся. На него лосмотрели с недоумением.

— Ничего, ничего, — сказал начальник, — продолжай. Я потом объясню.

— Вы выпивши были, когда пришли? — спросил социолог.

— Крепко.

— Это все?

— Все. Который в трусах был, сильно визжал: я его хотел в мусоропровод затолкать, он уперся...

— Плечи пролезли? — выскочил с вопросом любопытный электрик.

— Куда? — не понял мрачный.

— В мусоропровод-то, лишь бы плечи пролезли, а там весь пройдет.

— Ну все? — спросил начальник мрачного. И спросил как-то непросто, с каким-то значением. — На этом конец?

— Все, — ответил мрачный. — А что еще?

— А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул, вот что. Они вон у меня как раз сидят, эти люди.

Мрачного как стулом в лоб ударили, он аж назад качнулся на койке.

— Как? — спросил.

— Не знаю. В двенадцатом часу ночи заявляется вот такой верзила и начинает выкидывать людей с их собственной жилплощади... Я представляю, как люди заволновались: выселяют.

— Вот это дал, — молвил электрик. — Как же ты так? Перепутал, что ли?

Мрачный долго скорбно молчал, глядя себе под ноги... потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по колену.

— Не на тот троллейбус сел, — понял он. — Мне надо было на семнадцатый, а я, наверно, на девятку сел... или на четырнадцатый.

— О!.. В другой район приехал. Ничего себе! — Электрик возбужденно хихикнул. — И дом, наверно, похожий попался...

— Похожий, — откликнулся мрачный. — И в квартире все так же... Даже попугай в клетке.

— Это бывает, — сказал начальник. — То и дело такие случаи.

— И что ему теперь будет, товарищ начальник? —

спросил нервный. Он как-то странно притих и задумался. — Он же неумышленно...

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно сказал начальник. И встал. — Что значит «неумышленно»? Ну и что? Вы же знаете последние постановления... Поблажек никаких никому не будет. Ну, продолжайте, — велел он. И ушел.

— Продолжим, — сказал социолог. И посмотрел на нервного. — Вы?..

— А? — очнулся тот. — Так а чего продолжать-то?.. Тоже сплошное недоразумение. Провожал, знаете, друга... У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку... ну, погуляли малость: давно не виделись, а у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки: наскучают там, приезжают и давай ферверки пускать. Кошмар! Я уж говорю: «Коля, тормози, я не выдюжу», он только рукой машет. Ну, пришла пора ему ехать... И тут-то мы и наскочили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое недоразумение!.. Но и люди тоже, знаете... Вот кого еще изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить: такие, знаете, недоτροги, такие психованные все, прямо... это... черт знает, какие мимовы. Главное, мы же... это... по-хорошему! Я уж мысленно допрашиваю себя: «Соколов, может, что не так было?» Нет, все проверил, все изучил до последнего слова — все было на высшем уровне.

История на перроне, рассказанная Соколовым

Соколов и его друг Коля, хихикая и отпуская невинные шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего следования. Прошли в вагон, отыскивали свое купе и, продолжая культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из купе, что — «да, можно». Вошли они в купе, а там как раз четверо — все места заняты.

— Здравствуйте! — сказали Коля и Соколов. — А вы что, тоже все едете?

— Да, едем, — ответили им.

— Как это «едете»! — удивился сибиряк Коля. — А как же я? Что это еще за шуточки!

— Тихо, тихо, Коля, — сказал Соколов, — только

тихо. Сейчас все выясним, все проверим... Тут кто-то третий лишний. Попрошу билеты!

Четыре пассажира показали свои билеты — все правильно: они совершенно законно сидели на своих местах, они едут домой.

— Мне эти штучки сильно не нравятся! — воскликнул сибиряк Коля. — А как же я?

— Ну-ка, а ваш билет? — спросили его.

Коля показал свой билет... Один дотошный надел очки и долго крутил билет перед носом... Потом посмотрел его на просвет и сказал:

— Вы едете вчера, уважаемый. — И вернул билет.

Тут сибиряк Коля заволновался и стал показывать, что он в полном отчаянии и что необходимо срочно кого-то одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако вежливый и корректный Соколов решил, что надо не так.

— Тихо, тихо, тихо, — сказал он, — сейчас мы установим, кто не едет. Не надо шума... Кому не так срочно? — спросил Соколов четверых. Четверо заволновались и стали показывать, что им тоже надо срочно.

— Тихо, тихо, тихо, — сказал им Соколов. — Вы что, намекаете, что Николай Иваныч пойдет лешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий...

Эти четверо как все равно взбесились.

— Какой жребий?! — стали они кричать.

— Это нахальство!..

Кто-то даже крикнул:

— Позовите кондуктора!

Тут Коля-сибиряк вконец осардился.

— Закрывай дверь! — закричал он. — Они у меня под лавкой поедут, зайцами!

Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все миром.

— Тихо, тихо, тихо, — опять воззвал он, — не надо шума. Вот вы, — обратился он к дотошному, который проверял у Коли билет, — вы сунулись к чемодану... Почему?

— Потому что, я смотрю, какие-то бандиты приплыли... — заговорил было дотошный.

— Стоп! — осадил его Соколов. — Можете брать свой чемодан и выходить, нечего с бандитами в одном купе ездить. Верно, товарищи?

Николай Иваныч его поддержал и даже изъявил желание помочь вынести чемодан.

— Где его чемодан? Где твой чемодан?.. Который? Этот? Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это называется едет человек в командировку — целую квартиру с собой везет. Что там у тебя?

Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собственность... И всех рассмешил. Он закричал громко:

— Грабят!..

Николай Иваныч так смеялся, что печально сел женщине на колени; тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери... А Николай Иваныч посидел маленько, потом встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно.

— Кому он нужен, ваш чемодан! — сказал он. — И не вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят.

Тут прибежали кондуктор с милиционером...

— Вот и вся история, — закончил нервный. — Такое вот... недоразумение. И что вст?.. Что теперь? — нервный сорвался с койки и стремительно стал ходить по комнате; простыня разлеталась на нем в стороны, видны были его чрезвычайно худые ноги. — Что вот теперь?

— А где тот? — спросил электрик. — Сибиряк-то.

— А не знаю! Его куда-то в другое место повезли. Он, конечно, вообще-то, неправильно сделал: взял выкинул этого гражданина тоже... с чемоданом вместе.

— В окно?

— Ну да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец.

— О-о!.. — сказал сухонький. — Ничего себе!

— Худо дело, — сказал и электрик.

— Хорошо еще, там как раз ночью везли, мешки... на этих... на тележках-то...

— На электрокаре.

— Он на них упал, а то бы...

— Только одно может спасти, — сказал сухонький.

— Что? — нервный сбавил свой стремительный шаг. — Что именно?

— Если... — сухонький опасливо глянул на социолога и вскочил тоже с койки. — Иди сюда, — позвал он нервного. И пошел в угол. — Иди сюда.

— Ну?

— Только одно может спасти, — быстро и негромко заговорил сухонький, — если этот, с чемоданом, окажется какой-нибудь шпион. Понял? Если бы его разоблачили...

— Ну, жди, когда его там разоблачат! — тоже негромко воскликнул нервный. — Пока его...

— Слушай сюда! — запищел сухонький. — Послушай сперва, потом паникуй. Вы — так: мол, этот человек показался нам подозрительным — разглядывает, мол, все, всем интересуется... Чемодан у него какой-то... Говорил же твой друг: «Что это у тебя там?» У него фотоаппарата не было?

— Что же теперь, показался человек подозрительным — давай его из окна выкидывать?

— Ну, сидите тогда, — обиделся сухонький. И пошел на свое место. — Им хочешь, как лучше, а они... Сидите! Охота сидеть — сидите.

— Так, — сказал социолог, заканчивая записывать историю нервного. — Ну а вы? — это он к электрику.

— Да у меня тоже... с гостями связано, — стал охотнее рассказывать электрик. Сперва он несколько сбивался, но скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он обрел — снисходительно-грустный, но не безысходный. — Теща пришла и дочь ее с мужем. Мужа этого, свояка-то мова, фамилия — Назаров. Этот Назаров всячески распространяет про меня, что я часто вышиваю. Такой тоже склочный мужик, просто... это... не знаю. Я просто измучился с ним. «Назаров, — говорю, — ну что ты, ей-богу? Ну что? Вот же какой ты человек, ей-богу! Вот же ведь какой ты». Морда, как на витрине, — весь... такой... только распоряжаться: долдонит и долдонит свое. «Да брось ты, — говорю, — Назаров, чего ты? Ну какой же ты, ей-богу! Не надо, Назаров, не надо. Ну чего ты?» А тут он кандидатскую диссертацию защитил... Ну, приходят вчера. А я за кефиром как раз ходил... Выпили, правда, на углу с мужиками по кружке пива. Я даже свою не допил: придет, думаю, этот Назаров, начнет опять... Мужики еще посмеялись. «Чего ты? — говорят. — Брось ты, — говорят, — Пахомов, ерунду-то говорить: свояк какой-то. Брось, Пахомов, не надо». Э, думаю, не знаете вы Назарова. Нет, думаю, не буду. И вот прихожу я домой...

История в доме Пахомова, рассказанная Пахомовым

Приходит электрик к себе домой, а у него гости: теща его с дочерью и Назаров.

— Здравствуйте, — вежливо сказал электрик. — Ну что, Назаров, тебя можно поздравить?

— Можно поздравить, — сказал Назаров. — Можно поздравить.

— Поздравляю, — сказал электрик.

— Кто же на сухую поздравляет! — удивился Назаров.

И теща тоже удивилась.

— Ты что это, Пахомов, завязал, что ли?

Электрик ничего не сказал на это.

— Завязал, что ли? — еще раз спросила теща. — А?

— Нет, почему завязал, — молвил электрик после некоторого молчания. — Наоборот, я сейчас кружку пива выпил. А больше нет настроения.

— Что значит «нет настроения»? У людей такое событие... — это вступила жена электрика. — Сядьте и выпейте.

— Ну и что же, что у людей событие? А у меня нет настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем-нибудь. Давай, Назаров?

— Ерунда какая-то получается, — возмутился Назаров. — К нему пришли как к человеку, а он — в шахматы. Фишер нашелся. Ты что; смеешься над нами?

— Никто над вами не смеется, а пить не буду. Я уже выпил сегодня кружку пива, хватит.

— Но так же тоже нельзя, — обиделась и жена Назарова, Назариха. — Зачем же нас в смешном виде-то выставлять?

— Никто вас в смешном виде не выставляет, — спокойно, с достоинством сказал электрик. — Наоборот, будьте как дома... Предлагаю в шахматы.

— Да при чем тут шахматы?! — закричал Назаров. — Я — ученый человек теперь, я столько трудов положил, а ты не соизволишь даже за столом со мной посидеть! У меня сейчас кризис после такого напряжения, а ты мне шахматы в нос суешь. Бессовестный ты после этого! У тебя никакого уважения нету к ученым. Как был электрик, так электрик и есть.

— Я ученых уважаю, — парировал эту бестактную выходку электрик, — но я не уважаю тех ученых, которые начинают сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это ты точно заметил, Назаров! Смотри, Назаров, ох, смотри... зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров.

— Нахал! — закричал опять Назаров. — А еще родственник! Ну давай хоть шампанского выпьем?

— Нет, — стоял электрик. — Ни шампанского, ни сухого — ничего.

— Пахом, — обратилась к электрику жена его, — людей надо уважать. Ну чего ты? Садитесь за стол... у меня всего полно: водки всякой, даже твоя любимая перцовка есть. Нельзя же так, в самом деле.

— Как? — спросил ее электрик.

— Да вот так-то вот: люди тебя упрасивают, а ты не хочешь свою гордость побороть. Может, тебя обидел кто?

— Никто меня не обидел. Но только я пить не буду. Ясно? Пусть я электрик, но по принуждению пить не буду.

— Но Пахом...

— Что «Пахом»? Что «Пахом»? Я пятьдесят лет Пахом. Я сказал — нет. Все.

— Но почему? Почему-у?!

— Не буду, и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше в шахматы.

— Да пошел ты к чертовой матери со своими шахматами! — вышел из себя Назаров. — Чего ты привязался со своими шахматами? Я тебя последний раз спрашиваю: будешь пить?

— Нет.

Все некоторое время смотрели на упрямого электрика.

— Знаешь, кто ты после этого? — спросил Назаров.

— Не знаю, ну-ка?

— Верблюд. Те тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя тоже надо в пустыню...

— Куда, куда? — спросил электрик. — Куда меня надо?

— В пустыню, к верблюдам...

Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фигурки разлетелись по полу... Электрик пополз их собирать.

— Извини, Назаров, — сказал он. — Я не хотел... Черт его знает, затемнение какое-то... Может, все же сыграно в шахматы? Или ты сильно обиделся?

— Обиделся? — спросил нервный электрика.

— Обиделся, — вздохнул электрик.

— Вот они все так. Ну до того обидчивые, до того обидчивые — спасу нет!

— Что же ему спасибо говорить — в лоб засветили?.. — подал голос мрачный.

— Он же извинился.

— Я же извинился.

— Не могу! — взревел вдруг урка. — Не могу!.. Счас буду метелить обоих — за вранье. Да хоть бы врал, пала, как люди, а то врут, как... — Урка сел в кровати и смотрел злыми глазами на электрика и нервного, которые сидели рядышком. — Христосики! Фишерá! До того культурные, пала, до того вежливые — аж зубы ломит. Шмакодавки... шукуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей!

— Ты! — крикнул электрик Пахомов. — Ну-ка, закрой сифон! Смелый... Смелый? Ну-ка расскажи, как ты здесь очутился? Ну-ка?..

— А чего мне скрывать-то? Напугал, пала. Я те все без науки скажу: взял часы у одного... Выпить не хватило, я вышел на улицу и попросил у какой-то пьяной шляпы часы в долг.

— Вона — часы в долг! — вконец обозлился электрик. — А костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это и есть твоя гордость? Это об этом ты шумишь?

— Это называется — ограбил, а не попросил, — подержал электрика нервный, тоже оскорбленный выкриками урки. — Интеллигент нашелся.

— Нет, это называется — по-про-сил, — настаивал урка. — Ты мне чужую статью не шей. Поал? Не шей. Я подошел и по-про-сил: «Гражданин, одолжи мне свои бока». Я не сказал: «отдай», я сказал: «о-дол-жи». Поал?

— Как? — спросил вдруг очкарик. — Как?

— Чего «как»?

— Как вы сказали: «бока»?

— Ну, бока — часы... Некоторые называют часы — бока. Еще называют — бочата. Если часы золотые, тогда — рыжие.

Очкарик встал и подошел к социологу.

— У вас какие очки? — спросил он. — Я не в том смысле, рыжие или нет, — с какой диоптрией?

— Минус четыре.

— Разрешите? — попросил очкарик.

Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их... огляделся... Сказал:

— Неплохо.

Затем он подошел к урке и внимательно всмотрелся в него.

— Да, — сказал он. — Совершенно точно! Встать!

— Ша... — заговорил было урка.

— Встать! — опять скомандовал очкарик довольно властно.

— Ша, — сказал урка, поднимаясь. — В щем дело?

Очкарик развернулся и вlepил ему такую же звонкую, такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся было на очкарика, но тот умело уклонился и правой в челюсть свалил урку на кровать.

— Это был я, — сказал очкарик спокойно. — Я вспомнил это идиотское «бока».

Урка хотел опять вскочить и вскочил, но очкарик спокойно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что урка... остался стоять.

— Та пьяная шляпа — это был я, — пояснил очкарик. — Я вспомнил слово «бока»... и узнал вас. Что вы отняли часы — это я готов понять: с такой рожей дарить, например, часы — нелепо. Но за что вы меня еще и ударили?

— Да що ты ко мне пришилсЯ?! — заорал урка истерично. — Какие щасы?!

Открылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в бумажку, с трудом прочитал:

— Гриши... Гриша-ков и Ковалев, к дежурному. В простынях прямо, там переоденетесь.

Урка и очкарик пошли на выход.

— Товарищ... — сказал социолог. — Очки-то.

— О! — спохватился очкарик. — Извините. Спасибо.

— Пожалуйста. Вы еще вернетесь?

Очкарик пожал плечами:

— Не знаю.

Старшина и двое в простынях вышли.

— Надавал он ему, — с восхищением сказал сухонький.

— Хилый-хилый, а двинул хорошо, правда. — Соколов нервно потер руки. — В челюсть красивый был удар.

— Сейчас вас, наверно, будут вызывать, — заговорил социолог. — Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь... Может быть, вы? — обратился он к сухонькому.

— Нет, — твердо сказал сухонький. — Я не буду.

— Почему?

— Не буду... Все. — У сухонького отчеканилась на

лице непреклонность. Он пояснил: — Пусть наука занимается своим делом, а не бегает по вытрезвителям. Нашли тоже... Делать, что ли, больше нечего?

— Да почему вы так?

— Да потому! До сих пор на луну не высадились, а по вытрезвителям бегаете. На луну лететь надо, вот что! — сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога. — Взяли моду — рису-уют, высмеивают... А на луну кто полетит?! — Пушкин? Чем рисованием-то заниматься, на луну бы летели. А то на луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Чего тут хорошего? — бегаете... Чего тут интересного? Ничего тут интересного нет — хворают люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаете с вопросами. На луну надо лететь!

Социолог очень изумился... Он пооглядывался кругом, — полагая, что и все тоже изумились, — все внимательно слушали сухонького, и он тоже стал слушать. Сухонький враз как-то устал, лег на кровать и закрылся простыней.

— Последние силы растратишь тут, — сказал он. — У меня никаких историй не было, — еще сказал он, помолчав. — Я ручной. Причин никаких нету... Тоски тоже. И грусти нет. Я сам по себе... Независимый.

Социолог пожал плечами, посидел, уткнувшись в блокнотик, что-то записал. Потом повернулся к Ивану-трактористу.

— Я тоже, — сразу отрубил Иван.

— Что «тоже»? — не понял социолог.

— У меня тоже тоски нет.

— А при чем здесь тоска?

— Ну, вы же причину ищите?

— Да...

— Вот. Я ее не знаю. Но тоски никакой не было. Ехал в баню... Наоборот, хорошо на душе было.

— Нет, они этого не понимают! — вскричал вдруг сухонький и сел в кровати. — Ты им дай тоску какую-то — печаль! А так просто не может человек выпить! Просто — взял и...

Тут вошел старшина и объявил:

— Собирайтесь. Поедем в суд.

— Вот, — сказал сухонький, — а мы тут причину ищем. Счас нам найдут причину... помогут.

Суд

И грянул суд.

Судили три строгие женщины. Они сидели за столом, одна, похоже, главная, — в центре, две — по бокам, пожилая и молодая.

Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было.

Первого вызвали очкарика.

— Григорьев, — позвал старшина.

Подсудимые все пошевелились... Очкарик встал и пошел к двери, которая вела в комнату судей.

— Гришаков, — поправил он старшину.

— Чего? — не понял тот.

— Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев.

— Какая разница, — мирно сказал старшина.

— Разница большая, — заметил сухонький. — Одно дело...

— Ждите! — велел старшина. Сухонький замолк.

— Здравствуйте, — сказал очкарик женщинам-судьям. С ним тоже поздоровались. И сказали:

— Садитесь.

— Мы ознакомились с вашим делом, — заговорила главная женщина. — Здесь — показания свидетелей... Заявление заведующего магазином...

— Надо же — дело! — усмехнулся очкарик. Но он рано стал усмехаться, он это скоро понял.

— Вы пока не улыбайтесь, — сказала пожилая женщина. — Не надо пока.

— Да нет, я... но не очень ли это громко — дело? Там дела-то нет.

— Есть дело, — говорила дальше главная женщина. — И вам действительно рано улыбаться.

— А в чем дело-то?

— Мы хотим услышать это от вас.

— Я плохо помню. С утра вообще ничего не помнил... С мясником что-то? В магазине? Мне в милиции сказали сейчас...

— Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихина Геннадия Николаевича...

— О-о, — простонал очкарик. — Он же обвешивает покупателей! Этот лоб нахально обвешивает всех покупателей, я ему сказал это...

— Минуточку, минуточку, — прервала его главная женщина, — давайте по порядку: вы сделали замечание продавцу. И выражайтесь... точнее: фамилия продавца Завалихин, никакой он не лоб.

— Он самый настоящий лоб, лоботряс, жулик...

— Сейчас не о нем речь, мы говорим о вас.

— Хорошо. Что вас интересует?

— Как было дело?

— Я не помню.

— Напомню. Двадцать пятого сентября сего года вы пришли в продовольственный магазин номер двадцать восемь, — стала рассказывать с бумажки женщина, — и сделали замечание продавцу мясного отдела Завалихину Геннадию Николаевичу, что он обвешивает покупателей. Завалихин вышел из-за прилавка и вывел вас на улицу...

Очкарик пожегся, качнул головой. Сказал негромко и горько:

— Кошмар.

— Кошмар не в этом. Кошмар дальше: вы пошли, где-то напились и пришли в таком состоянии выяснять отношения с Завалихиным. Вас пытались остановить...

— Хорошо... дальше не нужно: я что-то такое припоминаю. А где у меня часы отняли?

— Это вы должны вспомнить, здесь происшествие в магазине...

— Хорошо... черт с ними, с часами. Что я теперь должен делать?

Три женщины выразительно посмотрели на него. Очкарик занервничал.

— Я не понимаю, — сказал он. — Ну, случилось... что дальше?

— Вы должны объяснить, почему вы устроили дебош в магазине. Почему напились? Часто это у вас?

— Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня из магазина, я решил, что наступило светопреставление. Конец.

— Не надо острить, — попросила молодая женщина. — Вы не уголовник, вы научный сотрудник, не забывайте об этом.

— Я не острою, — заволновался очкарик. — И, пожалуйста, не напоминайте, кто я такой — это не имеет никакого значения.

— Это имеет значение.

— Это не имеет никакого значения, — уперся очкарик. — Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше

жить бессмысленно. У вас было когда-нибудь такое чувство?

— Здесь мы спрашиваем, Гришаков, — заметила главная женщина.

— Я и отвечаю: я отчетливо понял, что наступил конец света. Конец... — Гришаков мучительно поискал, как еще обозначить «конец», не нашел. — Конец, понимаете? Дальше я буду притворяться, что живу, чувствую, работаю...

— Он ударил вас?

— Нет, просто выкинул из магазина... И закрыл дверь. Я думал, он будет драться... я приготовился драться, поэтому покорно шел из магазина. Это ужасно... Это катастрофа.

— В чем катастрофа? — спросила пожилая женщина. — Уточните, пожалуйста.

— В том, что меня выкинули из магазина. Даже так: катастрофа в том, что... Не знаю, — вдруг резко сказал Гришаков. — Неужели вы сами не понимаете? В магазине орудует скотина... Черт, не знаю. Протизно мне об этом говорить.

КОММЕНТАРИИ

Рассказы 70-х годов

Срезал. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7), затем в книгах «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975), «Избранные произведения» (1975). Переиздан в книге «Советский рассказ» (т. 2. М., 1975). набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Поговорили. Приехал в село некий ученый человек, выходец из этого села... К земляку пришли гости. А один пришел «поговорить». И такую ученую сволочную ахиною понес, так заковыристо стал говорить! Ученый растерян, земляки-односельчане с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот».

В беседе с корреспондентом итальянской газеты «Унита» 17 мая 1974 года на вопрос: «Какой ваш любимый рассказ в «Характерах»? Что вы больше всего любите из этого сборника?» — В. М. Шусткин ответил: «Ну, мне вот представляется: первый же рассказ, «Срезал» называется. Тут, я думаю, разработка темы такой... социальной демагогии. Ну что же, мужик, мужик... Вот к вопросу о том, все ли в деревне хорошо, на мой взгляд, или не все хорошо. Вот образец того, когда уже из рук вон плохо. Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, и вот принялся мстить, положим, ученым. Это же месть в чистом виде, ничуть не прикрашенная; а прикрашенная если, то для одурачивания своих товарищей. А в общем — это злая месть за то, что он на пиршестве, так сказать, обойден чарой полной. Отсюда такая вот зависть и злость. Это вот сельский человек, это тоже комплекс... Вторжение сегодняшнего дня в деревню вот в таком выверте неожиданном, где уж вовсе не благостность, не патриархальность никакая. Он напичкан сведениями отовсюду: из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших, и все это у него перемешалось. Но адресовано все для того, чтобы просто напакостить. Оттого, что «я живу несколько хуже». Снят с повестки дня вопрос, что для того, чтобы жить хорошо, надо что-то сделать. Он снимет это. Никаких почему-то тормозов на этом пути не оказалось. Может быть, мы немножко виноваты, что слишком много к нему обращались как к господину, хозяину положения, хозяину страны, труженику, мы его вскормили немножко до размеров, так сказать, алчности уже. Он уже такой стал — все ему надо. А чтобы самому давать —

он почему-то забыл об этом. Я думаю, что вот деревенский житель, тоже нынешний, и такой».

Сильные идут дальше. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7) под названием «Митька Ермаков». В прижизненных книгах не издавался. Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Разгулялся Байкал. Стоят городские туристы, отдыхающие... Один дурошлеп, увидев женщин... — Эх, проплыть, что ли?!»

Шире шаг, маэстро! Первоначально: «Ваш ход, маэстро!», «Отныне будешь так». Рассказ написан весной 1970 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 7) под названием «Шире шаг...», затем в книгах В. М. Шукшина «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975). Переиздан в сборнике «Московский рассказ» (М., 1977).

Петя. Рассказ написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года, затем в книгах В. М. Шукшина «Характеры» (1973), «Брат мой» (1975), «Избранные произведения» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Целый день за стеной: «Петя! Ну, что ты, Петя?! Ну, успокойся, Петя!» Потом вышел Петя — маленький, ушастый, и в шляпе».

Сапожки. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года, затем в книгах В. М. Шукшина «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Переиздан в сборнике «Сибирский рассказ» (вып. 2. Новосибирск, 1978). Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Как муж жене сапожки покупал. Измучился, изнервничался... А привез — они ей не подходят. Они вместе проклиjali ее толстые ноги. Горе».

Обида. Рассказ написан в 1970 году в Потсдаме (ГДР). Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 12 февраля 1971 года, затем печатался во всех подготовленных В. М. Шукшиным сборниках.

Хмырь. Первоначально: «Загадочная славянская душа». Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в газете «Советская Россия» 16 июня 1971 года под названием «На курорте», а также в журнале «Наш современник» (1971, № 9). Вошел в «Избранные произведения» (1975). Наброски к рассказу в рабочих тетрадах: «Из серии «Мужчина и женщина»:

1. Как в Ялте прощаются. Дешевый роман, в дешевых углах, и конец его — под дешевую музыку.

2. В самолете. Женщина рассказывает сзади, как они ездили за границу.

3. Загадочная славянская душа. Как мужик (пошлятина беспросветная) охмуряет сидит молодую женщину. В поезде (в автобусе). «И жить торопимся и чувствовать — скорей!»

Хозяин бани и огорода. Первоначально: «Загадочная славянская душа», «В субботу вечером», «Разговоры». Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9). Вошел в «Избранные произведе-

ния» (1975). Переиздан в сборнике «Сибирский рассказ» (Новосибирск, 1975).

Генерал Малафейкин. Первоначально: «Генерал Малафеев», «Ночной рассказ». Написан в 1970 году в Потсдаме (ГДР). Впервые опубликован в журнале «Север» (1972, № 3), а затем в «Избранных произведениях» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Ночью в купе негромкий рассказ о том, как трудно человеку справляться с должностью. Должность высокая, а подготовка мала. «Я» слушает и... ужасно знакомый голос. Утром выяснилось: знакомый калькулятор из заштатной столовой».

Письмо. Первоначально: «Сон». Написан летом 1971 года в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранных произведениях» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Попросила тетка написать письмо... Согласился. А душа болела — боялся. И точно — всю ночь угробил: писал, чиркал, искал слова — измучился. Все — осторожничал, старался быть вежливым... Пришла утром тетка, я прочитал. Она подумала и попросила: «Ты напиши так: «Что ж ты, кобель, себе думаешь?..»

Дядя Ермолай. Написан летом 1971 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Советская Молдавия» 14 августа 1971 года, затем в том же году в газетах «Советская Литва» (21 августа), «Советская Киргизия» и «Советская Эстония» (22 августа), «Алтайская правда» (26 августа), «Туркменская искра» (9 сентября) и в журнале «Наш современник» (1971, № 9). Рассказ вошел в книги В. М. Шукшина «Характеры» (1973), «Брат мой» (1975), «Избранные произведения» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Из детства. Случай, когда нас бригадир послал с Гришкой Новоселовым сторожить ток. Мы ток в темноте не нашли, переспали в первой попавшей скирде. А утро было — в этом и рассказ — утро после дождя. И всю жизнь мне снится то утро».

Финал рассказа, начиная со слов: «Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине...», написан В. М. Шукшиным в ходе последней авторской правки, незадолго до смерти, и впервые опубликован в 3-томном собрании сочинений (М., «Молодая гвардия», 1985).

Ноль-ноль целых. Рассказ написан в 1971 году в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9), затем включался во все прижизненные сборники В. М. Шукшина. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Пришел мужик за справкой. Дурак-начальник стал куражиться: «А пить — у тебя есть время?» — «Я счас не пью». — «Все вы не пьете! За ворот льете?» Мужик слушал, слушал... Вылил ему на белый костюм чернила. И ушел».

Пост скриптум. Написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Север» (1972, № 3), затем в книгах «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975), «Избранные произведения» (1975).

Билетик на второй сеанс. Первоначально: «Господи, дай...», «Фраер», «Судьба». Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1971, № 9), затем в книгах «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974) и «Брат мой» (1975).

Дебил. Первоначально: «Шляпа». Рассказ написан весной 1971 года. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1971, № 9), а затем в книгах «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Человек купил шляпу — с малым скандалом, думал обратить внимание друзей, а они нашли, что шляпа — не современна, не очень современна. Горе. Разочарование».

Жена мужа в Париж провожала. Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9), затем в «Избранных произведениях» (1975).

Ораторский прием. Первоначально: «Старший». Написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1971, № 9), а затем в сборнике «Беседы при ясной луне» (1974).

Мой зять украл машину дров! Первоначально: «Жить бы да жить-радоваться», «Скандал». Написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (1971, № 12). Включен в книги «Характеры» (1973) и «Брат мой» (1975). В авторской рукописи — первоначальный вариант финала рассказа:

«— Знаю адрес. Знаю.

Туристы, которые разбили палатки на берегу Уши, видели, как грузовой ГАЗ чего-то вдруг резко дал вправо, с треском проломил заградительные перила и полетел в реку.

Потом, когда достали машину и попытались установить причину аварии, механики не могли установить причину, написали в акте: «Заело рулевое управление».

Оба — водитель и пассажир — были мертвы. Причем у водителя смерть наступила еще до того, как машина ушла в воду: разрыв сердца. Пассажир пытался открыть дверцу, но ее заклинило, очевидно, при ударе о перила. Он хотел выбить стекло (обе руки его были изрезаны в кровь), выбил, но только часть, не все — не успел. Захлебнулся». (Архив Шукшина В. М.)

Забуксовал. Рассказ написан в 1971 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в книге «Характеры» (1973), затем в книге «Брат мой» (1975). Мотивы рассказа использованы в фильме «Позови меня в даль светлую». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Русь-тройка. Человек (отец) обнаружил, что тройка-то (гоголевская) везет... Чичикова. Разговор с учителем. Учитель говорит, что это — неважно, что Чичикова, важно, что — очень быстро».

Три грации. Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» (1971, 24 декабря). При жизни не включался автором ни в один сборник. После смерти В. М. Шукшина вошел в книгу «До третьих петухов» (1976).

Беседы при ясной луне. Первоначально: «Природа человеческая». Рассказ написан весной 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранных произведениях» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Ходит старик к сторожике, плетет некий мистический невод. А раз увидел около сельмага человека поздно ночью и заорал: — Стреляй!»

Беспалый. Первоначально: «Отец Сергей». Написан весной 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в книгах «Беседы при ясной луне» (1974) и «Избранные произведения» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Жыл мужик. И была у него жена дура. Злая, капризная. Серега очень ее любил и жалел. Не раз дрался всерьез с мужиками, когда указывали ему на ее глупость. Но раз она так довела его, что он не сдержался и вызал ей по уху. Она заревела, Серега пошел и отрубил себе на правой руке 2 пальца. Его в деревне прозвали «Отец Сергей».

Мнение. Первоначально: «Ложь». Написан летом 1972 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Где-то кто-то очень много врал днем. Да так много, подло, гадко (вынужден, что ли, был?), что когда пришел домой вечером, вспомнил все, и его вырвало».

Страдания молодого Ваганова. Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в книгах «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975) и «Избранные произведения» (1975). Издан в книге «Наш современник». Избранная преса журнала, 1964—1974» (М., 1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Муж, в связи с разводом, дает жене убийственную характеристику: «Лентяйка, грязнуля, спит с другими мужиками...» И вето, кто только выскочил судить и рядить, краснойбай и щеголь, говорит с притворным возмущением:

— Как вы можете так о женщине?!

— Но — правда же!

А ведь и то — правда».

И еще один набросок к рассказу: «Утро». Настроенческий рассказ. Загнанный, огуленный большим городом маленький человек горопился утром на работу и вдруг увидел на лестничной площадке, на желтой стене, — солнечный блик. Выглянул в окно и увидел — на улице Весна. А потом... все, как и каждый день: дела, дела, дела. А дела — ржавые трубы под забором. Их, наконец, привезли».

Наказ. Первоначально: «Ну, теперь посылай всех...», «Наказ дяди Максима». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1972, № 12), а затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: «Выбрали человека на некую должность (предколхоза), к нему приходит друг и начинает упорно его учить теперь жить»:

— Теперь — посылай всех к... матери!

— Зачем?

— А как же?! Вот те раз!.. Теперь никого не бойся — посылай всех к...»

Еще набросок: «Появился на робкой окраине плотный, щербатый парнишка. Окраину вечно били другие края, более сильные. Этот, щербатый, с выдвинутой челюстью, продумал план, как избить других, что били постоянно эту слабую окраину. Продумал, осуществил. (При помощи камней.) Камни только свистели на всем пути отступающего неприятеля. Парнишка только покрикивал: «Камни!» Парнишка жестокий и талантливый. Куда лотом двинет в жизни? Кто будет?»

Медик Володя. Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1972, № 12), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Воссе мальчишка — едет домой на каникулы. Девушка — землячка. Вдруг — запели не своими голосами — фальшиво».

Как зайка летал на воздушных шариках. Рассказ написан в 1972 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 27 октября 1972 года, затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Девочка заболела... И вспомнила, что ее дядя рассказывал ей про Красную Шапочку. Попросила папу, чтоб дядя ей опять рассказал. Папа — телеграмму брату. Брат долго добирался... Приехал. Стал рассказывать, да забыл. Девочка плакать — не так. А потом и померла. Дубулты. 20 июля 1972 г.»

Версия. Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1973, № 2), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974) и «Избранных произведений» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Поехал Ванька Пузырь в город... Зашел в ресторашку. А там есть одна стеклянная стена. Ванька шагнул через нее. Ему сказали: «Три зарплаты». Но пришла директриса... И... Жил с ней Ванька неделю, пил, гулял и — спал. В деревне не понимают: правда это или нет? На всякий случай — не верят».

Ванька Тепляшник. Первоначально: «Ванька-дурак», с эпиграфом: «Ванька Тепляшник, давай с тобой попляшем — так Ваньку дразнили маленького». Рассказ написан в мае 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1973, № 2), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Ванька-дурак устроил скандал, что к нему не пустила мать (в больницу). Вылетел в пижаме, сторож хотел схватить его, он мотанул сторожа. Его стали ловить — шум, гам, неумность русская. Поймали».

— Все равно из окна выпрыгну, — сказал Ванька.

Сторож в отчаянии: — Дурак, ты ба меня по-хорошему попросил, я б ее пустил... — Ты должен быть человек! — на это напирал Ванька-дурак».

Гега Пройдывсвет. Первоначально: «Антихрист 666». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале

«Звезда» (1973, № 2), затем в книге В. М. Шукшина «Брат мой» (1975). Наброски к рассказу в рабочих тетрадах: «Придет владыка (их сперва будет 4, потом станет один — он-то и есть АНТИХРИСТ 666). Будет владычить 3,5 года, но законы его будут действовать *только 3 года*. Тут же образ: человек -- это киноаппарат с пленкой, прожил жизнь, как отснял всю пленку, какая была, умер, аппарат (тело) за ненужностью выкинули, а пленку (душу) проявили и узнали, как же ты жил. Вдруг вывод: *за все надо платить*».

Или вот — чудо. Говорят: чудес нет. Как нет? На огороде полно чудес».

«С гитарой (с гармошкой) пошел... работать массовиком... пошел и прыгнул в воду и продолжал играть. Он-то и схватился спорить с новообращенным верующим (антихрист 666). Новообращенный говорит о чуде (они есть, много — в огороде) — серьезно. И тут же — об антихристе».

«Был гитарист... Странный человек. Работал массовиком-затейником. Выгнали за то, что однажды, выпивши, с гитарой прыгнул в бассейн с вышки».

Пьедестал. Первоначально: «Странности Константина Смородина», «Жена Константина Смородина». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (1973, № 5). В подготовленные В. М. Шукшиным сборники не включался.

Упорный. Написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 2 марта 1973 года, затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974), и в «Избранных произведениях» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Да что трение!.. Весьма русское решение проблем: при чем тут трение! При чем здесь закон!»

Алеша Бесконвойный. Рассказ написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 19 января 1973 года. Вошел в книгу «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранные произведения» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Жизнь души. Странный человек: хороший работник, но выступать не любит, в президиумы на собраниях не садится и сами собрания не любит. Любит в субботу топить баню. Топит ее весь день с чувством, с толком, не торопясь — с большим наслаждением. И это — радость».

Осенью. Первоначально: «Один день». Рассказ написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (1973, № 7). Включен в книгу «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранные произведения» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Один день паромщика. Начался он рано — темно еще. А после — покатилося: 1) Свадьба переезжала. 2) Высокий начальник проследовал. 3) Старый человек перебрался. Паромщик долго вспоминал, где он его видел, вспомнил -- а тот уже далеко. А был это... (?). 4) Невеста бывшая — уже под вечер. С тем и ушел домой — спать. А долго не спалось — невеста растревожила».

Штрихи к портрету. Первоначально: «Центробежная сила», «В райгородке Н. Разные случаи из жизни Николая Николаевича Князева». Рассказ написан в январе 1973 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1973, № 9), затем в «Избранных произведениях» (1975). Наброски к рассказу в рабочих тетрадях:

«Приехал в село гонщик. Пришел к нему парень, стал спрашивать, как это ему удастся... Гонщик вдруг заважничал, заважничал перед простодушным-то. Стал противный, маленький сразу... даже жена его не узнала и обиделась».

«Человек, который всех учит... Жил человек, который учил всех подряд. Не мог утерпеть. От секретаря обкома до портного и парикмахера. И получал за это одни неприятности».

«Мессия. Начал вдруг человек на селе прописные истины проповедовать:

Люди должны быть честными;

должны честно трудиться;

не обманывать никого;

не воровать...

Им заинтересовались сельсоветские. Вечерний разговор, очевидно:

1. Кто разрешил?

2. Зачем?

3. К чему?

Запретили».

«В зоопарке. У этого длинного, с раскроенной шкурой (жираф). Езда на пони. Взрослые — 20 к., дети — по 10 к.

А смотрит на все это некий доморощенный философ и приходит к открытию:

— А звери-то... это... умней нас.

— При детях не говори так!

— Почему? Вот — люди: сели на карусель и машут руками — «До свиданья!». А сами — на месте. Так ведь и вся наша жизнь».

Помолчи при детях, идиот!

Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина».

Выбираю деревню на жительство. Рассказ написан в феврале 1973 года. Впервые опубликован в еженедельнике «Неделя» (1973, № 19). Включен в книгу «Беседы при ясной луне» (1974). Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: «Как мужик нанимался на работу. Некий маленький делопроизводитель, который протер на работе на одну цару штанов, раз в неделю, в субботу, приходил на вокзал и там, где курят случайные люди, искал работу где-нибудь в деревне. Проезжих много, начинают советовать, предлагать... Хвалит свои места. Причем из загнанных пассажиров, которых толпами гоняют туда-сюда по вокзалу, люди становятся высокомерными. Особенно охотно берутся устроить судьбу человека люди подвыпившие. Делопроизводитель всерьез волнуется, записывает адреса... До следующей субботы».

«А я погляжу... Как человек долго мыкался в жизни, мучился, неустроенный. Потом возымел желание устроиться куда-нибудь на вокзал и смотреть, как люди не могут достать билет, стоят сутками в очередях, спят на полу, опаздывают на поезд... Какая-то холодная мстительная ярость и злое удовольствие».

Владимир Семеныч из мягкой секции. Рассказ написан 2 февраля 1973 года в Москве. Впервые напечатан в газете «Литературная Россия» 30 марта 1973 года. Мотивы рассказа использованы в фильме «Позови меня в даль светлую». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Мещанин взбунтовался. «Крохоборы!» — кричит на других мещан».

Внезапные рассказы. Первоначальное название цикла: «Больничные рассказы». Мечты. На кладбище. Как мужик переплывал через реку волка, козу и капусту. Боря. (Первоначально: «В больнице. Зарисовка».) Петька Краснов рассказывает. (Первоначально: «Как Петька Краснов рассказывал о своем пребывании на курорте».) Сны матери. (Первоначально: «Сны моей матери».) Рассказы впервые опубликованы в журнале «Сибирские огни» (1973, № 11). Рассказ «На кладбище» включен в книги «Беседы при ясной луне» (1974) и «Избранные произведения» (1975); рассказы «Как мужик переплывал...», «Боря», «Сны матери» — в сборник «Брат мой» (1975). Наброски к циклу в рабочих тетрадях:

«Карманные рассказы.

Очень-очень коротенькие рассказы — крохотули. Сценки. Должен быть цикл. Надо набирать!

«Боря», «Как мужик переплывал через реку волка, козу и капусту», «Петька Краснов рассказывает».

«Внезапные рассказы.

Цикл рассказов, нечаянно рассказанных людьми. Все не придуманных и рассказанных случайно, в самых неподходящих условиях».

«Мечты». Знал одного парня в бытность в Калуге. Тот мечтал стать официантом. Через двадцать лет встретил его — в Москве, официант. Да еще такой... лохотный».

«Рас-з нигде не берут. Нет! «Сибогни» родные — взяли».

«Мечта.

Знал одного парня в Калуге, который мечтал стать официантом. Давно это было, нам в ту пору едва ли было по семнадцать. Не было. А потом, лет через пятнадцать, встретил его в Москве, в ресторане, официант. Ничего, прекрасно выглядит. Я не признался».

«Земная Божья мать. Стоял солдат на посту. Слышит: на кладбище плачет женщина. Сказал сменщику. Тот тоже слышал — сказали командиру. Командир кликнул храбрецов. Один поехал на коне.

— Кто тут живой?!

— Я живая.

Женщина... Рядом стоит.

— Чего ты плачешь?

— О молодом поколении плачу. Я Земная Божья мать. И плачу о молодом поколении...

— Вот скажу так — мне не поверят.

— Поверят. — И коснулась солдата ладонью — спины...

И когда солдат приехал, у него обнаружили на спине образ Божьей матери. Поверили...»

«Разговор на кладбище:

— Ничего, бабушка, на звезду-то крестисься?

— А чего? Ничего.

— Ничего, мол, что звезда-то?

— Да-к а чего?.. Он у меня не хуже других был. Чего же? Не последний был человек.

«Странности Петра Краснова.

Это у Петьки — как болезнь стала: день ходит, смотрит, слушает, соглашается, а дома вечером... все начинает ругать и весьма ядовито критиковать».

«Сны моей матери».

1. Как она водила ослика. «А на ослике сидел святой с бородкой. «Поводи, поводи меня». Она догадайся спросить: «А что мне будет на том свете?» Старичок подал бумажку, а там написано... «И букочки-то все наши, и написано много, а ничего не могу понять». Ну ладно, думаю, я еще в избе почитаю. Покатаю еще немного старичка и пойду в избу читать. И проснулась».

2. У сестры матери померли от скарлатины две девочки. 7-ми и 5-летнего возраста. «И вот лежу я на печке... А боялась, боялась, всего боялась, как Макара-то взяли... И тут кто-то с улицы постучался... И уж я будто бы ничего не боюсь сроду, слезаю будто с печки, открываю избную дверь. — Кто? — Мы — отроки. С того света. — А чего вы ко мне-то? Идите вон к Николаю Погодину, он мужик... — Нет, нам к тебе надо. — ...Открыла им... Зашли два мальчика в сутанках. А меня всюю опажнуло приятным таким духом. Сели они. — Чего же ко мне пришли-то? — У тебя есть сестра, у нее померли две девочки. Она сильно по ним плачет. — Да, плачет — жалко. — Скажи ей, чтоб не плакала, а то девочкам-то — хуже. Плохо. Не надо плакать. — Ладно, скажу. — И отроки ушли. И опять всюю меня опажнуло приятным запахом».

3. Те же девочки тети Дуни: Валя и Нюра. Мать рассказывает:

— Хвораю лежу: в тятином доме. Си-ильно хворала. А вскинула глаза-то — а они — две — стоят. В чем их положили в гробики, в том и стоят. Ой, Валенька, Нюронька, миленькие мои... Да вы откуда же? — Оттуда. — Ну, как вы там? — Хорошо. Ой, нам там хорошо!

Ну, знамо, безгрешные душеньки. А потом Валя-то, постарше которая, вот так вот погрозила пальцем и говорит: — А куклу-то нам посулила, а сама не сделала.

Кушила потом (сделала) куклу да подарила соседской девочке.

4. Приласкала мать девушку-сиротку. В больнице вместе лежали.

— Она ко мне ночевать ходила. Потом померла. Плеврит, а от плеврита занялась печень. И вот вижу раз сон:

Вышла я на речку, а на той стороне, где Гилев остров, — город. Большой-большой, да красивый, да весь в садах, и цветы так колышутся... Я села в речку-то да поплыла — сидя, только руками перебираю, а сама сижу и плыву. И так переплыла. И никого нету, и я не знаю, куда идти. И тут выходит эта девушка. Обрадовалась, обняла меня, прилюбила.

— Куда же мне идти-то!

— А во-он туда...

А там вроде окраина такая, похуже место, победней.

— А ты где?

— А я, говорит, вот здесь — в центре».

Психопат. Рассказ написан в 1973 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 28 декабря 1973 года, затем в журнале «В мире книг» (1975, № 8) и в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Возмутился человек фельдшерницей, которая не умеет делать уколы. Тихая, скромная, милая девушка и... ничего не умеет делать. Все вены исколола. Ну, и уж — обобщение справедливое, впрочем».

Кляуза. Рассказ написан 2 декабря 1973 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (1974, № 8), затем перепечатан «Литературной газетой» 4 сентября 1974 года с подзаголовком «Опыт документального рассказа». Вышел в сборнике «Шаги», вып. 2. М., 1976. Рассказ вызвал большую читательскую почту, проанализированную критиком Вл. Канторовичем (см. «Сибирские огни», 1975, № 9, а также в кн.: Канторович В. Литература и читатель. М., 1976).

Мужик Дерябин. Рассказ написан в 1974 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1974, № 9), затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Запись в рабочих тетрадах: «Здесь жил Дерябин. (Надпись на стене. И — характер)». И еще один набросок: «Безалаберность. Некто узнал, что улицу его называют по имени какого-то бывшего субчика. Стал писать, жаловаться... Стал проявлять при этом прямо революционную истовость. Стал грозить: «Я на ней бардак разведу, если не переименует!»

Рыжий. Рассказ написан в январе 1974 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (1974, № 7), затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Ехал я мальчиком по Чуйскому тракту с рыжим шофером, нас задел по борту встречный грузовик. Рыжий шофер вышел, посмотрел на поломанный борт... Потом сел, развернулся и стал догонять того, который нас повредил. Догнал, умело прижал его к обочине и шваркнул тоже по борту. Подождал с ручкой — не остановится ли тот, — развернулся и поехал, как ехали. Все это — молча».

Вечно недовольный Яковлев. Рассказ написан в январе 1974 года. Впервые опубликован в еженедельнике «Неделя» от 18—24 марта 1974 года. В подготовленные В. М. Шукшиным сборники не включался. набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Один Некто приехал из города, обозленный в душе, опустошенный, наученный драться... Пошел (выпивши) избил по старой памяти бывшего школьного друга, потом не может толком сказать — за что. Говорит: в детстве дрались, я запомнил. Боксер. И жесток».

Други игрищ и забав. Рассказ начат в апреле 1972 года, преван и закончен в феврале 1974 года в больнице. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 23 августа 1974 года, затем в журнале «Наш современник» (1974, № 9). Вошел в книгу «Брат мой» (1975). набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Родился у сестры незаконный ребенок — отец не объявился, не захотел. Брат сестры, маленький, нервный человек, пошел к

отцу (как-то узнал, кто он такой и где живет) ребенка, которого очень полюбил, стал требовать справедливости... И получил по зубам».

Жил человек... Написан в феврале 1974 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1974, № 9), затем в книге «Брат мой» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Жил человек... Хворал часто. Рассказывал, как после войны — на костылях — колот лед на реке. «Костыли зажму под мышкой и топором... Одна нога совсем болтается. Потом комнату дали в общежитии».

Любил рассказывать анекдоты, а не умел. «Ворона достала сыр, к ней лиса — спой. — А ху-ху не хо-хо? — Зажала сыр под крыло и говорит: вот теперь потолкуем...» А дальше не успел рассказать — помер.

Как Андрей Иванович Куринов, ювелир, получил 15 суток. Рассказ написан 10 марта 1974 года в Москве, в Кунцевской больнице. Впервые напечатан в газете «Литературная Россия» (1974, 22 марта). Этот рассказ и следующий — «Ночью в бойлерной» — были опубликованы под общим заголовком «Две совершенно нелепые истории». Рассказ вошел в повесть для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Маленький резиновый человек... Попрыгунчик и мстительный».

Ночью в бойлерной. Рассказ написан в марте 1974 года в больнице в Кунцево. Впервые напечатан в газете «Литературная Россия» (1974, 22 марта), затем в книге «Брат мой» (1975). Мотивы использованы в повести для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «В бойлерной. Это — внизу, в подвале, туда «опускаются» люди после своих катастроф. А там сидит дядя Вася — мудрый и хитрый».

Привет Сивому. Рассказ написан в марте 1974 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1974, № 9), а затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина. (1975). Мотивы использованы в повести для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Очкарика, умного русского человека, избил «современный» горилла».

Чужие. Последний рассказ В. М. Шукшина. Написан в марте 1974 года в больнице. Впервые напечатан в журнале «Наш современник» (1974, № 9), затем в книге «Брат мой» (1975). Набросок к рассказу в рабочих тетрадах: «Про великого князя Алексея и дядю Емельяна, бывшего матроса. Богатырь. Лодман. Не знает, куда девать силу».

1. Ругается с бабами, когда проплывает мимо баб, полощущих белье.

2. В месте на реке, где гуляет кто, кричит: «Кто украл хомуты!» Эхо: «Ты! ты! ты!» Он: «Не видал, а обвиняет».

Ничего про себя не рассказывает. Пристаёт к учительнице. Однажды дрался в деревне всю ночь, а когда у него перерубили канаты, которыми был причален плот, бежал за плотом 5 км. На все хватало силы».

Повести для театра

Повести для театра — явление, не вполне традиционное с точки зрения жанра и не совсем обычное на фоне творческой истории других шукшинских произведений.

Если рассказы В. М. Шукшина задумывались и создавались как произведения ПРОЗЫ, то повести, предназначенные для сцены (или экрана), СТАНОВИЛИСЬ произведениями прозы, задумывались же и создавались — в расчете на сценическое (или экранное) воплощение, хотя и писались не как пьесы, а скорее все-таки как тексты для чтения.

По теме и по стилю повесть В. М. Шукшина — плоть от плоти его рассказов, это важнейший элемент созданной им художественной картины мира, и это абсолютно органичный для него этап социального и психологического обобщения; крепко связанные с непосредственным опытом повести выходят к широкой философской проблематике; художественная целостность большинства шукшинских повестей делает их явлениями большой русской прозы, хотя эти явления и рождаются на стыке с театром (или кино) и даже воспринимаются нередко как нечто, сравнительно с рассказами В. М. Шукшина «вторичное». До некоторой степени этим объясняется и тот факт, что ЧИТАТЕЛЬСКИЙ резонанс повестей В. М. Шукшина первоначально заглушается резонансом ЗРИТЕЛЬСКИМ, отклик на спектакли и особенно на кинофильмы превалирует над осмыслением прозаических текстов. Однако собранные в книгах, поставленные в общий контекст все сильнее действующей на людей шукшинской «легенды», эти повести становятся заметным фактором в развитии русской прозы, оказывают воздействие на литературную ситуацию и нуждаются в соответствующем осмыслении.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. Повесть-сказка. Варианты подзаголовков, сохранившиеся в бумагах В. М. Шукшина: «Сказка для детей старше школьного возраста», «фарсовое представление в 4 сценах», «опыт современной сказки», «опыт современной сценической сказки», «опыт современной кинематографической сказки».

Замысел повести относится к середине 60-х годов и связан первоначально с замыслом одноименного фильма, о котором В. М. Шукшин, отвечая на вопрос корреспондента «Московской кинонедели», рассказал следующее:

«Свой новый фильм мне хотелось бы посвятить нравственным и философским проблемам наших дней. Я надеюсь осуществить эту постановку по собственному сценарию, который условно называется «Точка зрения». Это будет одноименная сказка-притча.

Действие сценария происходит «в некотором царстве, в некотором государстве», где живут два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Один утверждает, что в жизни все плохо и неинтересно, нет хороших людей — их выдумывают писатели. Другой привык воспринимать жизнь через розовые очки, считает, что трудности и невзгоды преодолевать так же легко, как стометровку. Не сумев разрешить спор, Пессимист и Оптимист обращаются к Мудрому человеку. Мудрец направляет молодых людей в дом девушки, которую вечером должны прийти прийти сватать, и предлагает каждому по-своему описать все то, что они там

увидят. О том, что увидели в чужом доме и как рассказали об этом Пессимист и Оптимист, — мой будущий фильм.

Воплощая свой замысел в сценарии, я поставил перед собой задачу показать вред и опасность двух крайностей — огульного очернительства жизни, беспросветного пессимизма и, с другой стороны, беспочвенного оптимизма, своеобразной «маниловщины».

Будущий фильм должен звучать пламенным призывом к активному участию в строительстве новой жизни» («Московская кинонеделя», 24 января, 1966 г.).

Фильм не прозвучал пламенным призывом, потому что так и не был поставлен. В феврале 1967 года В. М. Шукшин читал «Точку зрения» в Центральном Доме литераторов на творческом объединении прозаиков; состоялось обсуждение рукописи (информация — в еженедельнике «Литературная Россия» от 17 февраля), все это свидетельствует о том, что сценарий непоставленного фильма уже переработан в повесть.

Повесть была опубликована впервые в журнале «Звезда» № 7 за 1974 год, незадолго до смерти В. М. Шукшина.

Впоследствии неоднократно переиздавалась и инсценировалась, но так и не была экранизирована, ставши таким образом первой у Шукшина повестью для театра.

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ. Сатирическая повесть для театра. Закончена 1 января 1974 года в Москве, в больнице. Впервые опубликована (с подзаголовком «сатирическая повесть») в еженедельнике «Литературная Россия» 7, 14, 21 июня 1974 года Летом того же года поставлена Г. А. Товстоноговым на сцене Ленинградского академического Большого театра им. А. М. Горького. В. М. Шукшин участвовал в постановке: записал «Голос автора». В том же сезоне «Энергичные люди» поставлены Омским драматическим театром. Это первые постановки произведений В. М. Шукшина на театральной сцене. Набросок к повести в рабочих тетрадях: «Энергичные люди» (Повесть для театра). Пил мужик, гулял — был человек. Жена одурела от его пьянки — развод. Он сбился — озверел: бросил пить и стал заниматься общественной деятельностью. И весь ушел с головой в это. Жена видит, у него всё хорошо, тоже ушла с головой в общественные дела — стала ему вредить в жизни. Так наши свое место.

Повесть неоднократно переиздавалась.

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума. Написана в первой половине 1974 года. В феврале В. М. Шукшин показал артисту М. А. Ульянову начало повести. Закончена она 28 июля 1974 года на Дону, во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Первоначальный заголовок (сообщенный автором Л. Н. Федосеевой-Шукшиной): «Ванька, смотри». Подзаголовок (сохранившийся в черновиках): «Сказка про Иванушку-дурачка, как ходил он за тридевять земель добывать сивявку, что он умный и современный». Окончательные заглавие и подзаголовок найдены автором совместно с редакцией журнала «Наш современник», для которого повесть предназначалась.

Повесть появилась в журнале уже после смерти В. М. Шукшина (1975, № 1, публикация Л. И. Федосеевой-Шукшиной).

Неоднократно переиздавалась.

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ... Повесть для театра. Начата в декабре 1973 года в Москве, в больнице. Не закончена: В. М. Шукшин продолжал работать над текстом летом 1974 года на Дону во время съемок фильма «Они сражались за Родину», до самой смерти. Впервые повесть опубликована Л. Н. Федосеевой-Шукшиной в журнале «Наш современник» (1975, № 6) с послесловием С. П. Залыгина. Заглавие дано редакцией журнала. Повесть предназначалась для театра Товстоногова. Впервые поставлена в 1978 году в Московском театре «Современник» (я консультировал постановку, участвовал в обсуждении и «приемке» ее в Министерстве культуры, после премьеры написал рецензию для газеты «Вечерняя Москва», рецензия была принята и набрана, а потом задержана и рассыпана из боязни, что газету обвинят в пропаганде пьянства. — Л. А.). Подготовленный «Современником» сценический вариант текста тогда же издан для театров (М., ВААП, 1978).

Повесть неоднократно переиздавалась.

Л. АННИНСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ 70-х ГОДОВ

Срезал	6
Сильные идут дальше	13
Шире шаг, маэстро!	20
Петя	32
Сапожки	37
Обида	44
Хмырь	52
Хозяин бани и огорода	57
Генерал Малафейкин	63
Письмо	70
Дядя Ермолай	75
Ноль-ноль целых	79
Пост скрипту	83
Блестик на второй сеанс	86
Дебил	94
Жена мужа в Париж провожала	99
Ораторский прием	106
Мой зять украл машину дров!	112
Забуксовал	124
Три грации	129
Беседы при ясной луне	135
Беспалый	146
Мнение	154
Страдания молодого Ваганова	160
Наказ	174
Медик Володя	183
Как зайка летал на воздушных шариках	189
Версия	203
Ванька Тепляшин	209
Гена Пройдисвет	216
Пьедестал	229
Упорный	239
Алеша Бесконвойный	254
Осенью	267
Штрихи к портрету	275
Выбираю деревню на жительство	302
Владимир Семеныч из мягкой секции	309

ВНЕЗАПНЫЕ РАССКАЗЫ

Мечты	325
На кладбище	329
Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту	334
Боря	338
Петька Краснов рассказывает	342
Сны матери	346
Психопат	350
Кляуза	359

Мужик Дерябин	365
Рыжий	369
Вечно недовольный Яковлев	372
Други игрищ и забав	378
Жил человек...	393
Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток	396
Ночью в бойлерной	402
Привет Сивому!	413
Чужие	421

ПОВЕСТИ ДЛЯ ТЕАТРА

Точка зрения. Повесть-сказка	430
Энергичные люди. Сатирическая повесть для театра	471
До третьих петухов. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума	514
А поутру они проснулись... Повесть для театра	563
Комментарии	591

Шукшин В. М.
Ш 95 Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 3 / Сост.
Л. Федосеева-Шукшина, Коммент. Л. Аннинско-
го. — М.: Мол. гвардия, 1993. — 607[1] с.

ISBN 5-235-02066-9, т. 3.
ISBN 5-235-01447-2

В третий том собрания сочинений известного советского писателя Василия Шукшина вошли рассказы 70-х годов и повести для театра.

Ш 4702010201—008 — Подписное
078(02)—93

ББК 84Р7

ИБ № 7686

Шукшин Василий Макарович
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 3

Заведующий редакцией
В. Перегудов

Редактор
Г. Кострова

Художник **В. Конопкин**

Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
Т. Шельдова

Корректоры
Е. Дмитриева, И. Ларина, В. Назарова, М. Пензянова

Сдано в набор 17.06.92. Подписано в печать 06.10.92. Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 32,34. Учетно-изд. л. 34,6. Тираж 180 000 экз. (1-й завод 100 000 экз.). Заказ 1198.

Типография акционерного общества «Молодая гвардия».
Адрес АО: 103030, Москва, Суцневская, 21.

ISBN 5-235-02066-9, т. 3.
ISBN 5-235-01447-2

